

# МИТИН ЖУРНАЛ

66

---



# МИТИН ЖУРНАЛ

издается с января 1985 года

главный редактор: ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ ВОЛЧЕК

подготовлено к печати: KOLONNA publications

руководство изданием: ДМИТРИЙ БОЧЕНКОВ

обложка и верстка: ДАРЬЯ ПРОТЧЕНКОВА

В оформлении обложки использованы

рисунки Мортон Бартлетта

ISBN 978-5-98144-163-9

©Митин журнал, 2013

**НОВОЕ**

АЛЕКСАНДР МАРКИН

ВАСИЛИЙ ЛОМАКИН

ЮЛИЯ КИСИНА

МАРУСЯ КЛИМОВА

**ДОСЬЕ**

ГЕРАРД РЕВЕ

ЭРВЕ ГИБЕР

**КОЛЛЕКЦИЯ**

ОСКАР БАУМ

АЛИСТЕР КРОУЛИ

ДЖЕЙМС ДЖОЙС

**архив**

ПАВЕЛ УЛИТИН

ОЛЬГА КОМАРОВА

**in memoriam**

АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО



# • НОВОЕ •

## АЛЕКСАНДР МАРКИН

ИЗ ДНЕВНИКА

2011 - 2012

*Не переносу я, когда художники и писатели изображают несчастья, грязь и гнусность человеческую, преумножают и преувеличивают их до такой степени, что простому человеку только и остается, что плюнуть. И в произведениях этих художников, напоминающих мне фальшивые украшения, соблазняющие лишь воронье, а зачастую и в биографии их есть какая-то подленькая неправда, ведь в подлинной жизни несчастье всегда сменяется счастьем и радостью, и как бы ни старались и не малевали они бытие человека мрачными красками, не смогут они помешать тому, что однажды человечество окажется в царстве вышней красоты, перед тронем Господним, сияющим настоящими драгоценностями, светом чистой истины.*

май 2011

У матери инсульт. Она не хотела, чтобы я узнал, но отец все равно рассказал. По телефону она очень подробно описывает, что с ней происходит, как будто я врач, пишущий диссертацию про инсульты. Например, она не может больше читать: видит, что что-то написано, но буквы путаются и написанное представляется ей бессмыслицей.

26 мая

Сегодня мать сказала, что за нее уже не нужно беспокоиться, ее скоро выпишут, потом добавила, что вчера умерла соседка по палате, которую тоже должны были скоро выписать: на бок повернулась и умерла.

1 июня

Устроил короткое замыкание в квартире, хаусмайстер пришел потом и сказал: в жизни нет ничего хорошего, сначала 40 лет работаешь, потом 20 лет ходишь по врачам.

лето 2011

Задача литературы – возбуждать в людях худшие чувства.  
Все лето я переводил немецкий порнографический роман;

И словно герои этого романа, возбуждающиеся от чтения порнографических книг, от рассматривания картин с нагими героями древнегреческих мифов, от подглядывания в замочные скважины, я постоянно испытывал от этого произведения чрезвычайное возбуждение, хотя там не происходит ничего волнительного, а половые органы и половое сношение описываются эвфемизмами; зато замечательно рассказывается про порку:

Я вдруг вспомнил, как приятно мне было, когда в детстве, а особенно в отрочестве, меня порол ремнем отец, выросший в деревне и в 1971 г. вместе со своим клетчатым тряпичным чемоданчиком, в котором лежали две белые рубашки, пара подштанников и банка сметаны, привезший по лимиту в Москву и свои деревенские жестокие методы воспитания!; и я вспомнил, как приятно потом у меня чесались, заживая, синяки на ляжках и на ягодицах, и сегодня я сказал N, что моя жизнь такая однообразная, что я даже больше и не знаю, живу ли я: а мне очень хочется почувствовать себя живым, и для этого нужно, чтобы N меня выпорол, а потом заодно на меня еще и поссал, как это обычно делают в порнографических романах; у N сразу же загорелись глаза: насрать на меня всегда было его тайным желанием! и мы пошли в рощицу, чтобы нарвать веток на розги. N решительно ломал самые молодые и упругие ветки, чтобы удары были болезней, и мне на мгновение стало страшно от его серьезности, я побледнел и хотел убежать – но потом вспомнил, что в том романе написано, что больше всего мы боимся того, что нам приятно, например страданий или смерти, и приободрился. Когда мы вернулись домой, я покорно снял штаны, N завязал мне руки за спиной и положил на кровать лицом к зеркалу, чтобы я мог смотреть, как он меня бьет, но лишь он замахнулся – я сразу же зажмурился, чтобы ничего не видеть и только слышал, внутренне содрогаясь, как розги просвистели и со звоном ударились о мой голый зад.

...после 10-го удара я почувствовал, как по моим ягодицам потекла кровь... Тогда N поволок меня в санузел. Бросив меня в скрюченной позе в ванную, он расстегнул ширинку, достал член и стал ссать на меня приятной теплой струей, приговаривая, что теперь я буду к нему привязан даже больше, чем раньше; а я подумал, что сейчас он мог бы меня и убить, как это обычно делают с такими извращенцами, как я, выходяцы с Северного Кавказа, приехавшие в столицу разбойничать, потому что ничего другого они не умеют, а жизнь в горах их тяготит, и мой обоссанный труп без штанов тогда нашла бы соседка, какой позор! но камера наружного наблюдения и анализ ДНК мочи помогли бы найти злодея, как это было после того случая в соседнем подъезде год назад, когда мускулистые кавказцы изнасиловали и убили из неприязни к гомосексуалистам помощника депутата Госдумы, тут же я – мой зад приятно ныл, – с облегчением

вспомнил, что N, к счастью, коренной москвич из интеллигентной семьи, его дедушка работает в университете, и вообще N невыгодно меня убивать, потому что я обещал ему привезти в следующий раз новый айфон, который в Швейцарии стоит намного дешевле, чем в Москве. Тем временем, на штат Техас обрушились несколько сильных торнадо, новые вихри направляются в населенные пункты.

конец июля 2011

Ездил в Брегенц на оперный фестиваль. Смотрели оперу про французскую революцию. На озере соорудили гигантскую голову Марата, и на ней, словно блохи, под плохую музыку копошились циркачи, и когда опера кончилась, я подумал: а мы ведь даже не блохи, а так, вредные микробы на голове пластмассовой революции.

В Москве рассказали историю про одного переехавшего в столицу атлета, у него почти не было подкожного жира. За всю свою жизнь он лишь раз был то ли вторым, то ли третьим на областных соревнованиях, подготовка к которым при этом ежегодно отнимала у него столько времени и сил, что он даже не сразу осознал, что его, в основном, интересуют мужчины (он понял это только, когда в очередной раз получил травму). И так как со спортом он был вынужден завязать, а ничего больше он не умел, то он решил поехать в Москву (у него хорошая осанка, хотя в последнее время он стал сутулиться). В Москве он стал снимать комнату, быстро устроился продавцом холодильников в интернет-магазин, а потом, при никому не известных обстоятельствах, познакомился и даже, наверное, влюбился в мужчину в два раза старше, довольно богатого, в общем-то *мини-олигарха*, хотя оба были склонны думать, что деньги здесь ни при чем; из окон большой квартиры, где по ряду причин они встречались тайно, по вечерам, когда становилось темно, были видны алые кремлевские звезды, и, когда они в очередной раз пообались, у бывшего спортсмена (он очень не любит, когда *мини-олигарх* лижет ему яйца, но стесняется об этом сказать) было такое странное настроение, что он решил поехать домой (назавтра ему надо было на работу, а ебля случилась так неожиданно! он-то и не думал, и у него не было с собой чистых трусов и свежей рубашки, а выходить на работу в несвежих вещах он не любит) на метро и сэкономить, хотя *мини-олигарх* дал ему денег на такси (но вдруг *мини-олигарх* его скоро бросит) и на «Комсомольской» (наступила полночь) он с удивлением рассматривал мозаики, и не заметил, что наступил новыми ботинками в лужицу крови, которую не успели убрать: на станции зарезали узбека (киргиза, таджика), а когда он наконец заметил, что измазал ботинки кровью, то очень расстроился и принялся вытирать их бумажными носовыми платками и даже пропустил несколько составов.

*август 2011*

N приезжал ко мне на две недели в Цюрих. Истратил на него кучу денег. Не сделали ничего полезного. Поднялись к леднику, и там я объяснял ему, как поразительно существование ледников, тысячелетиями скрывающих в своих холодных недрах удивительные тайны, а N – на лоне величественной природы! – лишь рассмеялся и сказал, что ему похуй. На обратном пути я бы мог столкнуть его в пропасть, но мне стало его жалко.

*август 2011, Москва*

У женской консультации пахнет горелым мясом: не удивлюсь, если окажется, что для борьбы с бесплодием в нашей стране женщинам начали прижигать пёзды.

*осень 2011*

В институте пол-года жил бомж. Он представлялся приглашенным профессором, готовил еду на нашей кухне, мылся в нашей душе и ночевал в аудиториях. Он выучил по фотографиям на доске объявлений, как кого зовут и как кто выглядит, и бросался к моим коллегам, обнимал их, представлялся (каждый раз по-разному) и говорил: Господи, сколько времени прошло с той конференции, на которой мы познакомились, тебя даже и не узнать! или: а ты совсем не изменился (изменилась)! В конце лета он исчез, вместе со сковородкой и парой стульев из аудитории.

Расстался с N и тут же занялся самобичеванием. Фрейд учит: после расставания с любимым человеком нужно переинвестировать либидо на самого себя, так спасительно для психики. В субботу я пошел в лес нарвать веток для розог и заодно поискать толстых сучьев на дильдо, которые я теперь, чтобы не тратить на них деньги, мастерю с помощью набора JUNGER SCHREINER. Оказавшись в чаще, в стороне от всех тропинок, я вспомнил, что недавно в Швейцарии нашли самый большой в мире белый трюфель. Я подумал, что тоже вполне могу найти белый трюфель. Половину этого трюфеля я бы тогда оставил себе, ведь я люблю трюфели, несмотря на бедность, а вторую половину я мог бы продать и купить на вырученные деньги в магазине для бедных зимние ботинки, чтобы не ходить в мороз на работу в дырявых кедах. Я опустился на четвереньки и стал ползать по земле, принюхиваясь к каждому бугорку. Но, увы! никаких трюфелей я не нашел. Я огорчился и стал осматриваться в надежде найти поганки, чтобы съесть их и раствориться в галлюциногенном видении (откуда это?), хотя бы ненадолго, а лучше бы – навсегда. Моросил дождик. Под одним из кустов я заметил трупик белки, к нему прилипла пара опавших листьев. Я вспомнил, как несколько лет назад видел по телевизору кулинарную



программу, в которой готовили очень, как мне показалось, вкусное рагу из белок. Я понюхал белку, она пахла сыростью. Очень хотелось есть. Я поднял белку с земли, положил ее в сумку и понес домой, радуясь возможности попробовать такое деликатесное мясо и сэкономить на продуктах. И как хорошо, что я нашел эту белку в Швейцарии! такой чистой стране. Я освеживал и выпотрошил её; она была без насекомых и червяков. Потом я порубил ее своим разделочным топориком и потушил с луком, сельдереем и морковкой, слава Богу! они в Швейцарии дешевые. Жалко только, что в итоге оказалось очень мало мяса, даже меньше, чем у кролика. Я руками счищал последнее мясо с костей белки и думал о том, что для людоедов я такая же белка! и если бы я умер где-нибудь на острове каннибалов, и они нашли бы мой труп, они тоже могли бы его потушить с овощами и так же копались бы в моих костях, как я сейчас в костях белки, и от этого мне было радостно и тревожно.

На следующий день я купил четвертинку тыквы и сварил из неё суп. Переливая суп из кастрюли в тарелку, я не заметил, как задремал от усталости и пролил половник горячего супа себе на руку: кожа на запястье вдруг заволдырилась и стала похожа на папиросную бумагу. Я быстро собрался и поехал в ближайшую больницу, стыдливо прикрывая руку с ожогом, чтобы не пугать людей в автобусе, которые, если бы увидели мой ожог, могли бы подумать, что я заразный, изъеденный лишаем бомж, и испугаться. Полтора часа в огромном пустом приемном покое – на краю ночи – рука под краном с холодной водой – больница включила в счет стоимость 100 кубометров воды; Ах! как хотел бы я быть врачом в приемном покое. Врачи в приемном покое очень сексуальные, вежливые и образованные. Они прикасаются к твоим ранам теплыми нежными руками и разговаривают вкрадчивым голосом. Они прекрасны, т.к. имеют безграничную власть над твоим телом. Недавно мне запускали зонд в желудок, я был под общим наркозом – как же хорошо! раз – и тьма! – а потом влюбился во врача, ведь нельзя не полюбить человека, который видел твои внутренности. Краткость – сестра смерти. Иногда, когда у меня, от того, что я целый день ничего не ел, начинает урчать желудок, я иду к ресторану FLORHOF, или к ресторану KRONENHALLE. Читаю вывешенное у входа меню: подают изысканные блюда для гурманов. Я прижимаюсь к окну кухни; мои руки мерзнут; я с жадностью смотрю, как повара готовят изысканные блюда; или, дрожа, заглядываю в окна залов, там за столами сидят люди в дорогих костюмах, они едят деликатесы, висят картины знаменитых художников, сверкают люстры, и я представляю себе, что я – это они. Еда выглядит очень вкусно, изысканно. Я сглатываю слюну. Потом в печальном расположении духа я бреду домой. Достая свой лиможский фарфор и серебряные приборы, доставшиеся мне от соседки, которую родственники отправили в дом престарелых. Расставляю их на столе и люблюсь ими. Потом я убираю их обратно и завариваю себе похлебку из кипятка и черствого хлеба. В квартире темно. Я стараюсь не зажигать свет, экономлю электроэнергию. Ночью я работаю при свете свечи. Это вредно: я

теряю остатки зрения. Зато к старости я тоже смогу накопить себе на дом престарелых. Пускай я буду слепым – в доме престарелых у меня будет собственный санитар!

Утром в больнице мне отрезали омертвелую кожу с руки, хотелось попросить врача дать мне ее съесть, я не завтракал, диетологи уже давно предупреждают о вреде завтраков. Но я постеснялся. Врач выписал мне обезболивающее и дал с собой разноцветных бинтов. Я теперь три недели могу бесплатно брать в аптеке бинты и таблетки, хочу набрать разноцветных бинтов про запас, они мне нравятся, и таблеток я тоже хочу набрать, мало ли что у меня еще будет болеть.

Ходил в горы – опасный перевал, через него в XV–XVIII в. итальянские контрабандисты переправляли в Швейцарию запрещенные товары; страшно, ведь я с ожогом, а там крутые утесы, узкие скользкие тропинки над обрывами, и внизу – малюсенькие поезда, меньше даже, чем были у моего дяди, который собирал миниатюрные немецкие модели железных дорог, пока от него не залетела одноклассница, – спешат по берегу озера из Локарно в Милан; страшно – до немоты – сорваться и упасть вниз, и можно сколько угодно фантазировать про самоубийство – когда идешь по обрыву и боишься сорваться по-настоящему, ужасно хочется жить. Нас утешает фантазия о том, что мы можем контролировать собственную смерть, но правда в том, что смерть владеет нами, и это каждый раз приводит в невыразимое отчаяние.

Один психиатр подал в суд на архитектора, придумавшего покрасить дом, на который выходили окна психиатрической практики, в розовый цвет. Психиатр сначала говорил, что его пациенты не выносят розового цвета, потом стал говорить, что розовый цвет раздражает его самого, это так неприятно каждый день выходить на работу и видеть в окно розовую стену, пациенты только и делают, что начинают сеансы с разговоров о розовой стене, розовая стена ужасно действует на пациентов, она опасна, розовый цвет покушается на его мужское достоинство. На суд психиатр пришел в розовой рубашке, и когда судья спросил его, почему на нем розовая рубашка, если он не любит розовый цвет, психиатр сначала не знал, что ответить, а потом сказал, что, мол, это его жена сегодня погладила ему такую рубашку, это она подбирает ему гардероб: через два месяца он развелся.

Сегодня в туалете на работе видел студента, он вышел из кабинки, у него было хорошее настроение, он мыл руки, что-то насвистывал. Я подумал, он, наверное, только что на скорую руку подрочил, иначе хорошего настроения быть не может; и я с укоризной посмотрел на него и подумал: как не стыдно драть в университетском туалете. Впрочем, я и сам, когда мне было тринадцать лет, частенько украдкой драл в полутемном туалете музыкальной школы. Лите-

ратура модернизма, подумал я, часто пытается выставить какое-нибудь мытье тарелки или стирку белья метафизическим ритуалом, хотя на самом деле это примитивный гигиенический акт. С 14 и, наверное, до 16 лет, я с завидным постоянством занимался тяжелым петтингом с соседом, у него был кривоватый хуй, поэтому я не давал ему меня ебать, боялся, что он что-нибудь разворотит там, внутри. Когда мне, наконец, это дело стало осознанно нравиться, тем более, что он начал качаться, под влиянием своего школьного товарища, который теперь стал выдающимся физиком-ядерщиком, он, наконец, разобрался и стал поёбывать баб, ну и ладно – от него часто странно пахло.

Лектор сообщил, что мир закончится, как только из речи исчезнут глаголы; случится это быстрее, чем мы думаем: на всех парах к стазису. Скоро все застынет. Я думаю: интернет, бульварные газеты, телевидение отменяют язык – они убивают любопытство, которое является одним из условий существования языка как средства познания мира; когда все знания мира находятся в пределах мгновенной досягаемости, когда ты за минуту можешь увидеть все части Земли и сотни вселенных, когда интимная жизнь становится абсолютно видимой, любопытство и жажда знаний покидают нас.

*ноябрь 2011*

С тех пор как у нас перевели часы и стало темнеть на час раньше, повсеместно и весьма остро стала чувствоваться некоторая тягостность бытия. Солнце заходит рано, на улице сразу же холодает, я кутаюсь в свой кашемировый шарфик, съеденный молью, и натягиваю дырявые варежки, а на лицах прохожих видна усталость и злоба, ставшая естественной в странах, где переводят часы. В такие дни меня съедает тоска по родине, где, благодаря власти, понявшей, что экономическая выгода крупного капитала не стоит страданий миллионов людей, погружаемых во тьму на час раньше обычного, часы больше не переводят, чтобы избежать поголовной зимней депрессии и невероятного количество самоубийств, обычных для стран, где ради иллюзорной выгоды транснациональных корпораций переводят время. Но кабальный контракт запрещает мне возвращение на родину! И я кляню злую судьбу! Даже на неделю, даже на часок не могу я слетать домой, связанный ужасными обязательствами! Впрочем, я утешаю себя тем, что билет на самолет стоит так дорого, что если я его куплю, и (вопреки всему!) слетаю на денек в Москву, то мне придется потом полгода каждый день есть только спагетти с соусом из газонной травы и мха. По средам и субботам я просыпаюсь с рассветом и иду на самый дорогой рынок в городе в надежде, что мне удастся там разжалобить какого-нибудь продавца и выпросить у него пару оливок или маленький кусочек вкусного швейцарского сыра, и так я завтракаю, а если мне никто не дает ничего попробовать, то я краду с прилавка яблоко или артишок, и каждый раз, когда я краду спелое красное яблоко или душистую айву, ароматный лимон или апельсин, пурпурную сливу или багровую вишню, абрикос со шкур-

кой, нежной, как дорогой бархат, сочный персик, грушу или гранат – я втайне хочу, чтобы меня поймали с поличным и отправили за воровство в полицию и посадили в тюрьму, потому что в тюрьме меня накормят горячим обедом, может быть, меня даже изнасилуют в камере, а потом полицейские расскажут о моем преступлении моему начальнику на работе, и меня уволят и бесплатно депортируют первым же самолетом на родину, где зимой так светло, особенно в пределах Садового кольца, освещаемого мощными фонарями и красными звездами Кремля, и где по улицам ходят самые красивые девушки на свете, русские девушки, и самые сильные мужчины на земле, Чеченцы! Но, увы, никто не видит, как я краду яблоки, никто не слышит моей немой молитвы за Россию и голодного урчания в моем животе.



Василиса была старостой нашей группы и собирала деньги на проездные. В начале перестройки ее отца, заставившего своими гипсовыми и чугунными памятниками все Приволжье, перевели в Москву и выделили ему тесную квартиру в девятиэтажке в Бибирево.

Вообще-то Василиса хотела стать знаменитой артисткой, как её мать, выдающаяся провинциальная актриса, распрощавшаяся со сценой в зените славы, то есть сразу же после переезда в Москву, но поступить в театральный у Василисы не получилось, а попала она в пединститут – там работали родственники родственников знакомых знакомых её отца. Кроме того, Василису тяготила девственность: ее лицо, особенно в сессию, было покрыто ужасными гнойными прыщами, она замазывала их театральным гримом матери, не догадываясь, что от него кожа портится еще сильнее. Короче, Василиса очень страдала.

Однажды она где-то услышала, что прыщи, как и многие другие проблемы – это от девственности, поэтому целый семестр она всеми силами старалась избавиться от девственности, как от назойливой мухи, но не знала как. После очередного экзамена она даже поехала вместе с одногруппниками, которых презирала, в гости к одному мальчику, с твердым намерением начать половую жизнь. Но никто не обращал на нее внимания, зато она увидела, как её одногруппники и одногруппницы пьют водку и лижут марки. В ужасе она бежала с вечеринки, а на следующий день написала анонимное письмо декану: мол, студенты такие-то употребляют и распространяют наркотики, необходимо срочно принимать меры! Но, декан, увы, никак не отреагировал на ее письмо, Василиса так и не поняла почему, наверное, у него самого рыльце было в пушку.

Вскоре после того случая Василиса должна была сдавать экзамен одному доценту, профессору, про которого она слышала всякое, например, что он любит тарашиться на женскую грудь. Надо сказать, что незадолго до этого она

просто так, ради любопытства, прочитала Захер-Мазоха, и он так ей полюбился, что она, как это часто бывает со студентками педвузов, начала воображать себя женщиной-хищницей Вандой фон Дунаев, поэтому перед экзаменом Василиса в первый раз в жизни побрила ноги, немного порезавшись, надушилась материнскими духами «Peau d'Espagne» и надела платье с самым глубоким декольте. Была зима, на плечи она накинула оренбургский пуховый платок, отвечать пошла последней, а когда осталась наедине с доцентом, то скинула свой платок, открыв взору экзаменатора раскрасневшуюся от колкой шерсти шею и пышный бюст, но отвечала билет как-то сбивчиво и вдруг расплакалась. Доцент, замороженный её бюстом, ласково спросил, что же случилось, она ведь так хорошо отвечала, и Василиса рассказала ему, сквозь слезы, как была растоптана ее мораль, студенты употребляют водку и наркотики, а декану все равно! он покрывает этих преступников! наверное, ей нужно было сразу пойти в милицию, она ведь староста группы! Профессор попытался ее успокоить и приобнял, и тут василисина рука ненароком соскользнула ему на коленку, чуть повыше, и она нащупала что-то твердое, и машинально стала водить там пальцами, и доцент не сопротивлялся, а только, прищурившись, ласково глядел на нее, пока она ему дрочила, а когда он кончил, не быстро, она вытерла его сперму оренбургским платком и сказала, что теперь профессор должен для нее что-нибудь сделать.

Они потом еще не один раз этим занимались, по вечерам, прямо на кафедре, заперев дверь, а иногда у доцента дома, когда его жена уезжала на дачу, и каждый раз Василиса уносила со свиданий с собой что-нибудь, на всякий случай, для гарантии, и вообще она многое узнала о том, что происходит в пединституте, чего вообще никому лучше не знать, и в аспирантуру профессор, ставший ее научным руководителем, тоже пообещал её взять. Училась она не бог весть как, отметки в зачетке появлялись сами собой, преподаватели ее хвалили, и диплом она написала лишь наполовину, остальное дописал за нее научный руководитель.

В первый год аспирантуры доцент решил, что пора завязывать, Василиса, конечно, была девушкой рассудительной, но непредсказуемой, с нравом необузданным, мало ли что ей придет в голову, и Василиса на целый год поехала на практику за границу, да и Василисе, честно говоря, профессор к тому времени уже надоел. За границей она поначалу хотела бы заполнить столь остро ощущаемую внутреннюю пустоту и тоску по родине хуями, но так как прыщи не проходили, несмотря на потерю девственности, и потенциальные партнеры отказывались вступать с ней в половую связь, то её единственным другом многие недели оставался черный дильдо, который она везде возила с собой, завернув в газетную бумагу. С этим дильдо была связана следующая история. Его Василисе подарили, еще до доцента, на втором курсе, две сокурсницы. На 8 марта они принесли Василисе большую коробку, завязанную красивым бантом. С нетерпением развязав бант и раскрыв коробку, Василиса, которая была рада и удивлена, что одноклассницы про нее помнят, сначала даже не поняла, что это такое лежит в коробке, это было что-то, чего она, кажется, никогда в

жизни не видела, но потом осознала, заплакала и, закричав: Сучки ёбаные! кинула этим дильдо в сокурсниц! Те прыснули со смеху и побежали по коридору, Василиса побежала за ними, подняла дильдо и снова кинула его им вслед, но те уже скрылись на лестнице, тогда Василиса вытерла слезы и, убедившись, что на этаже, кроме нее, никого больше нет, подняла дильдо, нежно его погладила и быстро сунула в сумку с конспектами.

Несмотря на терзания одиночества, жить за границей Василисе очень нравилось. Да и гнойные прыщи неожиданно стали проходить. Однажды кто-то поделился с ней, что наиболее верный способ найти заграничного мужа – это записаться на теологический факультет, там, мол, самые скромные студенты, чистые помыслами и телом, такие закомплексованные, а женщины-то теологии не учатся, поэтому тамашние студенты вообще не знают, что такое женщина, а если им показать – то они сразу на тебе и женятся. На следующий же день Василиса записалась на теологический факультет. Через месяц она сумела прельстить одного студента из хорошей семьи, который, правда, с ней только целовался, а по-другому прикасаться к ней до свадьбы отказывался, тем более, что она, несмотря на богословское призвание, была некрещеной, а он – католиком. Чтобы ускорить свадьбу, Василиса решила принять католичество, причем не где-нибудь, а в Ватикане и из рук самого Папы Римского. Сказано – сделано. И вот Василиса уже в Ватикане, вместе с женихом, который стоит в толпе прихожан и восторженно на нее смотрит, а Василису крестит Папа Римский! И когда Папа её крестил, и она опускалась перед ним на колени, взгляд её упал на золотой подол его стихаря, и она вдруг вспомнила, что однажды читала, будто, прежде чем интронизировать понтифика, ему ощупывают гениталии. Василиса закрыла глаза и, произнося со всеми молитву, представила себе старческий сморщенный член наместника божьего, к которому тянется волосатая рука, и почему-то подумала о своем черном дильдо, и ей стало смешно, но, к счастью, она смогла сдержаться и не рассмеяться вслух, а в Венеции, куда они на следующий день поехали с женихом, они катались на гондоле, от воды ужасно пахло, а она вдруг расстегнула жениху ширинку и засунула ему руку в штаны и проверила, есть ли у него член.

Заграничное счастье Василисы было недолгим. Стажировка, которую она сумела продлить на целый год, подходила к концу, даже помолвка была, а свадьбы все не предвиделось, и однажды – в минуту отчаяния – Василиса заявила жениху, что не может больше терпеть, они помолвлены, господь предназначил их друг для друга, да и современная католическая мораль допускает внебрачный секс, при этом она зачем-то достала из потайного места черный дильдо и для убедительности потрясла им перед носом несчастного жениха, а тот, кажется, вообразил, – все-таки у них часто возникало взаимное языковое недопонимание, – будто Василиса хочет его этим дильдо выебать, русские женщины-то ведь загадочны и туманны, как романы Достоевского. Он закричал: Я выбираю Бога! – и бросился прочь. Василиса побежала было за ним, но того и след простыл. Весь вечер разыскивала она своего жениха по знакомым и родственникам – но не могла нигде найти и пошла тогда к его старшему брату, врачу-терапевту, сказалась разбитой и больной и попросилась у него

переночевать в гостевой комнате, а в полночь, пока врач спал, а за окном светила полная луна, Василиса пробралась к аптекарским шкафчикам, набрала пузырьков с таблетками и легла в коридоре, предварительно художественно рассыпав таблетки и раскидав пузырьки.

Очнулась она от того, что врач бил ее по щекам, а за окном, всюю радуясь новому дню, щебетали птицы: врач пошел утром по малой нужде, а в коридоре лежит невеста его брата, и вокруг таблетки с пузырьками, он так перепугался, но потом увидел, что она дышит. Врач был молодой холостяк, и в то утро у него была особенно сильная эрекция, и Василиса не могла этого не заметить и нежно привлекла врача к себе, он ведь не раз на неё хитро поглядывал, и между ними случилось то, о чем они после оба хотели бы побыстрее забыть. Зато Василиса, наконец, знала, что ей делать.

На следующий день она собрала чемодан и вернулась в Москву. Надо сказать, что доцента в тот год постигла страшная трагедия: жарким летним днем его жена поливала на даче цветник и вдруг охнула, побледнела и умерла. Поэтому сразу же по приезду Василиса отправилась к своему доценту и утешила его, тем более, что он тоже успел соскучиться по ее милым капризам и был даже готов помочь ей с кандидатской. Вообще-то, когда он приезжал на конференцию в университет, где Василиса стажировалась, она даже приходила к нему в гостиницу, но тогда еще была невестой теолога. Месяца через два после возвращения в Москву, однажды ночью, быстрее, чем обычно, устав прыгать на вялом хуе доцента, Василиса вдруг почувствовала легкую тошноту. Они были на его даче, трещал камин, и когда профессор захрапел, Василиса достала из своей сумочки черный дильдо и бросила его в камин – и тут же запахло горелой резиной. [*по прочтении М-м Бовари*]

*декабрь 2011*

Темнеет. К концу следующей сцены должна наступить полная темнота.

*январь 2012 [после поездки в Москву; фуршет был премиальный; в туалете одним глазком взглянул на хуй олигарха]*

Весьма характерной чертой народного характера т.н. русского народа является страсть к унижению. В СССР т.н. номенклатура и спецслужбы вместе с т.н. советской интеллигенцией творческой и научной унижала т.н. советских граждан, после т.н. развала СССР т.н. власть-получившие, а также т.н. власть-удержавшие, т.е. т.н. власть-имущие, стали унижать всех, кто не успел к т.н. шапочному разбору, в том числе и т.н. интеллигенцию, ставшую т.н. интеллектуалами (т.н. интеллектуальной элитой), а также всех остальных. Т.н. интеллектуалы принялись унижать т.н. быдло, т.н. быдло, в свою очередь, стало унижать т.н. интеллектуалов, а также т.н. нелегальных эмигрантов, которых при этом и так все постоянно унижают, т.н. нелегальные эмигранты стали унижать всех людей, пользующихся их т.н. услугами, то есть всех тех, кто имеет с ними т.н. контакты в т.н. повседневном общении, то есть т.н. большинство. Т.н. охранники, т.н. убор-

щицы, т.н. кассиры и т.н. официанты унижают т.н. покупателей и т.н. клиентов, т.н. мужчины унижают т.н. женщин, т.н. верующие унижают т.н. атеистов (т.н. интеллигенцию), т.н. батюшки унижают т.н. паству, т.н. мусульмане унижают т.н. православных (и наоборот), т.н. интеллектуалы унижают т.н. офисный планктон, т.н. литературные критики унижают т.н. писателей, т.н. банковская работница унижает т.н. пенсионерку, т.н. мэр города унижает т.н. жителей города, т.н. госслужбы унижают всех, кого они могут унижить и т.д. до ∞ В результате этого чудовищного круговорота унижения все окончательно перемешалось, потому что все хотят доминировать и унижать, но в итоге, конечно же, т.н. Россия унижается перед всем миром и все никак, как говорится, не поднимется с колен. При этом нетрудно заметить, что унижение – это уничтожение без что посередине, а огромное количество пассивных гомосексуалистов на российских интернет-форумах знакомств (соотношение пассивных гомосексуалистов к активным составляет приблизительно 8:2) подсказывает, что быть униженным – это, так сказать, неискоренимое и сокровенное желание т.н. русского народа.

февраль 2012

Schlafstagebuch. (Принести в лабораторию лично!)

Ночь с/на 9/10.02.2012 4:30–10:27

----- 10/11 2:30–10:20

----- 12/13 4:30–14:18

----- 13/14 23:15–3:41

----- 14/15 2:50–6:33 (T)

----- 15/16 2:30–10:30

----- 16/17 2:10–9:02 (UE)

----- 17/18 ?

----- 18/19 2:10–?

----- 19/20 4:00–11:00

----- 20/21 1:50–ок. 10:00

----- 21/22 3:05–10:00

----- 22/23 3:00–8:00 (T)

----- 23/24 3:00–9:00

----- 24/25 3:00–10:00

----- 25/26 1:54–2:43

(T) = Снился сон

(UE) = Необычные обстоятельства

Сон № 1, 14/15 февраля: Ебал трансвестита в Париже.

Сон № 2: Погиб в авиакатастрофе, наподобие той, с хоккеистами (заживо?) сгорел в самолете. В метро. Зашел в вагон, из которого, если двери закроются, потом уже не выйти. Сказать что-то напоследок можно лишь с помощью тайных знаков, которых никто не понимает, через стекло (глаза?). Такова смерть.



Лондон прекрасный город. Все очень вежливые, но в метро много индусов. Жил в Ноттинг-Хилле. Фотографировался на крыше дома. Ел в дорогом ресторане. Биг Бен намного меньше, чем про него думаешь, когда видишь его, например, по телевизору. В Московской области полиция задержала престарелую женщину, которая расправилась с собственной дочерью. Старушке не нравилось, что дочь тратила все деньги на покупку плюшевых игрушек. В убийстве созналась 83-летняя жительница деревни Назарово. В тот день подозреваемая сама вызвала к себе на дом скорую помощь. Медикам она заявила, что обнаружила свою 62-летнюю дочь на кровати без сознания. Приехавшие врачи установили, что в действительности женщина погибла от открытой черепно-мозговой травмы. А следователь, осмотрев место преступления, нашел на одежде пенсионерки следы крови. Женщина категорически отрицала свою причастность к убийству, однако несколько судебных экспертиз опровергли ее утверждение. Под тяжестью улик в минувшую пятницу пенсионерка полностью призналась в содеянном. По данным следователей, погибшая много лет наблюдалась у врача-психиатра в связи с серьезным заболеванием. Более того, несколько лет она находилась на стационарном лечении. Между женщинами регулярно происходили ссоры, в частности из-за покупок дочерью мягких игрушек в условиях ограниченного семейного бюджета. 13 октября после очередной ссоры мать несколько раз ударила дочь по голове палкой. Полученные травмы оказались смертельными.

*январь 2012*

Маленькие дети сидят перед телевизором, раскрыв рот от удивления. Думаю, так и со смертью: когда она приходит – останется только удивиться и открыть рот. Смерть застаёт врасплох, сначала и не знаешь, что это смерть, а когда осознаешь – если вообще осознаешь – будет поздно.

*февраль 2012*

По дороге в Кур поезд проезжает бетонный вход в бункер, устроенный на склоне холма, и я думаю о рассказе Кафки «Нора»; вчера у нас был семинар с профессором из Амстердама, философом, который интересуется ни на секунду не прерывающимся потоком внутренней речи. И я думал об этом внутреннем потоке, который несется иногда в унисон, а чаще всего контрапунктом к тому, что ты произносишь. Бесконечный диалог с самим собою, постоянное удвоение внутри произнесенного и внутри продуманного, а если приплюсовать еще и сказанное, то получается настоящая какофония! Контрапункты мыслей и слов, записывающиеся, как думали сто лет назад, на коготь нашего мозга, и там сохраняющиеся; первая мировая война, ранения в лицо, раскрошившиеся челюсти, что происходит, если разрушается место артикуляции мыслей; Постоянное говорение на иностранных языках делает очевидным расслоение слова, мыслей, внутренней речи.

Служивица матери задохнулась ночью во время астматического приступа. Наутро соседи нашли её труп на лестничной клетке, с посиневшим ртом, в домашнем халате. (Соседи спали и не слышали, как она умирала.) Почему-то считается, что ночью умирает намного больше людей, чем днем, хотя статистика показывает – это не так, но ночью ничего не видно, и со смертью тоже много непонятого, поэтому *народная мудрость* (между прочим, оксюморон) сделала их родней; в действительности днем умирает в три раза больше людей, чем ночью, просто мы не хотим этого видеть, потому что самое страшное, что может быть в жизни – это ясность.

Навязчивая фантазия последних дней: хочется, чтобы меня убило, пускай небольшим, метеоритом.

Чем больше заботаешься гигиеной, моешься и стараешься не запачкаться, тем вернее окажешься в один прекрасный день у дерматолога с каким-нибудь страшным кожным заболеванием.

В Нижнем Новгороде арестовали краеведа, который делал из мертвецов кукол. Сюжет для романа, фильма. Из мертвого тела доносилась детская мелодия «Мишка очень любит мед». И как обычно – человека хотят осудить за то, что он выразил *essentia omnis*.

Здесь все время сносят дома и строят на их месте новые, я через день проезжаю на велосипеде руины, котлованы от снесенных домов. Этих котлованы как следы от вырванных зубов, и пахнут они так же.

Мальчик-негритёнок  
Черные яички  
Хочешь ли испить  
Моей святой водички?

В сексуальной жизни других нет ничего особенного, специфического или загадочного, одна усталость; непонятно, почему все так этим интересуются.

*март 2012*

Утром в электричке, когда ехал в Лоорен, видел, как швейцарский парень с покатыми плечами переодевался на службу, снял футболку, достал из портфеля рубашку, надел ее, потом достал галстук, умело завязал его, потом поднял вверх большой палец на левой руке и стал улыбаться соседу напротив, тоже оч. привлекательному. Никто мне не верит, когда я говорю, что мое единственное желание – умереть, иногда ощущаемое даже телесно, ноют мышцы, но я и сам не верю, это часть флирта.

*апрель 2012*

Мы гуляли по берегу озера, и он так хотел меня выебать, что от нетерпения целовал мне руки, а мне было неловко. На берегу растут чёрные тюльпаны. Он много пиздит – я слышу по тому, как меняются модуляции его голоса, но это невинная ложь, чтобы затащить меня в постель, а я все равно никому не верю. На Пасху он подарил мне ящик шаманского Cristal, и мы сосали друг другу, набрав шампанского в рот. Пузырьки шампанского Cristal приятно щекотали хуй. Жить ли ради фантазий других, или достаточно того, что мы страдаем от фантазий собственных? До революции дети аристократов начинали свой день с бананового пюре, перемешанного с чёрной икрой.

*июнь 2012*

Каникулы: можно неделями не выходить из дому, я все дни провожу в постели, уже начала даже болеть спина. Несчастные пролетели несколько сотен метров по снежной полосе, прежде чем разбиться о скалы.

Он говорит, что он молодой, красивый и небедный: мне повезло, что я встретил его, в моем-то возрасте! а я думаю, таков удел каждого человека: Любовная лодка разбилась о быт. Выраженная формулой Лакана  $I \neq R$ .

Проснулся утром – и узнал, что в России теперь все борются с педофилами, а те совсем обнаглели, каждый день уводят девочек и мальчиков в лес, насилуют их и убивают, а у нас в соседнем доме пожар! Приехала полиция, скорая, пожарные на трех больших машинах перекрыли улицу, зеваки толпятся на газоне, и белообрый 15-тилетний сын моей соседки, он иногда приезжает к ней на мопеде – в одних зеленых спорт. трусах, босиком: пожар застал его врасплох, он даже не успел одеться! И такой он красивый, ладный, с гладкой бледной кожей и волосами цвета слоновой кости, что я в момент забыл, что я в два раза уже старше него, и стал воображать, как я с ним познакомлюсь, я думаю, так же и с педофилами: видишь перед собой красоту – забываешь о времени и пространстве, и только хочешь с этой красотой соединиться, в нее войти (как в фильме Синдром Стендаля).

# ВАСИЛИЙ ЛОМАКИН

ПЕРВЫЙ СНЕГ  
*и другие стихотворения*

## **Des Knaben Wunderhorn**

1

*То не в пекле тарас рогами  
Чинит бандуру*

Страшная смерть сироты из сибери  
От диатеза  
Се, образует район обороны  
N-ский свой сектор

Смерть-сирота на картине обстрела  
Зрит и арест и расстрел самострела  
Влажные стигмы мажет зелёнкой  
Ищет и вшей там

Там и без этого зелены листья  
Бледные лица  
Но и без этого серая злится  
Брешет берсерком

Где суицид подкосил хлебореца  
Личным мотивом  
А цианид искусил офицера  
Мокрым кристаллом

2

В лесу умирает пехота  
На небе качаются бомбы  
Упала зелёная рота  
Боками на красные ромбы

Читает над ними кукушка  
Крестясь на широкие кроны  
Что элементарные избы  
Уже фрагментарной отчизны  
Есть имя и смысл обороны

... звереют на небе перуны  
Темнеют крылами Законы –  
Вы, красные миллиарды  
Зелёные зиллионы

Я только подёрну гробами  
Ударю раскрашенный шар  
И лес со своими дубами  
Порву на сверкающий пар

3

Звёзды стали лунами  
Луны стали звёздами  
Появляться на земле  
Вечерами острыми

На нерусские духи  
Под губами семечки  
Побежали холодки  
На браслете времечки

Алым слили на воду  
Утреннему времени  
Улетели на небо  
Ясным цветом семени

\* \* \*

то не адам еву мерит  
един во двух три вообразует

три-четыре извержены ваала  
четыре радуются языка света

пятая же колонна марширует  
пятка шестого ся мацерирует

не плясать чечётку богатому  
с ганнибалами и гитлерами

изступили ума гамадрильцы  
биоумирая от белого снега

самка россии цветик вертит  
дам мол своим ваней смерти

\* \* \*

европа зеркало-шпиона  
поставила по кабакам

леда разбила грудью зеркало  
а лебеди забили леду грудью

европа встала вся зеркальная  
пылая яркими стыдами

её убил отец небесный  
дымя ужасными дымами

\* \* \*

мир играет  
лютыми фитами  
и себя гоняет  
прыткими змеями

яркими херами  
клио, изобрази  
всю скуку китая  
и его еды

прошу, икни джином  
на руки и платки  
нежным триптамином  
на берегу ночной реки

\* \* \*

картины по всей стране боялись  
что бросятся в цветы плевать  
и водки проститутств

нестрашный петербург  
и роз и зебры запах

заря от края улья моря  
льда диких поселений

нищий невероятный разрыв  
башни перуна после взлома  
сожжены тоннами снарядов  
кругом дрожа горит восторг

писк алых роз в устьях ручьёв  
и алкей со слезами на глазах  
ещё курит конфеты в россии

### **Первый снег**

Выступает мраморок  
Нервная седая шмазь  
Первый снег у ног метро  
Предъявляет, матерясь

Рот ли Бог ему излил  
И новое имя дал  
И город-герой Москва  
По-пидерасьи зарыдал

\* \* \*

существует небо  
залупа пригород  
и суд

имя красивая  
птица во рту сломала  
на три буквы

мать купила и собрала  
вещи среди игл  
и крови



\* \* \*

имя пшеницы в золоте строгом  
будто сестра приказала глазами  
томным зонам

или ольховым серьгам  
новое румяное личико  
низко-серый новый ковчег

вам, г-н липов  
дали цвет и ничего не болит

веточки с рогами из камня  
тонкие и поломать камень  
проблема идолицам

алые липы смолкли  
горные корни  
емлют свой плевел

### **Закат над Пресней**

На Ходынке Хорошёвским кадеткам  
Корабли построил Кубла-хан  
Мирное солнце святым артефактам  
Ратным карьерам!

Там ли искать филиал автобазы  
Минобороны, где солдат поверг  
Валенки с галошами на синий снег?

Крокодилы (да продлит Аллах  
Их дни) и честные Верблюды  
Небесам творят раком намазы

### **Малина народной мельницы**

Сложные крепи  
Вымкнули цепи  
Ветер разнес  
Высокую виселицу  
На много мест  
...аггел вертит  
Быстрый крест

Нервный аггел  
На крепком крыле  
Трётся малиной  
На крепкие Альпы  
Нервные марли  
В Немецкой земле!

### **Ремень со шпалерами**

на язвительном ремне  
висели шпалера  
один был парабеллум  
другой как бы макар

избранники железа  
в промышленных руках  
они висят отвесно  
в отдельных кобурах  
в окно им светит небо  
блестя на старый шкаф

некрашенный солдатик  
по шкафу пробежал  
и флаг свой оловянный  
безцветный воздымал

## Красное и белое

1

Алые иришки  
на столе стоят  
белые маришки  
за окном не спят

Ночью забелела  
за окном метель  
или заскрипела  
белая постель

Села ярким цветом  
молодой зимы  
подурить глазами  
алые дымы:

*Я горю влюбиться  
на его хую  
горячо пролиться  
сердцем на струю*

Алыми огнями  
прыщет белизна  
горячо проета  
дымная жена

Изба прогорела  
говорит метель:  
ночью забеременела  
острым сердцем ель

2

Виски растворяет  
ледяные раны  
и испепеляет  
дымные стаканы

В маленьком стакане  
подурили льдинками  
в дальнем океане  
алыми иринками

Иры стали странными  
алыми дианами  
приснули алинами  
острыми полинами

Или стали фирами  
томными эфирами  
отбиваться яркими  
нежными морзянками

Потянулись странными  
голыми диванами  
с нервами и ранами

Алыми и длинными  
просвирами с дырами

3

На хрупкой шаланде  
Вёртко правя Аттис летит  
Галл набрал в море  
Полон короб красных костей  
И белый в шаланду  
Резко правя моря набрал  
Громко славя Аспида  
Белый Аттис красным шматьям  
Прямо в море молится!

## Цыганский венгр

N

Народного сеанса  
Немного плоский жанр  
Разымчивей романса  
Крапивней всех гитар  
Бросанных, пососанных  
Кожаных кифар!

Z

Первый голос на защиту мёртвым  
Им на уды кровь  
И звенят по идеальным тюрьмам  
Искры чёрных ртов

Остро прыснет кровь и может  
Быстро треснет рог  
И висят по тюрьмам и этапам  
Плётки красных ног

N

Пошукали связки защеканы  
Песни завели  
Вой организовали тараканы  
Или с кем они текли  
Первый раз Щаслив достиг Жеманны  
На другом конце земли

Щаслив с ней играет  
Профессионально  
И слегка небрежно  
От великой сдержанности  
И долгое свидание  
Летит легко и нежно  
(Она и хочет нежности)

Z

Вот, умолкли защеканы  
Хоры щипаных гитар  
И Щасливы и Жеманны  
Теребят печальный дар

## ЮЛИЯ КИСИНА

### ТАСМАНСКИЙ ВОЛК

#### Я – ВОЛК

Меня зовут С., и я присутствую на этой земле много десятилетий. За это время я всего лишь несколько лет жил в лесу – в прохладной густой чаще, где так любили охотиться мои предки. Иногда я смотрю на себя в зеркало, и мне кажется, что я окончательно превратился в человека – то есть стал средоточием всего мерзкого, жалкого, жадного и жестокого, но память о моих предках оставила во мне очаги благородства, и я лелею их, хотя человеческое времянами полностью захватывает мою душу.

Последний из моего рода, несчастный Бенджамин, умер в 1936 году в частном зоопарке австралийского города Хобарт, куда его поместил тяжело больной язвенной болезнью последний из принцев Эльвиры.

Мой предок метался по клетке, стараясь вырваться из четырех стен своего заточения, но удалось ему это, лишь когда он угодил в бесконечные и свободные поля смерти.

Все из моего рода носили костюмы в черно-белую полоску на сутолой спине. Лица с широкими скулами и немного раскосыми глазами выдавали наше родство с кошкой, опоссумом и кенгуру.

Однажды в Париже, зайдя в Музей естественной истории, я впервые увидел прерывающуюся любительскую съемку последних дней моего предка, который метался по клетке зоопарка. Тогда я впервые узнал, как называют нас люди. Имя наше – Тасманский Волк.

Я никому не рассказывал о моем открытии, боясь угодить в неволю, и тщательно скрывал свое происхождение. Многократно за поимку представителя уже не существующего, истребленного человеческой хищностью рода предлагались немалые деньги. Теперь для некоторых мы представляли только научный интерес, и выживи один из нас в прохладных лесах Тасмании, он тоже угодил бы в клетку.

Я ношу с собой эту тайну, прикрываясь человеческим обликом. Я живу среди врагов и любопытствующих ученых. Иногда мне даже кажется, что некоторые представители человеческого рода благородны и добры. Но это мое личное заблуждение. Поэтому я всегда настороже и даже во сне не могу произнести своего настоящего имени.

Почему мне пришлось путешествовать по странам и времени? На это есть лишь один ответ – на земле вряд ли найдется место, где меня или подобных мне наконец оставят в покое. Люди неистовы в своем желании истребления. В те времена, о которых пойдет речь, я скитался по свету, и меня уже в который раз занесло в Индию. Пока Европа ежилась от серого тумана, а Россия стекленела от мороза, над узким берегом Аравийского моря стояла маленькая устойчивая

луна. Именно она гипнотизировала неуправляемый магический гриб воды, в котором угасли все метафоры, и только шелковые волны настойчиво колотили в упрямый берег. По шелку этому мгновенными электрическими разрядами проносились отблески луны, и от этого мне становилось спокойно и отранно.

У животных, ведущих ночной образ жизни, таких, как мы, с луной особенная неразрывная связь. Часто, когда я находился вдали от берега, в горле моем стояла тоска по грозным азиатским муссонам, когда океан, опрокинув свой зимний покой, превращается в грохочущую стихию, разрывая любые страхи. Именно этот океан с его южными морями и соединяет берега Тасмании и Австралии с Индией. В такую пору гром воды разрывает ушные перепонки. Когда тысяча небесных кузнецов ударяет по мириадам водяных наковален, выковы-вая белые острия восторга, мы помещаемся в самое величие своего ничтоже-ства. Тогда под ударами ветра, принесенного юго-западным циклоном, кипит мозг, и даже человек превращается всего лишь в орган животного страха. Тогда на секунду он может почувствовать то, что ощущаем мы – животные. Мы говорим о таком времени: океан плодоносит фруктами страха.

Все люди – бедные бесполезные твари, бедные жалкие твари. Бедные жалкие твари еще в ноябре приползают из Европы в Азию, где бедные жалкие азиатские твари корчатся от жары. Но все они – и те, и другие – жалкие твари, и они смертны. Я же, единственный и последний из своего рода, уже давно страдаю бессмертием и временно живу в человеческом облике. Может быть, это заблуждение, но мне нравится играть с этой мыслью.

В молодости я постоянно думал о возможности убийства. Я пытался почувствовать, что испытывали те, кто истреблял человеческий и животный род. Иногда я размышлял лишь о практической стороне убийства. Например, куда я дену тело. Ведь я часто вижу тела разных никому не нужных и никем не любимых животных, брошенных на обочину дороги. Тогда мне хотелось целовать эти трупы, оказывая им последние почести.

Однажды, находясь в одном небольшом туркменском городке, я вышел на дорогу и поцеловал тело средней величины пятнистой собаки, сбитой грузовиком. Перед тем, как я поцеловал эту собаку, разумеется, я принял меры предосторожности. Я оглянулся несколько раз и, убедившись, что рядом никого нет, наклонился. Перед тем, как начать ритуал, я дал ей имя Мария. Я был убежден, что при жизни у этой собаки не было никакого имени. Но теперь имя Мария ей вполне подходило. Ведь собаки – в любом случае святые, так что в этом не было нарушения никаких конвенций. Но собак великое множество, и они – как личинки. В последний момент, сразу после поцелуя, в меня бросили камень, но это в пределах человеческой нормы, в этом нет ничего необычного, и камень бросали в меня уже не впервые.

В теле человека жить странно. Без этой, именно этой телесности, невозможно представить себе ни одну человеческую эмоцию. Тела липнут к телам, их отвращают тела, именно тела других внушают нам чувства привязанности, жалости, отвращения или страха.

Большинство людей живут как растения – в тех самых цветочных горшках, в которые когда-то было брошено зерно. Они знают о мире только понаслышке. Другие же похожи на животных, они всю жизнь ходят по миру и принимают к окружающей жизни. Растения никогда не блуждают. Иногда невидимая рука переставит цветочный горшок с подоконника в сад, и тогда в жизни человека-растения все меняется. Люди-животные всю жизнь скитаются без дома. Их собственные подошвы служат им коврами, а их цель – покрыть своими следами все континенты. Животные устроены гораздо сложнее. Они – существа высшие. Они обладают множеством глаз и ушей, органы их обоняния – веер запахов, бесконечно раскрывающаяся лента возможностей. Люди-животные скитаются до тех пор, пока не забывают о том, что такое страх.

Перед отбытием в Индию я собирался позвонить родителям и сообщить, что буду первым, кто придет осквернить их могилы, потому что с самого начала они скрывали от меня самое главное. Иногда люди отвратительно относятся к своим щенкам. К счастью, я так и не позвонил и теперь глубоко жалею об этом гнусном желании.

Я был молод, и в голове моей была путаница. В те дни я жил будто во сне, и многие события до сих пор представляются мне маловероятными. Следуя предназначению, я вел себя, как одержимый, у которого отобрали рассудок и правила.

Несмотря на то, что тело твое прошло, быть может, множество инициаций, в Азии ты по-настоящему теряешь невинность. На побережье, где я оказался, жили неприкасаемые. Обычно, вопреки отчаянию и страху, они прожигали свою жизнь в нелепой и неоправданной радости. В тот день, когда я купил блокнот, на побережье грохотали барабаны. Вихрем нищие дети пускались в пляс, ветер развевал их лохмотья, а коричневые ладошки были повернуты к небу. На их лицах через лукавые улыбки сквозило отчаяние, которое пока было всего лишь игрой. В их глазах был красный и зеленый огонь, который тревожил меня, заставляя думать о человеческой и животной праздности. Но не я пришел тогда на этот берег. Это я принес его в мешке и развернул, как скатерть. Фигурки, которые двигались по моей скатерти – были песочные человечки и собаки – катакомбные христиане.

Первым человеком, встреченным мною в деревне, была старуха в синем сари. Старуха с головой обезьяны обитала в серой лавке на обочине дороги, продавала школьные тетради. Бумага у них была серая, линейки были распечатаны криво. Лавка, в которой жила синяя старуха, была похожа на шкаф. Шкаф, стоящий на обочине пыльной дороги, был заполнен банками с серыми леденцами. Вокруг раскинулась бесконечная свалка, тянущаяся вдоль всего Индокитая и прекращающаяся лишь у берегов Тайваня.

Тогда мне хотелось записать всю свою жизнь, и я купил блокнот.

Купив блокнот, я зашел за лавку и, поглядев по сторонам, лег в грязь. Теперь, всего лишь на короткое время, я смог снова вспомнить о том, что я – тасманская сумчатая собака. Лежа среди собак в центре свалки, я вспоминал, как лежал под лавками Бангкока, как жадно сосал ноздрями пыль вперемешку



с рыбной чешуей, с каким наслаждением катался под ногами толпы, текущей прямо из ада. Но здесь, в Индии, было все по-другому: яркие конфетные обертки, земля – розовая, будто в прах подмешали румяна и пурпур. Вокруг меня сидели и лежали мои верные псы с острыми маленькими головами, такие же, как и я, бездомные твари с королевской осанкой. Ровно двенадцать псов, которые приготовились тогда к сошествию Святого Духа.

В грязи я провалялся всю ночь и встал на рассвете, чтобы позавтракать в вегетарианской столовой. В тот же день я познакомился с украинской девушкой Верой. Она представилась Евой. Ее голова была похожа на кристалл, при каждом повороте которого обнаруживалась и начинала сверкать новая грань. При вечернем освещении она становилась мягкой арабской кошкой с роскошными глазами и темным нутром. Утром глаза ее светлели, и сквозь них можно было мысленно пройти в гостиную богатого особняка, в котором она могла бы стать настоящей леди. Днем в ней просачивалась простота и грубость – следы черкасского детства, в котором цвели мальвы и тяжелые южные подсолнухи. Иногда она начинала смеяться громким вульгарным смехом. Вера была одной из, как я их называю, блокадников побережья, живущих в Индии на подачки и случайные приглашения. Она была художница, но я так ни разу и не увидел ее картин, да и к чему? Мне достаточно было взглянуть на нее, чтобы понять, что вся изысканность и сложность мира заключена в поворотах ее головы, резких или медленных – по миру на каждый градус. Глядя на ее милую и почти ослепительную улыбку, я угадывал в ней смерть и старение, бессмысленность и отчаяние.

Вечером я покинул ее навсегда, чтобы совершить свой ежедневный ритуал – обход всемирной помойки.

Тогда жизнь моя трещала по швам, ведь в ней накопилось столько жизней. Люди должны были бы возненавидеть меня за то, что я жил и живу в таких разных временах. Им кажется это странным.

И вот, я сидел в песках и записывал свою жизнь в индийский блокнот, купленный у синей женщины с головой обезьяны. Как только я выводил букву, из песчаного марева, из фата морганы расплавленного зрения опять появлялись сверкающие изящные фигурки нищих. Они шли, не касаясь земли. Они парили над песками и, в отличие от самой природы, поражали своей роскошью – золотые позументы на шароварах, колокольчики на запястьях – все эти бальные убранства нищеты – второсортные шелка, над которыми слегка покачивались маленькие черные змеиные головки с резными ноздрями и аккуратными скулами. Особенно нравилась мне одна – совсем алая, похожая на пламя из фи-тия. После того, как они проходили через меня, фигурки эти опять поглощало марево, дрожащий воздух – вибрация, которая разрушает самые устойчивые молекулы.

В блестках, в позолоте, в картоне, в фальшивках, зачехленные с ног до головы женщины в собачьих масках, мужчины в пижамах, женщины-хинду в ярких полотнах, как катушки с цветным мулине, которым вышивала моя бабушка. Все это был веселый карнавал, игра ряженых.

## ЗЕМЛЯ МАХАРАДЖИ

Свои записи я начал с описания того времени, когда начались облавы, когда нас вытаскивали из поездов, когда соседи наши предавали нас для того, чтобы разжиться остатками нашей жизни. То было время тотального истребления тилацинов. Но нас не только изгнали из Тасмании, теперь наш остров официально принадлежит Австралии. Но еще в середине прошлого века предки мои прекрасно понимали, что от нас не останется ни следов, ни имени.

В пятидесятые по всем дорогам тянулись вереницы грузовиков, которые были посланы для строительства больших ловушек. С чужим паспортом я бежал из страны, в которой родился, в надежде на спасение. Я побывал во множестве стран. Тогда я пересек Европу и в небольшом городке на севере Тосканы встретил одну молодую волчицу. В ее глазах было выражение загнанное и жалкое, но иногда мордочка расцветала счастливой улыбкой, а глаза наполнялись неописуемым счастьем, которое она носила в себе, даже не подозревая о том, что во время улыбок этих счастливое чувство распространяется повсюду, заражая людей миром, а мир цветением. Она говорила очень быстро и много. Из ее рта в мои уши обрушивались целые водопады слов и замечаний, комментариев и монологов. Любой другой сказал бы, что Лиза утомительна, но мне было все равно, потому что речь ее опутывала меня золотым туманом, и я только бесконечно смотрел на ее бледные покрасневшие от летнего солнца лапки, на ее тонкую шею и светлую прямую шерсть. В ней было очарование, которое тогда на несколько дней заставило меня забыть обо всех несчастьях. Мы бродили по холмам, пока на окраине одной из деревень она не попала в ловушку. В ушах у меня навсегда застрял ее крик. Тогда она упала в разверзшуюся землю. Вскоре после крика я услышал хруст – это тонкое тело ее переломилось надвое и застыло в темноте ямы, белое и беспомощное.

Но сейчас, по прошествии многих лет, я очень редко вспоминаю о Лизе и о ее ликвидации. И тогда я мысленно держу ее за руку и чувствую ее тепло. Тогда я говорю ей – Лиза – желтые глаза – продолжай щебетать, и я слышу, как на деревьях откликаются птицы.

С тех пор, как я вернулся сюда из Европы, впрочем, я уже не знаю, куда и когда я возвращаюсь, я, как гибнущее насекомое, все больше и больше погружаюсь в солнечный мед. И тем страшнее мне и слаще сознавать, что на моих глазах жизнь запутывается все больше и больше, затягиваясь в немислимый клубок опасностей и угроз, но глаза мои закапаны молоком бесконечности, и я буду безмятежно спать, пока меня не разбудят безжалостные пинки реальности.

Тогда по какой-то нелепой случайности я оказался на вилле махараджи Гвалиора, сэра Мадхаварао Синтия. По его словам, он слышал обо мне разные истории и пригласил меня, чтобы в его отсутствие я смог предсказать его судьбу, пользуясь лишь несколькими предметами, которые носили его предки. Это

был перстень с огромным алмазом, расшитые сандалии и нижнее белье. Все это я закапывал в песок, а потом сжигал заклинания, написанные на пальмовых листьях. Ритуалы я придумывал сам, и кому-нибудь могло бы показаться, что я жулик. Но после нескольких удачных попыток излечения, я и сам поверил в свои магические способности. Через неделю махарадже должно было присниться его будущее, и я был в этом убежден. Для меня же оно оставалось в секрете, но к чему мне было знать его жизнь?

Пока сэр Мадхаварао Синтия отсутствовал, на вилле жили несколько его гостей, о которых мне тоже было ничего не известно, кроме их имен: Лакшмиш и Лакшми. Двое – мужчина и женщина – целыми днями лежали в шезлонгах и держались за руки. Насильно загнанные в брак своими липкими индийскими традициями, супруги ненавидели друг друга. Руки этих двоих были сплетены навсегда – их срастили во время операции в одном частном английском госпитале. Они были неразлучны.

Как-то супруга позвала слугу и указала ему на ярко-синий предмет, лежащий в кустах. Слуга, уроженец Непала, с готовностью бросился к ярко-синему предмету и принес в зубах пластиковую туплю. Тогда я понял, как отвратителен и банален мир господ – на господах толстым слоем лежат румяна неотвратимой пошлости.

Вила была прекрасна: мраморные колонны, тропические цветы в расписных кадках, синяя тишина бассейна. Нет, мне было гораздо приятней лежать на траве в чужом саду рядом с пыльной улицей и наблюдать за потоками человеческих червей. К счастью, в этом мире я был всего лишь гость. Хозяева этого мира, или те, кто таковыми себя считают, глубоко заблуждаются о своем господстве – когда придет время, их трупы остынут и будут забыты, как трупы нищих, как имена путешественников и следы чужих слез. Я знал, что заглянул сюда на время, и моя прогулка по миру живущих легка и тяжела, пускай она была полна синкоп и ускорений, но в ней никогда не было ни капли пошлости. Она всегда оставалась свежей, как огуречный салат ранним апрельским утром.

Обычно я уходил на дикий пляж, выгнутый в форме «Ом», подальше от виллы. Я шел пешком. По пляжу – по этому бесконечно развернутому детскому небу – катились ветряные шары. Они распугивали человеческие личинки, которые целый день грелись под солнечными лучами. По мокрой ребристой поверхности тянулась тяжелая поземка сухого песка. Из-под ног выстреливали испуганные крабы. Береговые растения, придушенные ветром, показывали светлое исподнее своих листьев.

На вилле махараджи я пробыл недолго. Роскошь меня подавляла. Я не мог привыкнуть к заискивающим взглядам слуг и к их назойливой почтительности. Их было слишком много, этих слуг из Непала и Раджастана.

Через неделю я заказал ночное такси и уехал в Бомбей, благодаря которому реальный мир отодвинулся от меня еще дальше.

В Бомбее в меня вошла огромная говорливая толпа. Гудели клаксоны, плакали рикши. Ожиревшие от риса колченогие собаки лизали тротуары, и со всех

сторон ко мне ползли безногие дети, на лицах которых цвели заискивающие улыбки. Реальность была густа, переполнена деталями и неизлечима от жары, в ней не было ни одного зазора, и взгляд не мог отдохнуть ни на секунду. Тогда я думал о том, что эту реальность невозможно сбросить, как одежду, или сорвать, как шкуру.

В тот день жара перевалила за тридцать пять. Я попросил таксиста довезти меня до ближайшего слама и вышел в районе Акурли роад. Мне надо было очиститься от толстого слоя душевного жира, заработанного на вилле махараджи. Я знал, что лишь пройдя сквозь этот нищий район, смогу вырваться из плена блестящей скверны.

Первое, что я увидел – была демонстрация левых активистов, прибывших сюда из белого мира. Они держали плакаты с лозунгами и несли их мимо хибар. Активисты распространяли брошюры, совсем не учитывая, что люди, живущие там, не умеют читать. Жалкие идеалисты, – подумал я. Призывая спасти одних, они хотят уничтожить других. Как же часто повторялось это в человеческой истории. Зато беднота, разбуженная шумом, уже с любопытством выглядывала из трущоб. Дети, посланные родителями, выпрашивали у демонстрантов монетки, но получали лишь листовки с призывами и разочарованные возвращались в хибары.

Бесконечный слам этот прилегал к национальному парку, то есть находился в северном пригороде столицы Махараштры. В течение часа я шел по узким подобиам улиц – между трущобами была нестерпимая грязь. Помои и тряпичный мусор лежали слоями. Свет резал глаза, а запах бензина дырявил легкие. Сновавшие туда-сюда жители, сонные и испуганные, увидев меня, разбежались, и только детям приходило в голову выпрашивать у меня милостыню. Наконец в поисках тени и, устав от блужданий, я без приглашения вошел под один из навесов. Это было жилище, состоявшее из деревянных палок и выцветших покрывал. Свет еле проникал сквозь крышу из рваного целлофана. На полу, на засаленных газетах, тесно прижавшись друг к другу, в безмятежном сне лежали люди. По спинам их ползали тараканы. В углу возилась мышь. Сон обитателей трущобы был крепким, и при моем появлении никто не пошевелинулся. Тогда я сел в углу и, подложив под себя мешковину, сложил ноги по-турецки. Сколько времени я просидел, не знаю. В этом месте время не имело никакого значения. Я и сам проваливался в дрему, потом снова садился поудобней и, отмахиваясь от назойливых мух, взглядывался в спящих.

Среди них были две изможденные молодые женщины. Одна – беременна. Рядом лежали две старухи, между которыми спал пятилетний ребенок. Ближе всего ко мне, запрокинув голову, спал старик. Черные глаза его были раскрыты. На минуту мелькнула мысль, что он слепой, но в следующий момент я понял, что он мертвый.

Вскоре за палаткой послышались испуганные крики, но я продолжал сидеть и разглядывать старика, пытаюсь различить следы дыхания. Я порылся в карманах своего мешка и вытащил деньги, заработанные у махараджи. Я

наугад разделил поровну тысячные купюры и вложил их в коричневые скрюченные пальцы мертвеца. Вторую пачку я оставил себе. Таким образом, очищенный от скверны, я вышел и стал пробираться назад, но вскоре заблудился. Потом вдалеке опять раздались испуганные крики, и в них я различил индийское слово „тигр“. Я часто слышал о том, что хищники из национального парка заходят в трущобы, и решил убираться отсюда как можно скорее. На улице я успел схватить за локоть десятилетнего мальчишку и, пообещав ему награду, попросил вывести меня на улицу.

Через час я стоял на железнодорожном мосту, вцепившись пальцами в мазутные перила. Вокруг все орало и скрежетало. Рядом со мной, прямо под ногами, как коконы, завернувшись головой в тряпки, амфитеатром сидели такие же несчастные, каких я видел в трущобах, на сей раз – бездомные. Пока я пешком шел по западному Бомбею в сторону моей гостиницы в Боривали, взгляд мой спотыкался о жалкие хижины, тянущиеся до самого горизонта. Во второй половине дня солнце источало мазутный, глубоко черный свет, в котором уже ничего не было различимо. Мне стало не по себе и казалось, что обуглившиеся головы тесной толпы катятся под колеса бесконечных такси. Я терпеливо ждал, когда начнет идти белый и медленный снег, который покроет глубоким сугробом всю запутанную картину, в которой так много неприятных излишеств.

Вскоре я дошел до своего района. По обочинам дорог были все те же коконы-мумии спящих, над которыми угрожающе нависало коричневое от красной пыли небо. Вокруг в бесноватом гаме сновали носильщики с многоэтажной поклажей на хилых плечах.

Ближе к вечеру я зашел на службу в храм зороастрийцев с окаменевшим пламенем на воротах. В меня проникло их пение, извилистое и пьянящее. Я увидел очистительный огонь, и на душе моей стало спокойно.

Утром в гостинице я попросил вызвать такси, чтобы поехать в национальный парк. Ко мне вышел директор отеля в синем камзоле и стал рассыпаться в извинениях.

– Сэр, ведь сейчас небезопасно. Сегодня утром тигры напали на семью, которая жила в сламе, прилегающем к парку. Сэр, сейчас идет охота на тигров, и вас могут подстрелить.

Да, Бомбей был неправдоподобен, и смерть в нем походила на реальность. И голод, и жара – все в нем было выдумкой коричневого мага, чтобы взбудоражить заезжего простофилю.

Тогда меня огорошил весь этот оголтелый карнавал ряженных, город, в котором живут люди с лисьими головами, с головами-тыквами, головами-баклажанами, лицами, похожими на пальцы, собранные в щепотку. Теперь я знал, что он возник из цифровых фантазий, город-планета, из которого нет выхода и в котором остается одно – с нетерпением ожидать конца, когда мазутный свет навсегда погаснет.

## БЕЛЫЕ ДЬЯВОЛЫ

К полудню следующего дня я бродил между огромными солнечными зевками в пустых небесных полях, когда из поля зрения в белом зените стали исчезать ленивые пляжи. Я лежал в самолете. Именно лежал. На несколько часов я застыл в приватном джете, который прислал для меня один из самых богатых нефтяных принцев. Путь уводил меня в арабский Гольф, где шейх Рашид аль Нагиб ждал от меня исцеления его любимого олимпийского коня по имени Бербер, родственника знаменитого Годольфина.

Внутренняя обивка самолета полностью поглощала звуки мотора, и наш корабль величественно плыл среди огромного белого одеяла облаков, облаканный стеклянными шариками воздушных потоков на той высоте, с которой синяя корка земли уже была не видна. Здесь, разбросанная между бесконечных облачных перин, ждала своего часа циклопическая кладка ледяных яиц, мириады хрустальных летучих пузырей, будто отложенных на весу какими-то могучими невидимыми водяными коровами. Сам я казался себе в этом непропорционально огромном мире всего лишь зерном.

Моя кровать была из пластика со множеством кнопок. Надо сказать, что за всю свою жизнь я впервые летел в подобном джете. Его внутреннее убранство было скорее похоже на небольшой кабинет. Под ногами лежал прекрасный ковер иранской работы. На столике рядом со мной были разложены журналы «Art in America», а между иллюминаторами помещались несколько картин. Четыре – мастерски выполненные карандашом портреты самого шейха и его сыновей. На пятой было изображение пустыни и идущих по ней верблюдов. Впрочем, об этом можно было только догадываться, так как стиль, избранный художником, давал полную свободу интерпретации. Зато на противоположной от меня стене висела изящная каллиграфия.

– Это произведение шейха, – улынулась мне одна из стюардесс.

О том, что я нахожусь в небе, свидетельствовала лишь картина за окном. Нас не качало, и я решил, что самолет не такой уж и маленький, как мне показалось. Вероятно, в нем было две или три комнаты. И в тот же момент мне в голову пришла идея, что если есть корпус, кокпит и крылья, любой самолет можно начинить чем угодно. Я стал фантазировать о самолете-аквариуме, внутри которого можно было бы охотиться на рыб или нырять в поисках редких кораллов. Когда мне надоело лежать и размышлять о начинках самолетов, я встал и решил осмотреть машину.

– Сэр, чем я могу вам быть полезна?

Голос принадлежал стюардессе.

– Все в порядке. Спасибо.

Я прошелся к одной из дверей, приоткрыл ее и вошел. В лицо мне тут же ударил холод. Я успел рассмотреть лишь стол с лежащим на нем телом в белой простыне, и к горлу моему подошла тошнота.

– Туда нельзя, сэр!

Стюардесса исчезла. Послышались нервные голоса, и ко мне вышел стюард.

– Сэр, нас попросили перевезти тело недавно умершего в Бомбее друга его величества, – без тени всякой эмоции сказал он.

– О том, что вы забыли запереть дверь, его величеству я не обмолвлюсь.

Но мысль о мертвечке меня не отпускала. Неужели незапертая дверь была предупреждением? А может быть, мне только показалось, что там лежало тело. Ведь под простыней я не заметил никаких его частей!

Пока я размышлял о том, нарочно ли была открыта дверь, в иллюминаторе медленно разворачивались спирали воздушных танцоров, сахарных дервишей, прихотливо закрученных рукой огромного кондитера. Там наверху в сомнамбулической медлительности сонных церемоний белые дьяволы обретали формы и совокуплялись так долго и медленно, что на земле успевали пройти целые поколения.

Стюардесса принесла мне кока-колу и взглянула в сторону иллюминатора.

– Что я могу вам еще принести, сэр?

На минуту мне показалось, что она что-то замышляет.

Между тем, под кокпитом вдруг раскрылся северный полюс, оказавшийся таким легким, что был приподнят на головокружительную высоту. Я вспомнил, что оставил фотоаппарат в трущобах.

Теперь я глядел во все глаза и не успевал заметить все разрывы, провалы и воронки в облачной массе. В запасе у меня оставалась еще целая россыпь глаз, россыпь зрения. И вдруг мне стало страшно от сознания того, что все это может внезапно закончиться по прихоти моего гостеприимного хозяина. В какой-то спешке я раскрыл свою память, вывернул ее наизнанку и поспешно принялся заталкивать в нее увиденное, по возможности до малейших и даже излишних деталей, как человек, который вынужден немедленно убираться из дома по случаю землетрясения и который запикивает в чемодан все, что попадет под руку. «Но ведь невозможно не рассыпать все свои очи, когда глядишь в это небо», – чтобы подавить тревогу, я пытался оправдать свой зрительский аппетит.

Внизу под внезапно образовавшимся котлованом осколками красного гранита лежали черепичные крыши небольших немецких городов, снежный сахар тонкой коркой покрывал Чехию, Исландия выстреливала в небо тонкими струями подземной плазмы, а над Канадой висело северное сияние. Все это сверху было покрыто сизой пленкой тумана, кусочками самого прозрачного и белого рахат-лукума.

В глазах моих еще не остыла Индия, когда небо над Гольфом внезапно остановилось, вылиняло, и на него опустилась тьма. Теперь я летел в мировом пространстве, в котором погасли все звезды. Разве мне тогда мешала ритмичная марокканская музыка? Разве я удивился, когда вдруг где-то далеко под самолетом из влажного воздуха вынырнула неизвестная мне планета – перевернутая

луна – и поплыла рядом с железной машиной? Потом я увидел огни – сияющий звездный остров выстроенного в пустыне нового города, который постепенно стал расплзаться и вскоре занял все нижнее пространство бесконечным электрическим ковром. Теперь можно было различить медленно ползущие микроскопические автомобили, а над всем этим облака вдруг свернулись в форму конской головы, в которую медленно погрузился круглый иллюминатор.

В этот момент ликование приковало меня к стеклу, и я увидел мертвый глаз безымянной кошки – первый в моей жизни мертвый глаз.

Теперь я казался себе лишь обрубком тела, лишённого конечностей. Я отчетливо видел, как из всех моих дыр хлещет кровь, заливая пространство. Я ощущал, как она стоит плотной неподвижной стеной. Доходит до самого горизонта и окрашивает небо в багровый цвет так, что вскоре исчез и сам горизонт. Теперь я находился в кровавом яйце.

Шейх говорил со мной по телефону, и голова моя время от времени автоматически кивала. «Может быть, когда-нибудь она отвалится от этих кивков», – думал я.

## ИСТОРИЯ СЕРЕРА

Однажды несколько лет назад я проснулся в одном из тунисских оазисов и с утра решил прогуляться по Сахаре, которая начиналась прямо через дорогу. За мной шла вереница псов – нищих, вшивых и бездомных. Откуда-то из песков возникали новые псы и присоединялись к процессии. Вскоре псов этих – впрочем, как и ободранных кошек, – стало так много, что было уже невозможно назвать их число. И каких только среди них не было – и желтые, как заря, и с ребрами, как пальмовые листья, и с кишками, вылезавшими наружу, и битые, и те, из переломанных костей которых еще сочилась кровь. Все эти псы были вереницами паломников в белых повязках, совершивших хадж. Так я шел с этой толпой весь день в сторону солнца. Они молчали. Никто из них не произнес ни единого звука. Может быть, они были призраками. Этого узнать мне не довелось, но я убежден, что это были ангелы, потому что, когда я упал от жажды и бессилия, они стали восходить в небо, как по широкой огромной лестнице невидимого дворца и вступать в оранжевый зрачок солнца, который принял их на закате.



Детство свое я провел в Узбекистане, в Самарканде, куда мой дед бежал из Персии. Мой отец был ветеринаром, а мать преподавала в детской музыкальной школе, в которой было всего три ученика. Учился я прилежно и до сих пор могу сыграть вслепую любое произведение Шопена. Отец мой увлекался знахарством и учил меня врачевать. Я был убежден в том, что я потомок персов, пуштунов и русских.



Однажды моя бабка, уже тяжело больная, призвала меня к себе и плотно заперла дверь.

– Я не хочу, чтобы о наших разговорах узнали твои родители, – вполголоса сказала она, и я насторожился. – Я хочу, чтобы ты сказал мне, что ты знаешь о своих предках.

– Они жили в Афганистане. Еще они жили в Иране. И мой русский дедушка – твой муж.

– А что ты знаешь о тилацинах?

Но я не знал ничего.

– А об Австралии? Ты слышал когда-нибудь слово Тасмания?

Об Австралии я кое-что знал. Я знал, что Австралия – континент, что находится она в южном полушарии и что там живут кенгуру.

– Еще там говорят по-английски.

Разумеется, я был горд своими познаниями, но у нее это не вызвало ни малейшего восторга.

– Тащи сюда атлас мира, – сказала она.

– Но у меня есть только атлас Советского Союза.

Она принялась рыться в шкафу и вытащила из-под тряпок старую засаленную карту. Потом надела очки, раскрыла книгу на том месте, где была закладка, и ткнула в маленькое пятно рядом с Австралией.

– Это – родина твоих предков, – сказала она, – если захочешь узнать больше, поговорим завтра.

В ту ночь я и глаз не сомкнул. Австралия была очень далеко, где-то за границей. На юге тянулись бесконечные пустыни, по которым бродили куланы.

В школе я долго вглядывался в маленькое пятно на глобусе и пытался разглядеть маленьких человечков, но никого там не нашел. Сразу после уроков, сломя голову, я бросился к бабушке.

– Я хочу все знать!

Она снова плотно заперла дверь. Потом вытащила из сундука небольшую металлическую шкатулку, раскрыла ее и протянула мне фотографию. Я увидел гору полосатых трупов – животных и человеческих, – и вздрогнул.

– К сожалению, это – твои предки, – сказала она мне. – Я говорю «к сожалению», потому что с ними так поступили преступники и голодранцы, которых высылали в Австралию.

– Какие несчастные люди!

– Люди? – бабушка насмешливо на меня посмотрела. – Смотри внимательно.

Я был потрясен и растерян.

– Ты уже большой и можешь говорить с луной, как и все мы.

В этот день она начала рассказывать мне историю страны Тасмании и нашего истребления.

– Ты – тилацин, – сказала она, и я еще долго твердил это странное слово.

Она объяснила мне, что тилацин – это не человек, а сумчатый зверь. И еще больше я был потрясен ее дальнейшим рассказом.

– Мы придумали единого бога еще до евреев. Мы придумали его еще тогда, когда были единственными в своем роде сумчатыми человекотиграми. Потому что Бог в том примитивном смысле, в котором понимает его человек – продукт мысли, а имена его – суть раздора. Чтобы подавить и предать забвению наше изобретение – миф о Высшем разуме, и выдать Бога за какую-то якобы объективную, не зависимую от нашей истории реальность, нас стали уничтожать.

– Уничтожать?

– Люди никак не могут примириться с мыслью, что Бог – создание человеческого ума и что ум этот может быть божественным.

– А как же с сумчатыми животными?

Бабка спустила юбку чуть ниже живота, и я увидел на нем глубокую поперечную складку, похожую на карман. Всю ночь она рассказывала мне об именах Бога. Это никак не укладывалось в моем сознании.

– В дохристианскую эпоху за нами охотились языческие белые жрецы, потом – христиане и мусульмане. Евреям было не до нас – слишком уж они были погружены в собственные головоломки, в цифры. Ведь для них Бог – математика.

В тот вечер я узнал, что предки мои говорили на тасманском наречии палава кани и жили в мире с тасманским народом палава, пока белые духи, то есть первые пришельцы из Европы, не обратили их против нас.

Одна ветвь нашего рода в течение нескольких десятилетий, спасаясь, шла на север. За это время была пропета Священная Книга Волка. В этой книге было заключено учение о едином Боге, история нашего народа и секрет превращения в человеческое существо.

И все-таки я не совсем доверял ее рассказам. Все это было похоже на истории из другого мира, на книги. Ни в одном учебнике по биологии о тилацинах не упоминалось, и я решил прочесть школьную библиотеку. Но и там не было того, что я искал. Тогда я поведаль об этом моему лучшему другу, А., и мне показалось, что в его глазах мелькнула зависть.

На следующий день меня отчаянно били на школьном дворе, выкрикивая на разных языках слово «волк». Мне перебили ключицу, но мать отказалась от больницы, решив выходить меня сама. Она так никогда и не узнала о причинах драки, и я напрочь отказался посещать школу.

В школу я так никогда и не пошел. Зато теперь у меня была возможность целыми днями просиживать в старой голубятне и помогать на огороде. У родителей из-за меня начались неприятности, и бабушка надолго замолчала. Но однажды к вечеру она снова позвала меня к себе. Я выпросил у нее фотографию с трупами и стал расспрашивать, что же произошло с тилацинами с тех пор, как они стали петь «Священную книгу Волка».

– Мы прошли через весь австралийский континент и заключили союз с одним из племен. Это было северное племя гунвинггу. Гунвинггу обучили нас

магии. По дороге, где бы мы ни находились, нас настигали преследователи – белые черти – и убивали наших предков. Они просто были одержимы идеей истребить нас всех. Потом на рыбацких лодках те, кто остался в живых, пересекли Тиморское море и поначалу обосновались в Индонезии и на Малакке. Там, среди местного населения и красноволосях морских цыган, поклонявшихся морской черепахе, наши предки были в полной безопасности. Они делили с малайскими племенами кров, еду и Бога, в которого они все же отказывались верить. Наши языки были сходны, нравы – просты, и тилацины пели Священную книгу из поколения в поколение, пока наш язык не был утрачен. В пятнадцатом веке в поисках золота там появились португальцы, за ними пришли англичане и Ост-Индская кампания.

Как-то один из английских офицеров, желая выслужиться, вызвался построить там порт. Порт был необходим для торговли и вывоза ценностей через Малаккский пролив. В те времена весь остров состоял из непролазных джунглей, и строительство порта было почти неразрешимой задачей. Тогда он попробовал подкупить морских пиратов. Но попытка заставить их работать была тщетной. Тилацины еще надеялись, что англичане отступятся от своего плана. Англичане приказали рассыпать по густо заросшему острову пригоршни серебряных монет. Их план удался. Толпы малайцев бросились в чашу в поисках серебра. За ночь они вырубили весь лес своими длинными ножами. Так был заложен Джорджтаун. В ночь, когда исчезли джунгли – исчезла наша свобода.

У нас опять не было дома, и жизнь снова была под угрозой. Тогда через Таиланд мы пошли еще дальше. По дороге один из нас повстречал одноглазого белого человека из далекой Европы по имени Серер. Он не верил ни в одного бога и был пиратом. На удивление, Серер не предал нас, а испытывал к нам интерес и симпатию. История его жизни была необыкновенна. Серер побывал во многих странах и говорил на пяти или шести языках. До того, как он попал в Азию, последним местом его пребывания было анархистское пиратское государство Либерталия на севере Мадагаскара. Он рассказывал, что предчувствовал книгу и провел в ее поисках много лет. По его совету и с его помощью книга Волка была трижды записана на трех языках: на испанском, английском и тагальском, перевод на который был сделан одним филиппинским странником-аэтом. После смерти Серера книги берегли. В память о нем Писание стали называть книгой Серера. Тогда же было решено, что во избежание утраты знания, хранители книг пойдут в трех разных направлениях. Один из них должен был затеряться в Индии, другой – двинуться в страны Магриба, о богатствах которых до нас доходили чудесные истории, а третий решил идти в Китай. По плану третья книга должна была оказаться на далеком севере, в стране, заросшей лесами и покрытой белой пылью – так называли мы снег. Вскоре путь третьего хранителя затерялся. С книгой, оставшейся в Индии, произошло несчастье. Недалеко от индийского городка Маргаона хранитель был схвачен, и книга была сожжена сторонниками португальских миссионеров и Святого Франциска, которые считали нас злейшими врагами христианства. Это было тем более обидно, потому что тогда еще мы и слыхом не слыхивали об этой

религии. Многие из нас в человеческом обличье дошли до самой Сибири, их кожа становилась все светлее и светлее.

Все, что рассказывала мне бабушка в ту ночь, было еще более странно, но я слушал ее с открытым ртом, и каждое слово запечатлелось в моей памяти. История тилацинов была так далека от меня и так не похожа на нашу реальную жизнь, что поначалу я решил, что даже будь это враньем, я все равно навсегда останусь тилацином.

Бабушка продолжала, и, хотя мы говорили всю ночь, я ни на секунду не захотел уснуть, настолько был возбужден услышанным.

На следующий день, когда я вышел на улицу, я понял, что реальность, окружавшая меня, безвозвратно потеряна. Завязывая шнурки на ботинках, я обратил внимание, что пальцы будто не слушаются меня, и решил, что руки мои находятся где-то в далеком лесу, в самой густой и непролазной чаще. На минуту я даже ощутил ее свежесть.

В тот странный день, желая проверить свои ощущения, я пошел на базар и долго стоял перед чистильщиком обуви, который всякий раз тщательно выбирал нужную щетку, когда перед ним садился новый советский господин, а потом дышал на эти щетки и на черные блестящие чужие туфли, будто Создатель, желающий оживить творение своих рук. В тот день я понял, что я другой, чем они все, что я изгнанник, у которого открылось второе зрение, и что за это мне придется дорого заплатить.

Через неделю мать выгнали с работы. Отец решил, что пора нам перебраться в другое место. Тогда я не понимал, что происходило со взрослыми, но вскоре большая толпа пришла к нашему дому, люди молча стали швырять камни и разбили все окна.

И вот бабушка в последний раз позвала меня к себе и, заложив выбитое стекло фанерой, сказала.

– Я должна до конца рассказать тебе эту историю, хотя история бесконечна.

В ту последнюю ночь она рассказала мне, что еще одна уцелевшая ветвь рода долго жила в лесах Тасмании.

Я был в восторге. Мне хотелось немедленно сбежать из дома и отправиться в Тасманию. Я мечтал пересечь все пустыни и устроиться юнгой на военный корабль, но бабушка остановила меня.

– Тогда в Тасмании нам объявили войну. Больше там никого нет. В середине девятнадцатого века вышел официальный указ о нашем истреблении. Поначалу тех, кто остался на острове, выгнали в горные леса, а ведь наши охотничьи навыки подходили только для равнины. Многие стали гибнуть от голода. Говорят, что оставшихся тилацинов уничтожали местные фермеры за то, что они воровали овец и домашнюю птицу. Предки наши нападали даже на динго, ведь мы им не братья. За голову одного волка, или, как нас еще называли – тигра, – австралийские власти давали немалое вознаграждение. Но на самом деле нас истребляли задолго до этого за магию и за свойство превращаться в людей.

Вокруг нашего рода ходило множество ужасных и неправдоподобных слухов. Говорили, что мы пьем кровь христианских младенцев и сидим в советах крупнейших банков. Нас путали с масонами и иллюминатами. И чего только нам не приписывали! Те, что остались в холодной Тасмании, были самые настоящие сумчатые лисицы. Многие из них по слухам стали оборотнями. Мы же – маги.

В ту ночь бабушка отвела меня в священное место на окраине Самарканда. Это был небольшой пустырь, заваленный промышленным ломом. Над нами стояла полная луна, и я впервые почувствовал потребность завывать.

– Вой, тилацин, отдайся этому вою, – бабушка ласково потрепала меня по голове, – это вой-посвящение, вой-плач. Это гарантия того, что ты никогда не забудешь, кто ты такой. Когда ты вырастешь, один из последних, ты найдешь Священную книгу Волка и те, кто затерян в мире, смогут обрести родину. Но никогда не забывай, что ты – животное.

С этой поры фантазию мою подогревало все, что попадалось мне на глаза. Там, где мы жили, бродили стаи диких собак. Поэтому на следующее утро я пошел на пустырь и стал глядеть в глаза каждого шелудивого пса. Несмотря на то, что генетически мы не были связаны, я чувствовал с ними неразрывное родство. Вскоре мне показалось, что я начал понимать язык собак – безмолвный, он проходил сквозь меня, как электричество проходит по проводам, и сообщения оставались в самом моем нутре. Так я часами бродил по улицам, будто заново родился, и мир вдруг предстал передо мной во всем своем таинственном и прихотливом объеме.

Как-то вечером, как мне показалось, настал час, когда я снова превратился в волка, а утром, с наступлением рассвета, меня нашли без сознания два милиционера и привели домой.

– У вашего ребенка алкогольное отравление, – сообщили они родителям. В голову им и не могло прийти что-либо другое.

Мне было тогда тринадцать лет.

Вскоре бабушка умерла. Может быть, она предчувствовала скорую кончину и поэтому поторопилась рассказать мне историю тилацинов. Мать говорила, что когда тело ее обмывали, на спине у нее были странные темные полосы, как у бобра.

Вскоре мы переехали в большой и шумный Ташкент, забрав с собой лишь несколько книг, одеяла и пианино, и я пошел в новую школу. Там я держался ото всех в стороне. Вскоре я вышел в первые ученики, но вовсе не потому, что был тщеславен. Теперь знание вливалось в меня, хотел я этого или нет. Я знал, что никогда и никому не раскрою своего секрета.

К восемнадцати годам я покинул родителей, пообещав им, что займусь учебой, и решил двигаться на перекладных в северо-западном направлении. Я оказалась на Кавказе в городе Батуми и стал учиться у ветеринара, помогая ему во всем. За это он предоставил мне небольшую комнату, а его жена

кормила меня, не требуя никакой оплаты. К тому времени я уже понимал, что живем мы на этом свете совсем не для будущего и, быть может, даже не ради прошлого. Я решил жить так, чтобы не навредить этому будущему – чужому и далекому.

Тогда, в шестидесятые годы, я понял, что посвящу жизнь поискам рукописи Серера, переписанной «Священной книге Волка». Я решил вернуться в Среднюю Азию и переехал в Ашхабад. Чтобы продержаться на плаву, я брался за любую работу. Я давал частные уроки музыки, работал на заводе и подрабатывал грузчиком. Иногда я лечил людей и животных и мечтал вырваться из страны. Там мне удалось купить иранский паспорт. Потом через хребет Копетдаг вместе с тремя другими беглецами я перешел иранскую границу. Я не буду подробно описывать все мои тогдашние передвижения и бедствия, которые в молодости представляются приключениями, но, в конце концов, через Турцию и Грецию я попал в Египет, точнее – в Порт-Саид.

В первый же день, глядя на этот город, я содрогнулся от хлынувшего на меня потока безудержной красоты, которая разрезала меня на две половины – на небо и землю.

Поиски я начал с библиотек. Мне посоветовали съездить в Александрию. Еще несколько месяцев я прилежно изучал арабский и наверняка застрял бы там надолго, если бы не одна встреча.

– Вы удивительно похожи на моего покойного мужа.

Передо мной стояла осунувшаяся пожилая женщина. Мое случайное сходство с ее мужем заставило нас разговориться. Малика, так ее звали, была журналисткой с прекрасным французским образованием и в молодости увлекалась колониальной историей. В разговоре она случайно упомянула Океанию и Тасманию, и меня это насторожило.

– Хотите, я разложу вам карты таро?

Я не верил в карты, и в первый момент ее предложение смутило меня.

– Хочу.

– Приходите завтра.

На клочке газеты она написала мне свой адрес.

Вечером того же дня в другой книжной лавке я случайно увидел в довоенном немецком журнале жаркие призывы к истреблению тилацинов. Тогда во мне родился ужас, который долго не отпускал меня и до сих пор ходит за мной по пятам, хватая за горло.

Я с нетерпением ждал встречи с Маликой. Мне хотелось расспросить ее, знает ли она что-нибудь о Книге Волка, той самой рукописи, которая когда-то была отправлена в арабский мир. Разумеется, надежда моя зиждилась на совершенно абсурдном убеждении, что так или иначе следы книги сами должны всплыть в течение моего путешествия.

В Порт-Саиде так же, как и во всей северной Африке и на всем востоке, рассыпаны мастерские, в которых ткут ковры. Прялки, которые используют там, используют и у нас в Средней Азии, поэтому я никогда не старался рассмотреть их внимательно. Но на следующий день, по дороге к моей новой знакомой, в небольшой лавочке с низким потолком и с парящим под ним вентилятором величиной с огромную птицу я обратил внимание на ткачих. Женщины сидели за прялками и перебирали натянутые нити, как могли бы перебирать струны арфа. На минуту во мне расцвел небывалый восторг, и я понял, что голос ковровых нитей был слышен только мне одному.

Вскоре я появился в особняке Малики. Прихожая была увешана картинами с изображениями парусников и верблюдов. Навстречу мне вышла молодая служанка и, сославшись на недомогание хозяйки, протянула записку.

«Книга, которую вы ищете, может быть, находится в восточном Алжире. Когда-то там была небольшая колония беженцев из Малайзии. Попытайте счастья там».

Тут же стояло имя деревни. Я не стал настаивать на следующей встрече и тут же решил отправиться в путь. Меня мучил лишь вопрос, откуда старая женщина узнала о моей цели. Может быть, сходство с покойным мужем говорило о том, что он и сам был тилацином и происходил из алжирской общины.

Встреченный на базаре погонщик верблюдов послал меня к некоему Абдалле, который за небольшое вознаграждение вызвался переправить меня в Алжир. Мы выехали на старом джипе и после долгого и изнурительного пути были вознаграждены дорогой у моря. Через несколько часов езды я попросил Абдаллу остановиться, и мы долго сидели на песке, молча вглядываясь в темную синеву Средиземного моря, много столетий диктовавшего судьбу Европы. Именно здесь на берегу я почувствовал, как сквозь меня шагнуло время. Я захотел его поймать. Тогда понял, что такое безвозвратность.

Абдалла сидел рядом и курил. Море наматывало или разматывало свои катушки у самого берега, и каждый, обладающий хоть каплей воображения, понимал, что попал на ткацкую фабрику. Если внимательно присмотреться – становилось ясно, что все это огромное водяное пространство, весь этот мыслящий гриб состоит из тончайших водяных нитей. И на сей раз я слышал звуки невидимых прялок. Над морем плыл мыльный туман. Крошащаяся пена уходила в песок, и на побережье царил резкий запах прачечной. Я заметил, что в песке копошится множество мелких зверей, и удивлялся разнообразию жизненных форм, каждая из которых утверждает себя в мелкой и напыщенной суеде, и все они до мозга щупалец и костей убеждены, что живут единственно правильной жизнью.

На ночлег мы попросились к дочери слепого старика в развалюхе, стоявшей на самом краю деревни. Всю ночь старик кашлял, стонал и сморкался, не давая мне уснуть.

На рассвете меня разбудила песня муэдзина, а спустя несколько часов сын старика вытолкал меня на улицу. Он в панике указывал на небольшой холм, находившийся неподалеку от развалюхи. Когда я подошел к холму, мне открылось чрезвычайно неприятное зрелище – вся деревня сбежалась посмотреть на человека, который был прибит гвоздями к деревянному электрическому столбу. Вокруг тела летали мухи. Вместо головы к плечам была привязана проволокой голова козла с загнутыми рогами, слишком маленькая для тела повешенного.

Албанский шлем!

Я видел это всего одну секунду, потому что зажмурился и гнал от себя подробности, чтобы не провалиться в опьяняющий омут страха, но какая-то неодолимая сила тянула меня за веки. Мне пришлось раскрыть глаза и оглядеться. Толпа стояла и молча пялилась на труп, потом переводила взгляды на меня. Я увидел руки мертвеца, и они показались мне до боли знакомыми. Из чужаков здесь был только я.

В толпе стояло множество детей, в их взглядах я прочитал колющее возбуждение. Мне тут же захотелось броситься к ним и прикрыть им глаза, но я вовремя опомнился, потому что никто из взрослых не попытался этого сделать. Наоборот – детишек стали подталкивать вперед, указывая пальцами на козлиную голову. В этот момент кто-то бросил камень в большую черную бездомную собаку. Камень попал ей между глаз. Собака заскулила так, что у меня задрожали внутренности. Я уже хотел было броситься на мужчину, который швырнул камень, когда вдруг понял, что в новых утренних обстоятельствах лучше помалкивать. С визгами и дикими криками толпа ринулась мне навстречу.

Меня наверное бы растерзали, если бы в этот момент над пальмами не послышался рев и тень вертолета не покрыла бы злополучный холм. Люди бросились врассыпную. Полицейский вертолет покружил над электрическим столбом, на минуту завис и невозмутимо улетел.

Оставшись рядом с повешенным на площади, я старался уже не смотреть на него, а наоборот смотрел на собаку, и мы вдвоем как будто составляли безмолвный треугольник - я, повешенный и пес. Потом я услышал, как закрываются деревянные ставни домов, захлопываются двери, и селение затаило дыхание. Я подозревал дрожащего всем телом пса, но тот жался к земле. Я опять, как тогда в детстве, вообразил, что знаю язык животных, и мысленно приказал ему не ведать страха. Дрожь в его теле прекратилась. Темные глаза посмотрели на меня так, будто изучили и увидели меня изнутри и до самого дна. Потом я сделал шаг и протянул руку с носовым платком, чтобы смахнуть с морды кровь.

Немного успокоившись, я двинулся к дому, в котором провел ночь. Собака шла за мной. Я заметил, что мой добрый водитель, Абдалла, стоит в стороне. Он был смертельно напуган. Я пообещал ему большой бакшиш, если он немедленно вывезет меня из этой дыры. Поначалу он отказывался, ссылаясь на то, в собаку вселился дьявол и что она животное нечистое. Тогда мне пришлось удвоить и без того высокую оплату. При виде денег все его суеверия немедленно развеялись.



По дороге Абдалла не произнес ни единого слова и довез меня и моего нового друга до ливийской границы. Мы с псом отправились дальше пешком. У него не было имени, и я называл его просто Собака.

На мое удивление рана на голове у моего пса прошла невероятно быстро. Он тоже научился выражать свои желания и был глубоко мне благодарен за ошейник с зеленым корундом, за ласку и пищу, которую я ему предоставил. Тогда я еще не знал, кто был повешенный. Позже из письма матери я узнал, что это был мой отец, искавший меня во всех странах Магриба и повешенный как пришелец. Это было ее последнее письмо.

В эти беспокойные дни в деревнях патрулировали полицейские, и мы чудом не попали в их лапы. Спустя неделю я узнал о государственном перевороте и впервые услышал имя Каддафи. Мне приходилось платить налево и направо. С Собакой я был особенно нежеланным гостем, и меня обирали везде, где возможно.

Я собирался уехать в Триполи, хотя, возможно, это был не самый благоприятный момент. Зато, благодаря оцеплению, в течение нескольких дней я мог спокойно бродить у моря и глядеть, как крабы выбрасывают из нор песочные мячи.

Как-то на пляже появились полицейские, и, чтобы не привлекать внимания, я решил присоединиться к сидящему на песке подростку. Когда я подошел ближе, он широко улыбнулся и крикнул мне английское слово «деньги». Когда я сел рядом, он принялся с хохотом брить безволосую ногу осколком зеркала, в котором с каждым движением мелькало белое солнце.

Вот уже несколько дней я ловил себя на мысли о том, что лихорадочно думаю о создании системы или учения. Вначале оно было всего лишь неясным пятном. Потом обрело форму возможной религии. Религий в этом мире множество, и в создании еще одного учения не было бы ничего предосудительного. Разумеется, туда были бы включены десять заповедей с небольшими изменениями. Моя новая религия должна была посвящаться животным, сопутствующим человеку. Но не в том смысле, когда каждое племя истязает своих тотемных животных и, в конце концов, их пожирает. Когда-то на меня большое впечатление произвела одна английская книга. Называлась она „Золотая ветвь“, и в ней излагались первобытные нравы. Но в книге этой были описаны неисчислимые жестокости человека по отношению к тем, кого он боготворил. Конечно, мне всегда импонировал запрет на поедание свиного и коровьего мяса у тех народов, которые с уважением относились к свинье, и тех, у кого корова считалась священной. В моей религии был бы абсолютный запрет на поглощение любого мяса. Особое внимание следовало обратить на способность животных любить и выживать. Главную роль в моей новой религии должны были играть собаки и тилацины, а люди, собравшиеся на церемонии, носили бы их маски и после проповедей о добросердечии к человеческому и звериному роду, они могли бы возносить Богу Луны песнопения, напоминающие собачий лай.

Я думал и об устройении храма и, в конце концов, решил, что украсить его смогут лишь неприхотливые газетные вырезки. Разумеется, я не собирался устанавливать в храме памятники растерзанным животным или скульптуры распятых собак, а тем более носить на теле орудия их пыток, подобно тому, как христиане носят на шее крест. Я хотел, как только смогу разбогатеть, построить мой храм. В какой стране он должен был находиться, я еще не знал. В мусульманских странах это было бы немыслимо, потому что меня тут же растерзали бы фанатики всех мастей. Храм, который я собирался возвести, должен был посвящаться не только собакам. Именно потому, что собака считалась у некоторых народов нечистым животным, мне хотелось ее реабилитировать.

В те дни я думал и о моем народе, о тасманском волке, и обо всех брошенных и не имеющих родины. Разумеется, лучшее место для возведения такого храма была сама Тасмания, но она была далеко, и все больше казалась мне призрачной страной, затерявшейся у самого Южного полюса. С другой стороны, какой бы смысл имело возведение храма там, где стояли непроходимые леса, кто бы приходил в этот храм? Утконосы? Тасманские дьяволы? Грызунцы? Туристы? Я решил, что выбор места подскажет мне само путешествие. И я напряженно думал о Храме Псов, преданных и загнанных, никогда не помышляющих ни о наживе, ни о выгоде, псов, которые были только вечными рабами любви и ее бескомпромиссными машинами.

Благодаря помощи погонщика верблюдов через неделю пути мы прибыли в Триполи. На самом деле я действовал наугад, и меня несло куда-то, быть может, совсем в неправильную сторону. Иногда я думал, что Священная книга Серера – это и есть мое мучительное путешествие, и что, записывая свои скитания, я когда-нибудь обрету ключ к утерянным секретам.

Во снах моих все чаще и чаще появлялся сутулый незнакомец, которого я стал мысленно называть Серером. Лицо его было наполовину скрыто широкополой шляпой, в руке был хлыст. Даже во сне я пытался тщательней разглядеть его лицо и, засыпая, молил посланника сновидений пригласить его на встречу со мной еще раз. Посланник или, как я его называл, конструктор сновидений, соглашался. Обычно я видел этого усталого человека в каком-то пустом, даже разбитом городе, в серой дымке тумана. Я узнавал его фигуру, шляпу и хлыст среди руин, и неизменно он направлялся в мою сторону. Город, в котором мы встречались в моих снах, был разрушен не войной, в этом я был убежден. В нем не было ни одного дерева; быть может, всю растительность спалила жара, но, как обычно, во сне я не испытывал ни жары, ни холода. Что-то говорило мне о том, что жители однажды оставили это место, решив переселиться в другую страну. В этом городе был всего один житель – сам Серер.

Обычно, подойдя ближе, он останавливался на некотором от меня расстоянии и не говорил ни слова, даже когда я первым заговаривал с ним. Быть может, он хотел, чтобы я сам разгадал загадку его рукописи. Там, вдали от суеты нашего мира, Серер был одинок, как был одинок и я в мире этом.

Вместе с безумным американцем, за месяц до нашей встречи рискованным пересечь ливийскую пустыню на джипе, я приехал в Александрию, европейскую столицу Египта. Здесь мы расстались.

Теперь у меня была возможность порыться в библиотеках. За небольшие деньги я снял никудышную гостиницу. Пока я копался в книгах, Собака ежедневно ожидала меня в гостинице. Но надежда разузнать о тилацинах что-нибудь новое постепенно гасла. Через неделю бесплодных поисков ощущение, что все происходящее имеет ко мне непосредственное отношение, стало вдруг невыносимым. Я был бессилён, как в тот раз, когда решил, что желания мои здесь, а руки – в лесу. Я стал бесконечно мучить себя вопросом о целесообразности моего предприятия, которое становилось изо дня в день все более эфемерным. Днём я засыпал над пыльными страницами антропологических или этнографических трудов об Океании, а по ночам земная кора сдвигалась и ползла куда-то вниз, огорошивая меня возбуждением вещей и звуков. В конце концов, мне уже казалось, что здесь все дрожит, изнемогает и хохочет надо мной вопреки моему желанию.

Так проходили недели. Вскоре я увлекся историей пиратства. Ни в одной книге я не нашел имени Серера, хотя отыскал множество трудов о пиратах и книги об анархистской республике на Мадагаскаре.

Иногда мне казалось, что в ту далекую ночь, когда моя бабушка в Самарканде призвала меня к себе, я просто бредил. Может быть, никаких сумчатых человекотигров с полосками на спине и не было на свете? Может быть, она обманула меня? Ведь во многих источниках сообщалось, что тилацины были всего лишь животными и к человеческой природе никакого отношения не имеют.

Как-то, стоя на крикливом перекрестке и перебирая в голове причины отчаяния, я наткнулся взглядом на соломенную шляпку. Под шляпкой оказалось миловидное лицо. Будто мы всю жизнь шли к этому перекрестку для того, чтобы заговорить. Мы с Еленой, так ее звали, остановились, чтобы стряхнуть жару. Она протянула мне платок. Я ей – руку.

Так мне посчастливилось попасть в частную библиотеку покойного шведского дипломата Фридрихссона, дочь которого надолго застряла в Египте. Не вылезая из надушенной постели Елены, я за неделю прочел внушительный труд Джона Энвера об истории Тасмании и о завоевании Австралии. Там упоминались гунвингу, пиррары, туги, томмегиннеры и другие племена, некогда кочевавшие по Тасмании, но ни одного слова о нашем племени не было. Елена принимала меня за чудака-ученого, который собирается написать книгу. Но я не мог раскрыть ей истинную цель моих изысканий. К тому же в этом не было особого заблуждения, потому что я и был в поисках книги. Глядя в ее чуткие светлые глаза, я мысленно переносился на европейский север, где я никогда не был, и думал о том, что ключ к моей загадке мог находиться где угодно. Быть может, мне следовало отправиться в Лондон, в Музей естественной истории, в котором были погребены кости моих предков, еще со времен доктора сэра Ханса Слоуна выставленные на потеху любопытствующим. Я и прежде знал, что народы Австралии и Океании истреблялись и в целях научных – тогда из

них делали чучела с благословения Королевского Географического общества. Это все никак не укладывалось в моей голове. Я повсюду видел чучела. Чучела людей сидели рядом со мной в библиотеках, мумии, застывшие над книгами – прах над прахом. Я долго смотрел на блеклую фотографию последней из рода тасманских аборигенов Фанни Кокрейн Смит. Ничего в лице этой пожилой женщины в английском платье домохозяйки не говорило мне о сходстве с животным. Лицо, которое я видел, было совсем чужим.

Как-то вечером, гуляя в сопровождении моего четвероногого друга по набережной и продолжая напряженно думать о человеке по имени Серер, я решил, что все это выдумка и бред больного воображения и что нужно немедленно прекратить поиски сомнительной книги. Наверное, я смог бы найти себе подходящее занятие, приносящее небольшие деньги, и осесть в Александрии. К тому времени все книги в библиотеке Елены, которые могли меня заинтересовать, были прочитаны, как, впрочем, и сама Елена. К моему горлу постепенно подступала пустота, которая возникает, когда у человека отобрана цель.

В тот вечер, прихватив с собой Собаку, я отправился в место, о котором жители Александрии предпочитали вслух не говорить. Это был притон для европейцев, которые никак не могли отчалить от африканского берега, пришвартованные к диванам и подушкам опиумными парами. Сколько времени я провел там, даже теперь сказать довольно трудно, но в бреде мне опять являлся Серер. Он просто приходил ко мне в гости, будто этот притон был моим собственным домом. Серер садился на подушки, раскуривал трубку, и мы говорили об Индокитае.

Когда не без помощи заплаканной Елены, разыскавшей меня здесь, чтобы обвинить в легкомыслии, мне удалось выйти из опиумного тумана, я решил, что продолжу свои поиски. Сведения о моем эфемерном посетителе, то есть о Серере, я смог бы почерпнуть в Таиланде, там, где он провел последние годы жизни. Но ведь я не смог бы понять ни единой буквы на тамошних языках. Зато мне казалось, что окажись я там, я лучше бы понял самого Серера. С другой стороны, можно было отправиться на Мадагаскар к берегам Африки. Планета была обширна, и дороги ее были неисчислимы.

Спустя несколько дней после моего решения я покинул Александрию, а в ней и мою безутешную Елену прекрасную. Двигаясь на юго-восток, мы с Собакой оказались в Каире, чтобы оттуда лететь в Азию.

Каир! Это один из самых ужасных, великих и одновременно прекрасных городов, в которых мне приходилось бывать. В бесконечной жаре я постоянно восхищался тем, что здесь царит вечное лето, и с улыбкой думал о тех, кто никогда не бывал на севере. Они не знали весны, хрупкости, трепетания, замиранья в прохладе, острого, почти болезненного предчувствия счастья, не знали скольжения по лезвиям радости, не знали неуловимого, почти невозможного восторга, который пятнами проваливается в воздух, не знали колкой тревожной нежности весенних сумерек. Они не ведали и осени, не помнили

прохладного запаха гниющей листвы под сараем, черного запаха, переходящего в рыжую пыль, запаха прелого, увядшего в детство.

В первый же вечер, пока я ел в дешевом ресторане, а друг мой поджидал меня снаружи, я услышал на улице визг. Я не ошибся – это был голос Собаки. Я выскочил наружу. Мой пес, с разрезанным и кровоточащим ухом жался к земле, и я тщетно искал мерзавца. Вокруг нас уже собралась толпа. Люди смеялись и указывали на рану. Когда я вернулся в ресторан, чтобы забрать свой старый кожаный портфель – его не было. Это была хитрая уловка местных профессионалов, обрабатывающих иностранцев. Теперь у меня не было ни денег, ни паспорта. Положение мое было отчаянным.

Тем же вечером, шагая в неизвестном направлении, я вдруг увидел настоящий Каир: на земле сидели прокаженные, слепые, безногие. Под ногами все крошилось и ползало. Поперек дороги, поперек тесного потока людей бродили кошки с переломанными конечностями. В вечернем воздухе пахло жареным, а толпы горячих людей проваливались в бесконечные торговые ряды.

Единственное место, куда мы могли пойти на ночлег, и о котором я часто слышал ужасные истории, как о самом дне человеческой цивилизации – было огромное старое кладбище у горы Мукаттам, прозванное Городом Мертвых.

На закате мы подошли к Городу Мертвых, заселенному городской беднотой. Уже несколько веков здесь никого не хоронили, и огромный район мертвецов врезался в жилые постройки. Передо мной открылось странное зрелище. Прямо у стен кладбища валялись разбитые автомобили и горы мусора. Бесконечная стена шла вдоль проезжей части, на которой ревуший транспорт, казалось, пожирал раскаленный асфальт. Сам Город Мертвых состоял из отдельных отсеков-квартир и совсем не был похож на те кладбища, видеть которые я привык. Над многими склепами были сооружены крыши, за ними возвышались острия мечетей.

Мы долго шли вдоль желтой кирпичной стены, следуя за тележкой с мулом. Потом в стене открылся вход – просто небольшой проем. Мы вошли. Мимо нас прошли двое мужчин в белоснежных одеждах, таких же, как и у меня. С тех пор, как я оказался в арабском мире, я не снимал и головную повязку. Люди, встреченные мной в самозваном Аиде, не слишком походили на мертвецов. Здесь не было духа скорби, потому что смерть была всего лишь фантомом на рынке человеческого тщеславия, а для бедняков – освобождением от отчаяния. Больше всего поражал контраст с тем, настоящим другим Каиром, который принадлежал миру живых. Именно тут я снова вспомнил Елену, а вспомнив, рассудил, что хорошо, что ее нет рядом и что место, в которое я попал, вовсе не для нее. Вдруг мне в голову пришла идея о том, что Одиссеей тоже спускался в ад. Но был ли я действительно в аду?

Меня остановила пожилая женщина.

– У вас не будет закурить?

В ответ я горько развел руками. На языке вертелся вопрос:

– Не найдется ли здесь свободной могилы?

Женщина хрипло расхохоталась и махнула рукой.

Поначалу я никак не мог найти свободного склепа, в котором смог бы растянуться на ночь. Везде копошились люди, звенели кастрюлями, перекрикивались подростки. В длинных песчаных проходах мальчишки играли в футбол. Над высокими кирпичными надгробиями были протянуты веревки со свежим бельем. Пока я шел по узкому коридору между захоронениями, я видел, как опускаются засовы на дверях склепов. Глядя на это мирное поселение, я решил, что даже среди мертвецов мне вряд ли найдется место.

– Это твоя собака? – спросил меня какой-то голодранец, когда я потерял всякую надежду найти себе угол.

Мой арабский был довольно корявым.

– Собака – мой брат.

Это его невероятно рассмешило. Тогда я попросил Собаку сосчитать до шести, и Собака пролаяла шесть раз. Потом она проделала и другие несложные трюки. Рахман, так его звали, несмотря на свою убогую жизнь, светился бодростью и здоровьем. Услышав о том, что меня ограбили, он вызвался провести нас до незаселенных могил. Шли мы долго. По дороге Рахман рассказывал, что в последние годы свободных мест почти не осталось.

– Тут за свободные склепы дерутся и дают взятки. Люди, которые торгуют могилами, уже стали миллионерами.

Навстречу нам прошли смеющиеся ребяташки. Казалось, здесь гораздо меньше напряжения, чем в тех районах, где люди живут нормальной жизнью. Когда стемнело, в некоторых склепах зажгли электричество, а за стеной зазвучали протяжные звуки зурны. Наконец мы дошли до самой окраины Города Мертвых. Здесь было гораздо больше народу, теснее. Стены склепов были разбиты. На земле у костров кучками сидели люди и бесконечно говорили. Многие играли в нарды и то и дело смеялись. Кое-кто уже улегся на ночлег, устроившись у могил, и только отблески костра разливали вокруг мирный и теплый свет. Мое появление вызвало минутную тишину. Завидев Рахмана и приветствуя его, мужчины загудели опять.

– Не трогайте этого человека. Он – мой друг, а эта собака – его брат, – весело провозгласил Рахман.

Толпа хрипло загоготала.

Меня пригласили к огню и угостили хлебом с финиками и маслинами, дали выпить нечистой воды, и я разделил хлеб с Собакой. Я почти ничего не понимал из разговора и уселся с мужчинами играть в нарды. Вскоре все стали укладываться у стен. Костер догорал, и только отдельные тени еще скользили в потемках. От усталости и дневных впечатлений я тут же уснул, обняв моего верного пса. Его дыхание меня успокоило, и всю ночь мне снились блуждающие в пустынях сфинксы.

В каком или, скорее, в чьем сне я находился, я не знал, но был абсолютно убежден в том, что вся жизнь наша проходит в охоте на сны. Богатые охотят-

ся на блестящие будоражащие сновидения, в которых плещутся запахи излишеств, молодые женщины видят себя в облике соблазнительных русалок, поэты ищут сны о неуловимом, но все мы – ловцы снов, осознаем мы это или нет. Когда нам удастся поймать какой-нибудь сон, даже чужой, вычитанный в книге или пересказанный свидетелем – нам на секунду может показаться, что этот миг мы прожили со смыслом, потому что сами не делаем усилий для изобретения этого смысла.

Я проснулся на рассвете, в тот час, когда живые еще не вступили в свои права. Было зябко. Первая мысль, которая пришла мне в голову: где раздобыть денег. Воровать я не умел, да и не мог себе позволить. На милостыне далеко не уедешь. Мне хотелось любой ценой вырваться из этого города, чтобы отправиться дальше на восток. Со вчерашнего дня это стало далекой мечтой. Я умел врачевать. Я умел править кости, но в таком плачевном положении не мог использовать свои знания. Вокруг уже неслись автомобили, а я все шел и шел вдоль стены, ощущая спиной дыхание моего зверя. Впереди я заметил тележку, груженную фруктами, и так пристально стал рассматривать яблоки, что хозяин тележки, человек с темным небритым лицом, в конце концов, протянул мне одно. Тогда я сел под стеной кладбища и решил, что только случай выведет меня отсюда. Я догрыз яблоко, собака облизала мне лицо и села в стороне. Кто-то бросил мне пару монет, и я остался в одиночестве. Вскоре вдалеке показалась сгорбленная фигура, и ко мне приблизился старик в белой повязке. Он тоже остановился, чтобы дать мне милостыню, но внимательно на меня посмотрев, вдруг сказал;

– Вставай и иди за мной.

Разумеется, я тут же вскочил и, не задавая вопросов, последовал за стариком. Так молча мы шли примерно с полчаса, пока не кончилась стена. Еще несколько полупустынных улиц, и мы свернули в переулок с низкими постройками. Старик остановился у одного из домов и стал стучать палкой о землю.

– Почему за тобой все время идет эта дурацкая собака?

– Это мой брат.

Старик покачал головой.

– Иностранец, ты или святой, или сумасшедший.

– Я святой, – дерзко ответил я, но это не заставило старика улыбнуться.

– Собака останется во дворе, а ты сможешь мне разгрести вещи моего покойного брата. За это ты получишь вознаграждение, – сказал он перед тем, как ступить на ветхую лестницу, ведущую под навес. Я попросил пса ожидать меня здесь.

Следуя за стариком, я вошел в темное помещение. Сквозь полуприкрытые ставни еле проникал утренний свет. Точнее, я вошел в дверной проем, и в считанные доли секунды по мне волной прошел ужас. Передо мной вдруг распахнулось огромное мировое пространство, в котором мы были ничтожны. Потом шлюз этой мысли наглухо захлопнулся, и я шагнул через порог с абсо-

лутным ощущением весомости и неповторимости этого момента. Но старику это было совсем не важно. Он с досадой оглядел комнату. Под крышей голуби до одурения натирали на терках свои голоса. Окна были помечены птичьим пометом. Весь пол был завален коврами и медной старинной посудой. Старик показал мне, где лежат веники и щетки, и я принялся за работу. Многие ковры были проедены молью. Я то и дело выходил во двор, чтобы выбить из них пыль.

Так я проработал у старика три дня. Раз в день появлялась маленькая девочка, чтобы принести мне еды. Мясо я отдавал Собаке, а остальное съедал сам. За все это время старик ни разу не появился. В конце третьего дня он пришел, похвалил меня за уборку и наконец спросил:

- Как твое имя?
- Серер, – ответил я, не раздумывая.
- Что ты умеешь делать, Серер? – спросил меня старик.
- Я пианист.

Старик посмотрел на мои пальцы и поверил. В тот же день он отвел меня в шикарную часть Каира, где было полно европейских туристов и богатых египтян. У этого богатого сброда были общее прошлое и общие цели, и хуже всех остальных показались мне европейцы. Это они ненавидят тилацинов за то, что учиняли над ними, когда создавали лагеря уничтожения. Окажись тилацины бессмертными, европейцы остались бы кристально чисты и превратились бы навечно в апостолов новой веры. Европейцы обожают местное население за то, что те тоже категоричны, тотальны и серьезны. За то, что в их душе нет места мягкости и самоиронии, за то, что у них нет полутонов и за жесткую ясность правил. Такие мысли вертелись в моей голове, когда мы подошли к магазину, в котором торговали роялями.

- Ты можешь выбрать себе инструмент, – сказал старик.

В некогда роскошном, а теперь довольно обветшалом доме старика я за неделю сыграл весь классический репертуар от Баха до Шопена. Поначалу пальцы не слушались меня, но постепенно я разыгрался.

Тогда мне казалось, что сама музыка раскалывается вдребезги от моих прикосновений, пока из нее не вышел весь дух и она не превратилась в мертвый набор гармонических звуков. Пока я играл, старик лежал на диване, и, когда мне казалось, что он засыпает, я прекращал игру, но в тот же момент он просыпался и требовал, чтобы я играл дальше.

Игра становилось мучительной. Из холода меня бросало в жар, и боль прокалывала спину. Иногда мне казалось, что руки мои отсохнут, и я начинал тихо ненавидеть моего добродетеля. Механическая игра совершенно меня отупила, а старик требовал и требовал новых звуков. В перерывах между моим мучением мы молча ели за разными столами. Старик не собирался снисходить до разговора со мной, да и мне не очень хотелось беседовать с этим мрачным человеком. Иногда по вечерам появлялись два муллы. Они приезжали на большом дорогом джипе и подходили прямо к дому, тихо переговариваясь и теребя дымчатые бородки. Останавливались они всего в нескольких шагах и всегда



улыбались, а пока я играл, заглядывали в окна. Потом они так же безмолвно садились в свою чистую черную машину и уезжали. Тогда меня охватывала паника. Пальцы переставали мне подчиняться, а клавиши вдруг становились мягкими и неподатливыми. За все это время мой работодатель не дал мне ни копейки денег, и моя цель отодвигалась все дальше и дальше. Спал я в чулане. Два раза он позволил мне принять душ.

К старику никто не заходил, кроме разносчика еды, и время утекало в песок. В конце недели я отказался играть наотрез.

– Вы не заплатили мне ни гроша за мою работу, а руки мои болят и скоро придут в полную негодность, – сказал я.

– Верно, – согласился старик и стал смотреть сквозь меня. Так он просидел несколько минут, пока не вышел из оцепенения.

– Я знаю, Серер, ты шайтан, шелудивый волк. У тебя странное, ничего не значащее имя. С таким именем ты долго не проживешь. Я подарю тебе череп осла, и тогда тебя никто не тронет. Человек с черепом осла – сумасшедший. Ты будешь защищен, – наконец прохрипел он и впервые по его лицу скользнула улыбка.

В этом доме мне нечего было ожидать, и я собрался уходить, все еще слабо надеясь, что старик опомнится и заплатит. Но он еще раз назвал меня шелудивым волком и не пошевелился.

Я вышел, свистнул псу, и мы вышли. На улице солнце ударило мне в глаза, ослепило. Я понял, что злюсь не на старика, а на самого себя. Не замечая, в каком направлении я иду, я прошел несколько кварталов.

Да, конечно, я находился в отчаянии, но в таком роде отчаяния, когда вдруг начинаешь забывать, что именно опускает тебя на дно. Я уже давно потерял нить и смысл своего поведения, пожалуй, с тех пор, как пальцы мои коснулись клавиш. Теперь я только видел себя идущего по переулку. Я видел свою собственную фигуру в грязной белой одежде и смутно пытался разгадать, что это за человек, сколько ему лет, почему он здесь оказался и куда направляется. Потом взгляд мой взлетал куда-то вверх, и на земле все проваливалось, превращалось в коричневатую кашу, в которой я был уже неразличимым движущимся пятном. Тогда соседние улицы вдруг складывались, как грязные картонные коробки, и становились плоскими. Но это длилось не долго, потому что в тот же момент я обрушивался вниз, в себя с такой стремительностью, что мне казалось, будто на меня налетело небесное тело. Глаза мои были сухими и словно остекленели. Горячий ветер проникал в самое мое нутро, в котором сквозила абсолютная пустота и безмолвие. Потом я начинал думать, что делю свою ношу с Собакой, которая трусилась на некотором расстоянии. Мы – всего лишь два механизма, и остается ждать, когда заряд кончится. Пока я шел прочь от дома, я ни на секунду не вспомнил о старике, будто его никогда не существовало.

В одном из переулков мне навстречу вышел слепой, и я лишь усмехнулся, на секунду швырнув на чашу весов его и себя. И если бы он в ту же минуту не растянулся на земле, быть может, я бы и продолжал идти без всякого направления. Я помог ему встать, вдруг ощутив к нему глубокую неприязнь. Но она

была не физического свойства. Что он думал там внутри своих глаз, похожих на сливовые косточки? Там тоже была пустота, и она переключалась с моей пустотой, будто переливалась жидкой серебристой радугой из одного тела в другое и обратно.

Я совершенно не замечал, что все это время за мной медленно ползет машина. Может быть, кто-то преследовал меня. Несколько мужчин. Я заметил только, что улицы сами стали выводить меня в сторону знаменитого базара Эль Ха Лили, до которого было идти еще минут двадцать. У небольшой мечети меня нагнало человек семь, и не успел я опомниться, как они с криками „шайтан“, то есть „сатана“, принялись колотить меня и моего пса палками. Поначалу я даже принимал их удары с какой-то стойкой благодарностью, и меня смогли бы забить насмерть, если бы не пес. Я заметил, что морда его будто вытянулась и оскалилась, обнажив ряд клыков, и от него пошел стремительный поток все той же радужной струящейся пустоты. Только на сей раз пустота эта будто освежила меня и вынесла на берег реальности. К горлу моему подкатил гнев, и внутри вдруг выросла какая-то странная животная сила. Пес мужественно сражался. Я вырвал палки у моих преследователей и неожиданно для себя самого, ослепленный негодованием, стал наносить удар за ударом. Потом палки стали будто ненужным продолжением моего тела, и я отшвырнул их в сторону, почувствовав, как руки наливаются металлом.

Опомнившись, я увидел, что вокруг собралась большая толпа. Мои противники корчились на тротуаре. У одного лицо было разбито в кровь. Тело Собаки было в порезах, и она поджимала переднюю лапу. Впервые в жизни мне не было жалко побитых, хотя в жестокости меня было уличить трудно. Я еще раз отчаянно пнул лежащего под ребра. Толпа стала лениво расходиться. Ко мне подошел бодрый мужчина в элегантной европейской одежде и, уважительно склонив голову, спросил, как меня зовут.

– Серер, – ответил я.

Мужчина спросил, не хочу ли я принять участие в кулачных боях, и предложил мне половину выручки. Я только отер кровь и резко ответил, что не хочу и никогда не захочу ударить человека по собственной воле.

И тут я заметил, что в сторонке рядом с черным автомобилем стоит мой старик. По-видимому, он уже давно наблюдал за этой сценой. Может быть, он шел за мной по пятам или сам послал ко мне этих чертей. Я еще раз бросил на него презрительный взгляд, но, когда старик меня подозвал, я подошел и стал нарочито пронижительно смотреть в его слезящиеся глаза. Старик неопределенно улыбнулся, сунул мне в руку пачку денег и забрался в автомобиль. Машина тронулась, и я остался один у закрытых ворот мечети.

Добравшись до рынка и умывшись, я пересчитал деньги. Это была довольно большая сумма, которой хватило бы на самолет в любую часть света. И мысленно я поблагодарил старика.

## ТАИЛАНДСКАЯ РУКОПИСЬ

Тогда вместе с Собакой мы впервые отправились в Таиланд.

Острова из песчаника похожи на кафедральные соборы со множеством башен, пристроек, крестоцветов и пинаклей. Я был единственным чужаком в таиландской толпе, великаном. Наверное, мои глаза выдавали волнение. Меня подхватил поток людей в белых одеждах, и я полз вместе с толпой, полз вместе с человеческой волной туда, где оранжевые монахи били в тамбурины, туда, где кричали бесноватые. Я заметил, что по рукам местных жителей бродят бумажные человечки, на которых записывают имена тех, о ком надо молиться в течение года. Меня, чужака, решившего играть в чужую игру, сопровождали насмешливые лица.

– Напишите на человечках ваше имя и год рождения. Это надо отдать монахам вместе с монеткой.

Я нацарапал на бумажных человечках имена близких. Люди в толпе снимали обувь и заходили в храм босиком. Меня толкали вперед. Гремели барабаны. Полусогнувшись, как и вся толпа, я приблизился к монахам, которые читали нараспев свою мантру. Кто-то толкнул меня в бок, и я забормотал стихи, выученные в детстве.

В Таиланде мне несколько раз удалось заработать врачеванием, но до сих пор я никогда не использовал магии. Наверное, потому что не очень верил в ее действенную силу. Я начал с севера. Выглядел я для таиландцев слишком по-европейски. Иногда местные жители относились ко мне с недоверием. Я собирался как можно скорее спуститься на юг, ведь меня неодолимо тянуло к морю. Быть может, потому что генетическая память моя приказывала вернуться туда, где все и началось. Кроме того, я хотел войти в контакт с местным населением, чтобы расспросить о живших там в незапамятные времена тилацинах.

Через неделю я стоял на маяке, на самой южной окраине острова Ко Ланта, заселенного малайскими мусульманами и морскими цыганами, промышляющими рыбной ловлей, а в давние времена пиратством. Рыжеволосые косматые дьяволы, приплывшие сюда из далекой Океании, когда-то были в дружбе с моими предками. Они едят рыбу и только рыбу. Жуют рыбный хлеб, запивая его рыбьим молоком, а на десерт едят рыбные сладости в листьях мяты. Они не умеют ни читать, ни писать. Я знал, что они никогда не собирались принимать ни буддизма, ни ислама.

Когда я оказался в деревне среди домов, стоявших на сваях, мне удалось на пальцах объяснить с одним из рыбаков. Слово *тилацин* ему о чем-то говорило, а, может быть, мне это лишь показалось.

На острове я решил остаться на несколько недель, чтобы найти хоть кого-нибудь, кто слышал о тилацинах. Здесь уже тогда появились первые европейские туристы. Это были немногочисленные хиппи. Но я не вступал с ними в

контакт. Слишком далеки была от них моя цель, и они казались мне враждебными, хотя теперь я понимаю, что это были прекрасные дети цветов. После Египта Таиланд показался мне настоящим раем, а его жители – лучшими людьми, которые когда-либо рождались на земле. Вечером, когда я стоял на берегу и наблюдал за экзотическими птицами, ко мне подошла высокая светловолосая женщина.

– Если хотите, можете присоединиться к нашей компании.

– Куда вы собираетесь ехать?

– Мы едем на остров Пананг. Это китайская колония. Довольно экзотическое место. День или два езды на юг.

Сезон дождей в сентябре уже подходил к концу. Недавно цунами опустошило западный берег. На дорогах лежали непомерные горы мусора. Вскоре я распрощался с детьми цветов.



Муравьи залезают тебе в рот, в уши, прокладывают через твоё тело дороги и ставят железнодорожные станции. Ты мечешься в жару, липнешь сам к себе, тебе хочется, чтобы скорее пришли живодеры и сорвали с тебя жаркую шкуру, проеденную москитами. Матрас тоже кишит всякими тварями. Ты находишься в кипяченом липком сновидении, которое то и дело выбрасывает тебя из короткого забытья, чтобы погрузить в другое. Кажется, что в сердце у тебя завелись глисты, а в мозгу начался военный парад водяных блох. Кожа зудит. Ты разрываешь ее когтями и покрываешься мелкими ранами, в которые проникает песок. Раны сочатся гноем незрелой лимфы. От боли ты двигаешься неловко, то и дело напарываясь на предметы с острыми краями, надрывающими едва затянувшуюся корочку твоих болячек. Ты напряженно думаешь о холере. Твой желудок стягивается в орех. Там, внутри ореха, начинают цвести лиловые язвы.

Однажды я слышал, что в этих краях блуждает тиф, а в кустах прячется червь, проедающий тебя от мозолей до мочек.

Я вскочил. Это было в первую ночь жары. Ночные кусты пугали. Между жалкими рыбацкими хибарами, среди которых я оказался, скользили вороватые тени. Одна из них незаметно подкралась сзади и шлепнула ладонь на мой не успевший раскрыться рот. Разумеется, вокруг никого не было, но колени мои уже стали сродни размытой глине. Тогда небо еще прокалывали звезды, а черная тень страха перед смещенностью во времени и в пространстве с торжествующей ухмылкой играла на фальшивом органе дураков.

Тогда я еще не догадывался, что это первые признаки малярии, на этих островах угроза заражения была минимальной.

На рассвете я почувствовал себя лучше. Море было стеклянно-жемчужным, горы и твердь – черными, как сама реальность. Эфемерная стихия – жидкий гриб океана светился изнутри. Ближе к полудню стеклянность прошла. По небу разлился блуждающий гром и долго перекатывался от скалы к скале,

от берега к самому горизонту. За громом этим должен был последовать тропический ливень, но вместо этого в тучах открылись раны, из которых стало сочиться слабое, болезненное солнце. На его лучи удивленно смотрели лохматые пальмы, и я дивился всему, будто впервые. Растения-паразиты, в том числе орхидеи, вцепившиеся своими пальцами в стволы деревьев, были беспомощны перед лицом великих ливней.

На рассвете мы с Собакой вступили в пустой дом. Все, что не смогло унести цунами, унесли человеческие руки. К бетонному полу была крепко приварена железная кровать совсем не из этих мест. Ее пустой замысловатый остов зиял. На клочках матраса, застрявшего в пружинах, я нашел просоленную тетрадь с кудрявыми от воды страницами. Тетрадь была мелко исписана на неизвестном мне языке. и я сунул ее в мешок. Это послание мне – так я понимал это событие. Может быть, это и была переписанная от руки книга Серера? В твердой уверенности, что дожди послали тетрадь именно мне, я спустился на пляж.

Постепенно стали просыпаться люди, внося в ландшафт суетливую повседневность. Запахом жареной рыбой, и европейцы со всей своей чопорной неуязвимостью потянулись к морю.

В тот день воздух был теплый и плотный. Казалось, однако, что в нем существует опасность разрыва, что прорехи неминуемы и вот-вот разорвется этот миг, обнажив другую реальность серого северного времени, в котором безжалостность в лучшем случае побеждает отчаяние.

В джунглях, где я решил до поры до времени спрятать тетрадь и собрать образцы сохранившихся с палеозоя папоротников, чтобы аккуратно сложить их между страницами найденной рукописи, я присутствовал одновременно в двух измерениях. Я ступал по резиновой глинистой земле между пятнистыми стволами и следующий шаг мой опускался на серый асфальт далекого города. Наконец мне удавалось выйти на обезьянью тропу, и тут же нога моя попадала в трещину незнакомого тротуара. Я обводил взглядом многоэтажный древесный палат тропиков, и в глаза мне попадал отблеск городских стекол – это в последние теплые осенние дни образцовые хозяйки выставляли бледным лучам сонные перины.

Впрочем, я всегда одновременно нахожусь во всех местах. Даже тогда в джунглях не было никакой целостности. Я жил в разрывах реальности.

Сложись моя судьба по-другому, я смог бы стать художником, но для того, чтобы превратиться в художника, мне не хватало эгоизма. Может быть, я нашел бы себе и какое-нибудь более подходящее занятие, но сейчас мне было не до того.

Вокруг меня по дрожащим лианам прыгали обезьяны и летучие белки. Они были свободны от чужой памяти, и жизнь их происходила здесь и сейчас. Появление обезьян заставило меня задуматься об эгоизме художника, и не только потому, что любой художник сродни обезьяне, подражающей человеку и сражающейся с богом. Эгоизм художнику необходим – ведь это та скорлупа, которая должна сберечь нежную мякоть таланта. Однажды я рискнул высказать

это одной молодой художнице, упрекнув ее произведения, а, скорее, ее саму, в недостатке эгоизма, и вскоре она прервала со мной всякое общение.

Перебирая эти мысли, я не замечал, что происходит с моим телом. Я непомерно ослаб, и движения мои замедлись, ноги стали тяжелыми, клонило в сон. Я не знал, как близко был я тогда к смерти. Тетрадь я спрятал в дупле старого дерева и решил, что это довольно надежное и защищенное от ливня место.

Невыносимая жара, которая внезапно обрушилась на землю после ночного ливня, заставила меня вернуться в деревню. Там была вода. Теперь утренняя, чисто вымытая нежная зелень стала жесткой и потемнела и, спускаясь по склону, я вздрогнул от неожиданности. Прямо у ручья стояло трюмо. Именно в нем и отражалась ночная гроза и, когда я подошел ближе, оттуда на меня смотрел седой человек неопределенного возраста. Давно не стриженные волосы мои были спутаны. Глаза покраснели и слезились. Внимательно разглядев себя в зеркале, я понял, что у меня лихорадка. Тогда я в ужас бросился прочь от своего отражения и на мгновение почувствовал себя удивительно свежим.

Покачиваясь от слабости, я вышел к прибрежным скалам. Над расступившимися деревьями и надо мной, распластав свои крылья-пальцы, парил белоснежный орел. Птица вращала головой, выискивая жертву. Я услышал мяуканье. Должно быть, в скалах заблудился котенок. Вскоре птица, резко развернувшись, улетела. В жару мне показалось, что черные скалы прижались к воде. Я тоже прижался к земле и погрузился в забытьё.

Несколько часов я проспал и проснулся от звука незнакомых голосов. Кто-то тянул меня за руки и за ноги. С трудом открыв глаза, я понял, что местные крестьяне перекадывали меня на мешковину, чтобы унести в пальмовую хижину. Мой верный пес беспокойно бегал вокруг. Кто-то влил мне в рот воды и какого-то травяного отвара.

Раньше я не знал, что море может греметь, как каменоломня, ведь я вырос вдали от него. К вечеру звуки, долетавшие до меня, показались мне разрывами снарядов и гранат, в которых тонули людские голоса с криками о пощаде. Лежа в лихорадке, я видел, что возле моей хижины кто-то двигает по небу тяжелую мебель – алтарные комоды нездешней величины. Потом задвигались сами палаццо, где эти комоды стояли между гобеленами, из которых вываливались живые батальные сцены. И все это время я чувствовал, как моя подстилка гнила и наполнялась влагой. Одновременно в полутьме я замечал, что отовсюду – со стен, с потолка и из углов – меня рассматривают всякие твари. Вокруг ползали крабы, сверху неподвижными глазами-бусинами на меня пялились гекконы, пауки, саранча, но страшнее всего мне было от большой мухи, которая бешено вращала глазами и тело которой было похоже на почерневший коготь мертвеца. В ее скрипучем голосе я постоянно различал одни и те же слова: „Смерть тилицинам!“

Страх, который день и ночь преследовал меня в те дни болезни, был иррациональным. Но страх и должен быть таким, если ты не стоишь в очереди на виселицу. И я искал источник этого страха, но источника не было. Скорей всего, я боялся проговориться в бреду о цели моего путешествия или боялся, что

во время болезни во мне могут проступить черты волка. Смутно помню, как за мной ухаживала молодая широколицая малайка в черном мусульманском платке. Она опять поила меня травяными отварами. Помню силуэт Собаки, день и ночь охранявшей мою лихорадку.

Зато каждую ночь ко мне приходило цунами, и я слышал, как с наступлением тьмы оно отодвигает море на многие километры назад и будто камнем, как из пращи, вода вновь возвращалась на сушу. Еще я знал, что пока оно летело сюда, рядом с моей хибарой уже осторожно дышал вор. И каждую ночь и меня, и вора маятник воды уносил далеко в океан, туда, откуда дорога заказана. При этом спасало меня лишь одно ухищрение, при помощи которого я мог обмануть грозную водяную смерть – я цеплялся взглядом за какую-нибудь деталь, жадно пялился на нее и начинал запечатлевать ее в памяти так, будто она и является центром мира. Обычно это была пробоина в соломе, через которую ко мне спускались ящерицы.

Однажды ночью я услышал мяуканье – вероятно, это был тот самый котенок, за которым охотился виденный мной орел.

Так я провалялся в малярийном бреде несколько недель, пока крестьяне не привели меня в порядок, удивляясь тому, что я выжил.

Когда я пришел в себя, мне захотелось сходить на базар, и я отправился пешком в ближайшее поселение, чтобы запастись едой. Дорога была плохая и временами шла через джунгли. Там внимание мое привлекла телефонная будка. Она была чуть приподнята шершавой лианой, плотно ее обхватившей. „Звонки местные и международные“ – была надпись на будке. Внутри уже давно разрослись цветы и зеленые листья, и вся она напоминала теплицу. Над ней в высоких ветвях щебетали птицы. С дерева на дерево перелетали цепкие мартышки. Интересно, как попала сюда телефонная будка? Что она тут делает? Говорят ли цветы по телефону, и если да – то с кем? Все это множество idiotских вопросов так и не находило ответа. В те времена, которые я описываю, на острове едва появилось электричество, и я предположил, что хиппи привезли сюда будку на каком-нибудь катере или на рыбацкой лодке. Из любопытства я подошел к будке и разрубил тесаком ветви у входа. Дверь с трудом поддавалась. Я принял растения, уже давно прижившиеся в этой влажной теплице.

Я поднял трубку и с удивлением услышал гудок. Звонить мне было некуда, но я наугад набрал какой-то номер. Послышалась незнакомая мне речь. Единственным словом, которое я смог различить, было слово „ошибка“, произнесенное на корявом английском.

Но голод заставлял меня торопиться. Уже издалека я видел, как неземные, почти марсианские фрукты переходят из рук в руки. Рамбутан, ангун, лакмут, агнун и яблоки – все это ходило по кругу. Я уже предвкушал, как сладковатое мясо плодов будет осторожно и долго бродить во рту. Но когда я прибыл на базар, в первый момент меня охватила тошнота. Здесь нестерпимо пахло рыбой. В пластиковых мисках копошились насекомые, предназначенные на продажу. Шипели сковородки. На подносах, выставленных прямо на солнце, вялились

куски свежего мяса. Я обошел почти все лавки. Наконец я купил фруктов для себя и мяса для пса и, когда я уже собирался покинуть базар, внимание мое привлек один из прилавков. Поначалу я не разглядел, что белеет среди длинных кусков мяса, но потом увидел бледное животное, похожее на броненосца. Рядом с ним лежала семья летунов – летучих белок. Вероятно, охотник застал мать с ее выводков врасплох в тот момент, когда она кормила детенышей. Глядя на этих животных, я вдруг испытал нестерпимую боль, такую, будто мне в горло сунули нож.

Я вышел с рынка и вывернул на землю все содержимое своего желудка, а когда поднял глаза, увидел, как за мной наблюдает пятилетняя девочка с клеткой в руках, в которой сидела маленькая птичка с хохолком на голове.

Вечером, когда мы с Собакой шли по черному вулканическому пляжу, Адаманское море вело себя, как скатерть, навеки потерявшая рассудок после большого пира. Оно извивалось и пенилось всеми своими кружевами и уходило в темноту длинной шипящей бахромой. Мы подошли к большому каменному дому.

– Эй вы, идите сюда.

На пороге стоял плотный человек лет пятидесяти. На нем была клетчатая рубашка и джинсы. По всему было видно, что он китаец. О том, что он из Бангкока, я слышал от хиппи еще в первые дни.

– Вам здесь нравится? – Человек говорил спокойным и ровным голосом. – Я знаю, кто ты и зачем ты здесь. Во всяком случае, догадываюсь.

На минуту я замер.

– Ты из того самого народа тасманских сумчатых волков, который преследуют, не так ли?

Мне пришлось согласиться. На мое удивление, этот человек кое-что знал. Он принялся расспрашивать о причинах ненависти к тилацинам. Я был растерян, потому что не знал, что ему ответить, да я и сам часто задавал себе этот вопрос.

Говорят, в Америке и в Австралии созданы целые научные институты, которые пытаются исследовать причину этой злобы, но ответа не получил еще никто. Мне кажется, вас ненавидят лишь за одно – за то, что они молятся вашему богу.

Я решил показать ему тетрадь и пошел искать ее в джунглях.

Он сразу же определил, что написана она тагальским шрифтом банбайин, который после прихода испанцев на Филиппины вышел из употребления.

– Приезжай ко мне в Бангкок. Я знаю человека, который сможет расшифровать запись, хотя и не уверен, что тетрадь адресована именно тебе.

Сказанное внушило мне надежду, ведь тагальский был одним из трех языков, на который когда-то была переведена книга Серера.

Я собирался вернуться на север на катере, принадлежавшем одному из богатых и предприимчивых британских хиппи. Но за несколько дней до моей отправки случилась неприятность, которая глубоко меня потрясла.



Было это ночью. В эти дни я спал довольно крепко. Но вдруг посреди ночи почувствовал чье-то прикосновение. Первая мысль была — обезьяны, хотя дверь была плотно закрыта, а через щель под крышей могло проникнуть лишь небольшое животное. Птица? Огромный паук? Боясь открыть глаза — да и какой в этом прок, была крошечная тьма, — я стал осторожно шарить руками по собственному телу. Вдруг рука моя наткнулась на чьи-то мягкие волосы. Это не могла быть шерсть обезьяны. Я в страхе вскочил.

— Кто здесь? — осторожно спросил я, но ответа не было.

Я не слышал и дыхания вора, которому наверняка вздумалось искать у меня часы или еще что-нибудь ценное. Тогда я дрожащими руками зажег фонарь, который всегда лежал в изголовье, и с удивлением обнаружил, что на меня смотрят любопытные круглые глаза. Это было то самое существо, за которым еще неделю назад охотился орел. Котенок был исхудалым, и на его маленькой головке глаза казались непропорционально огромными. Страх мой немедленно прошел, и я расхохотался. Я прижал животное к себе, тут же ощутив его дрожь, тепло и удовольствие оттого, что его взяли на руки. Собака невозмутимо лежала в углу, спокойно принюхиваясь к пришельцу. Весь следующий день я кормил этого котенка, ласкал его. Он тут же ко мне привязался и отвлек меня от мыслей об отъезде. Вероятно, мать его была мертва. Все это время Собака ходила в стороне, но стоило ей приблизиться, как он щетинился, вставал на дыбы и спина его принимала треугольную форму. Мне и сейчас жутко писать, что произошло потом. Всю ночь мой котенок ходил кругами у моей подстилки и жалобно мяукал. Я еще не совсем оправился от болезни и был слаб — малярия проходит мучительно и оставляет следы. Из-за непоседливости моего гостя я не мог ни на минуту сомкнуть глаз, и к утру я уже злился на себя, что приручил его так быстро. В щели хибары проник серый войлочный свет, который приходит перед рассветом, и я вышел на берег. Котенок ни на минуту не отставал и продолжал мяукать, выпрашивая любви и внимания. В тот момент во мне что-то неприятно и зло шевельнулось. Всеми силами я пожелал, чтобы его сейчас не было, чтобы он просто перестал существовать и оставил меня в покое. Тогда Собака, которая шла за нами по пятам, по-видимому, услышав мое внутреннее желание, вытянулась в струну и настигла нас несколькими прыжками. Пес загнал назойливое животное на дерево. И только после этого гнев мой угас.

Я проспал несколько часов и вышел, когда розовый жар уже опустился на землю. Пес спокойно лежал перед входом, но его глаза мне о чем-то говорили. Потом он опустил голову и как будто уснул. Я решил пройтись к воде. У самого пляжа я вздрогнул от ужаса — маленькое рыжее животное, которое всю ночь терзало меня, бессильно лежало на земле. Рот его был черным. Отчего, я так и не понял, то ли это была кровь, то ли песок смешался со слюной. Из черноты рта на меня глядели осколки маленьких белых зубов. Он еще дышал. На теле не было никаких следов крови или ранения. В отчаянии, я решил облегчить его страдания, но, когда я занес над ним камень, рука моя опустилась. Нет, я был не в силах убить это несчастное и без того умирающее существо. Одна лапка

еще шевелилась, глаза были широко распахнуты навстречу яркому свету, но в них не было отражения! Котенок нелепо дергался, и движения его становились все более прерывистыми и замедленными, как в машине, в которой раскрутилась пружина, приводящая в движение часовой механизм. Да, именно часовой механизм! Наконец, он замер, и я, окончательно отбросив камень, склонился над ним.

Еще вчера глаза его были светлые и зеленые, а теперь меня потрясло то, что они были совершенно черного цвета. Я слышал, что зрачки мертвецов расширяются, перестав реагировать на свет, но я еще никогда в жизни не видел раскрытых глаз покойника. Это было ужасным зрелищем, и в черноте этих пожравших радужную оболочку зрачков было только черное небо, в котором, вероятно, могли бы угадываться звезды, не будь этот день таким ярким.

– Значит, в глазах умершего заключена вся вселенная, – беззвучно произнес я и хотел было заплакать, но у меня не было слез.

Я взял валявшуюся в стороне грязную английскую газету и завернул в нее моего котенка. Я решил отнести его в лес. Пока я шел, я ни разу не обернулся назад. Сквозь газету ощущал пальцами тепло его маленького тела. В яркой зелени на меня обрушивались потоки ужаса. Ведь так же умирали тысячи и тысячи. Передо мной плыли глаза мертвых тилацинов, а затем и мое собственное лицо с такими же черными зрачками, в которых нет дна.

Дойдя до кромки джунглей, я положил котенка в дупло того дерева, в котором прятал рукопись, взял тетрадь и обернулся. Собаки рядом не было. Обычно она везде следовала за мной. Значит – это была она, значит, я дал ей невольный приказ, значит – это я убил маленькое животное. Нет, нет, всю дорогу назад я отгонял эту чудовищную мысль. Когда я вернулся, Собаки нигде не было. Не вернулась она и в полдень. Я сел на берегу, взглянул на рыбацкие лодки со вскинутыми носами, которые были украшены свежими желтыми и белыми цветами, и горько разрыдался от мысли, что в глубине моего сознания живет дьявол, эгоистический убийца.

Когда я пришел в себя, я уже знал, что мой верный друг, мой пес, не выдержал чувства вины. Я искал его в джунглях и в соседних деревнях. Я звал его всю ночь. И на следующий день мы с несколькими туристами продолжали поиски, но все было тщетно. Теперь я отправлялся в Бангкок совершенно один. В мешке у меня лежала довольно сомнительная рукопись.

Мотор катера смешивался с шумом волн. Вода была ярко синей. Под каждой волной крутилась водяная соленая пурга. По лицу моему несколько часов подряд неудержимым потоком лились слезы, пока раскаленная медь дня не растворилась в молочном закате. Тогда поверхность моря стала мыльной, и до меня перестал доноситься шум веселых цимбал океана. Теперь я мог выйти из лодки и отправиться в путь по бело-молочному скрипучему морю на санях в сторону неба. Я услышал голос извозчика, который покрикивал на свою лошадь, кутаясь в овечий тулуп.

– Далека еще дорога, – сказал мне извозчик.

От серой кривой лошаденки шел пар. Сани тронулись. Заскрипели полозья, и небо тяжело повисло над Индийским океаном, обещая сонную метель. Вскоре уже не было видно ни седока в пурпурной чалме, ни извозчика, ни лошади, ни единого огонька в снежной пустоши, ни черного леса, ни огненных волчьих глаз. Подо мной лишь мерно колыхалось бесконечное серебристое снежное поле пустой гладкой воды, поле пустого Сатурна.

## ПУСТОЙ САТУРН

По ночам земля лопается, как кожа персика; впрочем, персики ты здесь и днем с огнем не найдешь. Тут люди учиняют над животными то, чего бы они не учинили над своими врагами. И это не метафора. Все это лишь ради забавы, только потому, что у животных здесь нет души. Выкручивай им конечности, сколько душе твоей вздумается, бей их – пока тебя не стошнит от усталости. Здесь тихо на мягких лапах за тобой крадутся неслышные тени, в жаре плавятся деньги, и разум хохочет над тобой, пока чужой рассудок не заставляет тебя обглодать до самого мяса собственный кошелек. Пейте змеиную кровь, ешьте червей, выкидывайте младенцев из их колыбелей, чтобы сварить из этих колыбелей ласточкин суп. Суп из гнезд умерщвленных птенцов – это поднимет вашу уже давно уснувшую потенцию. Это заставит ваш лучший кусок плясать пляской святого Витта. Мерзость и жестокость еще никогда не упустили случая стать тенью, старшей сестрой красоты.

Я прибыл в Бангкок на улицу Каосан. В центре была перестрелка. Пока я искал отель, были слышны лишь отдельные выстрелы. Вскоре мне выдали ключ от чудовищно грязной конуры.

– Исторический отель. Один из старейших, здесь все останавливаются, – объяснил мне портье на корявом английском.

Деревянное кресло цвета черной вишни, на которое я бросил мешок, стояло необычайно низко на подрубленных ножках. Над головой шумели трубы. Я находился в желудке Жюль Верна. Из открытых проводов, висевших в углу, трещала молния. Потом она неслась из колтунов спутанных кабелей, растянутых по всему коридору.

Не раздеваясь, я растянулся на кровати и закрыл глаза. Так я пролежал около часа. В эту минуту жизнь моя находилась очень далеко, а прошлое и будущее отодвинулись на неопределенное расстояние. Я вдруг ясно ощутил тяжесть своего тела. Я находился только здесь и только сейчас, и о моем существовании знал один-единственный человек – я сам. Когда я снова открыл глаза, я увидел, что по стене прямо над моей головой с размеренным достоинством ползет таракан. Ничто не тревожило его. За стеной бодро играло радио. Кто-то волок по коридору металлический таз.

Я стал внимательно разглядывать предметы вокруг меня. Вещи в отелях не имеют памяти, но здесь все было наоборот. Под потолком в решетке железных прутьев плыл мертвый вентилятор. Пол был вытопан ногами тысяч усталых торговцев и досужих путешественников. Несмотря на то, что Таиланд никогда не был колонией, здесь все было пропитано колониальным стилем. Пахло старой мебелью. Сквозь мутное восьмиугольное зеркало комода было видно, как из крана вытекает рыжая жидкость: кровь, за которую я поначалу принял ржавчину. Время от времени на окне вяло шевелилась занавеска в синих выцветших розах. По стене бродили тени, случайно заглянувшие со двора. Потом вдруг закапал маятник, живущий в трубе.

Так я пролежал целый день, и комната со всем ее содержимым, и я сам в этой комнате то вращались где-то далеко наверху, то улетали прочь в неизвестном и необязательном направлении. В этот час каждое мое движение и каждое мое желание были абсолютно бессмысленны.

Около пяти за окном опять началась перестрелка. Невзирая на это, я спустился в кафе, чтобы поужинать. Сидевшие на низких стульях мужчины играли в неведомые мне тайландские шахматы, в которой пешки уже в самом начале игры сдвинуты на целый ряд вперед, а король, кажется, застыл в неподвижности до самого конца игры. Потом снаружи опять загрохотало, и я вернулся в номер.

Я растянулся на кровати и закрыл глаза, прислушиваясь к тому, что происходило вокруг. Вдруг одновременно будто разом на всех этажах зашаркало, закрипели все двери, и до меня донеслись тысячи звуков, прорвав плотину молчания. Скорее всего, это возвращались туристы. Теперь со всех сторон в меня лились голоса. Некоторые из них рождались рядом, за картонной стеной, и тут же гасли, чтобы уступить место другим. Следующая волна звуков выросла на верхних этажах, и слух мой стал принимать физическую форму постройки. Потом вступил скрежет улицы, колыхание легких колес, над которыми трудилась рикши. Вынырнули перебранки и разговоры, уводящие к самому королевскому дворцу. Оттуда в меня вошли отряды дальних улиц: слух, сделавшись плоским и быстрым, стремглав помчался через мутную реку, чтобы, перескочив Чайнатаун, унести к самой окраине. Там стучали поезда и шелестели бесконечные пальмы. И, наконец, самая тонкая всепроникающая область слуха, следуя по пыльным дорогам, вывела меня к океану, на берегу которого четыре незнакомых силуэта играли в маджонг.

Вдоль побережья скользят коты. Скисает молоко. Гниет спина. Крошатся зубы. Поднимаются из своих могил мертвецы. На небо вывесили флаг – полумесяц со звездой. Я снова открыл глаза: сквозь покосившуюся дверь туалета было видно, как на стене замер гигантский бархатный паук – единственный, кто знал о том, что я все еще существую на этом свете.

Я развернул бумажку с адресом китайца. Потом сверил его с картой. Рукопись была при мне.

Утром следующего дня я сидел за столом в конторе у Колицисы – так звали моего знакомого. Накормив меня завтраком, он попросил подождать около

получаса, пока он разберется со своими бумагами. Колицзисы оказался владельцем сети магазинов жестяных товаров и, пока он копался в своих торговых бумагах, к нему то и дело приходили торопливые посетители.

До небольшого рынка на Шри Айутайя нас довез одноглазый рикша. Пройдя через толпу, мы оказались у малюсенькой книжной лавочки. Здесь, прямо на полу горами лежали журналы и книги на всех языках, густо покрытые дорожной пылью. В самой глубине лавочки копался необычайно маленький человечек. Колицзисы его окликнул, маленький человечек прищурился и подошел ближе. Узнав Колицзисы, он крякнул и обнял его за бедра. Только теперь я смог различить хозяина лавочки. Это был худой лысый старичок с крысиной бородкой и подслеповатыми глазами. На нем была чистая, аккуратно выглаженная традиционная китайская одежда. На шее на красной веревке болтались старомодные очки. Во рту не хватало доброй половины зубов, а оставшиеся почернели.

Колицзисы что-то быстро заговорил, указывая на меня. Старик живо пожал мне руку своей маленькой лапкой и пригласил внутрь. Высоким старческим голосом он прекрасно говорил по-английски. Вначале он схватил обеими руками мою голову, заставив меня согнуться почти вдвое. Он со знанием дела рассмотрел мое лицо и руки и удовлетворенно кивнул.

– Значит, вы приехали вот за этим самым. За этим самым, – повторил он.

Потом он расспросил меня о том, где я уже успел побывать в Таиланде, похвалил мое желание найти корни тилацинов и спросил, что за рукопись я принес.

Когда я вытащил из мешка тетрадь, сердце у меня забилось.

Старик нацепил на нос очки и, сжав рот в маленькую щель, стал изучать страницы. Я с нетерпением ожидал разгадки моей тайны. Сейчас произойдет то, за чем я пересек азиатский континент, то, о чем я мечтал с ранних лет, и я почувствовал, как язык мой прилипает к небу. Старичок вдруг живо расхохотался и что-то быстро заговорил. Колицзисы тоже зашелся смехом.

– Это любовный дневник. Любовный, понимаете ли. Очень интересно. Очень. И какому же это шутнику вздумалось писать его на этом древнем языке! – забормотал старичок.

И они расхохотались еще пуще. Мне же было совсем не до смеха: моя надежда лопнула, как мыльный пузырь, и в голову мне бросилась кровь. Каким же я выставил себя дураком! В эту минуту я проклял свои бессмысленные путешествия и свое легкомыслие.

– Попались на удочку, – лукаво пропищал старичок.

И, пока я с опущенными глазами пытался прийти в себя – мне было стыдно даже заглянуть в глаза Колицзисы, – старик, шаркая тапочками, ушел куда-то снова в глубину лавочки, нырнув в самую гущу книжных завалов.

Я стал извиняться перед старичком, уже собираясь уйти. Колицзисы хлопал меня по плечу, улыбался и пытался меня успокоить.

– Со мной и не такое бывало. Я как-нибудь вам расскажу. Как-нибудь обязательно расскажу.

– У меня железный порядок! – ликующим голосом вдруг проскрипел старичок из-за стопок с книгами. В руке у него была потрепанная книга в коричневом переплете. – А вот и книга об истории тилацинов!

Голова у меня закружилась, перед глазами все поплыло, и я чуть не потерял равновесие.

– В Таиланде вы не должны бояться, – сказал Колицисы, заметив мое замешательство, – вы не должны стыдиться произносить слово тилацин, вы должны гордиться! Ведь вы – один из последних представителей этой расы.

– Если не последний, – еле слышно добавил я.

– В этой стране все свободны. Поглядите, сколько здесь живет разных народов! На одном только базаре не пересчитаешь, – старик возвел руки кверху.

По его лицу скользила самодовольная улыбка.

– Из вашей религии мы столько почерпнули и в буддизме, и сикхам тоже кое-что перепало, и зороастрийцам. А десять заповедей. Иудеи и христиане просто руки вам должны целовать!

Старичок все распинался и распинался, пока я не спросил у него, что это за книга.

– Это – то, что вы ищете – „Священная книга волка“, – самодовольно захихикал он.

Теперь мне и вовсе стало не по себе. Я протянул руку к книге, но старичок тут же спрятал ее за спиной.

– У меня остался один из последних экземпляров. Редкость, редкость. Большая редкость!

– Я только хочу взглянуть, – взмолился я, и старичок, будто поддразнивая меня, нехотя протянул мне книгу.

Книга была написана по-английски. Колониальное издание конца девятнадцатого века. На форзаце ее действительно стояло – „Священная книга Волка или книга Серера. История сумчатого волка, оборотня, человекотигра с рецептами превращения в животных, молитвами и заговорами“

– Я могу продать ее вам, – проскрипел старичок, вдруг сделавшись серьезным, – всего двести долларов.

Для Таиланда это была большая сумма. Но у меня таких денег не было.

Я порылся в сумке и вытащил все, что у меня было. Старик пересчитал деньги. Покачал головой и сказал, что этого мало.

– Это все, что у меня есть, но я могу отработать, – взмолился я.

Тогда старик бросил быстрый хмурый взгляд на Колицисы и снова посмотрел на меня.

– Приходите ко мне завтра, но не раньше, – попросил он, – мне надо кое о чем посоветоваться с сыном. Все-таки редкая книга. А теперь идите, – твердо сказал он.

Выйдя из лавки, Колицисы посоветовал, что старик со странностями.

– Я знаю его уже давно. Он никогда не решается сразу. Но он отдаст вам книгу. Может даже и бесплатно. Приходите к нему завтра. Принесите ему ко-

лобки из обезьяньего мяса, – посоветовал он, и я, сердечно поблагодарив великодушного китайца, побрел в сторону гостиницы.

У гостиницы сидел прокаженный. Я бросил ему на тряпку несколько мелких купюр и пожал культу в знак того, что он не вызывает у меня отвращения.

В длинном полутемном коридоре гостиницы я обнаружил, что дверь соседнего номера распахнута настежь. В дверях, уткнувшись лицом в кафельный пол, лежал пожилой мужчина лет шестидесяти с вывернутыми кверху ладонями. Его обувь была аккуратно сложена возле порога, а из комнаты доносилось жужжание мух. Я остановился в дверях и замер, прислушиваясь к его дыханию. Не было слышно ни звука. Наверное, инфаркт. Такое часто случается, и если вовремя не оказать помощь, человек обречен. Я наклонился к лежащему, пощупал его пульс, но ничего не почувствовал. Тогда я перевернул его и заглянул в глаза. Лицо его было желтое, широкоскулое. Скорей всего, он был уроженцем Бирмы. В глазах его зияло лишь уже знакомое мне черное небо. На сей раз это не произвело на меня ни малейшего впечатления.

Я бросился к вещам мертвеца и принялся шарить в поисках денег. Теперь они были мне просто необходимы для выкупа книги, а в ограблении покойника не было ничего дурного – ведь на том свете расплачиваются совсем другой валютой. У меня подпрыгнуло сердце, когда я заметил, что шелковый мешочек с деньгами валяется у самой кровати. Тогда я быстро его схватил и, оставив хозяина лежать, вышел.

Запершись в своем номере, я тут же пересчитал содержимое кошелька. Он был туго набит батами. Здесь было гораздо больше денег, чем требовал старик. Я еле дышал.

Когда я выходил из гостиницы, я видел, как тело моего соседа, завернутое в тряпки, выносят два служителя.

Вечерний ветер сорвал с меня горячую кожу. Я нашел, то, что искал, и мне было легко и одновременно мучительно сознавать, что до завтра еще столько времени. Я бросился в первую попавшуюся китайскую лавочку, чтобы выпить спиртного. Прошло несколько часов, и я привык к ожиданию. Когда я вышел, была глухая ночь и в кучах мусора возились крысы, которые днем прятались в подвалах домов. В районе Каосан в интернациональном согласии веселились пьяницы. Шевелился и вспыхивал их маленький мозг. А далеко отсюда гигантский младенец-океан с трудом ворочался в своей мерцающей песчаной колыбели, и маятник космоса мерно и равнодушно раскачивал его до самого Марса.

На следующее утро меня разбудили крики на улице, и я первым же делом бросился смотреть на часы. К моему ужасу уже перевалило за полдень. В окна бился ливень. Я наскоро побрелся и выскочил на улицу. Все утонуло в воде.

– Вот зарядило, – услышал я чей-то ворчливый голос из-под навеса, где, тесно прижавшись друг к другу, стояли женщины. Рядом с ними прибились колченогие собаки.

Сколько мог продлиться ливень, я не знал и решил бежать к старичку. Но бежать оказалось не так просто. Рикши еле тащили свои тележки. Тяжелые потоки воды устремлялись по улицам вниз к реке, и идти против течения было сложно.

Я заметил вчерашнего прокаженного. Он лежал по плечи в воде и, казалось, дождь волнует его меньше всего. Я уже было вытащил деньги, чтобы подать милостыню, но вместо рук на меня посмотрели обрубки.

– В рот, в рот, – пробормотал он, и мне пришлось сунуть деньги ему в рот.

Я пообещал рикше вдвое больше положенного, и он взялся довести меня до Айутайя.

Несмотря на дождь, рынок был полон. Краем уха я слышал, как на базаре пели хором. Пели те, что торговали только что освежаванными лягушками. Пели и те, кто бережно сдирал шкуры тут же заколотых свиней. О чем они пели? Быть может, они пели о любви? Быть может, о том, что скоро кончится ливень и к вечеру между домами загорятся красные китайские фонарики? Но сейчас мне было совсем не до того. И тут я вспомнил про мясо. «Купите ему колобки из обезьяньего мяса», – сказал мне вчера Колицисы. Обезьяньего мяса здесь не было. Я бросил на прилавок деньги, и мне завернули большой кусок свинины. Расталкивая покупателей, я дошел до лавочки.

В первый момент мне показалось, что я ошибся – вывеска была сбита. Несколько молодых рабочих грузили ящики на тележку с ослом.

– Вчера здесь была книжная лавочка. Магазин с журналами. Продавец – китаец. Очень старый. Где он?

Но те только пожимали плечами.

– Нас послали сюда с раннего утра разгребать магазинчик.

Сколько я ни спрашивал в соседних лавках, я не мог получить никакой информации.

Тогда я зашел в ближайший отель и сунул удивленному портю сверток с мясом.

– Где старый китаец. Книжная лавочка. Магазин. Где он?

Но и там я не получил никакого ответа.

Я опять выбрал себе рикшу и решил немедленно ехать к Колицисы. Но там меня тоже ожидала подобная картина. Двери его бюро были заколочены. Вывески не было.

Теперь мне казалось, что встреча со старичком и китайцем были плодами моего воображения. Стоя перед конторой, я еще раз подробно перебрал в памяти вчерашний день и попытался найти бумажку с адресом Колицисы, чтобы убедиться в том, что не брежу. Ни в карманах, ни в мешке адреса я не нашел. Вероятно, я забыл его в гостинице. Промокнув до нитки, я поплелся в гостиницу, зашел в свой номер, и на меня немедленно свалился вентилятор, сильно ободрав ступню. Потом кто-то вкрадчиво постучался, и когда я открыл дверь, увидел толстую тайку, которая убирала коридор. Она что-то быстро и неразборчиво говорила. Я попросил ее еще раз объяснить, чего она от меня хочет. Из



общей невнятицы я выяснил, что несколько дней назад здесь убили человека, а вчера умер мой сосед, и что во всем этом подозревают меня.

– Так что, поскорее уходите отсюда, – и она опять принялась подметать коридор.

Теперь я понял, что все это было неспроста. Ведь старичок из лавочки собирался посоветоваться с сыном по поводу книги. Может быть, его сын все это устроил? Но ведь убрать лавочку старичка было просто, а вот что было с бюро Колицисы? „Поскорее уходите“, – эти слова звучали у меня в голове, когда я стремительно спускался по лестнице. Я прошмыгнул мимо жующего портье и вышел на улицу. Дождь как раз только что закончился, и тут же наступила удушливая жара. Из этого района нужно убираться подальше, – решил я и быстро пошел в сторону центра.

По дороге мне казалось, что за мной по пятам кто-то идет, и я то и дело оглядывался. Наверное, я был похож на загнанную собаку. Несколько раз, чтобы скрыться от преследователя или от воображаемого преследователя – ведь за мной постоянно шли какие-то люди – я резко менял направление или начинал бежать.

Солнце быстро выпарило воду на тротуарах, оставив лишь мелкие лужицы. К центру толпа стала гуще, и мне в нос хлынули отвратительные запахи еды. Тогда я снова взял такси и попросил таксиста везти меня в Чайнатаун. Мы проехали Королевский дворец и храм Изумрудного Будды и оказались в самой гуще суеты.

Перед заходом солнца под красными бумажными фонарями и невообразимой путаницей вывесок и флажков торговля шла полным ходом. То и дело подъезжали новые киоски на колесах и тележки, груженные всякой всячиной. Торговцы снова и снова разворачивали свой товар: мангольд, хрустящих червей и шкатулочки с шелковыми платками. Они бесконечно торговались с покупателями, так, будто от каждой продажи зависела их жизнь.

В течение часа я, как очумелый, двигался вдоль длинных рядов сувениров, потом вышел на улицу скобяных и жестяных товаров. Там я сунулся в какую-то лавочку и спросил, не знают ли там оптового торговца Колицисы, но на меня лишь подозрительно покосились. Пройдя еще несколько магазинов, я опять заглянул в дверь какого-то магазина и задал тот же вопрос. Но и там решительно никто не знал, кто такой Колицисы. Чертовски быстро распространяется здесь информация, – решил я.

И все это время за мной кто-то шел. Я никак не мог увидеть этого человека. Тогда я резко повернулся и сам пошел ему навстречу, а он, надвинув на голову соломенную шляпу, быстро прошел мимо.

За небольшим батом, молитвенным домом, я вошел в один из боковых переулков и вдруг бросился бежать, не разбирая дороги, и, пока я бежал, я одновременно как будто лежал на глубоком и тихом дне, погребенном под канонадой волн и человеческих криков.

Когда я наконец остановился на все той же шумной центральной улице Чайнатауна, я увидел, как у меня под ногами, распластавшись на земле, лысая

женщина поет в микрофон. Ее голос стелился по земле, как змея. Восточная песня всегда не летит, а именно ползет, – подумал я и тут же решил, что моя мысль совсем неуместна.

Потом опять зарядил ливень. Он был громким и больно бил в лицо и по глазам, и я стоял под этим ливнем очень долго и смотрел, как разбегается толпа. Я совершенно не соображал, куда идти. Конечно, я бы мог снять новую гостиницу, но меня могли бы тут же обнаружить. В конце концов, никакого преступления я не совершал. Разумеется, в моем кармане до сих пор лежали деньги мертвеца, которые еще в гостинице я успел завернуть в целлофан. Кроме этого воровства, на моей душе не было пятен. Значит, меня преследовали из-за Книги Серера. Это было очевидно. Значит, кто-то вычислил, что я потомок тилацинов. Проклинать свое происхождение не имело никакого смысла, но я думал, что родись я китайцем или тайцем, меня бы никто не начал преследовать. Быть может, на нас лежало проклятие? Но в проклятия я не верил. Если бы кто-нибудь наложил проклятие на Китай, неужели все жители этой страны стали бы в одночасье несчастны? Это было каким-то жутким наваждением, из которого я никак не мог выйти.

И все же в смятении я раздумывал, не вернуться ли мне на Айутайя, чтобы еще раз заглянуть в книжную лавочку. Быть может, за это время кто-нибудь что-то узнал. Я опять взял такси. И опять ехал мимо невозмутимого королевского дворца и Храма Изумрудного Будды. Наконец таксист остановился у самого рынка, и я попросил его подождать. Имени старика-книготорговца я не знал. За это время лавочка совсем опустела, и двери ее были открыты. И опять я спрашивал у соседей, что произошло. Наконец, женщина, торговавшая на земле бусами, сказала, что знает книготорговца.

– Его все здесь знают. Он называл себя Джен. Но сегодня утром он не пришел. Наверное, умер. Он же старый.

Тогда я попытался узнать, где его дом или где живет его сын, но она этого не знала.

– Точно, у него был сын – большой человек!

Тогда я стал расспрашивать ее о том, чем занимается сын, но она лишь ответила, что, кажется, сын работает в городском департаменте.

– У него большая иностранная машина, очень дорогая! – добавила она.

Больше мне не удалось выяснить ничего, потому что мне показалось, что за мной внимательно наблюдают из-за задернутых занавесок второго этажа. Потом за спиной у меня встал какой-то низенький человек и стал прислушиваться к разговору. Тогда я рванул обратно к такси. К счастью, водитель все еще ждал меня.

Постепенно на город сползла мгла. В голове был невыносимый шум, который, казалось, рождается внутри, и сначала я попросил ехать к Колицисы, но потом подумал, что сейчас лучше залечь на дно.

– Везите меня на окраину, – пробормотал я.

Водитель-малаец с широкой головой посмотрел на меня вопросительно.

– Везите меня на любую окраину, и я скажу вам, где остановиться.

Без лишних слов он свернул на юг. Через несколько километров Чайнатаун был позади. Впереди лежали сламы и пустыри. И лишь когда мы достигли самых мусорных окраин, я попросил остановить машину. Я вышел на большом пустыре. Мне хотелось снова вернуться к животным, хотя бы для того, чтобы немного передохнуть.

Теперь я стоял посреди помойки. Несмотря на то, что отовсюду несло мерзостью, тут было ветрено и прохладно. Впереди торчали густые заросли гардении. Она цвела. Божественный запах ее царил на вершине смрада. Под ней я и устроился, и лежал, дыша, как чахоточный больной, пока на пустырь не опустилась бархатная тьма. Только после того, как стало темно, я пришел в себя и почувствовал, как рядом со мной свернулась собака. Вскоре ветер стих, небо очистилось. Это означало, что дождя не будет, и я стал смотреть на проступившие звезды. А потом, как примадонна выходит на сцену – медленно и величественно вверх всплыл ясный диск желтой луны с острыми, резко вычерченными краями.

От того места, куда я приехал, человеческие хибары были далеко. В мусоре возились крысы. Вокруг меня с беспокойным любопытством бродили собаки. Тогда я встал во весь рост и завыл, глядя на луну, пока не осознал, что лицо мое вдруг стало мокрым от слез. Голос мой будто разворачивался и разворачивался как сверток, в который завернули жемчужину. Потом в нем проступил самый высокий регистр. Мой вой подхватили собаки. Они вступали поодиночке – одна за другой, как в греческом хоре, и нам было хорошо вить вместе. Я выл и выл, будто освобождаясь от непомерной тяжести. Мы пели древний, проникающий под кожу хорал, и хорал этот разливался до самого горизонта. Потом мы снова улеглись на землю, и луна, сделавшись маленькой, стала ползти в западную часть города.

Теперь мне очень не хватало моего пса, и я все время пытался представить себе, что с ним сейчас происходит. Быть может, его пинали чьи-то ноги. Где он сейчас? – я постоянно задавал себе этот вопрос.

На рассвете меня разбудил чей-то близкий вздох. Костлявый щенок облизал мое лицо и с ужасом отпрянул, когда глаза мои раскрылись навстречу розовому небу. Среди трущоб в серой дымке уже выступали острия ступ, которые разбрызгивали свое золото под утренним солнцем. Над жилыми районами стаи летали черные птицы.

Набрав грязных целлофановых пакетов, я завернул в них мешочек с деньгами и зарыл его тут же в кустах, придавив большим камнем. За мной никто не мог наблюдать, поэтому место это показалось мне надежным. Вокруг в тряпках и ветках возились собаки. Старые псы с седыми исполосованными мордами спокойно лежали, наблюдая за моими действиями. Собаки помоложе бешено носились по кругу.

Я сделал несколько шагов, но вдруг понял, что как будто все больше и больше припадаю к земле. На мне волнилась седая шерсть. Я пах псиной. С рез-

кой ясностью я осознал, что ненавижу одного наглого молодого сабленоска, который всё принимает за лукавую игру, недопеска, которого до кровавых ран грызут и рвут бывалые кобели. Этот молодой пес напоминал мне самого себя в ранней молодости – агрессивного и красивого.

От раздражения в горле у меня пересохло. Я напился из лужи грязной воды и вместе с двумя рыжими псами трусцой двинулся в сторону человеческих жилищ. Оттуда уже доносился запах еды. Вдруг из шалаша, стоявшего ближе всего к пустырю, вышел ребенок и поманил нас. Ребенок вкусно пах потом и игрой. Один из псов доверчиво к нему приблизился. Ребенок погладил пса. Потом я тоже решился подойти к нему вплотную. Как это ни странно, я вдруг выделил этого ребенка из всех человеческих существ и подумал, что испытываю к нему ранее неведомую мне нежность. Рука ребенка скользнула по моей голове, и я тщательно ее обнюхал. Никогда в жизни я не чувствовал такую разнообразную и сильную волну запахов. Ребенок пах матерью, которая в свою очередь пахла чем-то особенным – женским, неприятным и резким, напоминающим рыбу. Запахи доносились отовсюду, и каждый нес с собой какое-нибудь известие. Потом из хибары до меня донесся запах прелых газет, запах человеческой мочи, и откуда-то издалека скользнула струя воздуха, принеся запах мертвеца. Ребенок поиграл с нами. Потом вышла мать девочки, взяла ее за руку и увела. А мы все ходили кругами вокруг этого дома и как завороченные не могли оторваться от жареного духа и запаха детских рук. Сразу после этого прибежали два подростка и, хохоча, стали швырять в нас камнями и комками земли. Так и не позавтракав, мы опять потрусили на пустырь.

Там мы-собаки продремали несколько часов. Когда я проснулся, рядом со мной были уже другие псы, которые тщательно меня обнюхивали.

Вдруг один из них оскалился. Я увидел его стесанные зубы. Но я продолжал невозмутимо лежать на земле, будто провел на этом пустыре всю свою жизнь. Пес нехотя отошел, словно уступив мне первенство.

Вот уже много часов я не ел и не пил. Язык мой был шершавым, будто на нем вырос мох. Я выпил воды из лужи. Напившись, я поймал себя на том, что мне все равно, что происходит где-то там, в большой и шумной толпе людей. Но есть хотелось, и я снова решил идти в город.

На улицах все клубилось, толкалось и шумело, как вчера, и как, быть может, месяц или год назад. Время вдруг стало плоским или вообще перестало существовать. Не было ни прошлого, ни будущего. Пока я бежал через дорогу, лавируя среди машин, меня чуть не сбили. Я вовремя увернулся и отдышался уже на клумбе с желтыми высохшими цветами, густо покрытыми пылью. На большом перекрестке тесно стояли киоски со снедью, и от них опять необыкновенно заманчиво пахло едой. Вдруг взгляд мой упал на кусок рыбы. Я еще не знал, как мне повезло. Кем-то недоеденный ужин. Не обращая внимания на прохожих, я бросился к этой еде.

До этого я очень редко ел мясо или рыбу. Поедая рыбу, я впал в забытие, которое прерывалось лишь резкими звуками автомобильных клаксонов. Но оцепенение, в котором я находился, было таким, будто кто-то насильно тянул

меня в прошлое. Да, рыба, вкус ее, были агентами из моего далекого прошлого. Быть может, я вспомнил раннее детство. Потом я стал внимательно разглядывать особую анатомию этой рыбы, которая еще оставалась лежать на тротуаре – множество костей – толстые кости и кости, напоминающие ресницы. Эта рыба вдруг стала для меня какой-то особой, единственной во всем мире рыбой, и она тоже наблюдала за мной своим сизым ясновидящим глазом, даже когда была уже наполовину съедена. Я стал отождествлять себя с этой рыбой – гибкой и свободной, и в этот момент я будто пожирал себя сам со всеми своими плавниками. Потом я доел, и хрящи приятно разлетелись вдребезги у меня во рту.

## ЧУДО

Вечером следующего дня я-человек обнаружил себя в кафе под королевским портретом. Сложив ногу на ногу, я опять заказал рыбу и ел ее вместе с рисом. Вилки были грязные. Как в черную вату все проваливалось в жару – истории, звуки, случайно виденные изображения. И только аграрный король Пумипон Адульядет невозмутимо смотрел на меня со стены своим стеклянным глазом. Смотрел на меня-собаку. Но к этому моменту я опять был среди людей, и запахи будто погасли. Я плотно поужинал и почувствовал внутреннюю стенку брюшного пресса и выделения ядовитых соков на стенках желудка. Если наше пищеварение – такая сложная мерзость, то чем мы хуже пауков, предпочитающих выносить этот процесс за рамки своего организма?

– Вы путешественник? Турист?

Голос принадлежал хрупкой женщине с волосами цвета лесного ореха.

Я кивнул.

Таиландцев в этом ресторане почти не было, и до меня доносились самые разнообразные переливы акцентов английского. Здесь были в основном европейцы и американцы – те самые хиппи, которых я встречал на берегу. До чего же они все были прекрасны. От них пахло свежестью и красотой.

– Почему вы как замороженный смотрите на них? Они же совершенно испорчены, пресыщены и беспомощны.

– Они так прекрасны и так свободны. Им кажется, что их теперешняя жизнь всего лишь прелюдия, и они не ведают о том, что они и есть хозяйева, – вздохнул я. – Но они всего лишь катящиеся шары.

– Шары?

– Они покатаются в ту сторону, в которую их подтолкнет ветер, – продолжал я. – Если с ними заговорят левые, они на всю жизнь станут придерживаться левых позиций, а правые... – я запнулся.

Женщина эта была прекрасна, и все в ней было хорошо слажено. Наверное, она напоминала мне одну из маленьких стройных оловянных фигурок, которыми торговали на рынке талисманов. Но почему же она не вызывает

у меня ни малейшего интереса? – спросил себя я и тут же ответил на свой вопрос. – Потому что я одержим. Все эти молодые люди были движимы только одним половым инстинктом. В том числе и она. Женщины жеманничали, а мужчины боялись к ним подойти. Я же, последний из последних своего рода, был движим другим инстинктом – инстинктом памяти.

– Вы странный человек.

Женщина смотрела на меня оценивающе, и мне показалось, что она положила меня на чашу весов. В этот момент взгляд ее говорил: «Я или полюблю тебя или уничтожу».

– Можете меня уничтожить, – с какой-то противоречивой насмешкой сказал я. Лицо ее покрывал крепкий загар. Это означало, что в Таиланде она находилась уже не первую неделю. Выцветшее европейское платье. Коричневые вьетнамки из грубой резины местного производства.

– Я собираюсь в один монастырь рядом с городком Краби. В священную пещеру. Это для меня очень важно.

Что-то вертелось у нее на языке.

– Я боюсь путешествовать одна. Несколько дней назад меня изнасиловали здесь в Бангкоке, но я привыкла.

– Зачем же вы путешествуете одна?

– У меня нет другого выхода. Муж бросил. Осталась одна с двумя детьми. Сейчас я оставила детей с няней.

Женщина будто оправдывалась. Но говорила она необыкновенно открыто, без всякого кокетства, и это располагало.

– Кстати, меня зовут Анна. Мой муж уехал в Париж. Мы остались здесь в Таиланде одни. Но вы не подумайте, я не ищу мужчину. Я не ищу денег. Мой муж – очень богатый человек, и он присылает мне деньги.

Потом она с восторгом принялась рассказывать о том, что на западном побережье, где она обосновалась со своими детьми, живут розовые дельфины. В глазах ее стояла тоска. Я не мог поделиться с ней моей тоской и рассказать ей о том, как бессмысленно провел последние месяцы. Я думал, что еще недавно у меня была Собака – быть может, лучшее существо, встреченное мною в жизни, и тоска моя разрослась многократно, как разрастается опухоль.

Я тоже больше не мог оставаться в Бангкоке ни дня и немедленно предложил составить ей компанию в любой момент, когда она соберется уезжать. Но каково же было мое удивление, когда я узнал о причине ее путешествия.

Это было позже. Когда мы оказались в полутемном баре, в котором тоже сидели только иностранцы.

– Вы, конечно, знаете, как у нас в Европе преследовали тилацинов. А вы похожи на тилацина.

Эти первые слова заставили меня насторожиться, но я ничего не ответил и предоставил ей говорить дальше. Потом Анна рассказала о том, что в дни войны ее отец издавал указы о массовом истреблении тасманского волка. Теперь чувство вины не давало ей покоя.

– Мне так стыдно, что я дочь своего отца. К счастью, он умер. Это – облегчение. Конечно, такие вещи говорить странно и даже страшно.

– А ваша мать?

– О, – улыбнулась Анна, – моя мать была прекрасна! Она даже спасла несколько семей втайне от отца. Ведь они не были ни в чем виноваты. Бедняги, где бы они ни находились, их всегда предавали. Мать знала это. Она подделывала документы под страхом смерти.

– И что же с ней произошло?

– Ее арестовали. Но потом ее выпустили. Это было в Испании.

От этих слов мне пришлось вздрогнуть. Все звучало слишком правдоподобно, и я начинал ей верить.

– Я говорила вам про храм неподалеку от Краби, – продолжала Анна. – В этом храме прятались тилацины в начале века, когда их стали преследовать в Азии. Там есть одно место – священная пещера, в которой находится Изумрудный Будда, маленькая копия большого Изумрудного Будды, который стоит в храме Ват Пракэо, то есть во дворце. Когда-то эта маленькая фигура считалась чудотворной. Монахи много десятилетий скрывали там тилацинов. И до сих пор там живет один монах по имени Пакпао, который знает всю историю.

Я не хотел выдавать ей истинной причины моего любопытства, и в какой-то момент мне даже показалось, что это ловушка. Я быстро перевел разговор на другую тему, и Анна с таким же жаром заговорила о своих детях.

Я был уже навеселе, когда заметил, что в дверях стоят два плотных широкоплечих человека. Значит, моя доверчивость была глупа. Значит, мое предположение оправдалось. Тогда я встал под предлогом умыться лицо – я все еще надеялся ускользнуть, и сердце мое бешено билось.

– Вы так взволнованы, – как будто озаботившись, наклонилась ко мне Анна.

Не отвечая, я встал и направился к туалету. И только краем глаза видел, как она выскользнула из-за столика. В этот момент две неподвижные плотные фигуры исчезли со своих мест.

Тяжелый удар настиг меня уже перед самой дверью в туалет, и я впал в беспамятство. Почему меня не убили сразу же – остается загадкой. Быть может, преследователи считали, что я смогу их вывести на след других тилацинов. Но последними тасманскими волками, которых я видел, были мои собственные родители, а к этому моменту они уже были мертвы. Позже я не раз задавался вопросом, зачем эта молодая женщина решила меня выдать. Вероятно, история про богатого мужа была враньем, а деньги она получала у властей. Выцветшее платье. Дешевые вьетнамки. Но я не сомневался, что у нее были дети. В этом я не сомневался ни на секунду. Скорей всего, она действительно была покинута мужем, и теперь проживала в чужой стране в полной нищете. Конечно, она сделала это ради денег, – вот к какому заключению пришел я, когда оказался в длинном темном помещении с одним лишь высоким окном, из-за которого доносились звуки шумной улицы. Из стены торчал обрубок трубы, из которого день и ночь текла грязная вода, просачиваясь в землю через

каменный пол. Благодаря этому окну я слушал уличную толпу и отчетливо и многократно слышал, как в самой ее гуще плещется океан.

Сколько времени я провел в этой темнице – не знаю. Иногда дверь открывалась, и в лицо мне слепил яркий фонарь. Тогда мне на пол кто-то бросал куски сырого мяса. Поначалу я не притрагивался к нему, но, когда голод уже почти свел меня с ума, я вгрызся зубами в красную мякоть. Иногда мне казалось, что у меня снова начинается малярия, которая вернулась, чтобы я смог заручиться собственной смертью. Я не знал, когда наступал рассвет. Только по звукам, доносившимся снаружи, мне удавалось определить, когда город впадает в сон. Иногда в моих видениях ко мне приходила и сама Анна и нежно гладила меня по голове, потом вдруг я ясно слышал в темноте дыхание Собаки и даже ощущал ее запах.

Тогда я понял, что после исчезновения Собаки я будто вообрал ее в собственное тело. Да, все это время она постоянно была со мной, когда я спал и когда бодрствовал. И сейчас Собака была рядом. Невидимая – она охраняла меня и была готова умереть в тот момент, когда сознание навсегда покинет мое тело.

На стенах и на потолке темницы висели ящерицы. От них, прозрачных и серых, и от всякой неразличимой твари шевелился пол. Время от времени я отчетливо видел, как темный воздух бьет крыльями летучих мышей, как хохочут ночные птицы, видел, что невидимое мне апельсиновое солнце уже упало за сцену и океан потерял цвет. Время от времени скользкий голос муэдзина полз среди несуществующих холмов, а в мусорном баке кто-то грохотал пластиком. Тогда я смотрел под ноги, и обманчивое зрение показывало, что под полом застыли крабы, которые смотрят на меня черными недвижимыми глазами сквозь гигантские щели. Несуществующий вентилятор уже принимал сигналы из космоса: он вот-вот должен был обрушиться через дырявую бамбуковую крышу, которая, увы, тоже была лишь плодом моего воспаленного мозга.

Спасло меня необыкновенное чудо. Это был взрыв, который проломил стену. Я совсем не знал, что происходило на улице. Но сначала послышались крики, потом опять началась перестрелка, и раздался взрыв. Поначалу я был напуган. Сквозь дыру в стене полоснул яркий свет, и на меня полетели обломки кирпича, а воздух наполнился гарью и крошевом. Это был самый настоящий подарок. Я прекрасно понимал, что сейчас моим охранникам не до меня. Во всяком случае, я выбрался через образовавшееся отверстие и быстро прошел мимо людей в униформе. Вокруг было уже темно. Фары машин, фонари полиции, дома и занявшееся на соседнем доме пламя терялись в молочном дыму. Мне казалось – я нахожусь в аду. Но это был ад, вернувший меня на свободу. Я просто бежал по улице в неизвестном направлении, и мне было необыкновенно легко. Я дышал полной грудью, и за мной, кажется, никто не гнался. В голове была только одна мысль: скорее на пустырь, выкопать рюкзак и сломя голову бежать из Бангкока.

Я успел вскочить в какой-то городской автобус, проехать в нужном направлении несколько остановок и выпрыгнуть, когда ко мне подошел кондуктор.



Потом я схватил такси. Не доезжая до самого пустыря, я объяснил, что у меня нет денег. Таксист остановился, выскочил и ударом выбил меня из машины, но от этого мне только стало радостно и легко, и он не понимал, почему я вдруг так захохотал.

– Сумасшедший!

– Да, я сумасшедший! – согласился я.

Я уже не слышал, как хлопнула дверца машины, и не видел, как он тронулся прочь. Гигантскими шагами я летел к пустырю. На сей раз там не было ни одной собаки. Я сдвинул камень и опять расхохотался, когда увидел, что мой рюкзаки все еще на месте.

В ночном автобусе, увозившем меня к югу, я всех угощал купленными на стоянке ананасом и папайей. Я смеялся и плакал, и люди опять сочли меня ненормальным, но как раз это-то мне и нравилось! Потом пассажиры впали в спячку, и много часов подряд автобус трясся по ночной дороге.

На сей раз я прекрасно знал, куда мне ехать. Священная пещера. Краби. Изумрудный Будда! Монах по имени Пакпао, имя которого, к счастью, сразу же врезалось мне в память. Я уже представлял себе его лицо. Скорей всего, он был уже очень старый, этот монах. Наверное, у него мешки под глазами, длинные ногти. Меня кольнула внезапная мысль о том, что, быть может, старика этого и вовсе нет в живых. И вообще женщина эта могла меня обмануть, чтобы начать разговор. Никакой такой пещеры и вовсе нет! Тогда я растолкал спящего соседа, и тот сонно и медленно подтвердил, что такая пещера существует.

– Там скрывали тилацинов, – пробормотал он в полусне, и это заставило меня, как от удара, вжаться в спинку кресла.

Остаток ночи я то спал, то смотрел на недремлющего водителя, то благодарил тех, кто устроил взрыв. Я разглядывал безмятежно спавших пассажиров и думал о том, что свобода – один из самых неоцененных даров.

Еще затемно автобус прибыл в Краби. В утреннем тумане я бродил по абсолютно пустым улицам этого городка, над которым нависала причудливая скала. Как только стали появляться первые люди, я бросился к какому-то мужчине и стал засыпать его вопросами о пещере. Он принял меня за туриста и смеялся над тем, что я такой нетерпеливый.

– Если у вас есть чем заплатить, я сам могу отвезти вас в пещеру.

Я был счастлив.

Двор монастыря, в котором меня высадил мой спаситель, был широким. Посреди под развесистым деревом на каменном стуле сидел каменный генерал – прежний губернатор этого края. На голове у него жевала банан солидная обезьяна, стреляя глазами по сторонам и выложив красную мошонку на голову памятника. Сам генерал в этом своем неожиданном берете был невозмутим – ведь он был мертвым, а в руке у него была зажата треуголка. Это меня необыкновенно развеселило. Обезьяна, завидев меня, вскочила, заорала и скрылась в ветвях огромного дерева.

Я сел у каменного мертвеца и стал ждать монахов. Вокруг ходили атласные петухи, подрагивая красными мочками гребешков, и узкие азиатские курицы

с молитвенно сложенными хвостами. Вскоре навстречу мне вышел монах в оранжевой тунике. Я встал.

– Пакпао? Вы хотите видеть Пакпао? – с удивлением спросил он, когда я объяснил ему, зачем приехал.

– Я специально приехал его повидать.

Он оглядел меня с ног до головы.

– Пакпао умер. Три года назад он был убит во время молитвы, как великий Ганди. Вы знаете, что он защищал права тилацинов?

Я кивнул.

– Идемте со мной. Я кое-что вам покажу, – сказал он.

Мы спустились по тропе, терявшейся в зарослях кустарника, и вышли к скале, густо поросшей огромными желтыми цветами. У входа в пещеру под каменными ступеньками я увидел черные воды Стикса. Вход стерегли четыре глиняных Конфуция в тигровых шкурах, драконы, все четыре воплощения Вишну и огненные гипсовые цветы, из которых торчала проволока. Сам вход в ад был похож на материнскую утробу. Внизу шумел подземный поток. Наружу доносилось копошение невидимого зверья и кваканье жаб. Монах зажег факел, и мы стали спускаться.

В темной прохладе на шершавых сводах висели бесконечные свертки летучих мышей. Со сталактитов капала вода. Это было похоже на готический кафедральный собор, потому что в какой-то момент пещера расширилась и дорогу нам перегородила подземная река, над которой застыли золотые изображения Будды, освещенные догорающими свечами.

Монах зажег новые свечи, и в темноте мелькнула рыба, которая только что выпрыгнула из воды.

– Здесь они жили. За этой подземной рекой, – сказал он. – Пакпао и другие монахи специально не строили мост, чтобы никто не мог пройти в пещеру. Пещера очень большая. Здесь есть выход на другую сторону горы, но он невелик. Вы знаете, что произошло?

Я не знал.

– Они жили в течение девяти лет в полной тьме. Двенадцать тилацинов. Они не были похожи ни на волков, ни на тигров. Обыкновенные люди. Одержимые люди. Люди Серера. Ведь они постоянно читали последнюю оставшуюся рукопись своей Священной книги, которая потом исчезла. Они держались за эту книгу. Думали – в ней спасение.

– И что с ними случилось потом?

– Ни в чем не повинных тилацинов расстреляли прямо здесь вместе с детьми.

Монах указал рукой на плоский уступ в скале.

– Когда они лежали мертвые, монахам позволили их обмыть и сжечь их тела. Монахи видели у них на спинах полоски. Они говорили, что только один из детей был похож на зверя. Может быть, потому что он жил в страхе и никогда не видел солнца.

– А сами монахи?

Были арестованы. Пакпао просидел семь лет в заточении. Других выпустили раньше. Монастырь закрыли. В пещеру никого не пускали. Потом, через много лет монастырь открыли опять. Точнее, семь лет назад.

– А Изумрудный Будда?

– Вот он.

Фигурка Изумрудного Будды была совсем небольшой, и если бы монах не указал на нее, я ни за что бы не понял, что это и есть святыня. Под ним, как и под другими фигурами, лежали гирлянды цветов.

– Изумрудного Будду здесь обнаружили, когда пещеру открыли вновь. Это было чудом.

Я еще раз взглянул на темную воду, и мой проводник произнес.

– Слово, касаясь бумаги, умирает, человек, добившись своей цели, не ценит ее, – это были слова тилацинов, которые часто повторял Пакпао. Именно поэтому они не переписывали книгу.

Монах воткнул факел в одну из расщелин камня, сел перед Изумрудным Буддой и, раскачиваясь, стал читать мантру.

Я тоже сел рядом и повторял неведомые мне слова. Быть может, я выл, может быть, я плакал, ведь я часто давал волю слезам, которые, как тогда мне казалось, облегчают душу. Я уже не думал о том, что здесь когда-то произошло, я просто плыл вместе с подземной рекой туда, откуда возврата нет.

## **В ТИСКАХ У ШЕЙХА**

Обо всем этом, случившемся много лет назад, я думал на рассвете, когда самолет приближался к частному аэродрому в Арабском заливе.

Утром в новеньком линкольне меня привезли на виллу шейха. Еще при въезде я заметил скульптуры встающих на дыбы коней, которые медленно вращались над пьяной радугой фонтана.

– Они из чистого золота, эти фигуры, – почтительно шепнул мне водитель лимузина.

Вилла в традиционном арабском стиле была просторной и светлой. Казалось, здесь нашел пристанище весь воздух, собранный в пустыне, и сквозь мутную синеву света я видел огромные расписные вазы, тонкие ковры с прихотливыми орнаментами, блестящие изогнутые сабли на этих коврах. Бассейн в холле был подсвечен изнутри, и в нем парили морские коньки – вероятно, вода была морская.

Меня встретила тоненькая девушка с персиковыми щеками, обрамленными черным, туго затянутым платком, и провела в небольшую комнату, в которой стояли несколько широких кресел. Но садиться я и не думал, потому что глаза мои уже были намертво прикованы к стене. На стене висели семь распластаных желтых шурок с поперечными полосками. Перед моими глазами все поплыло. Такого я не видел даже в парижском музее естественной истории. Разумеется, шейх был богат. Безусловно, все это имело чисто научный,

нейтральный интерес. Тем не менее, ноги мои подкосились, и я почувствовал, что внутри у меня прокатился ледяной шар. Я все еще стоял в гневном оцепенении, когда распахнулась дверь, и в сопровождении свиты в белоснежных летучих одеждах, появился сам шейх.

– Мир Вам, – поприветствовал меня он, широко улыбаясь, и крепко пожал мне руку на европейский манер. У него были выцветшие от солнца глаза – сизые, почти голубые глаза старика, аккуратная квадратная бородака и белоснежные искусственные зубы.

– Я надеюсь, вам было удобно в моем самолете.

Он представил мне нескольких мужчин из своей свиты, внимательно расспросил о моей поездке, об индийских впечатлениях и пригласил к столу. Он был очень приветлив и серьезен, заботливо предлагал изысканные блюда. Мы говорили о лошадях, но когда я попросил пройти в конюшню, чтобы осмотреть больного коня, для лечения которого я и прибыл сюда, шейх строго и загадочно на меня взглянул, осунулся и не произнес ни слова.

Потом опять появилась девушка в черном платке, чтобы проводить меня в спальню. Вилла казалась бесконечной. Коридоры сменялись небольшими двориками с фонтанами. В светлой комнате с полукруглыми окнами, в которой, к счастью, не оказалось никаких шкур, я проспал весь полдень.

К вечеру я вышел к бассейну с морскими коньками. Я был не единственным гостем. В гостях у шейха в этот момент были шесть поэтов с разных континентов, ведь шейх и сам был поэтом. Оказалось, что он пишет на традиционном набати – форма поэзии, которая веками не менялась, и что он автор нескольких поэтических книг.

Перед самым ужином мы собрались в небольшом круглом помещении. На низких медных столах перед резными диванами лежали россыпи розовых лепестков, которые благоухали так, что поначалу у меня закружилась голова. Здесь же у столиков стояли кальяны.

Шейх представил мне одного из своих гостей, человека с широким лицом индейца.

– Прекрасный поэт, господин Педро Лопес. Поэт и народный герой из Венесуэлы. Вы наверняка читали?

Лопес оказался соратником самого Чавеса. В его чертах было что-то кошачье. Взгляд насмешлив.

– Поэзия поэзией. Но это не главное.

– А что же главное?

– Разоблачаю американского врага в международной прессе.

Мы опустились на диваны, и Лопес тут же стал сыпать историями из жизни своего президента.

Сам шейх тут же углубился в беседу со своим другом, литератором-буром, который когда-то был удостоен Ордена почетного легиона за помощь Нельсону Манделе и жил теперь в Париже.

Неужели, этих людей объединяет поэзия? – думал я. Что связывало шейха и белого протестанта, отсидевшего многие годы вместе с Манделой? Шевалье

был высок, ладен. Прекрасные манеры выдавали в нем человека непросто­го происхождения. Тюремное прошлое делало его вдвойне привлекательным. На секунду у меня мелькнула мысль о том, что, будь я женщиной, вряд ли я смог бы устоять перед его обаянием.

Наконец мы перешли в столовую, и я смог внимательней рассмотреть остальных.

Пожилой палестинский поэт из Каира, циник, по лицу которого можно было прочитать о его многочисленных романах с алкоголем, судя по всему, был самым неимущим из всех гостей, за исключением меня самого. Его держали на положении бедного родственника, и это чувствовалось по тому, что шейх ни разу за весь вечер к нему не обратился. Рядом со мной сидел иранский поэт и близкий друг президента Ахмадинежада. Он все время шутил и восторженно смотрел на шейха. Пока мы ужинали, дверь отворилась и появился еще один гость.

– Это крупнейший фармакологический предприниматель Индии. Родом из Агры, – успел шепнуть мне Лопес, с которым теперь мы были друзьями.

– Без конца звонки из Бомбея. Прошу прощения у его величества и гостей, – пробормотал он, сел на единственный пустовавший стул и уставился в тарелку.

Его тяжелое неподвижное лицо казалось вот-вот соскользнет вниз на пол и разлетится вдребезги.

Пожилой господин Эберт – обаятельный немецкий переводчик с арабского и персидского и член немецкого левого фронта, в котором я опознал знаменитого в прошлом шпиона, то и дело выяснял корни происхождения тех или иных арабских слов.

Среди нас была и единственная женщина – высокая полногрудая рыжая Ольга в длинном арабском платье и в ярко-синем платке вокруг свежих щек. Из короткого разговора я узнал, что она несколько месяцев назад прибыла из Москвы также по личному приглашению нашего гостеприимного хозяина. Ольга проходила в нефтяной компании шейха стажировку. Ее синие лисьи глаза пахли далекими снегами.

При чужих Ольга держалась сдержанно и была совсем не похожа на тех московских барышень, с которыми мне приходилось встречаться.

В тот вечер после ужина четыре прекрасные девушки исполнили в нашу честь танец живота, но я с иронией поймал себя на том, что мысли мои занимает Ольга.

С Ольгой я разговорился уже после ужина, потому что, будучи уроженцем Узбекистана, прекрасно говорил по-русски. Я не постеснялся спросить, откуда на ее бледных нежных руках такие причудливые кольца. Ольга с лукавой улыбкой объяснила мне, что это подарки одного из сыновей шейха. Признаться, я был немного смущен ее молодой красотой. Потом она украдкой показала мне золотой крестик на тонкой цепочке, который она носила под одеждой, и улыбнулась.

– Я не поддаюсь.

Заговорщическое выражение ее глаз заставило меня рассмеяться.

– Ни в коем случае не поддавайтесь.

Днем, прогуливаясь с ней по огромному цветущему саду виллы, я узнал некоторые подробности о гостях. Лопеса она недолюбливала – он казался ей похотливым псом, к тому же его поэзия была громоздка и буквальна. Бур запрашивал денег на какой-то большой французский проект, правда, делал он это очень деликатно, пытаясь ввязать шейха в свои демократические начинания. Индус был мрачен, и, казалось, все здесь на вилле было ему в тягость. А Эберт просто наслаждался. Принимал от жизни ее дары.

– Лучше всех ведет себя Джихад.

– Джихад?

Я несколько удивился такому имени и даже переспросил.

– Палестинского поэта из Каира зовут Джихад. Он очень знаменит. Несмотря на это – бедный, пьяница и в прошлом гуляка. Он один держится будто в стороне и ничего не просит. Однажды Джихад попытался заикнуться о помощи какой-то организации, но шейх на него рявкнул. Зато сын шейха, принц Махмуд, кажется, предложил ему кругленькую сумму.

При словах о сыне шейха Махмуде Ольга запнулась и погрузтелась.

Потом, говоря о поэзии, мы стали по очереди наизусть цитировать Пушкина, Тютчева и Манделштама. В конце концов, я заставил себя раскланяться и уйти: от присутствия этой милой девушки кровь бросилась мне в виски, и у одного из фонтанов я чуть не потерял равновесие. Весь вечер после этого передо мной стояло ее светящееся молодостью лицо, и я только раз подумал о загадочном больном коне, а всю последующую ночь мне не давали покоя шкурки тилацинов, распластанные по стенам дворца. Может быть, мучения необходимы? Может быть, именно мучениями и жив человек?

На следующий день за завтраком все были в сборе. Отсутствовал лишь палестинский поэт, которому, по словам шейха, пришлось срочно выехать на телепередачу в Каир. Мы пили одно из лучших французских вин, читали стихи о любви, а о конюшне не было и речи. Сам шейх, хотя и угощал нас вином, не выпил ни глотка и прочел наизусть множество четверостиший Омара Хайяма, переведенных на арабский. Потом бур подхватил их по-английски, и мы хором еще долго и с наслаждением повторяли:

Откуда мы пришли? Куда свой путь вершим?

В чем нашей жизни смысл? Он нам непостижим.

Как много чистых душ под колесом лазурным

Сгорают в пепел, в прах, а где, скажите, дым?

Но наслаждение мое было странным и даже горьким. Я уже охмелел от вина. Стихи были прекрасны. Но как я мог по-настоящему наслаждаться поэзией, когда прямо за моей спиной, и я ощущал это физически, на стене висели полосатые шкуры моих близких?

Еще минута – и во мне была готова прорваться лавина гнева, но я пытался себя сдерживать, и маска улыбки не сходила с моего лица. Сдерживать досаду мне помогла и Ольга, о которой я не переставая думал. К счастью или к несчастью, на сей раз ее не было рядом, и меня так и подмывало еще раз задать вопрос о больном коне Бербере. После завтрака я с горечью узнал от Лопеса, что благородный конь околел еще до моего прибытия и что похороны состоялись в ночь моего полета.

После завтрака мы распрощались с шейхом, и нас передали в руки необыкновенной красоты высокой молоденькой уроженки Дубая, прекрасно владевшей английским.

– Теперь я буду заботиться о вас.

Женщина провела нас в библиотеку, которая состояла из редчайших и дорогих книг. В этот момент я не думал, что здесь может находиться одна из тех рукописей, которые могли бы меня заинтересовать. Я уже внимательно разглядывал уникальный экземпляр трактата Томаса Миллза «Каталог достоинств, или сокровищница истинной знати острова Великобритания», когда до меня донесся голос Эберта.

– Смотрите, что я держу в руках! Это печально знаменитая „Священная книга волка“. Так называемая „Книга Серера“, из-за которой было пролито немало крови.

Я повернулся к говорящему и на минуту замер. В руках он держал книгу в золотом переплете, и все присутствующие с любопытством смотрели на его находку.

– Судя по всему, его величество заинтересовано в жизни и смерти этого неполноценного рода, положившегося на пиратское отродье морских цыган.

– Я все-таки надеюсь, что с тилацинами покончено навсегда. Вопрос тилацинов решен.

– Вы говорите об окончательном истреблении?

В этот момент мне хотелось бежать отсюда куда угодно. К сожалению, мы находились в гостях, и я не мог вступить в спор с иранским поэтом, который произнес слова о неполноценном роде. К тому же я не смел поднимать руку на человека, который по сути произнес всего несколько слов. Все остальные заметили мое замешательство, и книга оказалась в моих руках. Это была та самая книга, которую я некогда видел в Бангкоке и за которой охотился столько лет.

– Редчайшее издание. Индия. Середина восемнадцатого века. Остальные экземпляры были сожжены, – продолжал поэт.

– Да, сожжены...

Перед глазами у меня все плыло и плавилось, но я все еще держался на ногах и растягивал губы в улыбке.

Гости продолжали обсуждать книгу. Потом Лопес вынул ее из моих вспотевших пальцев и поставил на место. Мужчины продолжали говорить о других изданиях, но я только слышал голоса, не понимая смысла произнесенного.

– Может быть, вы хотели бы пройти в залы, рассказывающие о добыче жемчуга, – услышал я голос девушки как в тумане.

– Друг мой, что с вами? „Книга Волка“, кажется, действительно является средоточием мирового зла. Смотрите-ка, как она на вас подействовала. Прямо как яд. Вы какой-то бледный!

Эберт уже дружески теребил меня за плечо.

– После экскурсии мы перекусим. Это приведет вас в порядок. Потом едем в конюшни, смотреть на чудеса! Такая возможность представляется вам не каждый день, или я ошибаюсь? Ведь вы, кажется, кроме того, что знаток литературы, еще и ветеринар?

Все остальное происходило как под водой. Я куда-то семенял за поэтами и непрерывно слышал мелодичный женский голос.

– Это залы, посвященные началу нефтяной эры и истории семьи Аль Нагиб, которая правила здесь в течение 350 лет, потом – залы с коллекцией марок и старых монет, а также экспозиция, рассказывающая о жизни бедуинов, коллекция географических карт и исторические документы.

Придя в отведенную мне комнату, я рухнул на кровать. В конюшни я ехать отказался под предлогом головной боли. Сейчас мне было не до лошадей. Потом к горлу моему подступила тошнота, и я бросился в ванную. Десять или пятнадцать минут я висел над унитазом с благородной золотой надписью „Виллерой и Бош“ Я выблевывал завтрак, и мне казалось, кто-то перемешивает мои внутренности большой оловянной ложкой. Потом я припадал к крану и долго пил воду, ложился и вставал, и снова и снова лицо мое нависало над золотым „виллероем“.

За обедом шейха не было. Слуга доложил, что он уехал по срочному делу и просит извинить уважаемых гостей. Наверное, я был очень бледен. Теперь я остался наедине с поэтами и чувствовал себя в кругу дьяволов. Мне хотелось перенестись на волшебном ковре подальше от этой виллы, в самые неприглядные, самые уродливые уголки земли и хлебать пустую кашу, хотя передо мной стояли блюда с фруктами, омарами и диковинными салатами. Пока мы ели, я все время разглядывал крашенные усы индуса, из-под которых сквозила седина.

– И зря вы не поехали с нами. Конюшни – чудесны. Лошади – боги! – с жаром говорил Эберт.

– Ноги у коней тончайшие. Высокая шея. Живой шелк! Породе около двух тысяч лет!

– Здесь все уникально. Все убранство. А коллекция. А карты, монеты, книги. Тысяча и одна ночь!

Надо сказать, это был один из самых ужасных дней моей жизни, и я бы не хотел останавливаться на неприятных подробностях, пережитых тогда, но мне кажется это необходимым.



Вначале речь шла о коврах, потом о картинах, о картах и об охоте. И наконец заговорили о шкурках тилацинов.

– Как по мне, так их здесь слишком уж много, этих шкур, – потягивая вино и ежась по сторонам заметил, бур.

И тут иранский поэт снова повторил слово в слово то, о чем он говорил в библиотеке. Теперь мой и без того ужасный аппетит пропал окончательно. Из тарелки на меня все еще пялился нетронутый омар, и на плечо мне снова легла рука Эберта.

– А что вы думаете по этому поводу? Мы еще не слышали вашего мнения.

Его лицо было на удивление спокойным, самодовольным и даже наглым. Желтый чуб спадал на его загорелое лицо.

– Я думаю... – я все еще медлил. К счастью в этот момент в голову мне пришла другая мысль, и я встал.

– Я думаю, Эберт, вы могли бы сыграть Джеймса Бонда. После Роджера Мура вы бы могли стать одним из лучших.

Все захохотали. Затрясся от смеха даже мрачный индус, а Лопес залился визгом и чуть не упал со стула.

От этого хохота кровь бросилась мне в глаза, и я окончательно вышел из-за стола. Все с недоумением на меня смотрели. Лопес все еще стирал слезинки и промокал лицо белоснежной салфеткой.

– Больше всего из коллекций его величества мне по душе собрание редкого оружия.

С этими словами я подошел к одной из витрин, раскрыл ее и вытащил меч. Сердце у меня внутри билось очень мелко, как будто оно не билось, а дрожало. В ногах вдруг возникли две жесткие пружины.

– Довольно тяжелая штука, – только и смог произнести я.

Дальше все происходило очень быстро, потому что меч у меня в руке сам по себе вдруг заплясал. Еще минута, и тело иранского поэта медленно сползло на пол. Все остальные – и индус, и немецкий шпион, невозмутимо, или, по крайней мере, делая вид, что ничего из ряда вон выходящего не произошло, сидели все в тех же позах, а по лицу Лопеса, руки которого уже висели, как плети, осторожно кралась жалкая улыбка.

– Это то, что я хотел добавить к истории о тилацинах, – прохрипел я и понял, что голос мой резко сел.

– И это еще раз доказывает, что тилацины – жестокие мерзкие твари и их истребление было делом не случайным, – с вызовом произнес бур и тоже встал.

Индус посмотрел на него с осуждением, потом взглянул на тело и зажмурился.

– Кажется, ветеринар испортил нам превосходный обед, – тихо пробормотал он, тряхнул тяжелым лицом и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Теперь я остался наедине с Эбертом, Лопесом и буром.

Установилось тяжелое молчание. Я старался не смотреть на стекающую к моим ногам человеческую кровь.

Потом я вложил меч в ножны и вышел. Я уже не помню, как за мной вышли и остальные. Помню, что в саду у фонтана было жарко. Издалека я увидел Ольгу, которая, вдруг выпорхнув из-за деревьев, весело помахала нам рукой и навсегда исчезла в одной из беседок.

Такси везло меня в сторону аэропорта. Всю дорогу я механически бубнил четверостишия Хайяма. И только, когда мы подъехали, я спохватился, что меня смогут арестовать в любом месте, куда бы я не приземлился. Теперь я был преступником, но ни на секунду не жалел о содеянном.

Тогда мне удалось на перекладных выехать из страны. Я обзавелся чужим паспортом и уехал в одну из стран центральной Африки, где в тот момент шла война. С тех пор утекло уже много лет, и это было второе чудо – чудо, благодаря которому я остался жив.

## ДЕВЯТЬ ЛУЧЕЙ

По краям пыльных дорог здесь растет на первый взгляд вполне заурядное растение, мелкое и темно-зеленое, не достойное своего пышного названия — *mitosa pudica*. Но стоит лишь коснуться узких мелких листьев, как они начинают складываться на глазах, сворачиваться, и растение прикидывается мертвым. Это, пожалуй, единственное растение, которому не чуждо движение, а впрочем, обыкновенный мелкий тропический сорняк. Это растение напоминает мне меня самого. Я мертвый. Я живой. Я – растение, которое обладает странными свойствами выживать в любых обстоятельствах.

На побережье спускается вечер. Опять напрасный. Электрический луч падает на песчаную поверхность пляжа, который сжимается как мятая кожа. Пройдя сквозь луч, я вхожу в черную пустоту воды, лопающейся у самого берега лягушачьими пузырями. Внезапно меня что-то ослепляет, осеняет, пробуждает и заставляет застыть. Что именно – невозможно вспомнить. Так значит, – прошлое – вещь в себе, как стекляшка в дорожной оправе. Я вхожу в мокрую черную пустоту, по которой, как по экрану, двигаются полосы флюоресцирующих от электрического присутствия волн в перерыве между телевизионными шоу.

Еще несколько месяцев назад по моему телу скакали кошки. Кошки – острые существа, меховые змеи на четырех лезвиях. Они крошили меня в салат восточным тиранам. Кошки – пружинистые и ускользящие ножи. И все потому, что я воровал для них колбаски с тарелок принцесс и бережно нес их в салфетках на самое дно свалки. Кормить этих существ – котов и собак – это наш единственный человеческий долг. До сих пор эти звери неотрывно смотрят на меня из глубины своих плешивых израненных тел. Их глаза подозрительно внимательны и спокойны. Это – сфинксы. Эти сфинксы рассыпаны по

всем дорогам третьего мира. Их пинают, режут живьем, расстреливают, сдирают с них шкуры и, не дождавшись их последнего вдоха, бросают в суп, в Китае из них делают воротники, выдавая за пушных зверей, и все это время они продолжают внимательно на нас глядеть, пока их глаза не переселяются с земли на небо. Потом они глядят на нас с неба, внимательно начисляя наши грехи.

Наконец я нашел себе место. Я выстроил себе хибару на мировой помойке. Я построил ее из отходов, осуществив мечту о ресайклинге. Я – человеческий ресайклинг, потому что во мне смешалось множество судеб, и я живу с покинутыми животными. Каждое утро под двери моего мусорного храма приходят все новые и новые звери. Они ненавидят друг друга – эти коты и собаки. Но постепенно я учу их любви. Это собаки, уставшие от поисков хозяина, то есть от поисков ласки. Они приходят сюда с побережья. Ну и нюх же у них, ну и пяточки, ну просто трюфельные свиньи – эти мусорные собаки. Обычно я кладу на алтарь кости, недоеденные людьми, и остатки рыбы. Из всех моих прихожан больше всех мне полюбился седой пес с лоснящимися пролысинами на спине, которые, вероятно, он выгрыз себе сам в борьбе с кожным заболеванием. Его пыльная шерсть усеяна коричневыми пузырями клещей, которые я вывинчиваю из его тела двумя пальцами, чтобы потом раздавить их стаканом со свежесжатым соком папайи о белую скатерть аналога. Клещи лопаются, и на скатерти образуются кровавые пятна – это напоминание благополучным счастливым о бесприютной нищете. Этот пес – само спокойствие. Кастрация, сделанная английским ветеринаром, превратила его в существа ангела, и под его обезьяньим хвостом болтается пустая мошонка. И все же он улыбается. Глаза его светятся теплым огнем, и ладонь моя невольно спускается на его мягкую пыльную черную голову. Еще приходит пес с бубликом вместо хвоста – огненно рыжий. Он никогда не улыбается. Бывает, заглянет ко мне и шелудивый хромой с хрупкими ребрами и варварской наглостью в раскосых глазах. Все они – служители Храма Собак.

По вечерам на запах мяса ко мне приползает вся королевская рать. Все они выходят из темноты, из-за палым и, расположившись амфитеатром вокруг моего единственного стула, заглядывают мне в сердце. Да, конечно же, я Вий, раз уж пошла такая нечисть. У меня длинные железные веки до самого горизонта, которые мешают мне видеть ублюдков. Кроме того, я проповедник собак, и они – прихожане в моем Храме Пылающего Сердца. Ко мне на пир, на мою мессу слетаются и птицы. Они начинают петь еще на рассвете, прославляя наш Храм. У меня есть и корона хранителя Храма, и сделана она из большой консервной банки. Моя корона сияет на солнце, и от нее отходят девять лучей.

## МАРУСЯ КЛИМОВА

ИЗ КНИГИ «БЕЗУМНАЯ МГЛА»



Ничто так не угнетает, как чтение литературных рассылок. Писатели и поэты напоминают саранчу: их так много, с каждым разом все больше, и когда-нибудь они тебя сожрут.



Первую половину своей жизни ты посвящаешь чтению книг, изучению классики и вообще стараешься стать как можно умнее, чтобы потом на протяжении многих лет постоянно сталкиваться с самыми разнообразными проявлениями слабоумия и маразма. И так до тех пор, пока ты наконец не осознаешь, что и в начале жизни у тебя перед глазами тоже были исключительно примеры человеческого идиотизма, ну разве что чуть менее разнообразные, однако по молодости и глупости ты их просто неправильно понимала, считая их образцом для подражания.



Перебираясь сегодня по Невскому на общественном транспорте – маршрутке, как я поняла, там отменили – вспомнила забавную табличку в парижском автобусе: «... в случае разногласий предпочтение отдается тому, кто желает закрыть окно». Вот чего так не хватает здесь пассажирам, да и людям вообще: таких вот уточнений и разъяснений по самым разным поводам жизни. И хотя лично я предпочла бы, чтобы предпочтение отдавалась тому, кто окно открывает, все равно невозможно ведь любой самый элементарный вопрос решать исключительно при помощи мордобоя. А российскому гражданину даже в случае, когда ему просто надо пропустить кого-то вперед или же, не дай бог, уступить место, приходится задаваться воистину гамлетовским вопросом: не примут ли его тогда за лоха. Я вообще не могу сказать, что меня как-то особо радует, когда каждый встречный, включая нажимающего на переходе на газ водителя «Лексуса», пытается напомнить мне о себе и своих комплексах. Вежливость – это, наверное, единственное, что позволяет человеку почувствовать себя по-настоящему одиноким в этом мире. Больше, думаю, ничего и не надо.

Роботы вокруг – это идеал, но такое, увы, можно увидеть только в кино.



Нельзя писателям брать имена, которые моментально вылетают из головы. Помню, был такой – то ли Дмитрий Андреев, то ли Андрей Сергеев, то ли Сергей Дмитриев, то ли Андрей Дмитриев – до сих пор не могу с уверенностью сказать. А ведь я когда-то даже о нем писала, в связи с букеровской премией, по-моему. Что же говорить об остальных?

У писателя должно быть имя звучное и выразительное, типа Мамонт Дальский, Васисуалий Лоханкин или же Иегудил Хламида, такое, чтобы читатель сразу настраивался на романтический лад и, самое главное, раз услышав, уже не мог никогда забыть. Или же, на худой конец, как у Айн Рэнд: полностью повторяющее на уровне артикуляции рвотные позывы. Тоже своего рода мнемоническое правило. Правда, я до сих пор так и не смогла заставить себя открыть ни одну ее книгу. Но известность важнее, в конце концов.



Вот чего бы я хотела. Поехать в Куршевель. Подняться в лифте с Максимом Галкиным, позавтракать рядом с Задорновым, встретить в коридоре Шендеровича, послушать, сидя где-нибудь в заднем ряду, стихи Орлуши, смотреть сквозь стекло на удаляющийся по узкой улочке силуэт Пугачевой...

Мне, наверное, никто не поверит, но я серьезно.



Нет, я, конечно, не мистик и вообще никогда ни к чему такому не стремилась. Но если подумать, то вдова Селина сама готовила мне кофе, водила в Оперу и рестораны, императора Бокассу полностью оправдали по обвинению в людоедстве, а его адвокат два, нет, даже целых три раза правил мои французские тексты, и, наконец, я прикасалась к черепу маркиза де Сада.



Живучесть некоторых персонажей указывает на то, что у них имеются *травмы, не совместимые со смертью.*



### **на даче**

Птицы, мыши, ежики – все озабочены поисками еды. Ничто так не приближает человека к природе, как продолжительная нехватка бабок на жратву.



Взяла сегодня с собой несколько сухариков, чтобы покормить в садике голубей. Вчера они меня жутко достали. Но пока ходила по магазинам как-то незаметно съела их сама.

Вот так и в блокаду: сначала сожрали все сухари, потом – воробьев и голубей, а затем и на людей перешли.



Зачем нужен Бог? Я, например, еще ни разу не встречала ни одного индивида, прямо или косвенно связанного с уголовным миром, который не был бы глубоко верующим. Причем не только в жизни, но и в кино все подобные персонажи, совершая тот или иной наносящий урон окружающим поступок, обычно не забывают после перекреститься и посетить храм. И это понятно. Если ты кого-то обокрал, ограбил или, тем более, убил, то тебе вовсе не обязательно разбираться с милицией, тащиться туда с повинной, заморачиваться с родственниками жертвы, давать им бабки, просить у кого-либо прощения и грузить себя лишними проблемами, а просто достаточно сходить в церковь и покаяться. То есть совершить всего несколько совсем необременительных движений ногами и руками. И все, вопрос следует считать закрытым. Можно с чистой совестью, не отягощая себя мыслями о прошлом, продолжать свою деятельность в том же духе. Очень удобно, по-моему.

Вообще я заметила, в этом мире нет таких вещей и понятий, которым люди в конечном итоге не нашли бы практичное и полезное применение.



### **мое виденье будущего**

Возможно, когда-нибудь люди превратятся в таких щуплых крошечек размером с цыпленка с несоразмерно большими головами и локаторами вместо ушей, а потом переселятся на Марс...

Или нет, все будет не так. Со временем человечество создаст роботов, которые абсолютно никак не будут внешне отличаться от обычных людей. То есть сначала это будут достаточно неуклюжие куклы, вроде тех, что можно видеть уже сегодня, но постепенно, по мере совершенствования техники, ученые соберут практически всю информацию о человеке и просто перенесут ее на более прочные и долговечные носители, чем мясо и кости. Ведь, если вдуматься, в идеале вся информация о человеке – это и есть сам человек. Так что подобная эволюция роботов кажется мне вполне реальной. Они просто повторят путь человека, который тоже когда-то был обезьяной. К тому же, уже сейчас на роботов перекачивается все больше и больше различных функций и обязанностей, являвшихся ранее исключительной прерогативой людей. И эта тенденция будет только нарастать. Таким образом, можно сказать, что когда-нибудь именно труд создаст из роботов существ, полностью идентичных человеку.

И тогда эти создания постепенно разбредутся по миру и растворятся среди людей. В каждого из них будет заложена программа с определенной стратегией поведения. Что тоже совсем несложно осуществить, поскольку образ жизни подавляющего большинства представителей человеческого рода не отличается особым разнообразием: одни по много часов в день совершают монотонные повторяющиеся телодвижения на конвейере, другие месяцами квасят и не встают из-за стола, а кто-то и вовсе постоянно валяется на диване перед телевизором.

На каком-то этапе люди будут относиться к своим двойникам, несмотря на их полное сходство с собой, так как когда-то они относились к неграм: бить их палкой и всячески эксплуатировать. Однако затем появятся первые защитники прав этих киберов, начнут создаваться партии, Север будет воевать с Югом, и, наконец, они полностью во всех отношениях сравняются с людьми: станут голосовать на выборах, избираться в парламент и вступать в браки с обычными гражданами, органического происхождения. Единственная проблема, которая в данном вопросе так и останется неразрешимой, будет заключаться в том, а чувствуют ли хоть что-нибудь на самом деле эти существа или нет. Если к кому-нибудь из них подкрасться сзади и громко заорать, то он испуганно вздрогнет или даже схватится за сердце и упадет в обморок, а если ткнуть ему в руку острым предметом, то на ней появится жидкость, ничем не отличающаяся от крови... Но что за этим стоит, кроме специально созданных на все случаи жизни совершенных программ?

Над этим вопросом будут биться лучшие умы человечества, главным образом философы и прочие представители гуманитарной мысли, не занимавшиеся его технической стороной. А поскольку окончательный ответ на него будет дать практически невозможно, то человечество в конечном итоге разделится на тех, кто верит в то, что внешне полностью идентичные им существа чувствуют то же, что и они, и на тех, кто это отрицает. На этой почве произойдет зарождение и развитие новой схоластики, а о Боге и потустороннем мире в конце концов все просто забудут. Глобальное разделение на верующих в киберов и акиберистов, возможно, даже в какой-то момент приведет к развязыванию

кровопролитных религиозных войн. Причем часть киберсуществ выступит на стороне тех, кто будет отстаивать их сверхчеловеческую бесчувственную природу.

И наконец, на самом вершине эволюции и человеческой истории, когда гуманно-кибернетическая точка зрения о полной идентичности новых и старых людей окончательно и повсеместно восторжествует, тема взаимоотношения людей и их подобий станет главным сюжетом большинства сериалов и женских романов, которые отныне будут заканчиваться примерно так:

*«Подойдя к окну, он незаметно покосился на нее, и ему вдруг показалось, что в ее глазах, устремленных куда-то вдаль, на темную улицу, промелькнул холодный металлический блеск. Видение длилось всего мгновение, но и этого было достаточно, чтобы мысль, которая часто посещала его по ночам в мучительные часы бессонницы, снова к нему вернулась. А что, если его избранница, ради которой он оставил свою прежнюю жену и детей, не только не способна любить, но не ощущает вообще ничего, даже его прикосновений? Эта мысль заставила его инстинктивно протянуть руку и дотронуться до ее обнаженного плеча. «Чего тебе, милый?» – повернулась она к нему, кокетливо поеживаясь и улыбаясь своей по-детски трогательной улыбкой, которая всегда так его волновала. В этот момент его охватил ужас».*



Если бы люди не вызывали у меня столь сильного отвращения, то их, вероятно, можно было бы назвать трогательными.



### **загадочная французская душа**

Моя парижская знакомая несколько лет преподавала на Антильских островах и привезла оттуда солидный запас рома. Кроме того, у нее только что вышла книга про Селина. И вот мы сидели с ней как-то у нее на кухне, пили ром, отмечали книгу и обсуждали известных нам селинистов: у кого сколько бабок, жен, детишек, кто купил себе дом, кому повезло с наследством, и кто, как она, вынужден перебиваться на зарплату преподавателя... Кажется, она перечислила почти всех, и язык у нее стал сильно заплетаться. Я даже начала опасаться, что сейчас она свалится со стула и заснет, а мне придется ее тащить до кровати. Но вдруг она вся преобразилась, резко выпрямилась, как будто вспомнила что-то крайне важное: «Но вот F... F – это нечто совсем особенное! Он стоит над всеми и является абсолютно уникальным человеком в этой ничтожной среде!» – «Почему?» – «Как это почему? Он же работает архивариусом». – «И что?» – «Он архивариус и происходит из семьи потомственных библиотекарей. А это выше денег, связей, званий, известности, вообще всего-всего!» Произнося последние



слова, она даже вскочила со стула и вскинула руки к потолку, чтобы наглядно продемонстрировать мне, насколько высоко возвысился Ф. над окружающими. После чего опять уселась на стул и уставилась на меня с нескрываемым удивлением, что я не знаю таких очевидных и понятных каждому вещей.



Говорят, что тот, кто хоть раз побывал на мясокомбинате, уже никогда не станет покупать колбасу. Охотно верю. Так получилось, что мне неоднократно довелось посещать различные издательства и видеть тех, кто там работает. Поэтому мне теперь крайне сложно заставить себя открыть какую-нибудь книгу. Иногда и надо, вроде, по долгу службы, так сказать. Но ничего не могу с собой поделаться.

А кто там работает? В двух словах этого не передашь. Тут нужен специальный фильм на НТВ. Документальный, желательно.



В вечно пустых дорогих магазинах и бутиках на Старо-Невском продавцы, мне кажется, постепенно сходят с ума от одиночества и безделья. Сегодня зашла в один из них, чтобы примерить ботинки. Не покупать, а просто прикинуть, так как видела похожие в интернете, той же фирмы, но за другие бабки, естественно. Анорексичная девица, которая покачивалась у прилавка в такт наушникам, некоторое время совсем меня не замечала, а потом повернулась и протянула ботинок, оказавшийся на пол размера меньше нужного – других там не было. И в это мгновение я ощутила случайное прикосновение настолько холодной, почти как у покойника, руки, что от неожиданности подняла глаза вверх и тут же уткнулась в бледное лицо с провалившимися глазницами и какими-то совершенно непроницаемыми темными пятнами вместо глаз. Из наушников до меня отчетливо донеслись знакомые слова слегка забытой песни: «Кукла Маша, кукла Даша...» Забрав ботинок, продавщица снова вернулась к прилавку и продолжила свои мерные покачивания, уставившись сквозь витрину на крышу дома напротив. За все это время она не проронила ни звука, не считая номера нужного мне размера, который, кажется, все же прозвучал, хоть я и не уверена.

Оказавшись на улице, я на некоторое время потеряла ориентацию во внешнем мире и метров десять шла в противоположную от Невского сторону. Меня до сих пор не покидает ощущение, что я побывала в самом настоящем склепе, населенном пугающими призраками, а восставшая из гроба утопленница вцепилась мне в руку и пыталась утащить меня в свое потустороннее пространство. Я и сейчас все еще чувствую на руке ее холодное прикосновение.

В этот магазин я уже точно больше никогда не пойду.



### **style contre les idées**

Экологически чистые автомобили перемещаются при помощи солнечных батарей. А писателю, задачей которого является достижение чистоты стиля, очень важно научиться получать удовольствие от созерцания направленной на него бессильной злобы. Это едва ли не единственный источник вдохновения, который с годами не только не иссякает, а все больше и больше пополняется. Идеи, нравственные ценности и, тем более, любовь для этой цели совершенно не годятся.



Что меня удивляет? То, что Лев Толстой посвятил целый роман женщине. И даже назвал его женским именем.

Странно, что до сих пор на это никто не обратил внимания.



### **эпоха великих закрытий**

А когда наука окончательно измельчает, то со всяких мелочей, прежде всего, и начнут. Будут потихоньку отслеживать диссертации типа «Горизонтальность в английском романтизме 18 века» или «Повороты на сто восемьдесят градусов в русской культуре конца двадцатого столетия». Короче, сначала будут такие диссертации изымать из обращения, а их авторов предупреждать и наказывать штрафами. Потом перейдут к понятиям типа «фонема», «означающее», «форма», «содержание», «дифференциальный признак», «антиномия», «дихотомия», затем отменят «карнавализацию», «диалогизм», «монологизм», «знак», «симулякры». После чего будет наложен запрет на исследование психологии, процессов старения, гендера, бессознательного, семиотики и т.п. И, наконец, доберутся до материи, духа, идей, языка, логоса, фаллоса, танатоса и прочей фигни. Где-то на одном из последних этапов будет устранен Бог, хотя лично я с него бы начала.

Последовательность, возможно, и вовсе будет соблюдаться не столь строго, но уже двадцать первый век, скорее всего, станет началом эпохи Великих закрытий.



Большинство деятелей современной культуры представляются мне совершенно бессмысленными и ни на что не годными персонажами. Но есть и исключения. Недавно на одном из светских мероприятий мне довелось наблюдать на сцене композитора Каравайчука. В беретике и какой-то странной тужурке, он рассказывал, как разные нехорошие люди отказывались ему платить из-за того, что музыку для фильмов он часто практически мгновенно сочинял за роялем прямо на глазах заказчиков, ну а те не желали воспринимать результаты его труда всерьез. Повествование длилось довольно долго, и всякий раз, когда публика думала, что рассказ закончен, выступавший резко вскидывал руку вверх, как бы предвосхищая финальные аплодисменты, после чего следовала еще одна история на ту же тему, потом – еще одна... Так продолжалось до тех пор, пока присутствующие окончательно не убедились, что видят перед собой настоящего гения.

Тогда я и подумала, что композитора Каравайчука вполне можно использовать в качестве пугала. Глядя на него, каждый начинающий художник, писатель или музыкант смогут прочувствовать, что их ждет в случае окончательного обретения полной свободы самовыражения. Представить, как они будут выглядеть со стороны.



## **childfree**

Мой брат недавно вернулся из рейса. С тех пор, как он случайно услышал по радио один из «Морских рассказов» в исполнении народного артиста России Ивана Краско, мне не удается выудить у него никаких связных историй про его морские приключения. Прошло уже больше десяти лет, но шок, который он тогда испытал от встречи с прекрасным, оказался настолько велик, что, стоит мне только затронуть эту тему, попытаться задать какой-нибудь наводящий вопрос, как он сразу же замолкает, уставившись на меня с таким видом, будто я агент иностранной разведки, пытающийся выведать у него страшную военную тайну.

Гриша с детства мечтал жить как рантье. Периодически он садится за стол, достает ручку, бумагу, калькулятор и погружается в сложнейшие математические расчеты, какой процент ему будет поступать ежемесячно с заработанных в изнурительных полугодовых рейсах бабок, когда он достигнет пенсионного возраста. Вот уже несколько лет он живет у бабы, которая преподает арифметику в младших классах. Ежедневно они с ней совершают десятикилометровые прогулки, так как Гриша где-то прочитал, что именно столько необходимо проходить в день, чтобы поддерживать свой организм в тонусе. Но потом, по

словам его подруги Лизы, им «обычно так хочется есть». В результате Гриша за последнее время достиг каких-то совершенно невероятных размеров и при его росте должен весить сейчас не меньше ста пятидесяти килограмм. Лиза, которая на голову его ниже, почти не уступает ему в ширину.

Однажды я побывала у них в гостях. Двухкомнатная квартира в типовом доме брежневских времен вся была завалена каким-то хламом. Унитаз в туалете перекосячился набок, сливной бачок болтается на одном гвозде, кран в раковине и вовсе отсутствует – пришлось мыть руки, согнувшись над пожелтевшей ванной. Сломанный холодильник, вышедшую из строя стиральную машину, доисторический телевизор они почему-то не выбрасывают, а просто закрывают тряпками. На старом телевизоре, правда, стоял еще и новенький Панасоник с видиком. Стол мне тоже накрыли прямо на швейной машине «Веритас». В соседнюю комнату вообще было опасно заходить, так как оттуда периодически раздавался оглушительный лай огромной собаки, которую мой брат подобрал на улице. Собака спала прямо на диване, а оставшуюся часть комнаты занимал рояль, доставшийся Лизе по наследству от бабушки. На этом рояле, естественно, тоже никто никогда не играл, включая, видимо, и родителей подруги брата. Поэтому он был тщательно прикрыт пожелтевшими газетами пятидесятих годов и тряпочками. Короче, больше я к ним в гости не хожу и предпочитаю встречаться на нейтральной территории у мамыши.

Детей у брата и его подруги нет. И когда в этот раз при встрече я сказала им, что их образ жизни полностью подпадает под модное определение «*childfree*», Гриша был настолько польщен, что на какое-то время потерял бдительность и поведал мне, как старший механик на судне доставал его рассказами про своего внука: «какие у него глазки, какой ротик, какая жопка, какой животик...» Так продолжалось несколько месяцев, пока Гриша однажды ему не сказал: «Послушайте, Петр Петрович, отъебитесь от меня наконец со свои внучком».

А самыми ужасными личностями, с которыми ему приходилось в последние годы ходить в рейсы, Гриша считает одесситов. Хуже них, как я поняла, были только болгары. Болгар, кстати, турки совершенно правильно в свое время убивали и очень жаль, что не добились. А турки делали так: сначала отрезали пальчик на одной руке, потом – на другой, потом отрезали обе руки, а после расчленили все тело на части. И болгары, по мнению Гриши, это полностью заслужили. Тут я не выдержала и вмешалась: «Послушай, по-моему, это заслужили не только болгары, но и все люди вообще». – «А что это ты так не любишь людей?» – возмутился Гриша, заткнулся и снова стал смотреть на меня с глубочайшим недоверием.



Видела сегодня на углу Марата и Невского группу низкорослых даунов, которые кучковались напротив входа в метро, провожая жадными взглядами всех проходивших мимо девушек. Когда расслышала итальянскую речь, поняла, кого

они мне напоминают. Челентано. Точно! Такие же толстые губы, приплюснутые носы и низкие лбы, ну прямо как его родные братья. Скорее всего, из той же местности, а точнее деревни. Приехали в большой город и не могут скрыть своего восторга от встречи с цивилизацией. А тут ведь не только девушки, еще и машины в большом количестве ездят. Есть на что посмотреть.

В магазине передо мной в кассу стоял на редкость мерзкий тип, тоже где-то мне по плечу, с физиономией, изрытой оспой, и проплешиной на башке. Кассирша узнала в нем знакомого и начала сюсюкать. Имя у него оказалась гнусное: «Толик». Фу-у, лучше бы я его не слышала. Вдобавок, он держал в руках два увесистых бумажных пакета, из которых на прилавок рядом с кассой, куда ставят корзины, капала темная, похожая на кровь, жидкость. Наверняка ведь с человеческими органами, не иначе.



А вот икебана все равно – не искусство, а, простите, выябывание. Поставишь на стол букетик, и никто не может по-настоящему оценить его красоту, кроме уроженца страны Восходящего солнца.

Но ничего, если что, у нас тоже есть не переводимый на другие языки Пушкин. И если Россия когда-нибудь исчезнет с лица земли, то она навсегда унесет с собой тайну этого поэта.



### **еще о трогательном**

А если попробовать взглянуть на людей глазами компьютера или хотя бы представить, что глядишь, то по совокупности дифференциальных признаков, доступных пониманию искусственного интеллекта, практически все люди должны вызывать у созерцающего их субъекта сочувствие. Поэтому снабженный специальным сенсорным устройством и баллончиком с водой, поворачиваясь в сторону того или иного персонажа, компьютер вполне мог бы уже сейчас абсолютно натурально рыдать. И только то, что во всех этих трогательных существах, вызывает у меня отвращение, до сих пор, мне кажется, ускользает от четкой дифференциации и автоматического распознавания.

Так что отсутствие сочувствия людям – это сейчас, возможно, единственное, что все еще отличает человека от машины. Притом, что роботы уже давно обыгрывают людей в шахматы.



### **тупость утонченного разума**

Взявшись редактировать французскую статью, уяснила для себя, что Фуко и Деррида никак не могли прийти к согласию по поводу трактовки книги Декарта под названием «Метафизические размышления». Интересно, почему? Наверное, у них были разные научные руководители.

Забавно, что если бы не такое вот случайное стечение обстоятельств, то я, скорее всего, вообще никогда об этом факте не узнала. Так и покинула бы этот мир, не просветившись. Или нет, «не затемнившись» – так будет правильнее сказать. Поскольку, чем больше человек читает подобных авторов, тем тупее он становится – давно это заметила.

Вот католики и православные, насколько я понимаю, до сих пор так и не пришли к согласию по поводу того, исходит Святой дух исключительно от Отца или же еще и от Сына. То есть вот это для них важно, а то, что Земля вращается вокруг Солнца, как бы и вовсе не имеет значения. Их утонченный разум старается избегать столкновений со столь грубой реальностью.

Поэтому я почти не сомневаюсь, что когда-нибудь просвещенное человечество будет точно так же стыдиться большинства современных мыслителей, как оно стыдится сегодня религии.



Каждый год с наступлением весны жалею, что в Ленинградской области не водятся слоны, которые вытоптали бы все эти доверчиво потянувшиеся к солнышку цветочки, траву и прочую растительность. Ненавижу все живое!



### **существует только литература**

Странно, что этого еще никто не сказал. Существует только литература, а все остальное является производным от нее. В первую очередь это заметно при наблюдении за различными видами искусств. Лермонтов мог рисовать акварели, а Грибоедов сочинять вальсы, но они делали это исключительно ради забавы, чтобы заполнить свой досуг. Однако, если живописец берется за перо, то неизменно делает это со священным трепетом, осознавая, что посягает на нечто превосходящее по степени ответственности его собственное занятие. Трудно отыскать писателя, который хотел бы стать композитором, но еще сложнее найти музыканта, который не мечтал бы стать писателем. Самый значительный

художник двадцатого столетия, Уорхол, стал таковым исключительно благодаря литературному таланту. Сальвадор Дали имеет сомнительную репутацию, но до сих пор окончательно не оплеван из-за дружбы с Лоркой и сочинения, в котором сам назвал себя гением. Все их коллеги, пренебрегшие литературой, обречены на исчезновение или, подобно Эль Греко, будут веками ждать появления очередных символистов, которые упомянут их среди своих предшественников.

Чапаев стал главным героем Гражданской войны благодаря Фурманову. А Че Гевара, возможно сам того не желая, потеснил всех своих соратников в сознании современников потому, что не забывал фиксировать произошедшие с ним события в блокнотике, который потом был опубликован. Автор книги просто физически не может не оказаться в центре созданной им же самим вселенной. И если бы, к примеру, «Майн Кампф» оказалась гениальным произведением, то никакие злодеяния уже никогда не смогли бы поколебать величие Гитлера в глазах потомков. А так, ему, видимо, придется довольствоваться ролью персонажа фильма Рифеншталь. Пленка имеет свойство тлеть, но на цифровых носителях кино способно составить определенную конкуренцию литературе.

Вряд ли можно назвать писателя целью мироздания или же его венцом, но он, безусловно, является его создателем. Все находящиеся в этом мире существа и предметы определяются и обретают свою ценность исключительно по степени близости к его центру в лице писателя. Поэтому писатель не нуждается ни в каком начальстве, включая Бога. Скорее, Бог нуждается в нем. И именно отсутствие у Библии конкретного автора делает эту книгу крайне трудной для восприятия. Читатель по-настоящему способен сопереживать исключительно тому, в чем реальном существовании он более-менее уверен. А фокус, когда автор пытается поставить на свое место изобретенного им персонажа, мне кажется, сейчас уже больше не работает. Любая иллюзия длится только до тех пор, пока ее механизм не становится понятен всем.

И наконец, только литература дает человеку реальную надежду на продление его существования после его физического исчезновения из этого мира. И не просто потому, что другие люди будут какое-то время помнить его после смерти, как он порой вспоминал кого-то из своих любимых авторов. Но еще и бурное развитие новых технологий позволяет ему надеяться, что в будущем человечество научится полностью реконструировать исчезнувших индивидуумов по оставленной ими информации о себе и воссоздавать их во плоти. И тут, конечно же, писатели окажутся первыми на очереди. Это очевидно. Те, естественно, чьи книги дойдут до потомков. Они запечатали себя в своих книгах больше, чем рядовые обыватели в бумагах, сохранившихся в архивах жилищно-коммунальных служб. Поэтому сначала заново соберут их и еще, возможно, некоторых из героев их книг. Ученым будущего будет гораздо проще работать с таким материалом. И тогда, если мировая цивилизация будет развиваться именно в этом направлении, я легко могу себе представить даже, что земля

в результате окажется населенной исключительно писателями и их персонажами, многие из которых, может быть, вообще никогда не существовали в реальности. Просто это будет уже очень сложно проверить. А остальная часть человечества к тому времени постепенно вымрет от землетрясений, радиации, озоновых дыр, СПИДа, свиного гриппа и других эпидемий. Все ведь к этому идет. Очень хорошо себе такую картину представляю.

По улицам городов прогуливаются исключительно писатели и те, кого они когда-то описали. И может быть, в толпе среди этих личностей промелькнет и некий Бог. Трудно сказать, как он будет реально выглядеть. Возможно, он будет несколько отличаться от других существ, и у него будет тело слона, шея жирафа, а на голове – кепочка, как у Ленина. Никто ведь не знает, что там, на самом деле, было в мозгу у автора Библии, и как эту информацию отсканирует компьютер будущего. Некоторые персонажи, кстати, могут быть крайне озлоблены на тех, кто их в свое время изобразил такими уродами и дебилами, из-за чего они теперь постоянно должны в таком вот обличи всюду отсвечивать, хотя раньше, в своей первой жизни, они считали себя умными и достойными людьми. У кого-то было много бабок, а кое-кто и сам считал себя известным писателем. За это им, наверняка, даже захочется отомстить очернившему их писателю и, может быть, даже убить. Они будут собираться в группы, создавать тайные общества, прокрадываться в дом писателя под видом поклонниц с кинжалом в сумочке... Но осуществить подобный замысел будет практически нереально, так как просто прикончить того или иного человека в те времена будет уже невозможно, а необходимо будет уничтожить уже саму формулу, по которой он был воссоздан из праха. Иначе после каждого удачного покушения его жертва будет снова и снова возрождаться. Но эти формулы будут размножены на множестве компьютеров, находящихся в труднодоступных для простых граждан местах, в специальных шахтах под многометровыми бетонными перекрытиями, выдерживающими взрывную волну сразу нескольких ядерных бомб. На то, чтобы туда пролезть, этим олигофренам, естественно, не хватит способностей. Обиднее всего будет тем, кто в своей первой жизни, действительно, был не так глуп, но теперь вынужден жить таким, каким запечатлелся в книге ненавистного ему автора.

Единственная их надежда отныне будет заключаться в том, чтобы, сжав зубы и пересилив свою тупость, попытаться заново всех вокруг себя описать, то есть стать писателями, привлечь к себе внимание, потихоньку сделать себя центром мира, незаметно перетянуть одеяло на себя, так сказать. Ну а потом уже дожидаться нового витка в развитии цивилизации, когда все опять рухнет, формулы новых людей погибнут от компьютерных вирусов и протечек в подземных хранилищах, и тогда другой мир, возникший на обломках старого, возможно, будет возрожден уже по их лекалам. В любом случае все опять будет сводиться исключительно к литературе.





Мне кажется, что коммунисты неплохо относились к Сократу. Он ведь был таким простачком, признался, что ничего не знает, а потом и вовсе героически пострадал за истину, отказался сдаваться и выпил яду, поступив, как пионер-герой. А вот Платона они недолюбливали, по-моему. И издавали его исключительно потому, что писал он в основном про Сократа. То есть Платону удалось пролезть тогда в культуру, как бы спрятавшись за чужой спиной. На редкость скользкий тип. Я, кстати, до сих пор так думаю.



### **божественное, слишком божественное**

Зло религии еще и в том, что она поддерживает у обывателей иллюзию, будто где-то в ином измерении есть некто, кому интересны все их мысли, чувства, переживания и поступки.

Сама религия сейчас уже практически мертва, но вот сознание, что каждый человек кому-то интересен, сохранилось. Особенно это стало бросаться в глаза с развитием интернета. Кому, например, предназначается информация, что кто-то вымыл окна, выпил кофе, купил себе булочку, что кто-то кого-то бросил, разлюбил, встретил... Господу Богу? Для нормального здорового человека подобные сведения, которыми теперь буквально забиты сетевые блоги и дневнички, вряд ли представляют какую-либо ценность.

Люди вообще не так добры и любознательны, как Бог. И гораздо более эгоистичны. Кроме того, у них много своих дел и проблем.



В очереди сегодня передо мной стояла баба, от которой пахло дорогими французскими духами. Маленького росточка, почти карлица, такая худенькая, аккуратно и чисто одетая, в джинсиках, мокасинах, курточке с маскировочными разводами, какие обычно носят бывшие военные, но у нее эти разводы были стилизованными, не для того, чтобы скрываться в кустах от пуль, а исключительно для красоты. Вдруг она оглянулась и сказала низким хриплым голосом: «Я отойду на минутку, ладно?». Обычно я стараюсь не смотреть на людей, чтобы не портить себе настроение, а ее спина просто маячила у меня перед носом. Но она так неожиданно повернулась, что, даже если бы я очень напряглась, то все равно не успела бы отвести взгляд. Личико у нее оказалось опухшее, с мешками под маленькими мутными глазками, все покрытое красными и лиловыми пятнами, хотя редкие волоски на голове были пышно взбиты, залиты ла-

ком и уложены симметричным ромбиком. Сразу видно, что она недавно прошла курс лечения от алкоголизма и больше не лежит под забором и не мочится под себя, а приоделась и пришла в магазин, где стоит в очереди за продуктами вместе с другими полноценными людьми. Готовится к празднику. Короче, я искренне за нее рада.



Если уж говорить о фундаментальных общечеловеческих ценностях, то с ними, наконец, следует поступить так, как обычно разумные проектировщики садов и парков поступают с газонами: сначала смотрят, где люди протаптывают в траве дорожки, а потом уже их асфальтируют. Совершенно очевидно, что за прошедшие тысячелетия сложилась вполне законченная антиномия, в рамках которой каждый сознательный человек и вынужден теперь делать свой выбор.

Либо ты за добро, правду и уродство, либо тебя больше прельщают зло, коварство и красота.



Обратила внимание, что животные за последние годы сильно обнаглели. Не только люди. Помню, прошлым летом в Сестрорецке мне попалась на редкость бойкая белка, которая лезла своим рылом ко мне в пакет с хлебом. Ворона в Михайловском саду чуть ли не пыталась согнать меня со скамейки. Воробьи, голуби, галки, кроты, ежи, буквально все. О собаках и говорить нечего.



Видела вчера жирного дауна, который упорно сопротивлялся уговорам своей мамочки зайти в магазин: «Нет, нет, не пойду, там ведь ступеньки, сначала спускаться, потом подниматься, не пойду...» Как я его понимаю! Я тоже ненавижу магазины в подвалах, но обычно все равно туда захожу. Видимо, мне просто не хватает своеволия, которое есть у даунов.



Люди девятнадцатого века – все на одно лицо, совсем как негры. Кроме того, у них не было мобильных телефонов, электричества, ездили на лошадях, стрелялись из пистолетов. Короче, дикари. Удивительно, что когда-то они казались мне такими прекрасными и романтическими.



Не представляю, как можно сегодня сидеть и специально слушать музыку. По-моему, это так же дико и противоестественно, как напряженные аккорды, начинающие непонятно откуда звучать в наиболее волнующие моменты фильма про любовь. В кино такое было возможно лет сорок назад. Сейчас подобное воспринимается как запрещенный прием и практикуется исключительно в сериалах для домохозяек. Лично я музыку слушаю только в маршрутках, такси, кафе и еще, когда сосед упражняется на рояле. Так что и классике, как ни странно, в моей жизни все еще есть место.



Осы в августе предельно агрессивны, приближается их конец. Если им удастся кого-нибудь ужалить, значит, они прожили свою жизнь не напрасно. Как я их понимаю! А большинство людей так и не осознали своего предназначения.



Когда слышишь, как звучат языки некоторых народов, то невольно ловишь себя на мысли, что в этом мире не только лучшие территории, но и более-менее благозвучные фонемы достаются сильнейшим. А остальным приходится пользоваться тем, что осталось. Надо же где-то жить и изъясняться на своем наречии, чтобы отличаться от других и не быть понятным враждебному окружению. Когда сидишь в засаде в лесу или в канаве, то важно, чтобы тебя ни с кем случайно не перепутали. Вот и приходится булькать и хрипеть, будто ты подавился бутербродом. Поскольку все, что хоть немного ласкает слух, уже разобрано. Я имею в виду времена, когда у тех или иных групп людей возникла необходимость отделиться от других.

Французы, например, оттяпали себе самые лучшие земли в Европе, и язык у них тоже вполне благозвучный. У немцев местность похуже, и во время разговора им приходится слегка подгавкивать. Итальянцы неплохо так обосновались на южном побережье, круглый год загорают на пляжах, да еще и называют себя вызывающе громкими именами типа Микеланджело Буонаротти. А какого бы высокого мнения ни были о себе поляки, но выход к морю им достался только после войны и исключительно благодаря СССР. Они тоже вынуждены пришепелявить. Климат в России во многих районах не ахти, но размеры ее территории, во всяком случае, впечатляют. И речь у русских, в принципе, достаточно плавная. Особенно по сравнению с тем, как приходится общаться между собой обитателям бесплодных степей и засушливых пустынь

по соседству. Заглянула сейчас для интереса в Яндекс: «Ыгдыр, Ызаколь, Ыйд-жонбу, Ынтылы, Ынторсура, Бузулуй». Это же просто ужас какой-то!



Шла сейчас по Невскому за влюбленной парой. У парня ноги были настолько искривлены, что образовывали гласную «о», а у его подруги, наоборот, вогнуты внутрь буквой «х». Через некоторое время передо мной стало отчетливо маячить слово «ох». Не хватало только инвалида, который в качестве восклицательного знака скакал бы рядом на одной ноге, отбросив костыли.



Все-таки Библия на редкость тупая книга. Надо бы ее немного подредактировать, что ли. А то как-то даже неловко чувствовать себя умнее Бога. Но приходится с этим жить.



Даже если совсем не читать книг, писатели, как надоедливые мухи, преследуют тебя в виде изреченных ими мудрых мыслей.



Людям маленького роста не рекомендуется фотографироваться рядом с крупными предметами, но порой у них просто нет выбора. Как и у философов, вынужденных по долгу службы задаваться глобальными вопросами.



Книги – это что-то вроде ненужных декораций, которые только мешают видеть их авторов такими, как они есть на самом деле. Именно так и следует к ним относиться. Как к злу.



Когда возвращалась вчера из магазина, мне дорогу перебежала черная кошка. Вечером на три часа во всем доме вырубил свет. Черт! Неужели где-то там наверху, действительно, есть некто, кто отслеживает подобную ерунду, вроде проблем с электричеством, и посылает людям предостерегающие знаки? Похоже, я до сих пор так и не сумела постичь меру вещей, в соответствии с которой устроен этот мир.



Иногда мне хочется быть совсем простой или даже умственно отсталой. Тогда этот мир казался бы мне загадочным, и я не понимала бы поэзии нобелевских лауреатов.



Мне кажется, что человеку свойственно испытывать не только физический, но и информационный голод. В частности, я заметила, что если ты не знаешь или почему-то не помнишь, как выглядит тот или иной исторический персонаж, то, стоит прозвучать его имени, сразу же возникает инстинктивное желание найти еще и картинку с его портретом. И так происходит до тех пор, пока в голове не сформируется окончательный образ заинтересовавшей тебя личности. И все, после уже никакая дополнительная информация изменить сложившиеся представления о данном индивиде не сможет. Твой мозг насытился, и новые сведения ему больше не нужны. Например, у меня есть четкое представление о том, как выглядели Селин или Цветаева, и теперь любые открытые в архивах фото в самых неожиданных, удачных или, наоборот, невыгодных для них ракурсах ничего нового в их облик для меня уже не внесут. И даже если бы я сама очень этого хотела, то все равно мой мозг меня не послушается. Люди напрасно думают, что это они управляют своей головой – на самом деле, она им совершенно не подчиняется.

С литературой, в сущности, происходит то же самое. Первое время те или иные авторы волнуют твоё воображение, а затем ты вдруг узнаешь про них абсолютно все. После этого они продолжают что-то сочинять и издавать, но, в принципе, могли бы этого и не делать. Изменить ничего уже не удастся.

Забавно, что большинство писателей тупо стремятся к известности, и их почему-то совершенно не пугает перспектива примелькаться и стать предметом интерьера, на который уже никто не обращает внимания. Вероятно, они глядят на этот мир с другой стороны, как бы с экрана телевизора, и поэтому

видят перед собой кучу незнакомых лиц, из-за чего им начинает казаться, что и они сами такие же, как и те, что за ними наблюдают: таинственные и необычные.



Наверное, в жизни есть что-то и от шахмат, но больше она все же похожа на игру в карты. Сначала, когда ты еще почти ничего не понимаешь, происходит раздача, а потом уже приходится тянуть по одной из колоды. И каждый берет взятки в соответствии с тем, что у него оказалось на руках. Эта случайность, в сущности, и есть высшая справедливость.



Ключевой в фильме «Елена», безусловно, является сцена с медсестрой, в течение нескольких минут управляющей пустую постель. Но не снимать же, в самом деле, кино ради того, что можно запросто изложить в нескольких словах аннотации. Если бы не эта сцена, я бы сейчас жалела о попусту потраченном времени. Главная героиня, как я поняла, тоже была медсестрой. Теперь же меня определенно заинтересовал режиссер Звягинцев, и я с нетерпением жду, чей образ ляжет в основу его следующего творения. Учительницы, горничной, стюардессы, секретарши или японской школьницы? А может, кто-то из них уже был в его предыдущих фильмах? Я, к сожалению, их не смотрела.



Проходя вчера вечером по Обводному, в одном из окон на уровне асфальта я увидела мужика в кальсонах, сидевшего за столом с грудой грязной посуды. За спиной у него прямо на полу было разостлано несколько матрасов, покрытых ватными одеялами без пододеяльников, под одним из которых, как мне показалось, кто-то лежал. После этого я старалась больше не смотреть в зажженные окна, и направила свой взор на другую сторону канала, где из двух огромных, тонущих в полумраке кирпичных труб струился дымок, который, поднимаясь вверх, постепенно растворялся среди ажурных облаков, изящно обрамлявших голубую полоску, обозначенную на небе последними лучами заходящего солнца. Такие трубы неизменно наводят меня на мысли о крематории, из-за чего дым сразу же превращается в зримый образ человеческих душ, ускользнувших из адского пламени в голубую прохладу вечности. В это мгновение душа подвергнувшегося кремации покойника, наверное, испытывает столь же приятные ощущения, как человек, выскочивший из парилки и нырнувший в прорубь.

Если бы я снимала кино, то использовала бы, вероятно, именно такой ландшафт. Как на Обводном. Красные кирпичные стены заброшенных или отданных под офисы фабрик, странные цилиндрические сооружения то ли складских помещений, то ли водокачек, дома с металлическими наружными винтовыми лестницами, поднимаясь по которым их обитателям, видимо, приходится попадать к себе в квартиру через балконную дверь, и бесконечный монотонный гул машин вместо музыки. Для триллеров, правда, еще лучше подошли бы некоторые районы возле Волковского кладбища. Там можно найти отличные, стоящие на отшибе, некогда выкрашенные в желтый и потемневшие от гари трех-четырёхэтажные здания с видом на могилы. А на окрестных улицах в радиусе нескольких кварталов даже днем обычно нет ни души.



В течение многих веков люди таскались по балам, мочили друг друга, устраивали оргии, созерцали свой пупок, тешили себя мечтами о загробном мире, исследовали абсолютный дух и критиковали чистый разум. И что? Почти полжизни у меня не было пульта ДУ, и я была вынуждена вставать перед сном, чтобы выключить телевизор. А ведь начнись прогресс лет на двадцать раньше, мне бы этого делать не пришлось.



Седая изможденная старуха в доме напротив целыми днями сидит у окна и глядит на улицу. Это ненормально, по-моему. Обычно так делают коты, а пенсионеры должны смотреть телевизор. Для них снято множество сериалов.



У меня такое ощущение, что уже который год подряд «мисс мира» признают представительницу Венесуэлы. Странно, а мне казалось, что в Центральной Америке живут одни уроды. Хотя специально я за этим конкурсом никогда не следила. Так что, возможно, реальная статистика там совсем другая, а просто я натываюсь на эту информацию не в те года. Или же Венесуэла не в Центральной Америке? Мексика, например, точно населена исключительно жутиками. Судя по их фильмам, во всяком случае. Там все – как мужики, так и бабы – такие приземистые, квадратные, с короткими кривыми ножками и головой, растущей прямо из плеч. Настоящие ацтеки, короче.



Есть только три явления в современном искусстве, о симпатии к которым я могу в любой момент без колебаний заявить вслух: *Петросян, Церетели и Ласковский май*. Только у них можно чему-то научиться, и только им мне хочется иногда подражать. Все остальное слишком неопределенно, зыбко и расплывчато.



По крайней мере, одно преимущество перед покойниками у меня точно есть: я их не вижу. А видят ли они меня – мне не известно. Поэтому мне приятно представлять, что умершие смотрят на меня из потустороннего мира и в бессильной злобе, подобно мухам о стекло, бьются лбами о разделяющую нас невидимую перегородку, когда я поливаю их дерьмом и топчу ногами все те достижения, которыми они при жизни так гордились. Возможно, всего этого нет, и, растворившись в небытии, я сама уже ничего не увижу. Но так будет еще лучше, потому что никто из них уже никогда не сможет реализоваться по отношению ко мне даже в мыслях, как это делаю сейчас я. А о том, как себя будут вести те, кто придут после меня, я никогда не узнаю.



Книга Каррера про Лимонова получила премию Ренодо. А ведь лет десять назад на его имя во Франции было практически наложено табу. Добро в этом мире всегда побеждает зло. Главное – вовремя сориентироваться.



Летом на даче, где у меня ограниченный интернет и ловится два канала ТВ, я несколько раз смотрела программу под названием «Суд истории». Точнее, один раз я посмотрела ее более-менее целиком, а потом уже только начало и конец. Там, как я поняла, берется какой-нибудь исторический персонаж или событие, и одни выступают в качестве их защитников, а другие, наоборот, приводят факты и доказательства, представляя интересы стороны обвинения. Ну, а телезрители, соответственно, тоже высказывают свою точку зрения в интерактивном режиме, голосуя «за» или «против». За судью там, по-моему, Сванидзе, а остальных участников я сейчас уже даже не помню. Но это все не так и важно.



Я вспомнила сейчас об этом потому, что в какой-то момент почувствовала тогда, что где-то со второго или третьего раза наблюдать за этими голосованиями мне стало совсем неинтересно, настолько предсказуемо и предопределен был их итог. То есть, если, к примеру, на повестку выносился вопрос: «Представлял ли реальную опасность для государства Манделъштам, и правильно ли поступил Сталин, применив к нему карательные меры?», – то, как минимум, девяносто процентов телезрителей отвечали на него утвердительно. И так буквально по любому поводу: соотношение голосов неизменно было где-то десять к одному во всех похожих ситуациях. Возможно, мне просто не очень повезло, но, я думаю, примерно такой расклад голосов по любому из таких вопросов в реальности сейчас и существует. Более того, я практически в этом уверена. При этом во Франции, например, подобным образом на аналогичные вопросы мог бы ответить разве что Жан Жене, а больше я даже себе не представляю кто.

Поэтому мне кажется, что Гоголь все же либо заблуждался насчет русских людей, либо ситуация с тех пор сильно изменилась. В России сейчас, на самом деле, существуют только две проблемы: *дороги* и *гении*.



### **несколько слов о гипотезе Пуанкаре**

Допустим, кто-нибудь решил ограбить банк. Мотив поведения такого индивида настолько очевиден, что подвергается категорическому осуждению и отрицанию со стороны общества и окружающих его людей. А чем занимается, например, математик Перельман? Что движет им? Для того, чтобы это прояснить, требуется громоздкая система выработанных веками существования человеческой цивилизации доводов и аргументов. Не случайно ведь ему уже при жизни посвящают книги, содержанием которых является все та же туманная, уходящая вглубь тысячелетий демагогия, которая, по сути, мало отличается от абстрактных лозунгов и призывов, предлагаемых спускающимся в забой шахтерам или отправляющимся на войну солдатам. И самое печальное, что он и сам, кажется, толком не понимает, зачем и почему он делает свое дело, несмотря на видимую сложность решаемых им задач. Если бы он хотя бы взял миллион вознаграждения, но даже это ему не очень нужно. Работа его мозга – это какой-то странный, почти компьютерный цикл на очередном витке истории ради глобального развития человечества. И в этом отношении он, опять-таки, напоминает мне все тех же солдат, рискующих и даже жертвующих своей жизнью при выполнении задач, обеспечивающих безбедное и благополучное существование совсем других людей. А все посвященные ему книги и статьи – это что-то вроде помпезных монументов с вечным огнем, призванных стимулировать непрерывный приток «пушечного мяса», во все времена необходимого определенным группам человеческих особей для осуществления их целей. И цели эти обычно очень мало разнятся от тех, что ставят перед собой грабители банков. Просто последние чаще действуют без посредников.

То же самое я могу сказать и про литературу, где у таких, как этот математик, имеются многочисленные двойники, вроде поэта Хлебникова или прозаика Платонова. Мозг этих даунов как бы по инерции рождает кучи в той или иной мере сложно организованных фраз и слов, как с рифмами, так и без, но для чего они их производят, они не знают и не особенно задумываются. У них на это, видимо, просто не хватает места в мозгу. Да я и сама, честно говоря, затрудняюсь сказать, кого они способны всерьез заинтересовать. Разве что наиболее экономных работодателей в качестве примера для подражания из-за своей готовности работать предельно бескорыстно. Однако мне достаточно видеть, как мало возражений и сопротивления вызывают их произведения у окружающих меня людей, и, наоборот, как много сил и слов тратится на оправдание их существования в этом мире, чтобы навсегда утратить к ним всякий интерес.



В связи с недавним юбилеем Достоевского я вдруг поняла, что уже почти совсем не помню его произведений. Зато в последнем фильме о нем есть довольно забавная сцена, где он читает вслух свой текст и говорит, что, если бы люди сказали о себе все, о чем они обычно молчат, то в этом мире произошли бы абсолютно невероятные потрясения. В это мгновение присутствующая в зале публика начинает смотреть на него с повышенным вниманием, все ждет, что вот сейчас он что-то скажет, и нечто такое ужасное произойдет. Но нет, Достоевский заканчивает чтение, закрывает книгу, и слушатели расходятся, с любопытством оглядываясь на того, кто отныне запечатлелся в их памяти как носитель страшной тайны.



Видела вчера по пятому каналу репортаж с похорон семидесятилетнего диджея, который умер, потому что трое суток не спал, ухаживая за своей девяностодвухлетней мамой. Интересно, хорошо ли осмотрели в его доме ванную, а также чердак и подвал? Мне кажется, там должны быть мумифицированные трупы баб. А то картина получается какая-то неполная.



Вот украинцы, к примеру, все понимают русский, но усилием воли заставляют себя говорить на мове. Этим они напоминают мне русских аристократов девятнадцатого века, которые тоже считали нужным делать над собой некоторое усилие и изыясняться по-французски. Помню, когда меня пригласили в Форос

прочитать несколько лекций, то там попадались настолько утонченные существа, что требовали для себя еще и английского переводчика. Поэтому я почти не сомневаюсь, что будущее за украинцами.

Если я когда-нибудь соберусь написать такое же великое и масштабное произведение, как «Война и мир» (не такое тупое по содержанию, разумеется), то самые изысканные страницы из жизни петербургского общества, посвященные презентациям пива Miller или духов от Герлен и Буррбери, показу мод от Бухинника, открытию торгового центра на Васильевском, вернисажу в Мраморном дворце, премьере в Мариинке, собранию союза писателей или заседанию городской думы, там должны быть написаны исключительно на украинском. Я уже знаю несколько фраз и оборотов, которые остались у меня в памяти еще со времен моего пребывания у бабушки в Шепетовке, поэтому остальное мне будет не так уж и сложно наверстать. А поскольку книг, особенно размером с «Войну и мир», обычно никто не читает, то отдельные недочеты, если такие там и будут, скорее всего, останутся незамеченными.

У меня, кстати, есть сильные сомнения, что Толстой вообще знал французский. Во всяком случае, глядя на его заросшее мохнатой бородой лицо, такого не скажешь. Не могу себе представить, как такой вот бородатый тип в косоворотке и лаптях открывает рот и произносит изящные французские фразы. Просто в голове как-то не укладывается. Чехов еще куда ни шло, но Толстой... Вот Гоголь имел утонченный профиль и, по крайней мере, один иностранный язык, украинский, знал точно. А за Толстого французские вставки в романе вполне могла делать и жена. Просто, перепечатавая рукопись, она заметила, что некоторые куски ее мужу явно не удались, и решила таким образом их слегка замаскировать, чтобы вместо дауна он предстал перед публикой в качестве полиглота.

Зато в то, что Толстой сбежал из дома, я охотно верю, так как постоянно встречаю на столбах фотографии о пропаже пенсионеров, которые уходят в магазин и не могут найти дорогу назад. И далеко не всех из них, между прочим, находят, потому что обычно они забывают не только свой адрес, но и как их зовут. Так что Толстому еще повезло, что его тогда обнаружили и опознали. Тут ему очень помогла его известность.

Каждый писатель, если он собирается жить так же долго, как Толстой, должен постараться, чтобы его узнавали на улице как можно больше людей. Только личности, которые ненавидят писателей и желают им зла, могут советовать им вести себя скромнее и не гнаться за популярностью.

Мое использование украинского языка в собственном творчестве, помимо очевидных эстетических преимуществ, способно принести немало выгод и тем, кто следует моему примеру. А у меня, я практически в этом не сомневаюсь, сразу же появятся многочисленные подражатели и последователи. И я не исключаю, что таким образом постепенно все высшие слои населения России, а за ними и другие, начнут учить украинский, из-за чего вскоре все они перестанут отличаться от тех, кто живет на Украине. Тогда населению Украины,

чтобы хоть как-то отдалиться от русских, не отдавать им Крым и пр., ничего не останется, как совсем забыть русский язык. А это, ясное дело, вовсе не так просто, поскольку выучить язык все-таки гораздо легче, чем забыть тот, что уже знаешь. Для этого пока еще не разработано никаких методик, не говоря уже об учебниках или преподавателях. Но даже если им это, в конце концов, как-то и удастся, при помощи Кашпировского, например, то и тогда они всего лишь опустятся до состояния нынешних русских. В то время как сами русские, выучив украинский, вернут себе утраченный аристократизм и, соответственно, снова обретут ту Россию, которую они потеряли и о которой некоторые из них до сих пор так грустят.



Все беды этого мира – в графомании. Читатели доверчиво внимают откровениям автора, а тот в душе мечтает стать великим писателем. Поэтому давно пора отменить все критерии истинности и нравственной ценности любых высказываний о судьбах цивилизации, путях выхода из кризиса, особенностях человеческой психологии и прочих волнующих население планеты проблемах. И оценивать их исключительно по наличию или отсутствию в них чисто литературных достоинств.

Помимо очевидной пользы такого подхода, который поможет людям избежать многих ошибок и опрометчивых поступков, он еще приблизит их к красоте и позволит возвыситься над рабской моралью и банальностью большинства истин.



Только раз в жизни я жалела, что не являюсь режиссером. Очень давно, кажется, еще в советские времена. Я стояла у окна и смотрела на ночные фонари с высоты четвертого этажа. В этот момент я заметила мужика, который стремительно бежал по противоположной стороне пустынной улицы, скрываясь от преследовавшего его милицейского узика. Немного не добежав до перекрестка, он вдруг резко свернул в подворотню углового дома. Узик тут же притормозил, из него вылезли два милиционера и направились вслед за беглецом. Они перемещались совершенно неторопливо и как бы даже несколько лениво, с таким видом, будто выполняют абсолютно будничную и многократно повторяющуюся процедуру, исход которой им заранее известен. Узик тронулся с места и тоже очень медленно, на предельно низкой скорости, покатился к углу перекрестка. И тут я увидела, как из подворотни, выходящей на улицу, перпендикулярную той, по которой продолжала плавно перемещаться милицейская машина и которая из моего окна тоже прекрасно просматривалась, выскочил беглец и стремительно понесся по диагонали к углу дома на противоположной

стороне. Расстояние, которое ему предстояло преодолеть, раза в три-четыре превышало то, что оставалось до угла узику, однако он бежал изо всех сил, а узик еле двигался, почти полз, и поэтому достиг угла перекрестка буквально в то же самое мгновение, когда убежавший скрылся за домом. Доехав до угла перекрестка, патрульная машина остановилась. Через некоторое время из подворотни, откуда недавно выскочил тот, кого они преследовали, появились оба милиционера. Посмотрев в сторону стоявшего на углу узики, они немного потоптались на месте и снова исчезли во дворе. Тем временем из узики вылез еще один милиционер и все так же не спеша направился к подворотне, в которой первоначально скрылся убежавший.



Никогда не стоит недооценивать человеческую глупость. С тех пор, как я стала следовать этому правилу, я еще ни разу не ошиблась.



Вот чего я совсем не пойму. Если можно было заменить пальмовые ветви на вербы с учетом растительности, произрастающей в данной местности, то зачем в январе всем обязательно нырять в прорубь? Просто постоять под душем нельзя? Почему в этом случае климатические условия не учитываются?

Когда натыкаешься на такие нестыковки, как-то особенно остро ощущаешь обреченность человеческого интеллекта в схватке с совершенным умом компьютеров. Хотя в применении к человеку о каком-либо разуме говорить вообще не приходится. Элементарная животная хитрость, жадность и наглость. Прыгнул в прорубь, преисполнился самомнения и побежал бороться с абортками, укреплять нравственность. И это относится не только к верующим, просто у них это получается наиболее символично.

Не сомневаюсь, что если бы этот мир был машиной, то он бы вообще никуда не поехал, а сразу бы развалился на шестеренки и подшипники. Настолько все тут не подогнано и не доделано. Представляю, как бы все заскрипело, заскрежетало и посыпалось. Удивляет, что внутри людей все механизмы типа сердца, печени, желудка и легких еще как-то работают. За исключением мозга, естественно.

По своему внутреннему устройству животные мало отличаются от человека. Но у животных есть, по крайней мере, одно достоинство по сравнению с людьми – они хотя бы никого не обличают, а молча подстерегают своих жертв, руководствуясь куда более глубокой и лишенной каких-либо противоречий логикой. Животные почти так же совершенны, как компьютеры будущего.

Но самое печальное, что именно в неспособности довести до конца практически ни одну мысль или идею большинство людей до сих пор склонны ви-

деть чуть ли не главное свое достоинство. Они находят эту черту очень трогательной, так как почему-то чрезвычайно гордятся тем, что являются живыми. На этом основании они подчинили себе животных и управляют безупречными машинами.



Не понимаю, почему мужчины так не любят гомосексуалистов. Всякий раз, когда я встречаю каких-нибудь опустившихся небритых личностей или дурно пахнущих бомжей, я ловлю себя на мысли, что только гомосексуалисты и в состоянии разглядеть в них какую-нибудь трогательную черточку. Больше они никому не нужны и не интересны. А преступники? Кто еще способен сочинить Баладу Редингской тюрьмы и воспеть приговоренного к казни? И такая черная неблагодарность и, можно сказать, тупость в ответ. По-моему, это все равно, что рубить сук, на котором сидишь.

Женщины так вообще ненавидят мужиков, как, впрочем, и те – баб.



Из животных только коты подчинили себе человека: лежат, ничего не делают, а их так называемые «хозяева» за ними ухаживают. Люди вообще простоваты и слишком доверяют словам. Для них главное, как их называют, а что за этим скрывается, они обычно понять не способны.

Гении, к примеру, не жалея себя, трудятся на благо человечества, в то время как более ушлые личности незаметно отодвигают их от кормушки, чтобы где-нибудь в самом конце жизни, или даже лучше после смерти, отметить их заслуги. Понятно, что именно такой тип всем и нужен в качестве примера для подрастающего поколения, чтобы максимально ослабить конкуренцию за бабки и другие атрибуты безбедного существования.

Моя бабушка в Шепетовке терпеть не могла котов, называла их «дармоедами» и гоняла страшной метлой. Она сумела поставить себя выше котов. Правда, по воскресеньям она повязывала на голову вышитую хустку и отправлялась в церковь. Это, пожалуй, был ее единственный недостаток.

Зато она была очень злой. И это понятно. Продавщица сельпо вышла замуж за высокопоставленного военного, а тот бросил ее с маленьким ребенком на руках ради интрижки с сестрой Якира. В результате ей пришлось сойтись с машинистом паровоза и уехать из Киева в такую дыру как Шепетовка, на родину Николая Островского. Ясно, что планы на жизнь у нее были несколько иные. Вот она там и закалилась, как сталь. Возьмись она за роман с таким названием, у нее, наверняка, получилось бы получше, чем у Островского.

Островский вообще был закомплексованным дебилом. К тому же, еще и слепой. Достаточно сравнить его с Ленни Рифеншгаль, которая работала в схо-

жем жанре, чтобы понять, насколько женщины круче мужчин. Рифеншталь и жила до ста лет, не то, что этот убогий инвалид.

«Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы». Как это трогательно! Такое, определенно, мог сказать только тот, кто рассчитывал стать гением. Странно, что Островского до сих пор не признали таковым. Но зато ему удалось задать неплохие ориентиры.

Жизнь надо прожить так, чтобы Николаю Островскому даже на том свете стало за тебя мучительно стыдно.



Выборы, революции, войны и прочие катаклизмы позволяют обывателям почувствовать свою значимость, поэтому они меня так и раздражают. Впавшие в маразм пенсионеры, домохозяйки, кассиры, продавцы, начинающие журналисты, литераторы, недоучившиеся студенты и школьники собираются в толпы, размахивают плакатами, вопят о смене власти или же с диким шумом скачут вокруг разрушенных взрывами и цунами домов, рухнувших на землю и еще дымящихся самолетов. Столько эмоций и энергетических затрат, и все с единственной целью – привлечь к себе внимание и попасть в объектив. Некоторые из них только что потеряли своих близких, и их отчаяние выглядит таким искренним и правдоподобным...

Поэтому я предпочитаю, чтобы все они поскорее успокаивались и расходились. Меня и без того крайне редко приглашают на телевидение и снимают для газет. Зачем мне еще целые толпы конкурентов?



### **никогда не любила героев**

Никогда не любила героев. Еще в детстве меня занимал вопрос, почему у них обычно бывают такие отталкивающие физиономии, дурные манеры и унылая, лишенная каких-либо интересных событий жизнь. Вот поэты, должна признаться, мне раньше даже нравились. Маяковский, например, высокого роста, с выразительным бритым черепом и эффектной папироской в зубах, Есенин тоже ничего, курчавый и с голубыми глазами, даже Пушкин, хоть и не красавец, но, по крайней мере, одет более-менее прилично, с тростью в руке – со спины способен произвести вполне благоприятное впечатление. А к памятникам героям хоть сзади, хоть спереди подходи – один хрен, никаких приятных ощущений не получишь. Обычно они стоят на постаменте, гордо выпятив грудь и с высоко поднятой квадратной головой или же, еще хуже, скрючившись в неестественной позе, с зажатой в руке гранатой, как бы готовясь к последнему прыжку. И самое главное, в их облике я всегда улавливала некий немой укор

самой себе, из-за чего мне сразу хотелось отойти от этих статуй как можно дальше. А когда мне в школе или дома начинали рассказывать про те замечательные поступки, которые они совершили, то я вообще старалась незаметно заткнуть уши и смотреть куда-нибудь в окно на плывущие по небу облака, только чтобы ничего не слышать и не видеть снимков с могильными плитами, под которыми покоятся их растерзанные врагами тела.

В результате, я сейчас, кажется, вообще не помню, как конкретно выглядели герои гражданской, отечественной и других войн – они все в моем сознании слились в один лишенный каких-либо индивидуальных черт монумент. Ну, я знаю, конечно, что Павлик Морозов был маленьким мальчиком, а Сусанин – крестьянином с бородой и в лаптях, а вот об облике Александра Матросова, Зои Космодемьянской, сгоревшего в печке Лазо, летчика Гастелло, подводника Кузьмина, Лени Голикова и других у меня в сознании не сохранилось даже таких общих сведений. Кажется, психологи называют подобное явление «вытеснением». По их мнению, некоторые особенно неприятные факты и события способны бессознательно вытесняться из памяти человека, и таким образом он избавляется от связанных с ними травмирующих его психику воспоминаний и ассоциаций. И действительно, кому интересно вообразить себя прыгающим грудью на амбразуру с пулеметом, когда тебе навязчиво пытаются представить совершившего подобный поступок субъекта в качестве примера для подражания. Естественно, что ты постараешься об этом поскорее забыть и переключиться на более приятные мысли. Каким бы бессмысленным не было стихотворение «Я помню чудное мгновение», но лучше уж мысленно декламировать его, чем видеть себя в грезах изрешеченной пулеметной очередью или же корчащейся от боли в пыточном кресле в гестапо, где тебе вгоняют под ногти огромные иглы. Бр-ррр-р! И ради чего? Чтобы закрыть собой или же не выдать врагу так называемых «товарищей по оружию», которые, как это обычно и делают коллеги по работе, по работе – что на войне, что в офисах – постоянно плетут вокруг тебя интриги, сплетничают, пытаются подсесть и вообще всеми мыслимыми и немыслимыми способами тебя достают, в том числе и непосредственно своими рожами и волосами? И из-за них так мучиться? По-моему, это уже совсем верх извращения. Единственный, кто в подобной ситуации способен получать хоть какое-то удовольствие – это тот, кто ставит другим всех этих героев в пример, предлагая, тем самым, всем хотя бы мысленно вообразить себя на их месте. Вот таких личностей я, по крайней мере, еще понимаю. И вполне могу себе представить, какой кайф они ловят от своих нравоучений.

И еще мне совершенно непонятно: что в этих героических поступках такого уж сложного. Чисто технически, я имею в виду. Чтобы взорвать себя, нужно просто выдернуть чеку и все. Ничего запредельного в этом телодвижении нет, его способен осуществить каждый, в том числе и ребенок. То же самое можно сказать и о прыжке на амбразуру: подбежал и оттолкнулся ногами. Никаких проблем. И в кресле, когда тебя пытаются, нужно просто сидеть и молчать. Кри-



чать, в принципе, тоже можно. Главное – не выдавать явки и пароли. Но сам процесс все равно сводится к банальному сидению, а не хождению по воде или горловому пению. Разве что требуется обладать еще достаточной мерой тупости, чтобы подвергать себя мучениям ради придурков, которые являются твоими согражданами или состоят вместе с тобой в партизанском отряде. Поскольку поддаться минутному порыву – это одно, а когда у человека имеется некоторое время на размышления – это уже несколько другое. В любом случае, в простоте и общедоступности подобных поступков в общем-то и заключается объяснение того, почему они до сих пор пользуются определенной популярностью в широких массах.

Но именно по этой причине обыватели, поучаствовавшие в каких-либо исторических событиях, катаклизмах, или пережившие катастрофу, вовсе не перестают после этого быть теми, кем они являлись ранее. Следует раз и навсегда развеять иллюзии на этот счет, если они у кого-то еще остались. Поучаствовав в войне или спасшись с тонущего корабля, большинство граждан, как правило, возвращаются к размеренной жизни и снова сливаются с толпой. И только у некоторых из них все-таки хватает наглости доставать потом окружающих своим творчеством, основанном на их «необычном», как они уверяют, жизненном опыте. Так десятилетиями вели себя, например, советские писатели и поэты-фронтовики. Вот они, собственно, и являются ярчайшим олицетворением героизма. Однако сочинить книгу или стихотворение – это уже далеко не то же самое, что нажать на курок, выдернуть чеку или даже пометать несколько часов, сидя в кресле для пыток. Тут уже нужны еще кое-какие способности. В результате, по-настоящему напрягаться и пересиливать себя приходилось уже тем, кто должен был читать и изучать их сочинения. Героизм, к сожалению, всегда порождает героизм, которому не видно конца.

Герои – это индивидуумы с ограниченными способностями, достигшие вершины и, я бы сказала, квинтэссенции своего существования. На большее никому из них в этой жизни рассчитывать не приходится. Поэтому обычно громче всех восхищаются героями обыватели, мечтающие стать знаменитыми. Более полноценные личности не способны совершать над собой столь героические усилия.



### **единственная проблема, которую я до сих пор так и не смогла для себя разрешить**

Единственная проблема, которую я до сих пор так и не смогла для себя разрешить. Искусство находится в непримиримом противоречии с жизнью. Кому жизнь в самый раз, в мире прекрасного тому места нет – он там всегда будет чужим. Что бы ты ни делал, любая уступка жизненным интересам и достиже-

нию успеха требует от тебя принесения в жертву эстетики. Можно было бы, наверное, сказать, что художник является кем-то вроде жреца смерти, которую принято считать отрицанием жизни. Однако смерть банальна, так как рано или поздно настигнет каждого, и каждый вправе этим гордиться. С таким же успехом можно было бы поставить себе в заслугу и акт своего появления на свет. Поэтому подлинным отрицанием жизни все-таки является искусство.

Коммунисты, например, были настоящими некрофилами. Они обожали смерть, воспевали героизм, рыли могилы, разжигали на них вечные огни и с детства готовили человека к принесению себя в жертву своей избраннице. Столь же сильно они ненавидели искусство. И больше всего их раздражало, что искусство, в отличие от смерти, невозможно сделать достоянием всех.



Какой-то даун, видимо, с похмелья перепутал номер и разбудил меня сегодня утром. Ладно. Я все понимаю. Но почему у тех, кто звонит тебе по ошибке, всегда такие гнусные голоса? С такими интонациями и тембром, что прямо тянет блевать? Подобным личностям, вероятно, просто больше нечего противопоставить своим родственникам, сослуживцам и начальству, которые их раздражают, поэтому им и приходится доставать всех своим голосом. А что им еще остается? Хотя можно еще и перекошенной физиономией, грязными ногтями и чавканьем за столом. Как вариант я могла бы предложить им еще месяцами не мыться, не стирать одежду и побольше жрать. Тогда их огромные туши будут наполнять контору, где они работают, приятнейшими ароматами, и справедливость в отношениях с начальством и коллегами окончательно восторжествует.

Хорошо. Но вот почему у писателей такие мерзкие рожи? Они же, вроде, имеют возможность досаждать читателям своими книгами? Или им этого недостаточно? Загадка.



### **светлый образ гения**

Все-таки в гипертрофированном преклонении советских писателей перед Пушкиным было нечто иррациональное, такое, что трудно свести к чисто идеологическим причинам. Мимолетная близость к декабристам? О ней, конечно, довольно много говорилось в школьной программе, но Пушкин ведь в зрелом возрасте придерживался достаточно консервативных взглядов и, скорее, был монархистом, чем революционером. В этом отношении он разительно отличается от того же Некрасова, например. Однако Некрасову в СССР так не поклонялись, особенно в среде писателей.

Помню, много лет назад я присутствовала на вечере известного писателя Б. на филфаке университета. Вечер был приурочен к очередному дню рождения Пушкина. И более двух часов присутствующие в зале студенты и знакомые выступавшего были вынуждены слушать перепевы из кусков «Медного всадника», «Евгения Онегина» и других с детства набивших оскомину произведений великого поэта. Б. специально к знаменательной дате нарыл где-то целую кучу пушкинских черновиков и набросков, устроив из них что-то вроде джазовой импровизации в собственном исполнении. Выглядело все это примерно так: «Люблю тебя Петра творенье», «Я люблю тебя творение Петра», «Люблю и восхищаюсь Петра твореньем», «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса», «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи два часа», «Одна заря сменить другую спешит, дав ночи три часа» и т.д., и т.п. Где-то к концу второго часа подобных импровизаций я почувствовала, что больше просто физически не могу слушать эту бодягу, начисто лишённую даже малейших проблесков смысла или хотя бы юмора. Однако покинуть зал у меня не было никакой возможности, так как я принадлежала к числу знакомых выступавшего и сидела в первом ряду. Сам же писатель, кажется, вовсе ничего не замечал вокруг себя и, периодически прихлебывая из фляжки коньячок, с упоением продолжал декламировать различные варианты пушкинских стихов. Прошло еще полчаса, и оратор, вероятно, еще и под влиянием выпитого, окончательно впал в состояние, близкое к сомнамбулическому, наподобие того, в какое обычно погружаются шаманы народов Крайнего Севера, и стал произносить слова все менее и менее внятно, отчего их поток окончательно смешался в бесформенную словесную кашу. И тут я наконец поняла, что для него этот процесс является чем-то вроде медитации, смысл которой сводится примерно к следующему: *если Пушкин, которого я сейчас вам читаю – гений, а вы все это прекрасно знаете, то тогда и я, известный писатель Б., вовсе не занудный мудака, как кое-кто из вас, возможно, про меня думает, а тоже кое-что собой представляю.*

Вечер, в конце концов, все-таки завершился. Ничего особенного тогда там не случилось, но я все равно его почему-то очень хорошо запомнила. Так бывает, когда тебя угостят какой-нибудь тошнотворной едой, и по этой причине у тебя потом отчетливо запечатлется в памяти именно данное застолье, тогда как другие, куда более приятные, забудутся или сольются с массой таких же веселых и беззаботных событий. Кроме того, благодаря этому мероприятию, я, кажется, впервые сумела приблизиться к разгадке таинственного обожествления Пушкина советскими писателями, ускользавшей от меня ранее, поскольку поэзия Пушкина по большей части у меня самой всегда вызывала достаточно сильную скуку. Окончательный ответ на этот вопрос я смогла найти для себя сравнительно недавно.

Ключевым моментом для понимания утрированного культа Пушкина в те годы мне представляется его дуэль с Дантесом. О ней, кстати, тогда и писали на порядок больше, чем о юношеской симпатии поэта к заговорщикам, вышедшим на Сенатскую площадь. Этой дуэли посвящались стихи, многочисленные

научные исследования, прозаические произведения, пьесы и фильмы. Помимо прочего, та роковая дуэль, я думаю, могла бы стать поворотной и для самого Пушкина. Поскольку в тот момент у него все же еще был шанс не целиться, превозмогая боль в животе, в своего противника, а взять, например, и пустить себе пулю в лоб, или же, что тоже неплохо, пристрелить кого-нибудь из стоявших поблизости секундантов, или, еще лучше, забить на все и сбежать к себе в Михайловское... Тогда бы, возможно, не только на его репутацию, но и на его стихи легла бы легкая тень, и те, если и не стали бы вдруг совсем уж гениальными, то приобрели бы хоть какой-то дополнительный, не совсем банальный, смысл. Но ничего такого, увы, не случилось. Пушкин так и остался в глазах потомков героическим персонажем, вступившим за честь, я уже сейчас даже точно не помню чью, свою или жены, поскольку все эти детали, в сущности, сегодня уже не имеют особого значения.

Вот за это, я думаю, советские писатели его так и ценили, причем совершенно искренне – в этом я вообще ни секунды не сомневаюсь. Пушкин был для них, как и для описанного выше писателя Б., своего рода светом в конце темного туннеля культуры, где все они чувствовали себя крайне неуютно. На Пушкина же они могли смело и безбоязненно ориентироваться, более того, каждый из них не терял надежды когда-нибудь к нему приблизиться. Потому что он, конечно же, был пообразованнее, и гораздо лучше, чем они, умел рифмовать слова, но, по сути, был абсолютно таким же простым и понятным, как и они сами. Все его записные книжки, даже черновики были досконально изучены, в его биографии не было ни одного темного и способного насторожить кого-либо из них пятна. Жена, любовницы, четверо детей, множество друзей, с которыми можно при встрече выпить и побеседовать – все ясно, и все в точности, как у них самих. И плюс ко всему, он был еще и признан гением, причем знающими людьми, а не только партией и правительством. Всего шаг в сторону – и там уже какие-то темные личности типа Лермонтова. Таким образом, Пушкин олицетворял собой для советских писателей едва ли не единственную надежду на гениальность. Как же им было после этого его искренне не любить и не боготворить? А рифмовать слова, если что, всегда можно было подучиться в Литературном институте.



Для чего писатели объединяются? Если бы я страдала паранойей, переходящей в манию величия, то я бы, вероятно, думала, что они объединяются против меня. А так, остается только предположить, что им просто приятно общаться и видеть друг друга.



Профессионализм – это фетиш посредственностей. Лучшие художники, которых я знала, практически нигде не учились. О литературе и говорить нечего. Перевод в большей степени является ремеслом, но, все равно, так называемые «хорошие» переводы обычно бывают самыми худшими – особенно это касается стихов. Даже профессиональные преступники – и те отличаются от обывателей, так как имеют свою мораль и идеологию. Разве что профессиональные нищие вызывают у меня некоторую симпатию, поскольку ими больше, чем другими, движет не старательность и желание угодить окружающим, а цинизм и презрение к добру.



Пожертвовала тридцать евро Википедии, а то они там какие-то все истощенные. Особенно одна старушка, сочинившая несколько тысяч статей. Боже мой, в жизни всегда есть место подвигу! Вот она, по-моему, достигла уже последней стадии дистрофии. Меня всерьез беспокоит, что ее фото давно не вывешивали. Жива ли? В ответ от них я получила трогательное послание про девочку, которая дала им пять фунтов. Но мне, собственно, не составило это большого труда, так как я все равно хотела закрыть свою карту, чтобы покончить наконец с покупками в интернете и с Нового года начать жизнь заново, стать более духовной. И лучше уж подарить бабки интеллигентным людям, чем каким-нибудь алкашам. А то у меня от тряпок уже ломаются шкафы и я, действительно, перестала понимать, что с ними делать. Можно, конечно, и прямо на помойку выносить. Но, тем более, непонятно, зачем их тогда покупать.

Не так давно я встретила на улице бабу, перешившую мой старый цветастый махровый халат с аляповатыми разводами, который из-за них ни с чем не спутаешь, в прекраснейшую телогрейку, подшив к нему изнутри остатки чьей-то шубы. Довольно мило получилось. Не помню уже, когда я этот халат выбросила, лет шесть или семь назад, по-моему. А еще одну я периодически встречаю в своем пиджаке. Он мне был где-то до середины бедра, а ей – ниже колена, и вполне заменяет пальто. Вообще, когда встречаешь личностей в своих бывших тряпках, то чувствуешь себя немного странно. Я все время начинаю думать, что они по каким-то признакам могут меня опознать, подкрадутся сзади и начнут этими лохмотьями душить. Как в кошмарном сне, короче. По этой причине я бы, пожалуй, даже предпочла не выносить свои старые вещи на помойку, а бесследно уничтожить. Но не разводить же, в самом деле, на улице из-за этого костер?

Очень давно, еще в другой жизни, моя парижская знакомая отвела меня к бабе, у которой недавно повесилась сестра. И та предложила мне какие-то вещи из гардероба покойной, поскольку по своим габаритам она была при-

мерно, как я. И у нее, действительно, были довольно хорошие тряпки, поэтому я кое-что из них себе отобрала. Платье от Ланвен, пиджак Шанель, брюки и несколько юбок. Долгое время они оставались моими лучшими вещами, а одна кофточка до сих пор лежит у меня на даче. И самое главное, я точно знала, что никогда в этом мире не встречу их бывшую хозяйку. Эта мысль меня всегда утешала.



Забавно читать старые книги про писателей и философов девятнадцатого века. Каких бы взглядов любой из них ни придерживался, его мировоззрение практически всегда сводится к преобладающей у него на родине религии. К примеру, Ницше – типично протестантский мыслитель, потому что родился в Германии, где распространено лютеранство. И так почти про всех. Придерживаясь этой логики, я должна быть глубоко коммунистической писательницей, так как появилась на свет и воспитывалась в СССР. Но так ли это? Каким образом господствующая в обществе идеология вообще способна оказывать влияние на сознание того или иного индивида? Как авторы подобных исследований себе это представляют? Очень хотелось бы это понять.

Бабушка Ницше водила его в детстве за ручку в церковь, и это наложило неизгладимый отпечаток на его неокрепшее сознание? А я, соответственно, посещала первомайские демонстрации и слушала призывы с трибун? На мой взгляд, даже если бы Ницше не отзывался о религии с презрением, а, действительно, постоянно заявлял о своей вере в Бога, то и в этом, случае, все равно, подобная особенность его мировоззрения имела бы ничтожное значение для понимания его личности. И это относится абсолютно ко всем людям, а не только к литераторам и мыслителям. Я еще могу понять, когда говорят, что любовь к пиву делает представителей какой-нибудь нации чуть более заторможенными по сравнению с другими людьми. Но приверженность к протестантству, православию, иудаизму, коммунизму или фашизму – это просто смешно. Все эти глобальные декларации, возможно, и позволяют отдельным особям почувствовать свою значимость и причастность к решению проблем мирового масштаба, но абсолютно ничего ни о ком из них не способны сообщить, никакой существенной информации. Ну, разве что являются свидетельством их ограниченных умственных способностей.



На месте Бога, если таковой существует, я бы отправила всех верующих во главе со святыми в ад. Хотя бы за то, что они навязывают остальным людям представления о нем как о носителе истины и идеале красоты. Практически

любой политик или бизнесмен может позволить себе быть тупым уродом. А Бог, что, обязан быть прилежным учеником и фотомodelью?



Главное – научиться преодолевать тошноту, которую у тебя вызывают люди. Единственный навык, который может по-настоящему пригодиться в жизни. Как в фильме про крушение самолета, где выжили только те, кто смог заставить себя есть мясо умерших. Самолет упал в горах, среди вечных льдов, поэтому тела тех, кто погиб, прекрасно сохранялись, как в холодильнике, и не представляли никакой опасности для желудка. Однако пересилить себя смогли далеко не все.



Удивляет такое ничтожное количество смертей в январе. Казалось бы, после всех этих праздников, каникул и обильных возлияний писатели и актеры должны отправляться в мир иной пачками. Но нет, по моим наблюдениям, чаще всего они умирают где-то в марте-апреле. Видимо, от недостатка витаминов.



Журналисты, конечно же, еще тупее, чем писатели. Но дело в том, что само слово «журналист» уже является нарицательным и означает что-то вроде «олигофрен». По этой причине большинство людей, когда его употребляют, стараются избегать тавтологии и говорят просто: «журналист». Из-за этого у подрастающего поколения, видимо, и возникает иллюзия, будто это чрезвычайно престижная профессия, которая ни у кого не вызывает нареканий. Этим же можно объяснить и то, что конкурс на факультетах журналистики университетов сейчас гораздо выше, чем в Литинституте.



Поп-звезды постоянно поют про любовь и, судя по всему, нисколько не сомневаются, что эта тема во все времена волновала лучшие умы человечества. Своей непосредственностью они больше всего напоминают мне Достоевского, который с таким же упорством и усердием писал про Бога и искренне верил, что тот является чем-то исключительно значимым и необходимым для людей. Это сходство лишний раз указывает на то, что Бог и любовь действи-

тельно могут быть чрезвычайно важны и полезны, так как помогают отличать наиболее доверчивых и наивных индивидуумов от тех, кто превосходит их в интеллектуальном и духовном развитии.



В кабинете поликлиники ВТО, где берут кровь из пальца, сидят три бабы в белых халатах, каждая размером со шкаф – в ширину, по крайней мере. Даже странно, что они как-то умещаются на вращающихся стульчиках на тонкой ножке. И у всех багровые лица и синие губы. Жуть. Хорошо, что кровь сдают утром, а не на ночь. А то бы я плохо спала.



В юности меня больше всего пугала перспектива встретить каких-нибудь хороших и добрых людей. А если я вдруг наталкивалась на тех, кто казался мне на них похожим, и на время все-таки погружалась в идиллию, то потом меня при одном воспоминании об этом периоде своей жизни начинало тошнить. Сначала это происходило на бессознательном уровне, но постепенно становилось все более и более осозанным. Пока, наконец, я не поняла, что ничего положительного в этом мире не существует, и мои страхи носят надуманный и почерпнутый из книг характер. Сейчас, по крайней мере, я совершенно спокойна на этот счет. В некоторых отношениях люди оказались даже хуже, чем я их себе представляла в самых радужных мечтах.



Зашла вчера в магазин на Садовой, чтобы купить себе носки. Девка с круглым, как блин, лицом, что называется «русский тип», подскочила ко мне и стала демонстрировать самые уродливые образцы их продукции. Давно заметила, что как только так называемые «простые люди» видят на тебе очки, то почему-то сразу решают, что ты их клиент и тебе можно втюхать все, что угодно. Я хотела уже послать ее, как тут подошла еще какая-то баба в черном суконном пальто с прилипшими к спине белыми нитками и сказала: «А покажите мне, пожалуйста, вон те, с клубочком». И тут продавщица вытаскивает с нижней полки пару черных носок с миниатюрным серым котенком, который, действительно, держал в лапках совершенно микроскопический клубок ниток. Как его можно было увидеть с такого расстояния – не представляю. Я и вблизи-то его разглядела с трудом.

Всю дорогу домой потом об этом думала. Мне кажется, они специально сговорились и разыграли эту комедию, чтобы меня достать.





Главный и единственный смысл политики и религии заключается в том, чтобы отвлекать на себя всеобщее внимание. Если бы, говоря о своих эстетических предпочтениях, люди мучились и опасались осуждения окружающих, как при совершении нравственного выбора, то эстетика стала бы такой же бессмысленной, как и мораль. Человек способен сообщать о себе нечто важное только до тех пор, пока не придает этому никакого значения.



Человек, наделенный чувством юмора, чаще других рискует быть непонятым окружающими. И чем тоньше его шутки, тем выше степень риска и уже круг посвященных. Серьезность – это шутка, смысл которой понятен только ее автору. Поэтому быть серьезным далеко не так просто, как многие думают.



Что-то я совсем перестала понимать, зачем нужно так называемое мировоззрение. Возможно, политикам без него нельзя или там священникам – им за это платят. Но если кому-то так повезло, что он может, в зависимости от настроения, смотреть на мир с совершенно разных точек зрения – с какой стати он должна себя ограничивать какими-то рамками? Между тем, многие писатели и художники почему-то считают себя чуть ли не обязанными примкнуть к «левым», «правым», верующим или же атеистам. У меня такое ощущение, что для людей искусства мировоззрение – это примерно то же, что машина или дача для обывателей. Без него они чувствуют себя недостаточно солидными.



Все-таки, Евангелие – одна из самых жизненных и правдивых книг. Сколько раз я приходила в какую-нибудь контору или издательство и слышала: «Ну что же вы не зашли вчера, у нас как раз была крупная партия бабок, которые мы не знали, куда пристроить. А сегодня, увы, уже поздно. Но нам, конечно же, очень интересно то, что вы предлагаете. Загляните где-нибудь недельки через две...»

Вот так и Иисус Христос. Вчера воскрешал мертвецов, несколько дней назад ходил по воде и превращал воду в вино, а в решающий момент, надо же, оказался на кресте.

Зато через пару дней, когда зрители разбрелись, у него опять, по слухам, все стало о'кей.



Когда я слышу, как литераторы мужского пола с гордостью оповещают своих читателей, что у них трое и более детей, мне почему-то всегда хочется уточнить: «А от скольких жен?» Дело в том, что где-то годам к пятидесяти у писателей обычно их число существенно возрастает. Количество детей, соответственно, тоже. Правда, гордиться этим фактом становится неприлично. Так было даже в советские времена, хотя в парткомах тогда за подобными вещами достаточно строго следили. Это с точки зрения обывателей. А для человека искусства и дети от одной жены – это моветон.

Культура, созданная многодетными родителями, блокадниками, ветеранами войны, ликвидаторами и прочими категориями граждан, замеченными в каких-либо общественно-полезных делах и поступках, ужасна.



Чем умнее человек, тем больше он похож на идиота. А все потому, что ума, в отличие от красоты, в природе просто не существует. Однако некоторые люди настолько глупы, что этого не понимают.



### **перечитывая заново**

Открыла сегодня утром в метро «Американского психопата» у себя на телефоне. Пробежала глазами несколько строчек – ну, думаю, в таком ужасном переводе я этот текст читать не смогу. А потом смотрю – да это же эпиграф из «Записок из подполья». Что-то мне даже немного стыдно стало. Хотя фразы у Достоевского, действительно, на редкость корявые. Странно, что в юности я этого совершенно не замечала.

А сам перевод вполне адекватный, по-моему.



В последнее время я в общественном транспорте почти не езжу, предпочитаю ходить пешком. Но сегодня пришлось тащиться в Купчино. Оказывается, я за всю жизнь там еще ни разу не была. Видимо, в честь расположенной

неподалеку улицы Гашека сразу при выходе из метро «Купчино» натыкаешься на металлический памятник храброму солдату Швейку в человеческий рост и с блестящим носом, потереть который стараются практически все прохожие. Даже шедшие передо мной две благовидные старушки в платочках и те, вытянувшись на цыпочки, совершили местный обряд. Я ждала, что после они начнут кланяться и креститься, но этого почему-то не произошло. Хотя было бы логично, вообще-то. Я же этого делать не стала, поскольку обычно хожу тереть пяточку на барельефе памятника Петру возле Инженерного замка. В какой-то момент я тоже едва не поддавалась искушению, но потом одумалась и решила, что нельзя столь легкомысленно предавать объект своего преклонения, из-за этого меня может постигнуть ужасная кара. К тому же Гашека с его солдатским юмором я всегда терпеть не могла. Так что с моей стороны прикосновение к носу данного персонажа было бы еще и проявлением лицемерия.

А пока ехала в вагоне метро, наслушалась ужасов про некий универмаг «Народный», которыми с диким хихиканьем делились между собой четверо молодых людей. Все они побывали в нем, насколько я поняла, по заданию своих бабушек, потому что продукты там стоят гораздо дешевле, чем в других магазинах. Но не все так просто. Этот универмаг полон безумных пенсионеров, которые носятся повсюду с тележками, используя их, как тараны, орут и ругаются матом. Полки с продуктами почти мгновенно пустеют, а в оставшиеся пакеты вцепляются сразу по несколько человек, из-за чего повсюду можно наблюдать борющихся друг с другом и даже катающихся по полу стариков среди безжалостно раздавленных яиц, рассыпанной крупы и растоптанных овощей. Но больше всего меня впечатлила история о том, как на дне огромного контейнера с луком однажды был обнаружен труп девушки...



Уже третий день на крыше дома напротив копошатся рабочие, периодически подползая к самому краю и ощупывая стоки водосточных труб. Интересно было бы посмотреть, как кто-нибудь из них соскользнет и полетит вниз с высоты шестого этажа. Это внесло бы в мою жизнь немного разнообразия.



Прочитала где-то, что «Бог часто является людям через безумие» и поняла наконец, почему всякий раз, когда я вижу сумасшедшего, мне так хочется дать ему в лоб.



Удивительно, но много лет назад я чуть ли не часами могла ждать автобус, чтобы проехать какие-нибудь жалкие пятьсот метров, которые сегодня я спокойно прохожу за пять минут. Вроде бы и сил тогда у меня было больше, а все равно. Возможно, это из-за того, что в молодости окружающий мир кажется тебе полным загадок и уходящих в таинственную темноту перспектив, а с годами все пропорции максимально приближаются к реальности. Особенно если постоянно гулять по городу пешком и измерять их собственными шагами.

Между тем, я всегда инстинктивно старалась избегать чрезмерного проникновения в какую-нибудь сферу, будь то наука, кино или даже литература. Наверное, мне хотелось, чтобы вокруг меня всегда оставалось как можно больше загадок и тайн. А о таких простых вещах, как прогулки пешком по городу, и их последствиях я никогда даже не задумывалась. Более того, теперь не только Петербург и Париж, но весь земной шар кажутся мне совсем крошечными и тесными. Похоже, отказавшись от погружения в одну из областей человеческой деятельности, я как-то незаметно для себя стала, если так можно выразиться, «специалистом по всему». Уж лучше бы я блуждала сейчас где-нибудь в дебрях лингвистики или филологии. Пусть я знала бы много лишнего про фонемы и писателей, зато остальной внешний мир до сих пор оставался бы для меня окутанным таинственным полумраком.

А так, не только Иисус Христос, но даже математик Перельман не несут в себе больше никакой тайны.



### **волшебные слова благодарности**

Увидела сегодня в витрине букиниста детскую книжку Осеевой «Волшебное слово» и сразу вспомнила почему-то, как много лет назад, чтобы поступить в секцию перевода СП, мне не хватало одной рекомендации, и я решила попросить ее у известного московского писателя. Он был франкофон, всегда восхищался моим переводом «Смерти в кредит» Селина и, к тому же, был у меня в долгу за небольшую услугу, которую я ему ранее оказала. Короче, он сразу же согласился, но в самый ответственный момент, когда все остальные документы были мной уже собраны, вдруг перестал подходить к телефону: как ни позвоню, все время трубку снимает его жена и говорит, что он только что вышел. В конце концов, мне это надоело, да и времени для поиска других вариантов у меня уже не оставалось, поэтому я решила сочинить себе рекомендацию сама, просто поставив под ней какую-нибудь закорючку и выдав ее за подпись этого писателя. Все равно ведь он живет в Москве и вряд ли когда-нибудь об этом узнает, а графологическую экспертизу тоже проводить никто никогда не будет. Так я тогда думала, да и сейчас, честно говоря, продолжаю думать.

Однако для верности я все же решила немного подстраховаться. Писатель был значительно старше меня, поэтому я подумала, что, если когда-нибудь вдруг до него дойдут слухи по поводу якобы написанной им рекомендации, было бы неплохо, чтобы он считал, что действительно мне ее дал или же, на худой конец, не был точно уверен в противоположном. Люди с возрастом, приближаясь к маразму, часто не способны восстановить в памяти все детали своих поступков в прошлом, особенно если они их когда-то только обсуждали или намеревались совершить. И для того, чтобы в глубине бессознательного у писателя запечатлелось как можно больше ассоциаций, связанных с данным событием, я на всякий случай еще раз позвонила ему в Москву. Как я и ожидала, к телефону опять подошла его жена, и я, стараясь говорить как можно более выразительно и разборчиво, произнесла в трубку: «Передайте, пожалуйста, NN, что я ему очень-очень признательна за то, что он для меня сделал! Я ему этого никогда не забуду!» После чего я, исключительно для страховки, переспросила, хорошо ли меня поняли, и еще один или даже два раза отчетливо повторила те же самые слова. Закончив разговор, я сразу же села печатать себе рекомендацию, но не успела дойти и до половины, как раздался звонок из Москвы. Звонил писатель, который к моему глубокому изумлению вдруг стал передо мной извиняться, умолять меня, чтобы я на него не обижалась и т.п. Судя по всему, он был явно напуган, и даже голос его довольно сильно дрожал от волнения. Ну а через несколько дней я получила по почте и нужную мне бумагу.



Рано или поздно искусство станет новой религией. Начнут возводиться храмы, посвященные Селину и Жене. Распутина, наконец, причислят к лику святых. А предметом всеобщего поклонения станет красота, с которой будет соперничать взявший на себя функции дьявола юмор. И только отдельным посвященным будет доступно понимание тонкого различия между ними.

Символом новой веры я бы сделала человеческое лицо. Гримаса смеха не позволяет простым смертным разглядеть: скрывается за ней красота или уродство, мужчина или женщина.



На каждого Сталина у интеллигенции всегда найдется свой маркиз де Сад. Главная проблема политиков заключается в том, что, как бы они ни извращались и ни пытались продемонстрировать свою крутизну, им все равно придется выступать за добро, боженьку, детишек и прочую слюнявую хрень. И это исключительно проблема жанра. Если бы поп-певец перестал петь про любовь, он стал бы рок-звездой.



Оказывается, черные блестящие ботинки «Доктор Мартенс», которые я купила год назад, любят скинхеды. На самом деле, я и сама так подумала, прежде чем мне об этом сказали. Они, должно быть, представляют, что Гитлер победил, и эти ботинки шьют в Африке из натуральной человеческой кожи. И называются они, естественно, «Доктор Менгеле», а «Доктор Мартенс» – это, как его, за-была... эвфемизм. Было бы, кстати, прикольно приобрести себе именно такие ботинки. Обуваешься и садишься писать роман.

Мелочь, казалось бы, но сразу чувствуешь прилив вдохновения.



У одиночества множество достоинств, но есть и свои минусы. Чем меньше ты знаешь людей, тем реже тебе приходится радоваться их уходу в мир иной.



В природе нет морали. Поэтому, если бы коты умели писать, они были бы эстами. Хотя зайцы, мне кажется, все равно стали бы моралистами.



Встретила сегодня на Невском мужика: выше меня ростом, небритый и в рыжем кудрявом парике. Одет в белую блузку без рукавов и короткую юбку, из-под которой торчат волосатые ноги. Мускулистые руки – все в татуировках. Но самое главное, еще и с огромным животом, в точности как у бабы на последнем месяце беременности. Взгляд совершенно безумный.

Когда-нибудь, когда я, как писатель Лимонов, сяду за мемуары, я, вероятно, буду вспоминать Владика в образе Монро, в длинном вечернем платье, на высоких каблуках и под ручку с Циркулем в форме морского офицера... Да, были люди в наше время, не то, что сейчас.



Не понимаю плохо скрываемой радости и категоричности, с какими некоторые считающие себя высокообразованными и просвещенными личности в своих книгах, статьях и интервью спешат оповестить человечество, что бога

нет. Подобное интонирование способно пробудить в тех, к кому обращены их слова, подозрение, что, в силу своей испорченности и тяги к мирским утехам, они стремятся выдать желаемое за действительное, дабы избежать наказания за свои неблагоприятные поступки в потустороннем мире. И поэтому атеизм для них является точно такой же формой утешения, как религия – для простых людей.

Лично я, будучи человеком высоконравственным и духовным, всегда констатирую факт отсутствия бога с легкой грустью и сожалением.



### **безумная мгла**

Хотела назвать одну из своих книг «Безумная мгла», но абсолютно не представляю, как втиснуть это словосочетание в текст. Чтобы было хоть какое-то объяснение. Лучше всего, наверное, прямо так и начать: *«Безумная мгла сгустилась»*.

## • ДОСЬЕ ГЕРАРДА РЕВЕ •

### МАКС ПАМ

#### НА СМЕРТЬ ГЕРАРДА РЕВЕ

Герард ван хет Реве – он же Симон ван хет Реве, Герард Корнелис ван хет Реве, Герард Корнелис Францискус ван хет Реве, маркиз ван хет Реве или Герард Реве, как, собственно, он и звался – был легендой уже во времена моего отрочества. Это оттого, что Реве, как и мой отец, после Второй мировой войны стал работать для оппозиционной газеты «Пароль». Отец рассказывал, что у него появился весьма странный коллега, молодой парень, который сразу обратил на себя внимание благодаря своему нетривиальному чувству юмора. Отец поведал мне следующую историю. Редакция «Пароля» в те времена располагалась в здании газеты «Телеграф» на Нойе Зейдз Фoorбухвал в Амстердаме. Провинившийся «Телеграф» был в то время запрещен. В здании были высокие окна, многие закрывались портьерами. Герард Реве в один прекрасный день забрался в буквальном смысле в одну из этих портьер, расстегнул гультфик и принялся мастурбировать. На него смотрели, удивлялись и одобряли.

«Вся Европа была один матрац», как напишет потом Ремко Камперт.

Герарду в то время было 23 года. Мой отец рассказал еще одну историю. Как-то вечером Герард отправился в кино; сидевший перед ним антисемит отпустил замечание. Реве кое-что на это ответил, завязалась драка. После чего Реве бросился в редакцию и написал разъяренную статью, в которой утверждал, что антисемит заслуживает только одного – «кулаком по морде». Тогдашний главный редактор умудрился в самый последний момент изъять статью из выпуска.

Герард ван хет Реве (р. 1923), как и его «ученый брат» Карел, принадлежал к поколению, затронутому Второй Мировой войной. Он вышел из коммунистического семейства, отец которого был самоучкой, писавшим под псевдонимом «Герард Вантер» книги и статьи для периодической печати. Уже во время войны, но, в основном, после нее, Вантер был оклеветан товарищами по партии и исключен из нее. Это оказалось для сыновей очень болезненным опытом. Они оба сделались яркими антикоммунистами (Герард в большей степени, чем Карел), но между ними и пролетариатом более никогда не было мира. В 1973 году в стихотворении «Призвание» Герард выразил свое отвращение ко всему левому:

*Сестра Иммакулата, которая уже  
тридцать четыре года  
моет паралитиков, меняет им простыни  
и приносит еду,*



*никогда не прочтет своего имени в газетах.*

*Но любая вонючая обезьяна с табличкой: что она за то-то и против сего-то, и заграждающая проезд, вечером видит свою рожу в телике.*

*И всё же хорошо, что Бог есть.*

Первые романы и рассказы Герарда ван хет Реве очень серьезны и почти экзистенциальны по тону. О «Вечерах», вышедших в 1946 г. и вначале нашедших оценку только у Вестдейка<sup>1</sup>, часто говорят, что они выражают голос всего поколения. Бесмысленность жизни дышит во всех безучастных разговорах, но целые школьные классы начали говорить как Фриц ван Эгтерс. Кто сказал «хейхо», тот давал понять, что он из ревистов. Неподражаемая ирония, сделавшаяся торговой маркой Реве, в «Вечерах» просматривается еще неявно, но в «Десяти веселых историях»<sup>2</sup> (1961) впервые проявляется в полной мере. Сам Реве не был вполне доволен этими рассказами, он переделывал их для последнего издания, но я считаю их самым сильным из того, что было написано на нидерландском языке. Первый рассказ, – интервью Р.И. Горре Моозеса, (т. е. самого Реве) с ван хет Реве, равно как и знаменитые «Провинциальные чтения», неподражаемо смешны, и у того, кто называет их литературным кабаре, отсутствует чувство истинно трагического. А ведь я еще не упомянул «Следочные кости», «Рождественский вечер сестры Магнуссен» и «Хвалу морскому судоходству» – рассказы, один за другим подтверждающие мастерство ван хет Реве.

«Десять веселых историй» были затактом собраний писем «По дороге к концу» и «Ближе к Тебе», которыми Реве привнес в нидерландскую литературу новый, но в то же время старомодный жанр. Важную роль играло то, что Реве открыл телевидение – «телеящик». «*Publicity, Publicity!*» – призывал в беспокойных шестидесятых прово<sup>3</sup> Роберт Яспер Гротфелд, и Реве в полной мере проникся истинностью этих слов. Будучи искусным острословом, он лучше всех умел играть на публику, причем выставлял себя «народным писателем». Он не скрывал своей гомосексуальной природы, а, приняв католическую веру, совершил поступок, идущий вразрез с духом времени. Но благодаря типичной ревистской иронии он из этого выпутался, сея повсюду недоразумения, потому что никто не знал, имел ли он в виду то, что сказал. Его религиозные убеждения были, вне всяких сомнений, искренними, но в то же время он считал благом, что католическая церковь не что иное, как «балаган», и что попы и кардиналы имеют мало общего с Богом и религией. Его бессмертная «Истинная вера»:

1 Simon Vestdijk (1898-1971) – нидерландский романист, поэт, эссеист переводчик, музыкальный критик и врач.

2 Перевод О. Гришиной в сборнике «Вертер Ниланд» (изд-во «Митин журнал», 2009).

3 Антиправительственное движение, возникшее в 60-х в Нидерландах и прекратившееся через два года. Сокращенное от «провокация».

*Когда кардинал испускает ветры, они говорят:*

*Ух ты, как славно пахнет,*

*Прямо словно печенку с луком жарят.*

*От таких католиков я не в восторге.*

Я бы назвал Реве мистиком; это выразилось в нашумевшем Ослином Процессе 1968 г. В «Ближе к Тебе» он описывал, как совершает акт любви с Господом, принявшим облик мышино-серого ишака. С Реве были сняты обвинения в богохульстве, что, разумеется, сделало его еще более известным.

О написанном им после 1975 г. существуют различные мнения. Меня лично гомоэротическое в его книгах привлекает меньше, и со временем я стал находить, что этот его полунаигранный садомазохизм вокруг юношеских ягодц сделался однообразным. После 1975 г. также возникает ощущение, что Реве начал играть некую роль и разыгрывал спектакли перед посетителями. «Кого же мне еще повторять, кроме как самого себя?» – парировал он, когда ему указывали на то, что какая-то острота была уже произнесена прежде.

И в этом он опять был прав.

Писателя всегда нужно оценивать по его лучшей работе. У Реве это, кроме перечисленного: «Конец семьи Бословиц», «Мать и Сын» и, разумеется, его сказки, среди которых незабываемая «Утенок Кряк варит себе похлебку».

Его кончину в доме престарелых можно назвать ревизмом. И всё же хорошо, что существует Сестра Иммакулата, пусть даже зовут ее Юп Схафтхаузен<sup>1</sup>. Мне нетрудно придумать, какие слова должны быть начертаны на могиле этого великого писателя: последняя строфа из его стихотворения «Могилы в Блаухаюсе»:

*Ты, о Царь, то-сё, что еще не*

*Да, да, поведай-ка,*

*Ты знаешь, отчего всё так, я – нет.*

*Это Царствие Твое, – знаешь ли, выйдет из него какой-то толк?*

Давайте будем молиться за Реве, чтобы толк всё-таки вышел.

*(апрель 2006)*

*перевод Ольги Гришиной*

1 «Матрос Лис», последний спутник жизни Реве.

## ГЕРАРД РЕБЕ

### ВЕЧЕРА

(отрывок из романа)

#### I

Было еще темно, когда ранним утром двадцать второго декабря 1946 года в нашем городе, на первом этаже дома по Схилдерскаде 66 пробудился ото сна герой этой повести Фриц ван Еггерс. Он взглянул на свои висящие на гвозде часы. «Без четверти шесть, – пробормотал Фриц. – Ночь на дворе. Какой гнусный сон, – подумал он, растирая щеки. – Что там вообще было-то?» Мало-помалу он восстановил содержание сна. Ему привиделось, что комната набита народом. «К концу недели погода установится», – произнес кто-то. Тут же вошел человек в котелке. Никто не обратил на него внимания и не поприветствовал, но Фриц окинул его пристальным взглядом. Внезапно посетитель с тяжким стуком рухнул на пол.

«И это все? – подумал Фриц. – А что же было дальше? Да ничего, сдается мне». Он снова заснул. Сон продолжился с того места, на котором прервался. Человек с надвинутой на лицо шляпой лежал в массивном гробу на низком столике в углу комнаты. «Столика этого не помню, – подумал Фриц, – никак одолжили где?» Он заглянул в гроб и громко произнес: «В любом случае, завтра нам придется еще с ним повозиться». «Не обязательно, – сказал лысый краснолицый человек в очках. – Спорим, что я смогу организовать похороны уже часам к двум?»

Фриц снова проснулся. Было двадцать минут седьмого. «Да я выспался уже, – сказал он себе, – вот и вскочил в такую рань. У меня еще добрый час в запасе».

Потихоньку он опять провалился в дремоту и в третий раз ступил в ту же комнату. Она была пуста. Фриц подошел к гробу и, заглянув в него, подумал: «Он мертв и начинает разлагаться». Внезапно лежащий покрылся самым разным плотницким инструментом, до краев завалившим гроб: молотки, здоровенные сверла, пилы, уровни, рубанки, пакетики с гвоздями и клещи. Лишь правая рука мертвеца торчала из гроба.

«Никого, – подумал Фриц, – в целом доме ни единой души; что делать? Надо музыку, это помогает». Перегнувшись через гроб, он потянулся к радио, но в тот же момент увидел, как медленно поднимается уже посиневшая, с длинными, белыми на кончиках ногтями рука. Вздрогнув, он отпрянул. «Не двигаться, – подумал он, – а то...» Рука медленно упала.

Пробудившись, он почувствовал, что задыхается. «Без десяти семь, – пробормотал он, уставившись на часы. – Ну и пакость же мне снится». Он перевернулся на бок и заснул.

Снова он входил в комнату через тугие зеленые занавеси. Она опять была полна. Краснолицый подошел к нему и сказал, улыбнувшись: «Не вышло. Завтра утром, в десять. Гроб пока поставим в кабинет».

«Кабинет? – подумал Фриц. – Кабинет? Это у нас-то в доме? Он, ясное дело, имеет в виду боковушку». Шестеро человек взвалили гроб на плечи. Сам он прошел вперед, чтобы открыть дверь. «Там в замке ключ, – подумал он, – это хорошо».

Гроб был тяжеленный, и носильщики двигались медленно, приноравливая шаг. Внезапно Фриц заметил, что дно начинает проседать и выгибаться. «Провалится, – подумал он. – Жуть. Снаружи-то он еще целехонек, но вот изнутри – жиденькая желтая каша. Рухнет на пол, и останется одно пюре».

Когда они прошли уже половину коридора, дно прогнулось еще больше, так что в нем образовалась щель. Из нее медленно выскользнула все та же рука, только что напугавшая его. Постепенно вся она вылезла наружу. Пальцы пошарили в воздухе и потянулись к горлу одного из носильщиков. «Если я закричу, все рухнет, – подумал Фриц. Он уставился на глубже и глубже проседающее дно и руку, вплотную подбирающуюся к горлу носильщика. «Я ничего не могу сделать, – думал он. – Ничего не могу сделать».

Он в четвертый раз проснулся и уселся на постели. Было без двадцати пяти восемь. В спальне стоял страшный холод. Когда, посидев минут пять, он поднялся и зажег свет, оказалось, что ледяные цветы затянули нижнюю часть оконного стекла. Трясаясь от холода, он направился в туалет.

«Надо бы по вечерам перед сном гулять, – думал он, умываясь на кухне, – от этого сон глубже». Мыло выскользнуло из пальцев, и ему пришлось долго шарить в темном закутке под раковиной. – «Неплохое начало, – пробормотал он.

«Сегодня же воскресенье, – вдруг подумал Фриц, – вот хорошо-то. А я, идиот, в такую рань вскочил, – продолжал он про себя. – Нет, таким манером только день испортил; вот именно сегодня до одиннадцати не доспал». Вытирая лицо, он принялся напевать, вернулся в спальню, оделся и пригладил волосы перед небольшим зеркалом, висевшим прямо возле двери, невысоко над кроватью. «Сумасшедшая рань, – подумал он, – туда пока нельзя. Двери раздвинуты».

Он присел к небольшому письменному столу, снял со стопки бумаги белого мраморного кролика размером со спичечный коробок и тихонько постучал им о спинку стула. Потом снова водрузил его на бумагу. Поехился, встал, прошел на кухню и вынул из хлебницы две булочки; одну, пару раз куснув, целиком запихнул в рот; зажав в зубах вторую, вышел в коридор и натянул куртку.

«Славная, бодрящая утренняя прогулка», – пробормотал он. Спускаясь по лестнице и проходя мимо двери соседей снизу, он услышал собачье тявканье. Фриц аккуратно прикрыл за собой входную дверь и побрел вдоль затянутого льдом канала к реке, – за исключением середины, она вся была схвачена темным льдом. Ветра почти не было. Еще не совсем рассвело, но уличные фонари уже не горели. На водостоках крыш лепились ряды чаек. Он бросил

на лед скатанный в шарик последний кусок булки, и на него слетелся добрый десяток птиц. Первая, хотевшая схватить булку, промахнулась. Хлебный шарик сдвинулся с места, скатился в прорубь и пошел ко дну еще до того, как его попытались схватить другая чайка.

На колокольне пробило один раз. «Кто рано встает, тому Бог подает, – подумал он, сворачивая направо и продолжая идти по берегу реки. – Рань, холодина, и ни души на улице, один я».

Он перешел большой мост, обогнул южный вокзал и направился назад под виадуком. «Просто чудесно вот так поутру прогуляться, – сказал он себе. – Вышел на улицу, освежился, настроение поднялось. Это будет незагубленное, неспорченное воскресенье».

Ступив в коридор, он услышал пение воды в кухне. В гостиной мать хлопотала у стола с завтраком.

– Что-то ты, ей-богу, раненко поднялась, – сказал он.

– Отцова прихоть, – ответила мать. – Взбрело ему подняться ни свет ни заря да поработать.

Фриц пристально посмотрел на нее. Лицо её было бесстрастно.

Отец вышел из кухни в гостиную, – уже в фуфайке и брюках; помочи свисали до полу. Лицо его было еще влажным.

– Доброе утро, отец, – сказал Фриц. Казалось, для того, чтобы выговорить эти слова, ему пришлось проталкивать камень через горло, и теперь этот камень свалился к его ногам.

– Доброе утро, мальчик, – ответил отец. Они уселись за стол.

«Нужно быть внимательным, глаз нельзя спускать, – подумал Фриц и, только отец принялся за еду, уставился на него. – Жует бесшумно, – думал он, – но рот всякий раз раскрывает. – Фриц глянул на отцовскую шею и ощутил, как переполняется яростью. – Семь бородавок, – сказал он себе, – почему он от них не избавится? Почему, вообще говоря, не срезать эту пакость?»

Мать разлила чай. Отпивая, она тихонько прихлебывала. Отец подносил чашку ко рту только наполовину: он наклонялся вперед, вытягивал губы трубочкой и с шумом всасывал чай.

– Ты глянула, как там печка, девушка? – спросил он.

– Да, – ответила мать Фрица, – уже распыхалась.

Когда с завтраком было покончено, отец в соседней комнате оделся и с глубоким вздохом устроился на стуле возле печки, с книгой в руках. Фриц наблюдал за тем, как он усаживался. «И чего он так развздыхался? – думал он, – кузнечные мехи изображает?» Он разглядывал голову с черными, там и сям поблекшими зачесанными назад волосами, толстогубый рот, утомленную улыбку и коричневые руки с короткими темными пальцами, медленно, после осторожного ощупывания переворачивавшие страницы.

Сам он уселся на диване, у окна. Чуть сторбившись, включил радио, покрутил настройки. Пробормотав: «Соната Баха», – он заложил за шею сплетенные руки и, откинувшись на спину, погрузился в музыку. Отец курил трубку, медленно, тоненькими струйками пуская синеватый дым.

- Фриц, – позвала мать из кухни, – куда ты задевал ключи от чердака?
- Я их не трогал, – ответил он, когда она вошла в комнату.
- И кто же их, по-твоему, трогал? – спросила она.
- Я их не трогал, – сказал он.
- Ты разве вчера за углем не ходил? – не отступалась мать.

- За углем вчера ходила ты.  
- Нет, – сказала она. – Я за углем не ходила. А может, ты ходил наверх, да и оставил их где-нибудь на столе?

Он встал и прошел на кухню. Мать последовала за ним.

- Их точно тут нет? – спросил он, приподнимая занавеску и принимаясь шарить по всему подоконнику.

- Ключи были у тебя, – сказала мать. – Их нужно найти, иначе печка прогорит. Это ты вчера ключи брал, ты последний за углем ходил.

Он вгляделся в нее: иссохшее лицо, седина, редкие волоски вокруг рта и на подбородке и непрестанно двигающиеся руки. «Господи помилуй, – подумал он, – какой громкий голос; где же спасение?» Отец в носках вошел в кухню. В руках его была книга, закрытая; страницу он заложил указательным пальцем.

- В чем дело? – спросил он. – Угомонитесь же вы!

- Не валяй дурака, – сказала мать, – ступай в комнату; никто тут не шумит.

- Шум-гам, – сказал отец, – господи боже, к чему это все? – Он повернулся и, опустив голову, скрылся в коридоре.

- Иди-ка посмотри, может, ключ там еще, – сказала мать. Фриц поднялся по лестнице на чердак, обнаружил в замке ключ, к которому проволокой был прицеплен второй, отпер дверь и отыскал бумажный пакет с антрацитом. Спустившись в кухню, он со звоном швырнул ключи на подоконник.

- Ну а угля ты, конечно же, не захватил, – сказала мать, выходя из гостиной.

- А как же, – сказал он, – вот пакет.

- Это ты зря, – сказала она. – Его нужно всегда на чердаке из пакета в ведро вываливать, иначе тут все будет в пыли.

Как раз в тот момент, когда она вошла в гостиную, отец выключил радио, передававшее фугу для скрипки и клавесина.

- Нудятина, – сказал он, – прямо ни отдыха, ни продыха. – Подавив вздох, он плюхнулся на стул, вновь раскрыл книгу и погрузился в чтение. Фриц глянул на стоящие на каминной полке часы. Было двадцать минут одиннадцатого.

«Утро проходит, – подумал он. – В другое воскресенье я бы еще в постели лежал, так что времени потерял бы всего ничего». Вернувшись в спальню, он принялся вынимать из шкафа книги, одну за другой, пролистывал их и снова ставил на место. «Холодина тут», – пробормотал он, вернулся в гостиную, взял с этажерки газету и уселся у окна. Он наблюдал за прохожими, за их напряженными, сумрачными лицами. Небо было безоблачное, какого-то грязноватого, желтого оттенка. Сидя на диване, он следил за происходящим на улице. За те два часа, что он просидел с неразвернутой газетой в руках, мимо него в различных направлениях прошли четверо солдат, две женщины, – каждая с детской коляской, молодая пара – он с ребенком на руках; проехал мальчик на

велосипеде с девочкой на багажнике, прошла группа детей, сопровождаемая двумя мужчинами. Он видел, как сосед угрозами и окриками пытался поймать своего пса, не желавшего заходить в дом. «Сижу здесь и буду сидеть и ничего не делать, – подумал он. – Полдня прошло». Была уже четверть первого.

Его родители надевали пальто.

– Следи за звонком, – сказала мать, – мы пойдем пройдемся. – Выглянув в окно, она добавила: – Надо поспешать; похоже, снег пойдет. Поторапливайся, отец, идем. До скорого. Запри за собой дверь, если куда пойдешь!

«Запри за собой дверь, если куда пойдешь», – повторил про себя Фриц. Когда родители медленно спустились по лестнице, он, заслышав хлопок входной двери, снова включил радио. Диктор как раз сообщал время: двадцать четыре минуты первого. Фриц вытащил из кармана овальную никелированную табакерку, свернул папиросу, покрутил светящуюся шкалу настройки, но не нашел ничего подходящего. Снова выключив радио, прошел по коридору в боковую комнату, где на письменном столе в беспорядке валялись книги и чистые листы, раскрыл деревянную табачницу, схватил щепотку табаку и высыпал в собственную табакерку, которую вновь сунул в карман.

По дороге в гостиную он задержался в коридоре у большого зеркала, скривил рот налево, потом направо; затем задрал верхнюю губу к носу, а нижнюю, вывернутую, оттянул вниз. После этого осмотрел свое лицо сбоку, принес из кухни маленькое круглое зеркальце для бритья и, держа его перед собой, принялся разглядывать себя с помощью обоих зеркал, – голову сверху, сзади и оба профиля. Затем погасил свет в коридоре и распахнул дверь в боковую комнату.

«При дневном свете», – тихо сказал он. Вновь досыта налюбовавшись своей головой, он пригладил волосы и включил свет. «Надо посмотреть, какой результат получается от сочетания дневного света с лампочкой, – сказал он себе. – На брюкву смахивает, – громко произнес он, – но это есть доказательство остроумного замысла».

Он вздохнул, повесил зеркальце на ручку кухонного окна и вошел в гостиную. Времени было уже почти час. Он уселся на диван. «Перевалило за половину, – подумал он, – полдень уже час как начался. Драгоценное время, которого не вернуть, а я его разбазарил». Он включил радио, но еще до того, как лампы потептели, снова выключил, встал, открыл раздвижную дверь и ступил в заднюю комнату. Отодвинув длинную занавеску, прижался лицом к окну. Лоб его оставил на стекле жирный отпечаток. Он снова прижался к стеклу и глянул вниз.

В садике правого от них соседского дома под кустом рододендрона сидел и тужился шпиц. На бельевой веревке проветривались три куртки. На бетонированной дорожке сада, прямо под ним, седовласый человек рубил дрова. Время от времени при ударе топора отлетали щепки.

Он куснул перекладину окна, лизнул стекло и пошел на кухню. Там из стоящего в углу пакета набрал горстку щепок для растопки, высыпал их на кухонный стол и беззвучно распахнул нижние створки. Всякий раз, когда дровосек

ударял топором, Фриц зашвыривал щепку далеко в сад, в разные места: на гравий, на груды камней или к забору; и всегда с приличным шумом. На четвертый раз дровосек прекратил подбирать щепки и остановился, долго и внимательно озираясь. Фриц бросил еще одну, в левый конец улицы, закрыл окно и вздохнул. «И на что время спустил?», – пробормотал он, отворачиваясь.

Как только он вышел в коридор, на лестнице послышались голоса родителей.

– Ты тут хоть поел? – спросила мать, еще стоя в дверях. – Охохонюшки, надо мне скоренько кое-куда, – продолжала она, торопливо вешая пальто на вешалку и врываясь в уборную. Отец медленно, тяжело дыша, вошел в комнату, коротким, сильным движением распахнув дверь. Была половина второго.

– Может, перекусим? – спросила мать. – Сделать чаю или кофе?

– Мне все равно, – сказал отец.

– Страх какой морозище на улице, – продолжала она, – настоящий восточный задувает.

– Восточный, восточный ветер, ты хочешь сказать, – сказал Фриц, – не используй слов, не понятных для других.

– Вам чего сделать, – вновь спросила она, – чаю или кофе? Кофе, кстати сказать, еще остался.

– Чаю, чаю давай, – сказал Фриц.

– Кофе, – почти в то же мгновение сказал отец.

– Ну, я тогда кофе сделаю, ладно, Фриц? – решила она. – Ты же попьешь с нами, нет?

– Ладно, давай кофе с кипятком, без молока, – сказал Фриц.

– Нет, – сказала мать, – черного не получишь.

Тем временем она накрыла на стол и нарезала хлеб.

– Кто хочет маринованной селедки? – спросила она.

– Нет уж, только не я, – сказал Фриц.

– А ты, отец? – спросила она.

– Ох, нет, неохота мне ее, – ответил отец.

«Селедка эта уже три дня лежит на кухне в миске, – сказал Фриц про себя, – позеленела вся. И рубленый лук темный стал совсем».

– Ну, значит, придется рыбу выкинуть, – сказала мать. – А там вы опять начнете ныть, почему я никогда маринованную селедку не покупаю. И тогда я ее куплю, и она бог весть сколько пролежит и, в конце концов, угодит прямоком в поганое ведро.

– Ладно, давай сюда, – сказал Фриц.

Они сели за стол.

– Странное дело, – сказал отец, – до чего в наши дни плохо рыбу чистят.

– Да, – сказала мать, – они же знают, что ты ее все равно купишь.

– У тебя есть чистый ножик? – спросил Фриц, дождевав нарезанную на кусочки селедку, – я хочу варенья.

– Ну так поди сам возьми, чистый-то ножик, – ответила она.



«День на три четверти прошел, – подумал он, – и оставшиеся полдня у меня во рту будет погано».

Покончив с едой, они еще немного посидели за столом.

– Покурим, что ли, – сказал Фриц. Он начал было сворачивать сигарету, но отец вынул из папиросницы сигару и предложил ему.

– На вид недурная, – сказал он, принимая сигару.

– Скрути и мне папироску, – попросила мать. Он свернул тоненькую папиросу и протянул ей. Мать сунула ее в середину рта, прикусив пятую часть. Время от времени она вынимала ее, зажав меж указательным и большим пальцами, и курила короткими затяжками, немедленно выдыхая, еще до того, как дым успевал обволочь нёбо.

– Ты жуть как неумело куришь, смех просто, – сказал Фриц. – Во-первых, ее нужно держать самыми краешками губ, где сухо. Во-вторых, засунь ее в уголок рта и не вынимай так часто. А когда вынимаешь, держи между указательным и средним. «Надо сделать вид, будто я это просто для шутки говорю», – подумал он и продолжал высоким голосом, морща лицо в улыбку. – Вот так, – сказал он и попытался вынуть папиросу изо рта матери, но та прилепилась к ее верхней губе.

– Ай! – вскрикнула мать. – Ай!

– Ну, ну, перестань, – сказал отец, внезапно выдыхая огромный клуб дыма.

– Ну, должна же она научиться, – сказал Фриц. Мать затушила сигарету и положила ее в желобок пепельницы.

Пока она убирала со стола, отец прилег на диван, вновь приподнялся, чтобы снять туфли, некоторое время сидел, глядя перед собой, затем подошел к книжному шкафу. Прямо перед шкафом он поскользнулся, лягнул левой ногой воздух, но вновь обрел равновесие.

– Эй! – вскрикнула мать. – Чего ты?

– Ничего страшного, – сказал Фриц, – ты чуть что, сразу в крик.

Отец снял с полки книгу, вновь улегся на диван и свободной рукой пригладил волосы.

– Охохонюшки, а печка-то, – сказала мать. Она посмотрела на пламя и заметила: – Хорошо горит. Не забывайте, его вот так нужно оставлять. Чайник пусть прямо посередке. – Она показала, как нужно ставить алюминиевый чайник поверх печной заслонки, и чтобы та была немного приоткрыта. – А иначе все мигом прогорит, – сказала она и ушла на кухню.

Фриц глянул на часы. «Все, все пропало, – думал он, – все загублено. Десять минут четвертого. Но вечер может еще многое возместить». Отец правой рукой шарил между стеной и диваном.

– Ты чего там? – спросил Фриц.

– Да так, – ответил он, – ишу кое-что.

– Завалилось что-нибудь? – спросил Фриц.

– ...

– Зажигалка, – отвечал отец, – да.

– Что там отец потерял? – спросила мать у Фрица.  
 – Зажигалку, – ответил тот, – она за диван закатилась.  
 – Приподними-ка хоть свой зад ленивый, – сказала она и, как только отец встал, отодвинула диван от стены. Что-то громко ударилось о пол. Фриц нагнулся, пошарил, нашел медную штучку и протянул отцу. Тот уже склонился над диваном, собираясь улечься. – Сначала подвинем, – сказала мать.

Фриц аккуратно придвинул диван к стене. Отец рухнул на диван, вновь зажег потухшую сигару и улегся.

Фриц уселся на стул у окна и стал смотреть на уток, ковыляющих по льду канала. Снял с каминной полки железнодорожный справочник, перелистал. Мать сидела у печки и вязала что-то из белой шерсти. «Спицы кликают, как спешащий будильник», – подумал он. Так прошло три четверти часа. Фриц пересел на стул возле дивана, поближе к радио, посмотрел на отца. «Спит», – подумал он, включая аппарат. На кухне вдруг засвистел чайник. «Только бы перестал, – подумал он. – Ради бога, пусть перестанет». Мать поспешила на кухню; чуть позже свист прекратился. Она внесла в комнату чай. «А теперь мы предлагаем вашему вниманию «La Favorite»<sup>1</sup> Куперена»<sup>2</sup>, – объявил диктор. Когда заиграла музыка, мать сказала:

– Это же ведь не скрипка, нет? Но и не фортепиано. Определенно, клавишин. Это клавиесин?

– Потрясающий инструмент, правда? – сказал он.

– Я забыла завернуть газ, – спохватилась она, – ты не сходишь?

Он пошел на кухню и завернул кран. Вернувшись, обнаружил, что радио выключено. Отец, полулежал, опираясь на локоть. На часах было двенадцать минут пятого.

Раздался звонок. Фриц пошел открыть дверь.

– Кто там? – громко крикнул он. Ответа не было.

– Кто там, черт возьми? – завопил он. – Кто бы там это ни был, у меня есть большое желание хорошенько надавать ему по ушам, – громко сказал он. – А, это ты, – сказал он, завидев черноволосого юношу в очках, ступившего на последний пролет лестничной площадки. – Привет, – произнес он с улыбкой, которая тут же исчезла с его лица. «Могло быть хуже», – подумал он. Посетитель был хрупкого сложения и с прыщиками на красном, костистом лице.



– Благодарю вас, г-н Ван Эгтерс, – ответил Фриц, – а вы? – Они вместе вошли в комнату.

– Ина попозже придет? – спросила мать Фрица после взаимных приветствий.

1 «Фаворитка» (фр). (здесь и далее прим. перев.)

2 Франсуа Куперен (1668 - 1733), французский композитор. .

– Дело в том, мать, – сказал молодой человек, улыбнувшись, – что Ина себя неважно чувствует. Так что посещение мое не имеет под собой иной цели, нежели уведомить вас о том, что ужинать мы не придем. – Он покачал головой. «Лысеет», – подумал Фриц.

– Ай-яй-яй, – сказала мать, – что же такое?

– Да уж чего хорошего, – сказал молодой человек.

– Может, ты подождешь немного, я соберу тебе поесть, возьмешь с собой? – спросила мать. Она вышла на кухню.

– Ну, как тут у вас? – спросил Юп.

«Как тут у нас может быть?» – подумал Фриц.

– Как тут у нас? – сказал он. Наступила тишина. – С тех пор, как Юп от нас съехал, отец, – продолжал он приподнятым тоном, – у меня с ним прекрасные отношения.

Юп улыбнулся. Отец включил радио; отыскав вальс, принялся отбивать такт на правом колене.

Мать налила всем чаю.

– Печенье бери, – сказала она Юпу. – Мы уже поели.

За окнами стемнело. Фриц зажег свет. Громкоговоритель издал скрипучий шорох. «Бен Беендер поет «На льду», в сопровождении оркестра», – объявил диктор. Отец выключил радио.

– У нас сортир засорился, – сообщил Фрицу Юп.

– Господи Иисусе, – ответствовал тот, – насквозь промерз или наполовину, из-за этого затор? Ну, тогда еще можно что-то сделать. «Мне-то какая разница, – думал он, – мне-то что до этого?»

– Да, похоже на то, – сказал Юп. – У тебя есть что-нибудь такое тонкое, очень прочное, но чтобы можно было согнуть?

Фриц вышел в коридор и, порывшись в кладовке, отыскал наконечник от удочки. – Вот, пойдет? – спросил он, входя в гостиную.

– Нет, – ответил Юп, – это грех просто. Отличный наконечник.

Фриц унес наконечник обратно. «Неплохо, – сказал он про себя. – Почему я так думаю? – подумал он. – Какое я имею право быть таким равнодушным?!»

Мать вошла в комнату с кастрюлей.

– Смотри, – сказала она Юпу, – тут мясная подливка. Яблочный мусс я в банку налила, вот, смотри, тут салат, тут картошка. Завернешь в газету и положишь в сумку, – мать протянула ему плетенку, с которой ходила за покупками, – она будет стоять ровненько и не замерзнет.

Юп надел куртку и кашлянул.

– А ты прилично лысеть начинаешь, – сказал Фриц. Он оглядел юпов череп, там, где кончались волосы, по обеим сторонам лба довольно заметно отступавшие назад.

– Я вижу, ты не можешь удержаться от некоторого триумфа, – сказал Юп. Он отбыл, тщательно удерживая в равновесии плетенку с кастрюлей.

– Всего доброго, привет там передавай, – сказала мать.

«Ну вот, опять, – сказал Фриц про себя. – Вот ведь толкотня, ни на минуту звонок не умолкает». Отец подошел к печке, взялся за набалдашник ручки и с грохотом откинул заслонку. «Вот намусорит сейчас, – подумал Фриц, – а я должен смотреть. Почему я никак не могу перестать смотреть?» Отец несколько раз крепко стукнул трубкой по краю печного зева; часть обугленного табака просыпалась на пол между ручкой и печью. Потом он снова громко хлопнул дверцей.

Мать накрыла на стол и внесла в комнату еду.

– Там может пара-тройка недоваренных картошек попасться, – сказала она, когда они рассаживались, – но что уж мне тут было поделать. Если где получше еду найдете, так пожалуйста.

– Нету там никаких недоваренных, насколько я могу заметить, – сказал Фриц.

– Угомонись ты с подливкой, – сказала мать, – не выскребай дочиста! Могу и побольше сделать, но тогда одна вода будет.

– Подливка божественная, – сказал Фриц, – в самом деле, очень вкусная. И так уж много ее не надо, она жирненькая такая. «Отличная подливка, – думал он, – в самом деле, великолепная». – Отец, осмелюсь поинтересоваться: как тебе подливка? – степенно спросил он, склонив голову набок.

– Замечательно, что ж тут скажешь, – ответил отец.

После еды отец пристроился на том месте у печки, где днем сидела с вязаньем мать. Фриц натянул куртку и вернулся в комнату.

– Ты куда? – поинтересовалась мать, прибиравшая со стола. – Посидел бы себе спокойно дома.

– Что-то мне на душе муторно, – сказал Фриц, – мне нужно выйти. Думаю, к Япу Элдереру зайду, а то, может, к Луи.

Он убедился, что в жестянке довольно табака и папиросной бумаги, сунул ее в куртку и вышел за дверь.

На улице было довольно холодно. Дул сильный юго-восточный ветер. В небе не было видно ни единой звезды. У реки он свернул налево и пересек гранитную набережную. Перешел мост с толстой гранитной балюстрадой, последовал по другой набережной, миновал широкую, запруженную народом улицу и, наконец, свернул в улицу вдоль канавы, в начале которой ютились лабазы. У дома под номером семьдесят один он позвонил в дверь, стекло которой было забрано решеткой кованого железа. Поднялся по семиступенчатой сланцевой лестнице. Сонетка сначала глухо звякнула; затем язычок колокольчика издал два ясных, пронзительных тона. Фриц подождал с полминуты, позвонил еще раз и вновь спустился по лестнице. «Шансы на успешное завершение вечера теперь совершенно ничтожны, – тихонько проговорил он. – Суровые нынче времена».

Той же дорогой он вернулся назад. Неподалеку от своего дома он вошел в ворота высокого, просторного строения у реки и позвонил. Когда дверь распахнулась, он, задрвав голову, крикнул:

– Это я, Этерс. – Свесившись сверху, кто-то таранился вниз, пытаясь разглядеть его.

– Повторяю: Эгтерс, ван, – крикнул Фриц.

– А, ну да, тогда давай сюда, почему же нет, – крикнули сверху, – все лучше, чем ничего.

Наверху Фрица ожидал молодой человек, – высоченный, с жидкими, зачесанными назад светлыми волосами. Он был без пиджака, в пуловере наизнанку, без галстука.

– Зашел вот со скуки, – поведал Фриц. – Такой был день суматошный, захотелось развеяться. Извини, что беспокою тебя в разгар твоих напряженных занятий, твоей учебы, твоих исследований. Ты чем сейчас занят?

Они прошли в комнату с незанавешенными окнами. Комната была маленькая, но не казалась узкой. В углу горела большая керосинка, однако воздуха не портила. У левой стены стоял стол, напротив него – складная кровать, а между ними – пара стульев.

– Фотографией, – сказал молодой человек, беря со стола книгу.

«Эксперименты с цветочувствительной пленкой», – прочел Фриц.

– Ну и как, Луи, продвигается? – спросил он.

– Порой думаю, что да, – ответил юноша, запустив в стену хлебной крошкой. – Кыш, котяра, – и он дал оплеуху черному, в белых пятнах, коту, запрыгнувшему к нему на колени. Зверек быстро соскочил на пол и забрался под стул у окна, где только что собирался усесться Фриц.

– Ученые уже, – сказал юноша.

– Я думал, Луи, что кот у тебя черный был, – сказал Фриц.

– Да их тут полно, – ответил Луи, – ох да, их тут куча целая.

– Сколько?

– Да штук пять, думаю, – сказал Луи.

– И что, вот так и крутятся тут? – спросил Фриц. – Тут еще кто-нибудь живет?

– Нет, – сказал Луи. – Когда Каде у себя в студии заседает, приходит его жена, приносит кормежку для него и котов. У котов собственная комната. В студию им теперь боже упаси, после того, как они целую пачку рисунков обосрали.

– А, точно, – сказал Фриц.

– А войдешь в комнату, – продолжал Луи, – сидят себе на столе, чинно-степенно.

– Прикрути печку маленько, – сказал Фриц, – то и дело желтым пыхает.

Пока Луи подлаживал горелку, Фриц разглядывал цветы на окнах и изучал ледяные кристаллы, обложившие стекла двойными букетами в форме птичьих перьев.

– Извини, – сказал Луи, выпрямившись и снова подсаживаясь к столу, – дай мне сперва с этими записями покончить, и тогда я в твоём распоряжении.

– Давай, – сказал Фриц, но слова Луи не дошли до него. Его глаза следовали за силуэтами снежных узоров, и он то и дело прижимал палец к фигурам, из-за чего на них протаивался кружок. «Давно это было», – подумал он, полуот-

вернувшись и рассматривая Луи, согнувшегося над книгой. У того были большие плоские часы с широкой серой ленточкой на запястье. Между губ болтался карандаш.

«Мне было тогда двенадцать или тринадцать, – подумал Фриц. – Мы стояли на балконе. Кто там с нами был? Луи, Франс, Яп, Веп и еще кто-то, не помню, как их звали. – Он прикрыл глаза. – Помню, они бродили по четвертому этажу, по перилам балкона, туда-сюда, Луи и Франс. Перила были не шире моей ладони. А остальные только хихикали. Как они могли смеяться? – Он раскрыл глаза, посмотрел на Луи и снова закрыл. – Иметь столько мужества, – думал он, – какое богатство. Или это просто не чувствовали опасности? Возможно. Меня затошнило, и стало больно в глазах; такой я был. И под копчиком как-то странно защекотало. Был я трус, трусом и остался. Вот так. – Он вздохнул. – Был бы я Луи или Франс, думал я, – сказал он себе. – И смотреть на них, и быть недовольным.

– Конверт ищу, – услышал он голос Луи. Тот, пошарив в папках, нашел между листами бумаги нечто, приковавшее его внимание, поскольку он стал внимательно читать.

«Да, – подумал Фриц. – А потом этот цветочный горшок. С четвертого этажа швырнули вниз в кого-то и в последний момент закричали: берегись! Так что можно было вовремя отскочить. И никогда с ними не случилось неприятностей. Как это возможно? Объяснить этого я не могу». Он вслушивался в тишину, в которой раздавалось тиканье его часов. «Или на тропинке, – сказал он себе. – Мы вчетвером против шестерых, таких же сильных. Они удрали. Одного мы догнали, увели с собой и привязали к столбу и оставили там, а уже стемнело. Луи это было до лампочки».

Внезапно он услышал шорох бумаги. Луи закончил, повернулся со стулом к нему и сказал:

– Готово, г-н Эггерс.

– Дозволено ли мне будет осведомиться о вашем здоровье? – спросил Фриц.

– Как обычно, – отвечал Луи, – как обычно.

– Имеются доказательства, – сказал Фриц, – что ты производишь из нездоровой семьи. Несомненно, из семьи со многими болезнями крови. Не будешь ли так любезен описать симптомы?

«Как я могу говорить такие вещи, – подумал он, – почему не могу удержаться?»

– Да всё и так известно, – сказал Луи.

– Головные боли не прекратились? – спросил Фриц.

– Нет, – сказал Луи, – сожалею, что вынужден тебя по этому пункту разочаровать.

– А когда ты работаешь, или читаешь, или пишешь, они усиливаются, нет? – спросил Фриц. – А теперь?

– Понятно, теперь тоже, – сказал Луи.

– Стало быть, ты гибнешь, в пропасть катишься? – спросил Фриц. – И терпеливо ожидаешь конца?

– Ох, со временем это начинает утомлять, надо признаться, – ответил Луи; кожа у него на лбу медленно собралась в морщины. – Если это уже годами тянется, всё так же, тогда, – его голос внезапно сделался беззаботным, – тогда приходишь к мысли, что конец – это не так уж и страшно. Со временем, видишь ли, начинаешь сомневаться.

Фриц взглянул на лицо Луи, в его глаза с бесцветным блеском. «Словно в воде полежали», подумал он. Сделалось жарко. Кот вторично вспрыгнул Луи на колени и опять получил тычка. «У него как будто нечто вроде тика, – подумал Фриц, – но теперь это было заученное движение. В точности кончиками пальцев по голове». Зверек не сразу спрыгнул. Луи отвел руку подальше и ударил посильнее. Кот, завопив, соскочил на пол. «Прозвучало как «мама», – сказал Фриц. Они рассмеялись.

– Любишь кошек? – спросил Луи.

– А ты?

– А ты?

– Нет, – сказал Фриц. – Мне кажется, у этих зверей нет души.

– Возможно, – сказал Луи, – не понимаю, как этих тварей можно в доме держать.

Пришибленный кот, забравшись под складную койку, свернулся у двери. Из-под занавески торчали только усы и хвост.

– Относится к зверям с мягкостью и щадит птиц, – ухмыльнулся Луи. – Собака, – продолжал он, – это я еще могу себе представить.

– Они так преданно смотрят, – сказал Фриц; его лицо исказила ухмылка, отчего рот широко распахнулся.

– Я тебе рассказывал эту прикольную историю про собаку из Блюмендала? – спросил он.

– Нет, – ответил Луи, наклоняясь вперед.

– Такой дом в Блюмендале, – начал Фриц. – Большой дом, аристократический. Там живет один старый хрыч. Совсем один живет. В один прекрасный день соседи говорят: его уж сколько дней не видно. Понимаешь, один другого пугает. Обходят они дом. Всё тихо. Везде закрыто, в дом никак не войти.

– Ну, разумеется, – сказал Луи.

– Они вызывают полицию, – продолжал Фриц. – Приходят два сыщика, вышибают окно, отпирают дверь и осторожно входят в дом. Всё тихо. Внутри полнейшая тишина, ни звука. Они проходят по мягкой толстой дорожке дальше. Спускаются под лестницу. И на первой ступеньке стоит аккуратненько голова старика и на них смотрит. Их чуть кондратий не хватил, они вытаскивают револьверы, осматривают голову и идут дальше. – Он немного помолчал.

– Ну, давай, давай, – сказал Луи.

– Чуть повыше на лестнице находят руку и на площадке половину ступни. И еще в двух местах всякие куски. Они с величайшей осторожностью идут даль-

ше и обыскивают первый этаж. И наконец слышат жуткий визг, словно там человека медленно режут на куски. Они входят в спальную каморку. На полу, рядом с кроватью, среди изодранного белья, остальные недостающие куски. А в углу сидит громадный черный пес. Ну, как тебе?

– Красота, – медленно проговорил Луи, – просто потрясюще.

– Дядька этот заболел, – продолжил Фриц, – а его домработница, кажется, уехала на неделю в отпуск. Он тогда и заболел. Это выяснилось, когда они его собрали и обследовали. Помер он, собаке нечего было есть, все шкафы заперты. Ну и что ей оставалось, а?

– Роскошная история, – сказал Луи. Он играл карандашом, упирая его в стол, продавливал между пальцев и отпускал. – Такая же дивная история, как про того доктора и двоих детей.

– А что там? – поинтересовался Фриц.

– Очень милая, – сказал Луи, – и такая обычная, совершенно без претензий. У одного отца был сынишка, маленький мальчик, и отец взял да и поднял его за голову. Еще разок поднял и – хрясь! – шея сломалась. Умер. Позвали доктора, тот говорит: ребенок мертв, как это вышло? Не знаю, отвечает отец, повозились маленько. Да, но вы, должно быть, сделали что-то необычное, говорит доктор. Да нет, ничего такого, говорит отец, просто приподнял его, вот так: – и хватает сестренку, чтобы показать, как это было, такого же возраста девочку, и тоже поднимает ее за голову. Хрясь! Тоже шея сломана. Ну, тогда в любом случае стало ясно, что произошло. Мило, а?

Они рассмеялись.

*Перевод Ольги Гришиной*



## ТОМ РОДУВЕЙН

### БЫТЬ АЛКОГОЛИКОМ БОЛЕЕ НЕ БЛАГОПРИСТОЙНО

*(Герард Реве о «Письмах к моему врачу»)*

«Это был рабочий квартал, в котором жил Гроотхаузе, но его можно было вполне назвать околотком. Ему приходилось зарабатывать на жизнь, и он рассказывал мне, что вначале временами носился рысцой, по улицам и переулкам с таким специальным, на защелках, саквояжем. Забегал в книжный магазин или к газетному королю и, побыв там немного, опять выходил на улицу. Таким образом он подчеркивал, что его снова вызвали к пациенту. Это был его метод саморекламы».

В своем доме в Схиедаме Герард Реве вспоминает о Яне Гроотхаузе. С 1963 по 1980 гг. он написал этому врачу, имевшему практику в амстердамском Валлене, внушительное количество писем. В книге «Письма к моему врачу», вышедшей в конце ноября 1991 г., речь идет, в основном, о болезни, лекарствах, спиртном и смерти, – темы, которые доминируют в беседах с писателем.

«В этом квартале было заведено слегка дурачить нового врача», продолжает Реве. «Классическая шутка состояла в том, чтобы вызвать доктора к постели умирающего ребенка и положить в колыбельку щенка. Но Гроотхаузе было голыми руками не взять. У него всегда имелся с собой флакон и столовая ложка, он выслушивал щенка стетоскопом и говорил: «Поправится». И вливал в пасть собаки ложку безвредного, но весьма эффективного слабительного. Как только он уходил, собака выскакивала из колыбели и засирала весь дом». Мрачное выражение лица 67-летнего писателя на мгновение сменяется ухмылкой.

Реве долго не решался опубликовать эти письма. «Поскольку человека, о котором идет речь, более нет в живых. Ни одной ошибки уже не исправить, и он уже не может возразить. Есть поговорка: о мертвых – только хорошее. Прежде эту поговорку высоко ценили, ибо страшились мести покойника. Теперь же идея в следующем: он ведь не сможет опубликовать отосланные письма. Но самая важная причина моих колебаний была такова: из этой публикации явствует, что Реве не чужд человеческих слабостей».

Что характерно для всей моей опубликованной переписки – я никогда не копировал личные письма перед тем, как отослать их. Иначе письма уже не будут спонтанными. Тогда потомки станут смотреть на тебя с презрением. Наследники предоставили мне копии для этой книги. Моим принципом было и остается: ничего не публиковать против воли адресата. Нужно с уважением относиться к законным требованиям».

«Гроотхаузе бился над огромным количеством бесперспективных пациентов», рассказывает Реве. И, прежде всего, он сам страдал депрессиями. В 1983 г. он покончил с собой. Реве до конца их переписки непрестанно ободряет его. В 1979 он пишет, обсуждая самоубийство, которое обдумывает Гроотхаузе: «Это они, веселые братья, бонвиваны, шутники, которые день и ночь рассказывают о том, как всё «потрясающе», лезут в петлю. Ипохондрик и пессимист нередко доживают до глубокой старости. Так что не беспокойся». Реве: «Он писал очень редко и очень кратко. По его понятиям, только тот, кто не здоров, может быть идеальным врачом. У Гроотхаузе были серьезные переутомления, он крепко пил, но не думаю, что он был алкоголиком».

Реве и сам несколько раз упоминает в письмах о своем стремлении к смерти. «Если существует право на жизнь, должно существовать и право на смерть», излагает писатель свой взгляд на самоубийство. «Шопенгауэр указывает, что ни в античности, ни в иудаизме, ни в христианстве нельзя найти осуждения самоубийства. Так что мы можем назвать это законным правом. Однако нельзя пользоваться им опрометчиво. Если я сведу счеты с жизнью, я принесу несчастье большому количеству людей. Стало быть, делать мне этого нельзя. Моя Святая Мать, Римско-Католическая церковь, запрещает самоубийство, но оно не наказуемо. Церковь столь прагматично и человечно устроена, чтобы сказать о том, кто прекратил свое земное существование: «Его рассудок был помутнен» и устроить ему священные похороны. Прежде всего, церковь хорошо вникает в человеческие слабости. Категорический запрет может привести к тому, что человек, понуждаемый к самоубийству, станет сопротивляться. Вот, например, скажут: «Бабушка, пора бы тебе с балкона сигануть, мы тогда твою каморку сынишке отдадим, потому что он сейчас в школу ходит», тогда бабуся имеет право ответить: «Возлюбленная дочь моя, моя церковь мне это воспрещает».

Реве переводит беседу на то, как писал под влиянием дурманящих средств, после моей просьбы рассказать о тонизирующих и успокоительных, которые он в больших количествах заказывал у Гроотхаузе. Он описывает употребление психоактивных лекарств в кругах, в которых вращался году в 1970. «В то время там была куча депрессивных. Раньше психическими расстройствами страдали только высшие классы. Вся машина Фрейда работала на тех, кто мог платить. Но тут наступило время, когда кто угодно без особых хлопот мог приписать себе всяческие расстройства. При депрессиях тогда на день выписывали амфетамин, а на ночь – успокоительные, валиум или либриум. Сереста появилась позже, это антидепрессант для людей с несложной структурой характера. Я тогда принимал только 5 мг., чтобы уснуть. В то время, если у тебя имелись деньги, можно было частным порядком закупать эти лекарства мешками. Я знавал людей, умерших оттого, что они принимали тонизирующие средства, выписанные тремя различными врачами.

Из писем явствует, что Реве выписанными Гроотхаузе лекарствами иногда пользовал своих друзей. «Ко мне постоянно обращались люди, отягощенные и перегруженные заботами. Хотел я того или нет, мне приходилось играть роль Иисуса Христа. И я, наверное, заказывал так много лекарств, потому что думал: вот случись война, останешься на бобах.

Из меня бы вышел очень хороший врач и компетентный специалист, в малоразвитой стране уж точно. Но, оглядываясь, я понимаю, – всё же хорошо, что я избрал иную карьеру. Я бы не достиг академического уровня и был бы слишком блестящ и артистичен. Эта удивительная, почти извращенная смесь смирения и гордости мне бы не подошла. Величайшие специалисты и хирурги остаются анонимными. Ты спасаешь жизнь бесчисленному количеству людей и больше никогда их не встречаешь. Это жертвоприношение твоей профессии.

Писатель находит естественным, что его друзья приходили к нему за советом в случае телесного или психического недуга. «Я умел ободрять людей. К тому же я где-то год, в начале пятидесятых, работал братом милосердия в неврологической клинике в Лондоне – National Hospital of Nervous Diseases – крупная, всемирно известная больница. Мне нужно было найти работу в Англии, а для иностранца это сложно. Я пришел на собеседование в эту больницу, к молодому врачу. Он спросил: «Отчего вы не хотите работать на кухне?» Но мне хотелось ухаживать за больными. Он сказал: “It will break your heart”. Он оказался прав. Но я понял это лишь потом.

С точки зрения медицины это была весьма передовая больница. Туда приходили люди, которых сразу же можно было отправить в очередь в морг. Но они выходили оттуда совершенно здоровыми. Персонала не хватало. Порой мне приходилось присматривать за целой палатой пациентов, человек восемьдесят, большая часть которых находилась без сознания. Я должен был переворачивать их на бок и растирать камфарой. И я видел все нюансы преданности и эгоизма в смысле отношения членов семьи пациента к нему. Страдания, болезнь и смерть представляли мне в совершенно другом свете. Я видел очень много умирающих. Я видел смерть моего деда, но таких мучений вблизи не наблюдал никогда.

Когда кто-то попадает в больницу, всплывают все его дурные особенности. В мужском отделении, где я работал, мне никогда не встречались ходячие больные, которые были бы готовы приподнять другого и покормить его. Но в женском отделении было иначе. Там я видел женщин, которым разрешалось вставать, и они кормили лежачих и опраивали им постели.

Пару лет назад я попал на день-другой в больницу с какой-то ерундой, здесь, неподалеку. У меня была индивидуальная страховка, потому что она включает в себя физическую медицинскую помощь. Меня поместили в небольшую, на трех человек, палату. Справа от меня лежал человек в довольно скверном состоянии. У него была остеосаркома, и он с трудом мог есть и глотать. Я размалывал для него таблетки, чтобы он мог ее в один прием проглотить. Когда по утрам ему нужно было вставить челюсть, я приносил ее в такой довоенной цел-

лулоидной коробочке. Я ее хорошенько протирал и со словами «Это верхняя» вставлял ему в рот. Когда меня выписали, он плакал, потому что я столько для него сделал. Но это же само собой разумеется.

Чем больше улучшений происходит в области здравоохранения, тем больше жалоб. Народ хочет знать, за что он платит. Десять-двадцать гульденов в неделю – это очень много. У медсестер обычно не хватает времени. Но я, по крайней мере, в состоянии подсунуть утку под зад лежачего и подтереть его; я же свой-то подтираю! Для других это слишком неприятно, – пусть лежит себе в собственном дерьме. «Нет, это пусть другие делают». Я тут говорю не о человеческой низости, а о том, каков человек на самом деле».

Практически в каждом письме к Гроотхаузе содержится отчет о борьбе Реве с Королем Алкоголем. «В те времена люди пили по-черному. Нынче же быть алкоголиком не благопристойно. Меня можно назвать непьющим алкоголиком. Я мало-помалу с алкоголя соскочил. Алкоголь на время снижает напряжение, но также пробуждает агрессию. Похмелье – другое дело. Ты уже больше не во хмелю, но в значительной мере расслаблен. «По дороге к концу» и «Ближе к Тебе» от и до написаны с похмелья».

Реве рассказывает, как в августе 1966, после приступа белой горячки в поезде, его забрали в больницу в Ассене. «Перед тем как выписать, меня очень тщательно обследовали. К ярости невропатолога у меня оказалось всё в порядке, и печень была целехонькая. Я тогда круто переменял курс и подумал: ускользнул. Они там еще сделали мне «башкограмму», сканирование мозга. И врач констатировал: «Патологический порог». Я сказал: Слава Богу. Он имел в виду, что у меня сниженный порог сознания. Мое бессознательное гораздо легче доходит до сознания, нежели у нормального человека. Поэтому я до какой-то степени ясновидящий, и у меня бывают видения и галлюцинации. Но битву с Королем Алкоголем я выиграл.

О человеке, который хнычет, бесится и зарастает грязью, говорят: «Он несчастлив». Я тоже несчастлив, но в чем разница? Я превращаю свое страдание в музыку. И, если удастся, в музыку, своим шелестом возвышающую. Это единственная дельная музыка».

В одном из писем к Гроотхаузе Реве пишет: «Я еще ни разу в жизни не испытывал чувства защищенности или безопасности». Он считает это следствием коммунистического окружения, в котором вырос. «Это был искусственно мыслящий мир чувств. Моя чувственная жизнь многие годы подавлялась замечательным учением: всё относительно, на всё нужно смотреть с рациональной точки зрения. Но рассудок, не знающий чувства, есть рассудок искаленный. Все ужасы были исторически необходимы». Это была неверная, живая картина мира, для ребенка вовсе не здоровая. Совершенно непрагматичная и нереалистическая. Юнг называл атеизм «неврозом городского жителя». Атеизм – это религия, не терпящая рядом с собой никакой другой религии. Атеизм – это психическое отклонение.

У меня болезненная память, – способность, развившаяся из-за угрожающих условий моей юности; я на всё обращал внимание и был бдителен. Когда

я сижу в поезде и кругом относительно тихо, я могу читать книгу или газету и в то же время подслушивать разговоры окружающих. Человек всегда регистрирует всё своими органами чувств, но не каждый это осознает. Лет восемьдесят назад, одним субботним утром я заметил двух женщин, укрывшихся в воротах на Плугстраат 111. Одна сказала другой: «Много зелени и чуток картошки, какая это еда для мужчины». Такие воспоминания иногда очень кстати, разумеется, и притом даром».

«Я не получал недоброжелательных оценок «Вечеров», – говорит Герард Реве о своем первом романе. – Но эта книга тормозит мою карьеру, поскольку, что бы я ни опубликовывал, мне вечно ставят ее на вид. Я пишу совершенно по-другому. Но о каждой новой книге мне говорят, что она не такая, как «Вечера». Это примитивная книга, не утратившая силы. И если книга вот уже полвека имеет успех у читателя, у нее определенно есть прочная, универсальная ценность. Ее переиздают ежегодно, и можно что угодно писать в учебниках, но публику не проведешь.

Выступления всегда давались мне трудно. «Вечера» же великолепно подходят для чтения на радио. Перечитывая, я нашел, что это весьма недурная работа для двадцатидвухлетнего парня. Обнаженность и неприкрытость «Вечеров», возможно, и является секретом ее успеха. Любой может ее дополнить тем, чего в ней нет. Сейчас можно блестяще сдать выпускной экзамен по нидерландскому, ответив на вопросы по «Вечерам», если перерыть сотни описаний из учебников: Кто такой Фриц Эгтерс? Какова его роль в книге? Можно их экзаменовать по этой книге, которую они и в руки не брали. Образование в Нидерландах столь измельчало, что его уже нельзя назвать образованием.

Людей можно убедить в чем угодно, потому что они этого хотят. Нужно им говорить то, что они хотят услышать, на это они имеют право. В конце концов, мой народ – это мое средство к существованию. Но себя не нужно вводить в заблуждение: что ты единственный в своем роде, незаменимый, что никогда ничего подобного еще не появлялось. Нужно привносить что-то хорошее, а не что-то новое. Нечто оригинальное – это ничто. В сущности, нет ничего нового. Всё важное уже было прежде. Главное в моей работе опирается на уже существующие труды, так же, как и многие фигуры речи, композиции и сцены. Я всегда пытался писать как Тургенев, но мне никогда это не удавалось. То, что я написал, кое-что значит, но что? Какие права мне это дает? Могу ли, в свою очередь, ими воспользоваться?»

(1991)

Перевод Ольги Гришиной

## ХЮБ МОУС

### ГЕРАРД РЕВЕ В VINEA DOMINI<sup>1</sup>

Вчера<sup>2</sup> я получил по почте статью, написанную Герритом де Хааном в конце шестидесятых. «Бог не протестант, никаких сомнений!» – утверждает название. Это подробный отчет о дискуссионном собрании студенческого диспута CORONA, состоявшемся в конце шестидесятых в католическом культурно-просветительном центре *Vinea Domini* в Витмарсюме<sup>3</sup>. Герард Реве принял в нем участие, выступив с лекцией. О вкладе Реве в дискуссию Геррит де Хаан написал тогда отчет, т.е. данную статью. Позавчера он посетил в Трезоре<sup>4</sup> мою лекцию о Реве, в которой я, кроме всего прочего, рассказал о связях, которые поддерживал Герард Реве с *Vinea Domini*. В конце лекции де Хаан присовокупил курьезный анекдот. Нижеследующая статья была напечатана в протестантской газете студенческого объединения VERA (*Veri et Recti Amici*)<sup>5</sup>, тут же при нашей встрече переименованная Реве в «*Veri Erecti Amici*!»).

Диспут на тему «Церковь в раздоре» состоялся в выходные 17-18 января в католическом культурно-просветительном центре *Vinea Domini* в Витмарсюме.

[...] Герард Реве был приглашен выступить на диспуте в субботу вечером с беседой о мистико-религиозной подоплеке своей работы. Писатель-обыватель был в тот вечер в ударе и умудрился поддерживать диспут в течение почти семи часов, увлекая, поддразнивая и веселя («за такую сумму даже фигляра не наймешь»).

Мы договорились, что я заберу его на машине в половину-без четверти восемь («я тут лишен транспорта, так что заберите меня на машине и привезите домой»). Подозревая, что он оценит пунктуальность, я умудрился ровно в тридцать семь с половиной минут восьмого прибыть в Греонтерп. О появлении писателя уже с расстояния десяти метров от «Дома Трава» возвестил крепкий запах можжевельной. Господин ван хет Реве явно вышел на звук тормозов. В ярмарочном оранжевом свете уличного фонаря, озарявшего призрачным сиянием кладбище рядом с «Домом Трава», стоял писатель в темном костюме, опершись одной рукой на грубо сработанную изгородь, которой он обнес свой скромный садик перед домом. Вторая рука донесла по предназначению последний глоток Колатика<sup>6</sup>.

1 Публикуется с сокращениями.

2 Текст опубликован 5 июня 2010 года.

3 Посёлок в муниципалитете Вюнсерадил во Фрисландии.

4 Исторический и литературный центр во Фрисландии.

5 Верные и искренние друзья (лат.)

6 Напиток, состоящий из колы и женевера.

Господин ван хет Реве начал лекцию вступлением: «Мальчики и девочки...». Далее он прочел впечатляющую апологию, с которой выступал перед судом на своем процессе по обвинению в богохульстве. Ему понадобилось более часа, чтобы прочесть этот труд, на который было потрачено несколько месяцев. Скоро эта апология будет издана, что важно для многих читателей, поскольку писатель чрезвычайно четко излагает в ней свое понятие Божественного и религиозную позицию. После короткой паузы, во время которой была откупорена вторая бутылка домашнего вина, Реве прочел из своей уже раскупленной книги: «Четырнадцать офортв Франса Лодевейка Паннекука (разъяснение для рабочих)». Если вы сможете достать второе издание этой книги, поймете, почему первое полностью разошлось.

После второго перерыва г-н ван хет Реве приступил к третьей бутылке и предоставил возможность для дискуссии, из которой я выбрал несколько фрагментов, имеющих отношение к представлению писателя о Боге. Тут не обошлось без конфронтации со студентами, и ван хет Реве в определенные моменты пришлось вновь призвать на помощь свою боеспособность времен Алгры<sup>1</sup>, чтобы четко объяснить, что означает для него Бог. Несомненно, существует непреодолимая пропасть между весьма догматически мыслящими христианами и теми, кто воспринимает Бога гораздо более эмоционально, более мистически, как нечто само по себе в высшей степени существование. Должен еще раз оговориться: нижеследующие фрагменты являются выдержками из устной дискуссии и, разумеется, на литературную форму его книг не претендуют.



Когда видишь, что происходит в России, хм, проблема свободы писателей, чтобы в нее вникнуть, чтобы вести некую борьбу, готовность отсидеть пару месяцев, задумать это и победить, или сидеть на улице и орать «Джонсон<sup>2</sup> убийца»<sup>3</sup>, но о них больше нигде не слышали; это нечто вроде дебильного обезьянничества, которое сейчас всё ширится. Когда я сижу на каком-нибудь форуме о порнографии, к примеру (всякий гражданин имеет право пользоваться печатным текстом... который его сексуально возбуждает, хм, запрет на это, вообще говоря, противоречит самой сути конституции), ну ладно, когда сидишь

1 Hendrik Algra (1896-1982) – фризский преподаватель, журналист, историк, политик, сенатор от Антиреволюционной партии, обвинивший Реве в богохульстве.

2 Lyndon Baines Johnson (1908-1973) – 36-й президент США.

3 В статье «Мулиш и Делфгау жаждут хаоса и насилия» в газете «Algemeen Handelsblad» от 29.3.1968 Реве пишет: «Взять, например, плакаты «Джонсон – преступник», которыми амстердамские студенты обклеивают окна. (...) Полиция прорывается через толпу студентов, чтобы сорвать плакаты (...) 16-летний ученик ремесленного училища получил травму (...) к вящему удовольствию таких, как Мулиш и Делфгау». См. реакцию Х. Мулиша: «Я кричал: «Джонсон – убийца», Реве кричал: «Хо-Ши-Мин – убийца», он пал в объятия Святой католической церкви, я основал комитет солидарности с Кубой. В конце концов, мы заняли противоположные (политические) позиции. Столкновение было неизбежно. («Ироническое в иронии», о случае Герарда Реве в книге «Паника невинности»).

на таком форуме, там сидят ребята вроде Ван Вугта<sup>1</sup> или Симона Винкеноога<sup>2</sup>; сидят и показывают друг другу порнографические открытки, знаете ли, и если выступаешь дольше двух минут, они говорят, мол, мы тут не на юридическом конгрессе, эй. Это менталитет, который способствует тому, что нас, в конце концов, пожират тоталитарные власти, и меня это беспокоит.

\*... я однажды пришел домой после всей этой тяготы (суд, Гаага), полумертвый, усталый до чертиков. Выпил стакан вина и говорю, Ламберт<sup>3</sup>, слушай, я стремлюсь в своей работе выразить словами понятие Божественного, и моя идея Бога столь велика, что я пытаюсь всунуть в понятие поименованного Бога гораздо больше, чем обычные люди. Что другим кажется предосудительным – мрак, ночь, Сатана, – для меня это всё едино Бог.

\*Я стараюсь по возможности расширить это, обнаружить границы, где эта напряженность еще возможна, вы понимаете. Всё это очень велико и глубоко, и прекрасно, и я человек огромных пророческих возможностей, но меня всё же тянет поиздеваться, подразнить, разволновать, помучить и оскорбить этим текстом людей, подставляющих мне подножку, и поклонников Бога Нидерландов. Ну да, это, очевидно, неуместно выбалтывать на суде, но, если начистоту, я действительно имел намерение поиздеваться над некоторыми.

\*Я не верю в видения, я не верю в объективную реальность, которая снисходит на людей снаружи. Я весьма скептически к этому отношусь. У меня есть чувства, идеи и мысли, которые я все вместе, так сказать, хотел бы назвать Божественным опытом. И это для меня много значит, но я никому не хочу их навязывать, и гроша за это никто не даст. Они имеют решающее значение в моей жизни, но ничего не доказывают и ни о чем не говорят. И что я всегда говорю: религиозный человек на самом деле ничем не лучше, чем нерелигиозный, все эти вещи ничего не говорят о конечном спасении. Но я считаю, что только верующий живет здоровее, потому что не отказывает в доступе к чувствам различным представлениям и идеям, какими бы иррациональными они ни были.

\*Обладающий религиозным опытом ощущает, в конечном счете, не то, что у него есть религиозные идеи, но что идеи владеют им и, в сущности, покоряют его. Я не знаю, чего они стоят, они совершенно не освобождают от жизненного отчаяния и всякого такого.

\*Я ничего не знаю об этих вещах, на самом деле ни черта! Мною тоже управляют. Я всего лишь слабый и грешный человек.

1 *Franciscus Adrianus (Frans) van Vught (1950)* – нидерландский планировщик и социолог.

2 *Simon Vinkenoog (1928–2009)* – нидерландский писатель, поэт, декламатор.

3 *Joannes Baptist (Lambert) Simon (1909–1987)* – священник и художник, друг Реве, его крестный отец и духовник.



\*Религия, подобно природе и искусству, по сути глубоко аморальна; иными словами, религия посредством символов показывает человеку проблемы человеческого существования и делает его сознательно пригодным для жизни. Но далее религия ни к чему не обязывает. И я считаю, что за всё время существования христианской церкви ее вмешательство в мирские дела оборачивалось большим несчастьем. Она всегда защищала насилие, жестокость и власть толпы. Я думаю, что настало время христианской церкви, наконец, оставить политическую арену. Сейчас христианская церковь опять думает, что она жутко прогрессивная. Теперь католические священники и молодчики бегают по пятам московских и пекинских гангстеров и заявляют о своей солидарности с людоедами. Я думаю, было бы разумнее, чтобы они в это всё не вмешивались, а служили бы себе мессу и знали свой шесток.

\* Можно, конечно, извлечь из Библии социальный посыл, но мне это представляется несколько вторичным. Евангелие показывает, что человек имеет определенное призвание прийти к определенному осознанию. Что человек в какой-то момент должен восстать против всего мира .....ну да, если хотеть, чтобы Господь открылся человечеству, что, в сущности, такая огромная задача, не знаю, на этот предмет можно шестнадцать конференций по выходным в лесу просидеть.

\*Я считаю, что социальный посыл есть простое следствие, когда человек взрослеет путем религиозного откровения, он в какой-то момент займет и политическую, и социальную позицию, ага. Но мне очень жаль, что «Новая линия»<sup>1</sup> через два дня после того, как один китаец, который хотел сбежать из китайского посольства, – он лежит, полумертвый, на тротуаре, и его отвозят в больницу, и парочка этих самых китайцев отнимают у него носилки и бросают умирать в какой-то конторе, – а через два дня «Новая линия» трубит обо всем инциденте в редакционной статье о товарище Мао<sup>2</sup>. То, что в ближайшие недели только издевались над голландцами, у которых имелись вопросы по этому

1 *Католическая газета (1946–1987) с сильным левым уклоном.*

2 16 июля 1966 года 42-летний китайский инженер Ху Цу-Цай, принимавший участие в конференции по технологии сварки в Делфте, был обнаружен с переломом основания черепа на улице в Гааге и доставлен в больницу. Произошел ли несчастный случай, попытка самоубийства или нападение, было неясно. Предполагалось, что китаец выпал или был вытолкнут из окна посольства, куда его переместили. Восемь его соотечественников, также присутствовавших на конгрессе, отказались давать показания. Пока полиция проводила расследование, он был похищен из больницы сотрудниками китайской миссии и перемещен в посольство Китая, где вскоре умер. Здание было оцеплено с намерением допросить коллег китаец о происшествии. 18 июля правительство Нидерландов объявило поверенного по делам Китайской Народной Республики в Гааге, г-на Ли Ын Жоу, нежелательным лицом и потребовало в двадцать четыре часа покинуть страну. В ответ на это голландский полномоченный в Пекине был объявлен персона нон грата, без разрешения покинуть Китай. Только через пять месяцев, после символического допроса, другим китайским участникам конференции было позволено покинуть Нидерланды. В ходе следствия выяснилось, что инженер поздно ночью сам выбросился из окна, чтобы избежать надзора своих коллег. Это дело на длительное время омрачило голландско-китайские отношения.

поводу. Десять миллионов голландцев, которые осмелились подняться против 500 миллионов китайцев. Для меня это причина никогда не покупать больше ни одного экземпляра «Новой линии».

\*Нет, я говорю, что религия по отношению к Богу есть всеобъемлющая любовь, и он тоскует по этой любви. Однако должна существовать возможность совершенно иной связи с Богом, но не трепетная покорность, а зрелая связь.

\*Что меня поражает в протестантских взглядах, это просто идея, что Бог обо всем позаботится. Мы тут сидим, а Боженька всё сделает. И никогда никакого чувства ответственности. На благо Господа, и никогда ни малейшей идеи, что Он тоже может попасть в беду; что мы тоже ночью-другую должны в постели повернуться, это людям в голову не приходит. Они в порядке, а Бог заботится о них. Этот мужик, похоже, никогда не спит, Бог. Для меня существует целая шкала отношений. Иногда эти отношения совсем другие, я имею в виду, Бог хочет сделать то-то и то-то для меня, а я сделаю то-то и то-то для него, но тут множество вариантов. Однако для определенного сорта протестантов Бог – всего лишь ворчливый папаша. Это те, что содрогаются от моих слов. Но на то, что я говорю, у меня патента нет, с этим любой здоровый человек может работать и жить, да, это печальное состояние. Я что, что-то особенное говорю? Черта с два, нет ничего нового под солнцем.

\*Люди недооценивают символ. Часто можно слышать: да это всего лишь символ, а ведь символ гораздо больше, нежели осязаемая реальность, гораздо объемнее. Печально, что люди столь ограничены, что их представление о Боге столь мелко, что они чувствуют себя под угрозой, если выбираешь в качестве символа конкретное животное или особые отношения, особый сексуальный акт. Непонятно, ну да, отлично понятно, что некоторые неразумные, хотя и образованные люди, вроде профессора Линдебом<sup>1</sup> ... для меня это поистине загадка, ей-богу... Это впрямь нагоняет страх, что такое существует, что этот человек преподает в университете, что он держит в руках жизнь и смерть многих людей и выполняет жуткие операции, мда.

\*Бог – это наиболее подлинное, наиболее беззащитное, наиболее недо-ступное в нас самих.

\*Бог – это всепроникающая, всепримиряющая, всеобъединяющая любовь, которая выше всякого понимания. Это Бог. Бог – это не вещь. Бог – это уникальное существо, которое не нуждается в существовании, чтобы обнаружить себя. Царство Божие внутри нас, вот так.

1 См. «Четыре защитительные речи».

\*Полтора года назад сидел я с моим крестным отцом на крыльце дома в Греонтерпе. Я говорю Ламберту: Интересно, где сейчас Сын Божий Иисус? Торчит безвыходно в кафе и надирается в стельку, или же сидит одесную Отца, а, парень? – Да, скорее всего, одесную Отца. – Чуть позже я говорю Ламберту: А что, Бог много пьет? Он говорит: жуть как много, Герард, жуть как пьет. – Это всё свойства Бога, которых я не признаю, ну да, признаю, но в определенные моменты.

\*Я не принуждал Господа создавать меня по своему образу и подобию! Он создал меня потому, что это его любимое занятие. Я нахожусь в прямодушной и чистосердечной связи с Господом, понимаете. Богу не нужно приставать ко мне с болтовней. И не заявлять, что то, что я написал, опять плохо вышло, вы же понимаете. Тогда нужно самому писать, самому всё делать, самому работать и стоять в очереди, чтобы выклянчить субсидию, понимаете.

\*Я иду навстречу Господу чистосердечно, но не как змей, хм, эта протестантская идея, какие же все мы черви, как же мы должны пресмыкаться, какие же мы все грешники, вы понимаете. Я не грешник, я человек, созданный по его Образу и Подобию, большими трудами. Я хочу славить Бога и служить ему, но не елозить перед ним на коленях, как мерзкая грязная обезьяна. **Бог не кальвинист, это несомненно!** Я имею в виду: меня освобождает знание того, что Бог тоже страдает от всего гнетущего меня, делающего мою жизнь почти невыносимой. Но всё это отребье, вся эта чернь, преследующая меня, об этом не задумывается. Они и шагу из дома не ступят, чтобы помочь Господу. У них нет ни малейшего представления о Боге, ни малейшей зрелости. Они думают, что Бог настолько всесилен и могуществен, что не нуждается в человеческой помощи. Я ничего не делаю, сплю себе спокойно, понимаете.

\*(С нарастающим гневом): Откуда берете вы образ Божий, как не из самих себя? Откуда, Господи Боже, ему еще взяться? Чем ваша картина божественного отличается от вас, а? Из ваших собственных гребаных тел, из ваших собственных гребаных общаг, в которых вы живете! Откуда взяться образу Божьему, как не из вас самих? Из воздуха, из космического корабля, на который Бог выставляет синий щит?<sup>1</sup> Или он спустился на парашюте к моему порогу, и я его из снега откопал, или что? Откуда взялось, ради всего святого, мое представление о Боге, если не из меня самого? Откуда в мировой истории, у Лютера, у Кальвина и всей этой банды появился образ Божий, как не из них самих? У Франциска, у Сына Божия Самого, наконец. Он тут расхаживал и думал, да кто-то должен это сделать. Я Сын Божий, я спасу человечество. Задача не из приятных, но если он когда-нибудь из больничной кассы или другой какой-то конторы может получить подтверждение и возмещение расходов, понесенных.... Но такого не бывает, всё висит в воздухе, когда я говорю «Бог» – это ведь воздух.

1 Синий щит, окруженный ярким мигающим белым светом, является в речном судоходстве сигналом того, что встречным двум судам желательно разойтись правыми бортами.

Когда я говорю, Господь милостивый Христос и святая, преславная и благословенная Дева, это воздух, всё воздух для всех и вся. Кроме меня, поскольку Он живет, да святится имя Его и Христа, да святится Его имя, он всё воздух, а все этим задницу подтирают, если уж на то пошло.

\*Если вы половину Святой Девы в сортир спускаете, или луковицу или кусок сахара, никакой сраной разницы. Католик и протестант, одно другого не лучше, ясное дело, все мы смертны, и все мы будем уничтожены. Это или Бог, я очень люблю вас, или Бог, и насрать мне на вас. Это относится к человечеству. То есть речь идет о том, чтобы быть человеком и о некоем религиозном опыте, которым мы обмениваемся друг с другом. Бог больше сердца нашего и больше, чем весь этот пиздеж, чем тот или иной библейский текст и такой-то и такой-то параграф. Бог бесполезен, Бог, конечно, голландскому студенту не нужен.

*Г. Й. Д. де Хаан*

*Перевод Ольги Гришиной*

## ГЕРАРД РЕВЕ

### ЧЕТЫРЕ ЗАЩИТИТЕЛЬНЫЕ РЕЧИ

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Четыре прозаических текста, вошедших в этот сборник, объединяет то, что они были написаны в крайнем напряжении и завершены в состоянии сильнейшего цейтнота; все четыре, невзирая на поверхностное различие в тоне, выражают глубочайшие мотивы моей работы и моей личности. Принимая во внимание последнее и учитывая, что с ними можно ознакомиться лишь в газетных архивах или в библиотеке, я решил предложить их публике, которая до сих пор время от времени проявляет к ним интерес; поэтому я издал их отдельным сборником под уместным, на мой взгляд, названием: «Четыре защитительные речи». «Заключительное слово в суде» я написал в ночь перед заседанием суда; рано утром речь была готова. В ней, невзирая на краткость и некоторую наивную беззащитность, ясно выражена суть того, что я позже, самостоятельно выступая в свою защиту, вынесу на обсуждение при апелляции в моей «Защитительной речи в суде».

Сначала я собирался провести свою защиту с начала и до конца самостоятельно, но позволил сбить себя с толку издателю Г. А. ван Оорсхоту, навязавшему мне адвоката из Амстердама, г-на Х.Р. Ейла, который выставил мне счет в размере 4,685 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять гульденов) за несостоявшуюся защиту, – он обещал мне выслать текст, но я его так и не получил; судя по решению Верховного суда, при заслушивании дела по апелляции среди документов означенного текста не было. (Друг народа Г. А. ван Оорсхот, впрочем, никогда не предлагал мне возместить часть этих расходов на защиту в счет все же изданной им книги).

Процесс по обвинению в богохульстве оказался для меня делом утомительным, хотя и поучительным. Издатель Г. А. ван Оорсхот сообщил мне, что желает издать его документальное свидетельство: двое стенографистов слово в слово зафиксировали заседание суда. На заседание эти стенографисты не явились, поскольку «до них было не дозвониться». Мне не верится, что ван Оорсхот действительно намеревался опубликовать материалы процесса. Однако он возмутился, когда я, в конце концов, связался с «N.V.de Ahbeiderspers», для которой судебный репортер из «Het Vrije Volk» Ян Феккес составил достойное документальное свидетельство «Господь твоей тетушки» – не из дословно зафиксированных выступлений, которые негде было взять, но всего лишь на основе выуженных из газетных статей и протоколов сведений; это свидетельство после первого издания утонуло в массе новых актуальных фактов и вновь исчезло из фондов «А.Р.»

Процесс, какой бы победой он для меня, с юридической точки зрения, не закончился, навредил мне, поскольку верно сказано: *qui s'excuse, s'accuse*<sup>1</sup>. Вызов в суд означает толки, а стать предметом толков для писателя (в Нидерландах уж точно) означает неблагоприятное влияние на продажу его книг. Я бы любой ценой хотел избежать какого бы то ни было нового процесса. У гласности свои пути: тот, кто по тем или иным причинам предстал перед судом, уже совершил преступление, – по крайней мере, в глазах толпы. Тут я согласен с Селином: «если попался на глаза властям, как можно скорее делай ноги».

Над «защитительной речью» я работал месяцами, нередко задыхаясь от отчаяния, и, разумеется, справился с нею только за несколько дней до заседания суда. Хорошо, что я принудил себя к такой ясности в отношении того, что чувствовал и думал о таких понятиях, как Бог, Жизнь, Смерть, Искусство и границы художественной свободы, но теперь я, однако, стал мудрее, чтобы не повторять ошибок.

Нелегкой задачей было также написание «Четырнадцати офортов», задуманных как сопроводительный текст к серии репродукций графических работ Франса Паннекука<sup>2</sup>. Я должен был воспеть его жизнь и стремления и отдать должное его понятиям о месте художника в обществе, не отказываясь от своих. Мне это не удалось: при всем моем восхищении работами Франса мы весьма «не совпадали», когда речь заходила об Искусстве. На мой взгляд, Франс чересчур поддавался влиянию окружения, в котором социальное банкротство охотно рассматривается как первое и главнейшее условие артистизма – дурацкий поворот обстоятельств, случившийся с великими художниками, не преуспевшими в обществе. Художник должен не восставать против общественного порядка, но использовать его. Не исповедовать господствующую моду и не сражаться с нею – но основательно ее изучить и сделать работу, которая якобы этой моде следует. Среди мучительных размышлений и тревог по поводу этой действительно великой теории, которую я, к моему большому огорчению, еще не имел случая применить на практике, возник текст «Четырнадцать офортов». Много вина и слез влило в этот исключительный рассказ, который мне очень дорог – я считаю его лучшей главой из «Ближе к Тебе»<sup>3</sup>.

Текущий баланс я подвел в моей «Речи в Маюдерслоде» по случаю получения мною премии П. С. Хоофта, «Нобелевской премии для Нидерландов и Колоний, сделавшей меня знаменитым в Северной и Южной Голландиях и Утрехте», как я, помню, однажды выразился. Когда ты молод, страстно жаждешь почестей и признания, которые потом, удивительное дело, оставляют тебя совершенно равнодушным и, в сущности, безвкусны, что печально, ибо, как говорится, каждую крошку в ладошку.

В этой речи я сообщаю о простом, но, увы, запоздалом открытии: я – романтический декадент-художник и поэтому в Нидерландах одинок и стою вне

1 На воре шапка горит (фр).

2 Frans Lodewijk Pannekoek (р. 1937), нидерландский художник-график, друг Реве.

3 В книгу «Ближе к Тебе» этот рассказ не вошел.

какой-либо традиции: далее, в конце речи, я признаюсь в том, что устал от длящегося почти четверть века спора, который мне приходилось вести, опустившись гораздо ниже моей собственной планки, и потому не должен более выдавать текст и пояснение, а исключительно только текст.

Я хочу здесь выразить свою симпатию и уважение Марге Кломпе, нашему бывшему министру Культуры, из чьих рук я получил премию П. С. Хоофта. Она очень много сделала для искусства и деятелей искусства, чем навлекла на себя хулу и ненависть мещанства и тех, кто именуется художниками, в то время как заслуживала куда лучшего.

*Венендал, 1 августа 1971*



### **БОГ (1) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО В СУДЕ**

Господин Председатель, Высокочитимые дамы и господа. Первоначальный замысел моей аргументации – мой издатель с присущей ему скромностью уже говорил о «Нагорной проповеди» – был рассчитан не более чем на полтора часа, однако мой адвокат предупредил меня, что подобная продолжительность заключительного слова в высшей степени неприемлема. Посему, следуя его совету, я, насколько можно, сократил текст и, хотя мне не удалось достичь намеченного мною тогда идеала – полторы минуты вместо полутора часов – я к нему весьма стремился. Нынешней ночью до четырех часов утра я пытался сжать текст до нескольких минут – и могу заявить Вам: если ты не богохульник, то непременно им станешь.

Итак, некто уже говорил о «Нагорной проповеди», и я со всей серьезностью полагал, что полтора часа мне были бы весьма на руку: никто, по всей видимости, не остается незатронутым тем, что, по моему мнению, характеризует нашу эпоху, период, который я бы назвал эпохой утрирования, преувеличений, совершенно абсурдных сравнений и упущенных из виду пропорций.

Утрирование, господин Председатель, благородная Коллегия, в последние месяцы выражается в обсуждении данного судебного дела, причем в такой степени, что я намереваюсь по этому поводу высказаться.

В статье, напечатанной в литературном ежемесячнике «De Gids», мой брат по перу Харри Мулиш, рассуждая о моем привлечении к уголовной ответственности, высказывает мнение, что свобода мысли и печати у нас находится в опасности, во всяком случае что касается судебного разбирательства. А в чрезвычайно прогрессивном римско-католическом еженедельнике «De Vazuin» один сотрудник даже заявляет, что между обхождением со мной и не-

давно осужденными русскими писателями<sup>1</sup> «едва ли можно найти ощутимые различия». С чистой совестью и в полном согласии со своими убеждениями я заявляю, господин Председатель, что не нарушу порядка, если выскажусь по этому поводу, ибо то, о чем я собираюсь вести речь, имеет отношение к свободе мысли, к литературе, к моему писательству, к моей ситуации здесь в качестве обвиняемого, ко мне самому и ко всему, что – назову это несколько торжественно – движет мною и составляет суть моего существования.

Говоря об утировании: в самом деле, я привлечен к уголовной ответственности, кроме всего прочего, из-за пассажа в моей книге «Ближе к Тебе», но у меня не было необходимости контрабандой пересылать рукопись за границу, дабы затем, по окончании квазипроцесса, в значительной степени проведенного за закрытыми дверями, поплатиться за это пятью или соответственно семью годами исправительных лагерей. В самом деле, я привлечен к уголовной ответственности и должен предстать перед судом, но ни до, ни после суда я не испытывал ни малейших ограничений моей личной или профессиональной свободы, и «Ближе к Тебе», среди прочих моих книг, свободно продается в книжных магазинах, я читаю отрывки по радио и телевидению, а несколько дней назад получил от государства субсидию в размере трехсот и еще вроде бы шестидесяти гульденов за вышедшую тем временем предпубликацию «Письма из Дома, именуемого Трава» в ежемесячнике «Tirade».

Конечно, я привлечен к уголовной ответственности, и это стоит мне времени, энергии, причиняет неудобства и вызывает досаду, но, господин Председатель, неудобство на денек выбраться из Фрисландии в Амстердам и риск того, во что может вылиться для меня решение вашей Коллегии, всё же имеет крайне малое отношение к таким вещам, как подавление свободы высказываний, и вышеназванное неудобство всё же гораздо в большей степени, нежели «едва лишь», отличается от неудобства проведения пяти или семи лет в исправительных лагерях. Я полагаю себя счастливецом оттого, что живу в Нидерландах, где предстою перед судом, находясь под защитой, которую гарантирует мне закон современного, цивилизованного правового государства. И если я в этом деле защищаю то, что полагаю своим правом, и то, что «движет мною и составляет мое существование», я хочу при этом оставаться избавленным от знаков человеколюбивой заботливости, вроде той, что проявил сотрудник еженедельника «De Bazuin» или моторизованный скандалуайер из ежемесячника «De Gids». Я остаюсь здоровым, господин Председатель, и предпочитаю таковым оставаться.

Является ли это дело мелочью, Господин Председатель, Благородная Коллегия? Не знаю, но взвешивая всё вынесенное на обсуждение, я нахожу, что речь идет вот о чем: вовсе не о проблеме или идее перевоплощения Господа в гомосексуальное млекопитающее, что должно рассматриваться как предосудительное или оскорбительное. Это абсолютно не является вопросом поношения или оскорбления. Это не что иное, как религиозная дискуссия, к которой я,

1 Процесс Синявского и Даниэля.



впрочем, вовсе не стремился. Это противопоставление одного Божественного понятия, одного образа Божия – другому, и я не думаю, Господин Председатель, что задача вашей Коллегии должна заключаться в том, чтобы отстаивать один образ Господень перед другим, – а это именно то, чего требуют от Вас мои оппоненты.

Вдумаемся в то, к каким последствиям это может привести. Я хотел бы посмотреть, что случалось, когда из-за огульных и оскорбительных издёвок, которые мои враги изо дня в день выплескивают на инакомыслящих, пострадавшие прибегали к помощи суда. Вдумаемся в то, какую оскорбительную и богохульную издёвку для иудеев заключают в себе притязания плотника из Назарета на то, что он Мессия, а они не что иное, как убийцы Господа. И я вспоминаю о некоем весьма назидательном христианском сочинении, недавно попавшемся мне на глаза, в котором Будда как ни в чем не бывало поименован Сатаной, а буддисты – его последователями.

Данное уголовное преследование инспирировано вызывающим поведением, нетерпимостью и глупостью – тремя факторами, но глупостью прежде всего.

В нашем поместье в Греонтерпе, в саду, стоит бронзовая статуя Будды, и однажды я случайно услышал, как прохожий ответил на вопрос своего спутника об этой статуе человека, возведенного в Божество, – статуе, которой поклоняются 500 миллионов: «Это? Да какой-то индийский божок». А однажды, когда я работал в саду, проходившие мимо детишки стали задавать мне вопросы о той же статуе. Немного поразмыслив, я дал им ответ: «Это Иисус Христос, но для Азии. Его зовут Будда Победоносный, и он из Нирваны управляет всем сущим. Его произвел на свет не Святой Дух, а белый слон, который три раза обошел вокруг постели матери Будды, а затем прилег к ней под бочок». «Не может такого быть», заметил самый смысленный из ребятешек, на что я ответил: «Нет, не может; но то, чему тебя учат на уроках закона божьего, – это может быть».

«Was dem einen recht is, sollt dem anderen billig sein».<sup>1</sup> Так что вот: эта пронизанная теологическим фанатизмом болотистая дельта гудит и кишит религией, но взрослая религиозность тут еще и не ночевала: в этой стране о Боге, популярно выражаясь, не знают ни сном ни духом. В противном случае мой так называемый проступок весил бы не более чем тот, что в анекдоте про американского космонавта, вернувшегося на землю: он поведал, что видел в космосе Бога, и на вопрос, как тот выглядел, отвечал: «She is black»<sup>2</sup>. Никто Бога не видел, – мораль этого трогательного анекдота, который должен настроить нас на смирение.

Что для меня или кого-то иного образ Божий, какой ценностью он обладает? Я этого не знаю, Вы этого не знаете, никто этого не знает. У всякого своя цена, по потребности; в любом случае, на краюху у булочника не выменяешь. Какое же высокомерие движет моими врагами, раз они затевают такую перебранку из-за одного их превратного представления об образе Божиим?

1 Что одному хорошо, то и другому подойдет (нем.).

2 Она негритянка (англ.)

Я могу заметить моим оппонентам, что Сам Господь в раскачиваемой бурей лодке укорил разбудивших его учеников: «Что вы так боязливы, маловерные?» И сам я с тяжким вздохом желаю закончить следующим: является ли Господь Агнцем с пробитыми, окровавленными копытами или годовалым мышино-серым Ослом, позволившим мне три раза подряд длительно обладать им, проникая в его Сокровенное Отверстие, – какая разница, покуда Он берет на себя грехи мира сего и являет милосердие свое всем нам.



## **БОГ (2)**

Господин Председатель, Высокопочтимые Дамы и Господа. Я подал в Вашу Коллегию апелляцию против судебного решения, вынесенного по моему делу окружным судом Амстердама 3 ноября 1966 г., поскольку это решение, невзирая на его заключение о прекращении судебного преследования, не снимает с меня обвинения в той мере, на которую я, по моему мнению, имею право.

Это решение, которое я определенно не могу назвать юридическим шедевром – обоснование его явно ведет скорее к моему оправданию, нежели к постановлению о прекращении судебного преследования (не по причине явного отсутствия уничижительного характера моих высказываний, но по причине недоказуемости означенного характера), меня прежде всего глубоко разочаровало, поскольку суть обвинения – богохульство – было объявлено доказанным. Данное решение, не реабилитирующее меня, а, в сущности, имеющее целью от меня отделаться ничем не значащим постановлением, было также использовано против меня ультраправой ортодоксией в ее предвыборной кампании.

Ход судебного заседания, однако, уже позволил мне осознать, что я не могу ожидать лучшего. В действительности не один я придерживаюсь мнения, согласно которому рассмотрение дела протекало ниже минимально допустимого уровня. Поистине несправедливо требовать от людей, высокоспециализированных в одной области, такой же высокой компетентности в какой-либо другой, однако я всё же ожидал более детального, более зрелого и более серьезного улаживания дела, нежели то, что получилось в итоге. Я полагаю, что нигде не ущемил себя в правах и свободах, на которые может притязать обвиняемый; мне также не приходится сомневаться в беспристрастности суда в отношении моей работы и личности, но в действительности я не являюсь единственным, кто был несколько ошарашен невежеством как обвинителя, так и судей, не выходявших, однако, за рамки того, что в газетных объявлениях именуют письменными курсами «общего развития». Из многочисленных примеров я хотел бы назвать всего лишь явное отвращение, с которым один член суда задал мне вопрос, имел ли я в виду нечто обычное и пристойное в приписывании Господу

сексуальности; вопрос председателя свидетелям-экспертам – вопрос, против которого они – один чуть более резко, чем другой – совершенно справедливо протестовали: находят ли они предосудительным подлинное, реальное спаривание человека с животным или же нет, в то время как такое спаривание никогда в моих популярных книгах не упоминалось, я ни разу его не совершал и намерений или планов подобного рода никогда не имел, и означенный вопрос, по справедливости, должен был бы звучать примерно следующим образом: «Полагаете ли Вы, согласно статье закона, унижающим богохульством высказывания в произведениях обвиняемого, имея в виду подчеркнутый в повестке текст, в котором обвиняемый оскорбительным для религиозных чувств образом развивает религиозные представления, в коих имеет половую близость с Ослом, в чью плоть облекся Бог?» Ведь я предстал и предстою перед судом не по обвинению в сексуальном сношении с животным, но из-за публикации двух текстов мистической направленности, в котором Божество, перевоплотившись в животное, исполняет сексуальную роль, и данные тексты пришлись не по вкусу некоторому количеству людей, о которых еще пойдет речь. Смешивать одно с другим присуще человеку, но прежде всего – нидерландцу: в нашей «уютной болотистой дельте», где народ ни о чем знать не знает – немецкий поэт Генрих Гейне пишет: «Когда наступит конец света, я поеду в Голландию, ибо там всё происходит на 50 лет позже» – нужно всё еще быть осмотрительным, как в старой Германии, где цензор запретил перевод дантовской *Divina Commedia*, «*Die Göttliche Komödie*», с пометкой: «Man soll mit göttlichen Sachen keine Komödie treiben»<sup>1</sup>.

Как уже сказано: знать не знают, но, прежде всего, крайне мало утруждают себя, чтобы что-то о чем-то узнать, поскольку в течение почти восьми часов заседания ни прокурор, ни какой-либо член суда ни разу не задали мне вопроса в духе: «Что, по-вашему, в точности означают тексты?» «Какие функции вы в них вкладываете?» «Какого литературного или же внелитературного эффекта вы этим пытались добиться?» «В какой связи они находятся с целым вашей работы?» «Передают ли эти тексты конкретное, телесное влечение, или же это, возможно, выражение игривого стремления к странному?» «По вашей собственной оценке, на полном ли серьезе вы в этих текстах выразили словами религиозные чувства, или вы имели целью в первую очередь подвергнуть сомнению или высмеять их?»

Естественно, в этом отношении я мог бы во время заседания взять инициативу на себя, но, кроме практических причин – я не был полностью в курсе процедуры и, прежде всего, не сам проводил свою защиту – я не мог принимать решений по другой, весьма принципиальной причине: убедительная экзегеза данных текстов была бы невозможна без изложения моего понятия о Боге и, что касается упомянутого понятия, я находился в сомнении. Ибо, кроме телесной нечистоты, существует еще нечто вроде нечистоты религиозной – эта

1 Не пристало делать комедию из божественного (нем.).

идея принадлежит не мне, но покойному проф. Х. С. Рюмке<sup>1</sup> – которая столь же мерзка, как и телесная. Я имею в виду нечистоту тех – вы их, несомненно, знаете, и в моем изложении они еще будут названы – которые не оставляют попыток сообщить, насколько всё же велика и избавительна их беспримерно истинная вера, как исключительно прекрасно относится к ним их Бог, ежедневно во всем дающий им бесплатные советы; которые точно знают, кто будет спасен и кто нет; которые звонят мне, дабы сообщить о том, что я, отказавшись от своей скотской греховности, смогу разделить с ними их благолепие, ибо они «имеют Сына» – предпоследнее слово особенно характерно; и которые мне подкинули, к примеру, евангелистский листок с указующей на завернутый наружу заголовок статьи стрелкой: «Гангстер сделался свидетелем Христовым». Глубокое отвращение к этому порочному комплексу надменности, тотальности собственной правоты и фанатизма всегда удерживало меня от подробного изложения моих религиозных чувств, представлений и размышлений, когда меня об этом не просят. Однако теперь я полагаю неизбежным высказать по крайней мере какие-то соображения касательно моей идеи Божественного, причем ограничусь только тем, что является существенным для данного дела. Утверждение, скажем, прокурора о том, что здесь будет затронут исключительно юридический вопрос, является чистой воды софистикой. Разумеется, в конце концов, выносимое вами решение должно опираться на юридические соображения, но было бы глупостью утверждать, что оценивать эти тексты можно без того дополнительного веса, который им придали бы соображения литературной эстетики и знание истории религии. Но даже если вы, Высокопочтимая Коллегия, полагаете, что последующая часть моей речи не относится к формированию суждения по вопросу о наказуемости высказываний, я всё же полагаю необходимым, чтобы вы ознакомились с нею, поскольку в любом случае она предоставит вам более глубокий взгляд на мотивы обвиняемого.

Ни вы, ни я в той же степени, не являемся теологами, но мы все тут – что есть практически синоним – нидерландцы. Однако в целом вовсе не надобно специального знания теологии, чтобы проникнуть в суть лежащего в основе данного дела конфликта. С самого начала этого дела – а основа его заложена за годы до того, как началось судебное расследование – я пребывал в убеждении, которое теперь желал бы сохранить неизменным, – что конфликт заключается в одном из двух понятий Божественного: эманентность и имманентность Бога. Все беды проистекают из этого, – что Бог для меня не есть «совершенно другой», эманентный, но «в высшей степени свой», иными словами: имманентный. Мой Бог есть определенно не Бог Нидерландов, или, как именует его наш великий писатель Несцио в своем бессмертном рассказе «Поэтишко»: «Бог твоей тетушки, который говорит, что ты должен был поклониться, проходя мимо дома твоего хозяина, (...), даже если ты никого не видел, никогда не знаешь, кто видел тебя».

1 *Henricus Cornelius Rümke (1893–1967) – нидерландский психиатр и поэт.*

Я не располагаю статической картиной Божественного, но если бы мне нужно было дать определение Бога, оно теперь прозвучало бы так: «Бог – это наипотаеннейшее, беззащитнейшее, наиподлиннейшее и наинерушимейшее в нас самих». Короче и лучше было кем-то сформулировано перед лицом того неискоренимого сорта людей, что вечно желают знать, является ли Царство Божие абсолютной или же конституционно-парламентарной монархией: «Царство Божие в вас»<sup>1</sup>.

Все рассуждения о Боге в моей работе зиждутся на этом понятии Божественного. Какую оно имеет ценность, я не знаю; я знаю лишь, что для меня это единственно возможное. И я не в состоянии понять, отчего это понятие Божественного имеет меньше права на выражение, чем, например, понятие об эманентном Боге мести, толкающем человека к свершению греха, дабы затем за этот грех проклясть его навечно.

Мое понятие о Боге, в противоположность понятию о «Боге Нидерландов и твоей тетушки», считается надменным, инфантильным или же примитивным. Подозреваю, что оно считается и тем, и другим, и третьим, но полагаю, что представление, согласно которому эманентная картина Божественного, в отличие от имманентной, должна быть менее или вовсе не антропоморфной, есть иллюзия. Как в искусстве одержимая погоня за так называемой вневременной формой сейчас привязана именно ко времени, так и образ Бога, позволяющий человеку царствовать, будучи бесконечно удаленным от него, и по возможности избавляющий его от полагаемых безнравственными человеческих свойств, есть особенно антропоморфная картина Божественного. И кстати: по какому праву можем мы заранее отказать Богу в таких атрибутах нашего существования, как любовная страсть, одиночество, страх и страдание?

Имманентное понятие о Боге, отраженное в моей работе, зиждется на осознании тождественности Бога и человека. Я в гораздо меньшей степени, нежели многие другие, являюсь новатором, вольнодумцем или революционером и, оценивая себя, думаю порой: идея того, что Бог и человек в начале начал, в настоящем и в будущем были, будут и есть одно, считается, – правда, в несколько преуменьшенной степени, – перенятой из Гнозиса христианством и почти всеми мировыми религиями. Мы созданы по образу Его и подобию, то есть не обладаем слишком уж глубокими различиями; Бог и его Творение есть одно, ибо не только мы, люди, но и всё сущее создано по Его образу, и даже в Преисподней терзаемый оковами брат-близнец Христов, Сатана, есть истинный Бог, противоборствующий Сам с Собой по причинам, нашему разумению неподвластным.

Я хотел бы сейчас попытаться использовать в экзегезе обе вызвавшие сомнение цитаты и некоторое количество других, избранных из моих книг, с помощью которых мне, надеюсь, удастся доказать, что эти тексты не имеют ничего общего с провокацией или хулиганством, как предположил Прокурор, но являются более-менее очевидной литературной интерпретацией моего понятия о Боге.

1 Ср. «Ибо вот, Царство Божие внутри вас есть» (Лук., 17: 20).

Однако перед тем как приступить к этой задаче, я хотел бы кратко высказаться по поводу документа, содержащего часто упоминаемые обвинения в провокации и хулиганстве, при этом мне сразу же вменяют в вину «изобильное использование нецензурных слов». Указанные обвинения не имеют, однако, прямого отношения к обвинению, но всё же могут затенить восприятие моей работы в целом.

Ни один композитор заходя не исключает ни одной ноты или аккорда, ни один художник не отказывается от определенной краски из своей палитры, – так же и писатель с достойным именем не отвергает заранее ни одного слова. Вопрос в том, насколько необходимы в произведении мастера данная нота, данный аккорд, цвет или слово. Таким образом я не исключаю из своей палитры ни единого слова, также и ругательного, но набившее оскомину утверждение, – как, например, у проф. др. Г. А. Линдебомы в его в высшей степени достойной внимания книжке «Бог и Осел, ослобог писателя ван хет Реве в оценке некоторых теологов-реформаторов», согласно которой я «щедро использую площадную брань» и моя последняя книга «нашпигована матерщиной», – есть доказуемая ложь: в «Ближе к Тебе» на 158-ми страницах встречаются четыре, от силы пять грубых слов, в зависимости от того, будет ли впервые использованное собратом по перу Симоном Кармиггелтом в колонке ежедневника и посему легализованное слово «хуй» расценено как площадное. Это ни на чем не основанное утверждение, каким бы второстепенным оно ни казалось, является, тем не менее, характерным для уровня ведущейся против меня и моих сочинений дурацкой клеветнической кампании.

Но теперь к разъяснению текста, которое я Вам обещал. На стр. 63,<sup>1</sup> строка 15 снизу в книге «По дороге к концу» сказано: «Бог очень одинок»<sup>2</sup>. Возможно, что во всем моем творчестве нигде столь лаконично и полно не выражено мое представление о Боге. Мысль, лежащая в основе высказывания «Бог очень одинок» – идея Господа, познавшего одиночество и страдания любви и, взвизывая на Его всемогущество, зависящего от любви его созданий – появляется вновь и вновь в моей работе, главным образом в своде стихотворений «Духовные псалмы», которым заканчивается «Ближе к Тебе». Мои противники нередко упрекали и обвиняли меня в том, что я отображаю сам себя в своих представлениях о Боге. А разве сами они поступают иначе? И можно ли поступать иначе? Эти укоры наводят на воспоминание об одном недоброжелательном художественном критике, который в рецензии на мою последнюю книгу<sup>3</sup> вновь твердит – кроме, разумеется, того, что это нигилистская повестушка, из которой проистекает враждебное жизни видение, и в которой вновь «не появляется нормального человека» – что я «перепеваю сам себя». Спрашивается, как бы я мог перепевать кого-то другого?

1 В русском издании стр. 68, строка 13 снизу.

2 Все цитаты, кроме последней, из книги «По дороге к концу» приводятся в переводе Светланы Захаровой.

3 «Ближе к Тебе».

У моих противников, почитателей Бога Нидерландов, имеется ныне другой Бог, которого я не знаю и знать не хочу: гневный, непредсказуемый старый тиран, которого за нос не потаскаешь, с которым они ведут себя как дети, пре-ращающие шалить, ибо скоро конец дня и «отец вернется домой».

Я уже не раз повторял, что не испытываю недоброжелательства по отношению к подобным представлениям о Боге, но продолжаю настаивать на том, чтобы, буде таково желание, изложить мои собственные представления».

Когда я исхожу из того, что предназначение человека есть любить Господа, мне остается лишь ответить на вопрос, какой вид любви к Нему я могу принять за идеал. Ответ должен гласить: в высшей степени бескорыстную и совершенно безоговорочную любовь. Любовь ли это детей к своему отцу? Такая любовь далека от незаинтересованности: к ней примешивается страх наказания и утраты безопасности. Любовь ли это возлюбленной пары? Конечно, такая любовь может содержать великие моменты истинного бескорыстия, но всё же она переплетена с условностями: собственные эмоции, жажда обладания и удовлетворение страсти. Тогда любовь ли это братская, сестринская, дружеская? И такая любовь отчасти имеет целью собственное спасение и собственную значимость. Какой же в таком случае род любви остается? Любовь, которую родители питают к своему ребенку. Такая любовь, если она истинна, не просит ничего и дает всё. Следовательно, мы должны любить Господа как собственное дитя. Эта идея, когда она у меня возникла и до того, как мне в руки попали тексты, из которых явствовало, что я, по меньшей мере, одинокий гений, глубоко потрясла и ужаснула меня, и прошло немало времени, прежде чем я осмелился запечатлеть ее на бумаге. На странице 354 в книге «Ближе к Тебе» в последней строке стиха «Лицом к Рождеству» я обращаюсь к Господу: «Сын, что Смерть есть, Утешение, Забытье». Я всё еще не мог заставить себя прибегнуть к использованию притяжательного местоимения, которое в конце концов осмелился употребить в последней строке написанного позже «Благодарственного Псалма Агнцу Божьему» на странице 353, заканчивающегося так: «Мой Сын, мой Агнец, я так сильно люблю Тебя».

Господь любит, Господь страдает, Господь рождается во мне. То, что Бог (кто, согласно одному из моих определений, есть «всепобеждающая, всепроникающая, всепримиряющая и всесоединяющая в одно целое Любовь, превышающая всякое понимание»),<sup>1</sup> страдает, для меня не с трудом удерживающаяся в сознании мысль, но банальность. В том случае если Бог и Любовь есть одно, и в течение тех сорока минут в год, когда мне удастся верить в то, что Бог возликует и осушит все слезы, по-иному я это не представляю – это будет означать, что Бог страдает сильнее, нежели все жившие, живущие и будущие существа, и что Он должен быть утешен нами. Эта мысль передана на странице 333 в «Ближе к Тебе», в третьей строке стиха «К Богородице», которую я воспринимаю как Бога (мысль, действительно немного опережающая новую римско-католическую догму, которая будет провозглашена году так в 2000-м, когда мир

1 «Прекрасный Корабль» (Schoon Schip, 1945-1984 Amsterdam, 1984), стр.169.

оповестят о том, что Мария в действительности есть Бог, что Она – Божественная фигура наравне с Отцом, Сыном и Святым Духом, и что Она купно с Ними составляет часть Наисвятейшей Четверки), и к которой я обращаюсь со словами: «Тебя я приветствую и утешаю». Господь равно нуждается в нашей любви и утешении, как мы – в Его, и должен так же быть спасен нами, как мы – Им.

Очень часто, когда я в текстах отображаю свои отношения с Господом, Он состоит со мной во взаимной, интимной, определенно не исключающей сексуальный контакт связи, в которой нередко и превосходит меня и в то же время подчинен мне – возможно, для того, чтобы показать интенсивность и целостность общения, как это совершенно очевидно в случае стиха «Новый Пасхальный Псалом» на странице 343 в «Ближе к Тебе», в котором Он в одной и той же строке назван «Хозяином, Рабом и Братом». А в описании Беспощадного Мальчика на странице 250 поразительно то, что, когда к концу главы мой экстаз принимает характер обожествления, Беспощадный Мальчик, никогда не бывший поработленным, именно в этот самый момент, как сказано, «так же беспомощен, как и любой другой мальчик, как те, кого он подчинял и кем владел». Даже здесь, в облике, который изначально не имеет иной функции, кроме гомосексуальной симметрии *La Belle Dame Sans Merci*<sup>1</sup> из романтической литературы, это беззащитный, жертвующий собой Бог. Бог для меня всегда безвинно страждет и беззащитно покоряется. С этим и связаны помыслы, в которых Господь из последних сил спешит ко мне и может спастись, лишь отыскав меня и испив моей крови, или фантазия о том, что Господь где-то противозаконно схвачен и заточён, и ныне самое время бить тревогу и торопиться Ему на выручку.

Так же как я ищу Бога и хочу любить его и подчиняться Ему – припомните последний абзац из книги «По дороге к концу», – так и Господь желает покорствовать мне и даже позволить мне сексуально обладать Им.

Наимилейшая, наимибезгрешнейшая тварь, какую я только знаю, кроме слона – Осёл. Если и есть какой-либо образец доброты, преданности и терпеливости, так это именно сие создание. Не случайно по преданию Осел был одним из лишь двух избранных животных, коим было дозволено присутствовать при рождении Господа. Из целого пакета присланных в прошлом году моими сторонниками открыток с изображением осла я хотел бы здесь предьявить две. Только бессердечный человек может дурно интерпретировать мою идею перевоплощения Бога в Осла, и лишь слепой к символике может не узнать в этих двух картинках традиционные изображения соответственно Агнца и Несения Креста.

Когда Господь в Любви своей приносит себя мне в жертву, он совершает это таким образом, который является символом наивысшей, полнейшей и, следовательно, наинежнейшей покорности: Он отдается мне в сексуальном повиновении, избирая при этом такой вид близости, который для меня превышает всех других и превосходит всякое понимание: он позволяет мне обладать им

1 «Безжалостная красавица» (фр.), баллада Джона Китса.



через его Сокровенное Отверстие. Сексуальное сношение Божества с человеком не новость в истории религии. Оно не чуждо даже Христианству: ведь Святая Дева зачала от Бога в лице Святого Духа, который именуют не только «Богом истинным», но также «огнем и любовью». По-моему, нигде не сказано, что сношение не было сексуальным, да и учитывая это определение – «огонь и любовь» – это также неправдоподобно. Без сексуальности, даже в святых плачах Господних, очевидно, не обойтись: хороших яиц без петуха не получишь.

Но даже сексуальное сближение воплощенного в Животное Божества с человеком не есть новость: возьмем хотя бы Зевса, который, обернувшись лебедем, обладает Ледой; похищает Европу в образе быка и, превратившись в орла, уносит прекрасного юношу Ганимеда, – который, кроме обязанности наполнять кубок Зевса, должен был служить ему для иных забав: Божество, Высокочитимая Коллегия, издавна не привередливо, но «ест всё подряд».

Одним словом: сексуальный – гомосексуальный или гетеросексуальный – контакт животного, реинкарнированного Божества, с человеком не является чем-то исключительным, и мой Осел в таком случае, можно так выразиться, есть крепкий, довоенный Осел.

Впрочем, поклонники «Бога Нидерландов» тут ходили по краю. Ибо вообразите себе, что в моей книге Бог позволяет мне обладать им через Его Сокровенное Отверстие, не в облике «годовалого, мышино-серого Осла», но в облике 33-летнего Молодого Человека с изъязвленным лбом, пробитыми ладонями и ступнями и раной в боку.

Вышесказанным я, весьма в общих чертах и пока что не вдаваясь в детали, хотел предоставить вам лишь фундаментальный взгляд на необходимость, из которой, основываясь на моем понятии Божественного, в моей работе зарождались различные представления о Боге, и я не имел иной цели, нежели продемонстрировать вам, что оба текста являются не интеллектуализированными шуточками, но передают очень прочный, проникший в глубочайшие пласты моей души смысл. Сей взгляд, который я полагаю существенным для любого понятия в этом деле, не содержит ни одного оценочного суждения и едва ли, хотя бы формально, касается вопроса о наказуемости высказываний. Теперь я хочу рассмотреть, как далеко я продвинулся в битве с законом.

Перед тем как решиться подвергнуть вашему суждению следующее, я очень долго размышлял: имеет ли смысл рассматривать вопрос о достоинствах или недостатках, о за и против, об обоснованности или необоснованности закона в выступлении, предназначенном для Коллегии, которая неправомочна вынести самостоятельное суждение по упомянутому вопросу, ибо в соответствии с действующим законодательством не имеет права на судебный контроль? И если я по зрелом размышлении пришел к заключению, что выносить на обсуждение право на существование данной статьи закона всё-таки имеет серьезный смысл, тогда это поистине не оттого, что я собираюсь выступить перед прессой и общественностью с тирадой, принять которую будет не в вашей власти, которую вы не сможете включить в ваше судебное решение, короче, к

которой вы, в сущности, должны оставаться глухи, но оттого что я убежден, что вы действительно обладаете правом на упомянутый судебный контроль.

Правда ли, что нидерландский судья совершенно задушен этим судебным контролем? Разве скорее не так, что право, в котором судье де юре отказано, де факто строго им осуществляется и должно осуществляться? Ибо разве не всякое, в сущности, судебное решение важно для того, чтобы его можно было поддерживать, отменять, изменять или более не применять к какому-либо закону юриспруденцией, которая его же и создала? Как бы тщательно ни соблюдалось разделение между законодательной, исполнительной и судебной властями, правосудие – и не только что касается решений Верховного суда – де факто и пассивно, есть законодательная работа. Посему да будет мне дозволено часть – впрочем, ограниченную – моей защиты посвятить рассмотрению этой судебной статьи 147 параграф А: кусочек принятого второпях законодательства, датирующегося периодом глубокого национального упадка; законодательство это находится в абсолютном противоречии с нашими традиционными принципами свободы выражения мнений в целом и свободы вероисповедания в частности.

Что такое свобода вероисповедания? Во-первых: право иметь религию и открыто и беспрепятственно ее исповедовать; во-вторых: право не исповедовать никакой религии, – право, которого в нашей стране всё еще некоторым недостает – я назову, однако, лишь весьма ограниченное пренебрежение, скажем, гуманистов к субсидированию работы пастора или священника и другой социальной занятости; и, в-третьих, право оспаривать и осмеивать веру в целом или некую религиозную идею в частности, какой бы она ни была. В задачу современного, плюралистичного, демократического правового государства не входит предоставление особенного покровительства последователям каких-либо религиозных убеждений, в коем оно отказывает приверженцам, например, неких политических убеждений. Интересно было бы узнать, какое всё-таки превосходство, с точки зрения объективного законодателя, имеют одни религиозные чувства над другими. Кратко и веско говоря: этот закон предоставляет верующему гражданину совершенно неконституционную привилегию.

В какой мере может закон в настоящее время фактически ограничить использование подразумеваемой, согласно его описанию, насмешки? Он это, конечно, может, однако нужно действовать проистекающим из формулировки, хотя и весьма непоследовательным и односторонним способом. Описание наказуемого факта придется разложить на три составляющие: высказывание должно быть «унижающим», «богохульственным» и «оскорбительным». Над тем, что такое «унижающий» и «оскорбительный», голову ломать смысла нет: первое – возможно, оттого, что это есть нечто активное и намеренное, – легче констатировать, нежели второе, заметно более пассивное, более туманное и более субъективное, однако и то и другое измеряется более-менее объективными масштабами. Как же, однако, обстоит дело с «богохульством»? Дабы дать ему определение, нужно, прежде всего, знать, что такое Бог,

существует ли он, – а этого, хотя и согласно объективным, контролируемым критериям, не знает никто. Абсурд данной статьи, следовательно, состоит в том, что исходит – разработчик ее в то время выразился еще более категорически – из существования Бога, то есть из богословской аксиомы. И вот теперь многие толкователи, встающие на защиту закона, приводят бесчисленные доказательства того, что цель закона, несомненно, заключается не в том, чтобы защитить Бога от клеветы, но уберечь от попраiania чувства верующих, – но если это правда, какой смысл тогда имеет наличие в законе слова «богохульство»? В таком случае формулировки, например, «воззрения, унижающие и оскорбляющие религиозное чувство» было бы достаточно? Почему в законе упоминается слово *богохульство*? Да потому, Высочтимая Коллегия, что этот закон защищает не религиозные чувства в целом, а всего лишь те, что имеют отношение к более или менее принятому представлению о Боге. Я выразился «более или менее принятому». Потому что именно благодаря универсализации закона путем введения в него слова «богохульство» применение данного закона, удивительное дело, стало ограничиваться охраной лишь тех символов, из которых, согласно некоему *communis opinio*,<sup>1</sup> является очевидным, что они выражают словами понятие *Бог*.

На первый взгляд означенный закон из-за своего благоволения к религиозному гражданину кажется продуктом того, что я некогда назвал «односторонним движением так называемой христианской терпимости», но при тщательном рассмотрении оказывается, что он, кроме того, в области фаворитизма изо всех прочих выделяет определенную группу христиан. Странно, что законодатель желает видеть защищенными все религиозные символы собственного церковного вероисповедования, которое по случайности имеет общее с большинством других христианских церквей – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух – но все другие символы, кроме вышеназванных, христианские или не-христианские, оставляет без протекции.

Можно еще, в пределах необходимости в защите религиозных чувств от оскорбления, поднять дискуссию об обоснованности или необоснованности такого предусматривающего защиту закона, в том случае если этот закон, вместо того, чтобы навязывать всем гражданам существование Бога, будет гласить, например, о «презрительной насмешке по отношению к религиозным символам, представлениям и идеям, считающимися оскорбительными для религиозных чувств». Но на это законодатель предпочел закрыть глаза. А теперь дело обстоит таким образом, что практически все христиане преданы символу Божественного Троиинства, однако два великих символа всемирной христианской религиозной общины – Святое Причастие (буквальная интерпретация которого несколько отошла на задний план, но в котором, тем не менее, согласно официальной точке зрения Р.К. Церкви, выражается *realiter et veriter*<sup>2</sup> Плоть и Кровь Господня), и уже прежде упомянутая мной Фигура Святой Девы

1 *Общественное мнение (лат.)*

2 *Реальнее и достовернее (фр.)*

(которая в католическом учении занимает центральное и даже решающее место, ввиду приписываемой Ей, согласно не оспариваемому Церковью религиозному воззрению, функции Соизбавительницы), – остаются под этим законом лишенными какой бы то ни было защиты. Это моя головная боль: религиозные символы неуязвимы для какой-либо издевки, но я хотел бы тут указать на непоследовательность, согласно которой меня сочтут виновным, если я напишу: «Бог – жуткий мудила» и не сочтут виновным, если я напишу: «Святая Дева – грязная шлюха», в то время как целый пантеон нехристианских символов – Будда, Кришна и другие – в столь же малой степени могут пользоваться какой-либо защитой закона. Повторю: этот закон, который, для начала, оказывает предпочтение благочестивым перед неблагочестивыми, дает в рамках этой дискриминации привилегию еще и собственной церковной группировке законодателя. Я хотел бы задать вопрос этому законодателю, как он в отношении Слова из Священного Писания – «Неодинаковые веса, неодинаковая мера, то и другое – мерзость пред Господом»<sup>1</sup> – смог бы одобрить применение трех мер предпочтительно. Этот закон, мыслимый в теократии – и какой теократии! – является в законодательстве современного, просвещенного, плюралистического правового государства чудовищным и недопустимым.

Теперь, Высокочитимые Господа, вы несомненно скажете сами себе: «Это всё довольно пикантно изложено, но что нам с этого? У нас нет иного выбора, нежели объявить – или же не объявить – закон, как он есть и каким он должен быть, приложимым к вашей писанине». Именно так: закон, как он есть. И закон, как он есть, заключает в себе: закон, как он изложен в Уложении о наказаниях, то есть без моего комментария, – но также и без неполноценной защиты законодателя и его сообщников, которые интерпретируют понятие Богохульство как им вздумается. Тогда, в 1967 г., у вас имелся перед глазами текст закона, и никакой иной текст, выходящий за рамки этого закона, на ваш взгляд, не должен иметь силы. Если этот закон изложен невнятно, то целая книжная полка, набитая комментариями, его не прояснит. Богохульство есть столь же бессмысленное, сомнительное и бессодержательное слово как *ересь*, *раскольничество*, *подрыв веры*, *провокация* или *пособничество международному монополистическому капиталу*. Что является богохульственным могут определить синоды и соборы, но это понятие не для судьи. На мой взгляд – в том случае, если вы в своем решении дадите понять, что не существует никаких пригодных юридических критериев, при помощи которых можно было бы определить, является ли определенное высказывание богохульственным или же не является, и именно при соблюдении максимальной беспристрастности, которая есть основа всякой судебной мудрости – посредством созданной вами судебной практики вы могли бы нанести последний удар закону, который не только мертв, но еще и смердит.

Господин Председатель, Высокочитимые Господа! Сейчас я хотел бы, после каждого высказывания о моем представлении о Боге, лежащем в основе моих

касающихся Бога высказываний, и качества и приложимости причастного закона, связать друг с другом два высказывания и посмотреть, в какой степени может быть приложим закон к моим текстам.

На странице 7, в третьем параграфе своего решения, Суд заявляет, что «вопрос о том, содержится ли, согласно закону, в каком-либо заявлении богохульство, нельзя расценивать по характеру того, кто сделал заявление, но исходя из точки зрения верующего, для которого (в том числе) предназначено высказывание». Данная установка кажется мне, по крайней мере в этой односторонности, совершенно неприемлемой. В этом случае, например, результатом будет только уже неверно понятое некоторыми читателями доказательство вины. К тому же суд не предъявляет к упомянутой «точке зрения» ни единого требования в смысле, например, уровня или благоразумия. Я ни в коем случае не впадаю в другую крайность: разумеется, суд читателей имеет большое значение, что, кстати, не означает – как предполагает суд в следующем параграфе своего решения, где речь идет о «принятом в широких кругах нидерландской общественности образе Божьем» – что с прибавлением их количества возрастает и авторитет их оценки. Каким бы ни было мое представление о Боге, тот факт, что оно, хвала Всевышнему, сильно отличается от «принятого в широких кругах нидерландской общественности» образа Божия, еще не делает его наказуемым. «Широкие круги нидерландской общественности» выступают за повторное введение смертной казни, за телесные наказания, за уничтожение душевнобольных, за цензуру, сожжение книг и преследование гомосексуалистов. Как я уже сказал ранее, задачей властей не является легализация террора черни, но, напротив, ограждение от черни думающих и созидających граждан.

Оценка всякого изложенного на бумаге текста зависит от того, что ты в нем прочтешь, но прежде всего, что ты хочешь в нем прочесть. На этом заседании я хотел бы с помощью простого объяснения внести свой вклад в понимание цитируемого в судебной повестке текста. Тот, кто его поймет, не найдет в нем ничего унижающего, недоброжелательного по отношению к Богу и ничего оскорбительного для религиозных чувств. Тем, кто не отличается остротой ума, возможно, понадобится разъяснение этих текстов, но в защите в строгом смысле слова они нуждаться не будут.

Дабы облегчить ход событий и значительно сэкономить время, я намереваюсь ограничиться разъяснением второй цитаты из повестки, то есть пассажа из «Ближе к Тебе»: ведь оба текста едва ли имеют много общего и, можно сказать, во втором фрагменте я, образно выражаясь, копаю глубже мысль, вынесенную на обсуждение в первом. В том случае если я в отношении второй цитаты иду напрямик, то в отношении первой это также действительно.

Итак, страница 313 из «Ближе к Тебе». Начало фрагмента несложно: герой истории пьян и бредет домой и, будучи исполненный благих намерений, подбадривает себя: «Я должен бороться – я буду сражаться и с Богом, и с людьми, и я смогу победить, я видел это». Древняя библейская картина, немедленно

наводящая на мысль об Иакове, который всю ночь сражается с кем-то, кто в некоторых переводах является ангелом, в других – мужчиной, а в прочих – человеком. Это место в Библии весьма смутно, но одним из допустимых значений должно быть то, что Иаков тут сражается с Богом как имманентным, бессознательным – поскольку выражает ночную сторону души – Существом, которое должно сделаться Рабом Хозяина, дабы в конце концов по-братски благословить Иакова. Вы видите, как мало «опасных новшеств» содержат, невзирая на все усилия, мои идеи.

«Нет, о нет, я не должен терять надежды, что когда-нибудь смогу написать то, что должно быть написано, но в то же время то, что еще никто и никогда не запечатлел на бумаге: снова книга, которая появлением своим сделает излишним существование всех остальных книг, книга, по завершении которой ни одному писателю больше никогда не придется мучиться, потому что всё человечество, да, всё, целиком, несмотря на то, что в данный момент оно еще находится в природных оковах ненависти и страха, всё оно будет освобождено». Последняя часть этой фразы является намеком на текст апостола Павла, где он говорит, что не только человечество, но вся природа в страшных муках ожидает спасения.<sup>1</sup> Я не всегда в восторге от Павла, но эти слова я считаю истинными. Если благодать Господня коснется меня и моих ближних, но не моих домашних животных Кинки и Хрюшки Панды<sup>2</sup>, то я разрешаю Богу попреридержать эту благодать для себя и славно позабавиться. Тут я в некоторой степени отличаюсь от поклонников Бога Нидерландов, как само собой разумеющееся одобряющих то, что одна часть человечества будет спасена, а другая – обречена на вечное проклятие. Что это за люди, спрашивается, и, прежде всего, каковы же их «религиозные чувства»? Я предпочитаю быть проклятым навеки, нежели обрести блаженство, которого будет лишено хоть одно создание, сколь ничтожно бы оно ни было.

Далее текст гласит: «И тогда дети человеческие увидят такой восход солнца, какой еще нигде не был видан, и зазвучит музыка, наплывающая издалека, музыка, которой я никогда еще не слышал, но все же знакомая». В этом отрывке отчетливо видно, что речь идет о целостном, не в физическом настоящем, но в бесконечности времени исполняющемся, эсхатологическом видении. Никогда прежде не виданный восход солнца указывает на наступление Конца Времен, Судного Дня, *parousia*<sup>3</sup>, который сделался не только видим, но и слышен в недоступной смертным музыке сфер, о чем уже было сказано прежде, например, на странице 240, строка 8 сверху в «Ближе к Тебе». Теперь Господь появляется сам и символизирует Спасение человечества и природы, дабы, облечшись в плоть и приняв облик наисвятейшего и наимилейшего из всех тва-

1 Ср.: К Римлянам, 8: 21-22.

2 Кошки Реве.

3 *Parousia* (Парусия, греч. παρούσα) — понятие христианского богословия, изначально обозначавшее как незримое присутствие Иисуса Христа в мире с момента Его явления, так и пришествие Его в мир в конце света.

рей Животного и, так сказать, во главе процессии промаршировать к моему дому во Фрисландии, позвонить в дверь и сообщить мне: «Герард, слушай, вот в этой твоей книге – знаешь, в некоторых местах Я просто не мог удержаться от слез». Господь не хочет отказывать мне в Спасении, которое в данный момент является фактом, ибо некоторые написанные мною строки могли снизить благосклонность в Его глазах. Это нельзя не отпраздновать, и Господь и я соединяемся сексуально, трижды подряд, разумеется – божественное и священное число – причем я обладаю им через его Сокровенное Отверстие, и на прощание преподношу ему подарочный экземпляр моей книги с посвящением. Сокоупление упомянуто, но не описано, и выбор слов также остается в высшей степени сдержанным и возвышенным: ни намек на брань.

Надеюсь, что вы, Высокочитимая Коллегия, воздержитесь в вашем решении от упоминания глупого слова, которое столь же бессмысленно, как и, например, слово *реакционер*, а именно слова *противоестественный*, фигурирующего в судебном решении на странице 7, последняя строка параграфа 4. Анальное сексуальное сношение является гораздо более обычной вещью, чем о ней думают, и практикуется, – я говорю о том, что сам испытал и о чем слышал – примерно в равной степени как в гетеро-, так и в гомосексуальных связях. Если, как это часто бывает, для одобрения или порицания сексуального сношения желают принять в расчет критерий биологической фертильности, тогда практически всякий половой акт является противоестественным.

Суммируя сказанное, делаю вывод: три мифических первосуты, а именно: спасение смертного, перевоплощение Бога в животное и сокоупление Бога с человеком здесь сплетены в одно сказочное представление, полное той иррациональной странности, что присуща сказкам.

Я убежден в том, что проблему отчасти можно объяснить не только расхождением во взглядах на понятие о Боге с моими противниками, но и тем фактом, что некоторые люди не понимают того, что религиозный текст может выдержать любую интерпретацию, кроме буквальной. Да будет мне дозволено сказать, как я истолковываю этот текст.

Я нередко погружаюсь в уныние, сомневаясь в ценности и смысле моей работы, но о десятке-другом строк осмеливаюсь порой думать, что, когда я их писал, Святой Дух направлял мою руку, как на первых уроках чистописания учитель направляет руку ребенка. К ним относятся, например, заключительные строки «Письма, Размытого Слезами», т.е. соответственно страницы 250, 351, 353 и 348 из «Ближе к Тебе»; некоторые стихи, как то: «Да здравствуют наши моряки», «Благодарственный псалом Агнцу Божьему» и «Признание», и еще этот, только что рассмотренный фрагмент. Что в точности значат для меня эти тексты, я не знаю, но знаю, что означают многое, а именно: всё. Я полагаю, что те, кто желает буквально истолковывать вменяемые мне в вину тексты, имеют на то полное право, но в таком случае их суждение будет иметь не большую силу, чем суждение тех, кто – согласно свидетельствам представителей предшествующих моему времени поколений – толпились у театра в ожида-

нии мошеника из пьесы, чтобы хорошенько его вздуть. Возможно, и впрямь слова Генриха Гейне о Нидерландах имеют оптимистическую сторону: теперь, после сорока лет ожесточенной борьбы, открылось, что Змей, возможно, не говорил буквально, но несравненный профессор Линдебом на полном серьезе именуется меня зоофилом и некрофилом, вожделем к ослам и трупам! Я истолковываю свой текст серьезно, как интенсивное, страстное выражение моего желания Бога, но ни в коем случае не буквально. Кстати, я ничего не знаю о какой-либо благодати. Я не знаю, почему Господь взвалил на мои плечи эту жизнь, которая, собственно говоря, слишком тяжела для меня и которую я, будучи человеком более-менее нормального формата, должен влачить среди людей «в половину полного размера»: это крайне сомнительная привилегия – вылупиться из лебединого яйца. (Отсылка к сказке Андерсена). Но если есть мне на то воля Божья – всю жизнь терзаться страхом Смерти и сомневаться в Нем, – что ж, хорошо, ибо это есть Его воля. Я не могу поверить в то, что мне при жизни или после смерти будет дано увидеть Господа «лицом к лицу»; но, может быть, он не приговорит меня к вечному невежеству в отношении Него, а позволит вечно стремиться навстречу Ему. К представлению о Боге и к стремлению к Богу эти тексты имеют самое прямое отношение; к конкретному, нотариально заверенному ожиданию вечного блаженства – никакого. Теперь я хочу положить статью закона рядом с инкриминированным мне отрывком текста. Кошунственный характер высказывания нигде не проявляется, или, выражаясь сильнее: очевидно, что он полностью отсутствует. Мне кажется разумным, что вы, Высокопочтимая Комиссия, в вашем решении не перенимаете безразличную нерешительность Суда, но в качестве первого аргумента приводите очевидное отсутствие оскорбления, что не может повлечь за собой иного результата, кроме освобождения меня от судебного преследования.

Что касается второго элемента закона – богохульства – хотя я страстно надеюсь, что это понятие будет вами дисквалифицировано как юридически неприложимое, – я должен принять во внимание возможность того, что мою точку зрения Вы можете не разделять, или же принимать ее лишь частично. На этот случай я излагаю соответственный взгляд: понятие богохульства является юридически бессмысленным; с точки зрения филологической ему, разумеется, можно дать определение: «Богохульственный или богохульство есть высказывание или изображение, которое злонамеренно содержит непочтительное представление о Боге». Впрочем, вы немедленно заметите, каким сомнительным, исходя из демократической точки зрения, является преследование: можно на полном праве задать себе вопрос, на каком основании возможно в нетеократическом, открытом обществе запретить гражданину высказываться и публиковать высказывания, представляющие Бога с невыгодной стороны? Но этот вопрос я снова немедленно отложу в сторону. Предположим, что вы примете мое определение; будет ли в таком случае мои высказывания обладать описанными в нем свойствами? Не думаю; не будут, даже если истолковывать текст буквально. И я хочу, при необходимости, даже в отношении буквальной интерпретации



потягаться с моими противниками, будучи в полной уверенности, что мой текст сможет выдержать даже их нападки. Является ли мое воззрение, истолкованное буквально, злоумышленным? Совершает ли Бог, или я, или оба мы в этом представлении наказуемые или заслуживающие порицания действия? Я так не думаю. Когда сексуальная близость человека с животным считается предосудительной, нужно задать себе вопрос: действительно ли является Осел животным в обычном смысле этого слова? Это Осел, который, в противоположность ослам-застрельщикам данного дела, умеет читать. Этот Осел поистине Бог в обличье Осла, примерно так, как в Святом причастии Бог – это *Хлеб и Вино*. Половой акт сам по себе ни наказуем, ни порицаем, и это имеет одинаковую силу, по крайней мере в общем, как для гетеро-, так и для гомосексуальности. Ослиный облик не более чем оболочка, маскировка: я ложусь в постель не с животным, но с Богом в облике животного. И что можно возразить против сексуального сношения с Господом? Если Господь в Празднике Святого причастия предлагает мне отведать от плоти Его, неужели Он откажет мне от Своей плоти в сексуальном сношении? Это мне кажется неприемлемой в своей односторонности установкой. Является ли это деяние из-за своего гомосексуального характера наказуемым? И опять-таки нет, поскольку акт близости свершается в закрытом помещении, и никто не является невольным свидетелем. Что касается ограничений, налагаемых законом на гомосексуальный половой акт, в данном случае они столь же не имеют силы ввиду того, что – давайте уж с этим согласимся – Господь, как и я, является совершеннолетним. Подводя итог: никакой речи об умышленном злостном искажении представления о Боге в моем тексте быть не может.

А теперь последний элемент статьи закона, – оскорбление. Для начала я вновь хотел бы рассмотреть уже многократно высказанное утверждение, постепенно обретающее силу легенды у определенной части прессы – утверждение, которое столь же мало фигурирует в обвинении, как и утверждение, касающееся так называемой площадной ругани, но которое, тем не менее, играет роль в этом деле. Я имею в виду утверждение о том, что мои высказывания для подавляющего большинства верующих христиан, и в любом случае для подавляющего большинства, скажем, протестантов, (как свидетельствует в своей книжке профессор Линдебом), должны быть оскорбительными для религиозных чувств. Осмелюсь в этом усомниться. Если бы это было так, я не стал бы в ожидании судебного преследования со всей вытекающей из него гласностью заниматься чтением лекций для таких реформаторских оплотов, как «Ассоциация студенток Свободного Университета» или для студентов из поистине львиного логова – Богословского колледжа в Кампене. Если бы данное утверждение было правдой, не стала бы последняя скала в этом море греха, реформаторская газета «Тrouw», защищать меня в большой статье устами известного кальвинистского богослова?

С римско-католической стороны я также никогда не слышал никаких нареканий, кроме того случая, когда, по причине более-менее тактического оппортунизма, шайка паникующих, «антисионистски» настроенных гомосексу-

алов силой вытянула из отца Готтшалка<sup>1</sup> подпись под печально знаменитым письмом, которое, по несчастливой случайности, было опубликовано в газете «Диалог».

Я бы хотел привести пассаж о католических христианах из заявления, сделанного мною публично более года тому назад. «В течение всех этих лет (...), что я возвращаюсь в католической среде, к моим представлениям о Боге и к изложению их в моей литературной работе было проявлено большое уважение, и то, что я связываю понятие гомосексуального желания с религиозной мистикой, рассматривалось как самая обычная вещь на свете. Я читал из «Ближе к Тебе» в монастырях, католических культурно-просветительных учреждениях и на семинарах – в том числе и «Письмо из Дома под названием Трава», включая спорный ослиный пассаж, и никогда не слышал ни единой жалобы или упрека. И в течение этих шести-семи лет ни от единого католика – будь то священник или мирянин – не слышал я никаких неприятных, исполненных отвращения, высокомерия или непочтительности замечаний в отношении моих нравственных воззрений или моей жизни с партнером; ни к моему другу, ни ко мне никогда не проявлялось иного отношения кроме уважения, на которое мы имеем полное право». И это заявление я закончил следующим образом: «Римско-Католическая Церковь приняла меня таким, каков я есть – писателем и гомосексуалистом; и это не из так называемой «толерантности», «понимания», «христианского милосердия» и прочих тому подобных сомнительных соображений, но от чистого сердца, и на основании наипристойнейших мыслимых мотивов: внимание и любовь».

Высокочитимая Коллегия! Я не испытываю ни малейшей потребности укрываться за спиной Р.-К. Церкви, поскольку вполне способен сам встать на свою защиту. Глупая инсинуация, что мое вступление в эту Церковь имеет некое отношение к рассматриваемому делу – как утверждает профессор Линдебомом и некоторыми благожелательными собратьями по перу, – обо мне не сообщает ничего, но срывает маски с личностей обвинителей. Сообщение о Римско-Католической Церкви я вынес на публику лишь затем, чтобы показать, что в большой группе христиан для моих религиозных воззрений и моего искусства отведено достойное место. Из этого естественным, так сказать, путем последовало мое присоединение к церкви что, надо полагать, проистекало из моей страстной жажды пространства, тишины, глубины, красоты и таинства, которые она мне (хотя и с нагрузкой в виде дурновкусия, глупости и порочности) все еще предлагает в мире без пространства и без тишины, где всё сделалось мелким и уродливым, и где не признают Таинства. Вопрос предпочтения, и могу себе представить, что кому-то другому на это плевать.

Я, разумеется, признаю, что велико количество людей, придерживающихся отличных от моих воззрений взглядов, но сколько из них будут уязвлены моими высказываниями, покрыто мраком. Сам я не верю, что таких много,

*1 Pater dr. J. B. F. Gottschalk (1926–1997) – нидерландский священник, в 60-х гг. занимался проблемой верующих-гомосексуалов. В этом письме Готтшалк и реформированный священник Брюусард высказали разочарование по поводу ослиного эпизода.*

но так же, как я отверг большое количество аргументов, которые могут быть использованы против меня, я отвергну небольшое количество аргументов в мою защиту. Даже если бы нашелся один человек – его жалоба должна быть рассмотрена и взвешена.

Сейчас, однако, об их количестве нам ничего не известно – никогда ни одного из этих людей не вызывали в качестве свидетеля, что было бы справедливо, хотя речь тут идет не о нарушении, рассматриваемом по жалобе потерпевшего – я хотел бы углубиться в качества тех немногих, которые на самом деле дали о себе знать.

С того времени, как данное дело получило огласку, мне – буря уже заметно поутихла – примерно раз в неделю присылают бранное, а раз в месяц – угрожающее письмо. Все они отправляются в корзину, но кое-что об их содержании в целом я могу для Вас извлечь из памяти. Почти всегда они содержат, кроме там и сям втиснутых цитат из Библии, излагаемые в самых грубых и грязных выражениях обвинения в том, что я – богохульник и слуга Сатаны, а также потоки ругани о моей личной жизни и моих нравственных воззрениях. Вместе с тем они по большей части исполнены антикатолической брани и, кроме того, примерно половина писем содержит, что характерно, выражения грубейшего антисемитизма. И если эти письма о моем так называемом богохульстве касательно выбора объектов ненависти были написаны в разнообразнейших вариациях, они имели одно общее свойство: все они были анонимными.

Инженер Ван Дис<sup>1</sup> отличается от всех вышеупомянутых авторов писем только тем, что не остался анонимом. Какая же слепая ненависть и одержимость должны были владеть человеком, чтобы заявить о другом человеке, с которым он не знаком и чьих работ, надо полагать, ни разу не читал, что дьявол в аду заставит того жевать собственный язык! По всей видимости, он хорошо осведомлен о ходе дела. Какая наглость и высокомерие нужны для того, чтобы осмелиться заявить, что все гомосексуалисты должны быть прокляты навеки! Не знаю, обладает ли этот человек чувствами, которые можно расстроить, но, возможно, D.V.<sup>2</sup>, будучи осужден за нанесенное группе людей оскорбление, он расстроится за свой бумажник.

Если мне будет позволено еще раз вернуться к бессмертной книжке профессора Линдебоба «Бог и Осел», то это не для того, чтобы привлечь внимание к потоку исполненных бессмысленной ярости бранных слов в мой адрес – «печально известный гомосексуалист» или «чемпион-мужеловец», которые в избитых фразах характеризуют пошлость, спесь, сальность и глупость всего сочинения, но для того, чтобы указать вам на то, что, по моему мнению, имеет важное значение: я полагаю ни в коей мере не случайным – а скорее весьма знаменательным – то, что автор, мечущий в меня громаы и молнии из-за вменяемого мне в вину буквально истолкованного анального сношения с Божеством, является не богословом, но *терапевтом*.

1 *Cornelis Nicolas (Cor) Van Dis (1893–1973) – нидерландский ученый-химик и политик.*

2 *Deo Volente (лат.) – С Божьей помощью.*

(Бог должен существовать, Высокочитимая Коллегия, ибо самостоятельно до такого додуматься невозможно).

В какой степени я должен стараться избегать возможного оскорбления религиозных чувств вышеупомянутых людей? Прежде всего, следующее: я считаю, что художник имеет такие же права и обязанности, что и любой другой, и он в социальном общении должен поступать столь же честно, как подобает любому гражданину. То, что истинная свобода ограничена, а в безграничной свободе одного индивидуума заключается несвобода другого, есть банальность. Я слышал от многих еще живущих и уже почивших людей о разнообразных вещах, которые должны формировать основу для ясных, отчетливых текстов; и всё же я никогда не доверю их бумаге, ибо подобные вещи будут противоречить чести и приличиям.

Таким образом, любой писатель должен возлагать на себя ограничения, но два из них я отмечаю: во-первых, я отказываюсь и всегда буду отказываться пригонять мои тексты в соответствие с интеллектуальными способностями не слишком умственно развитых людей. Это есть вопрос не принципа, но мастерства: моей целью является зрелая литература, а не продукт «социалистического реализма». Во-вторых, я отказываюсь – но это вопрос не мастерства, но определенно принципа – при написании моих текстов принимать в расчет озлобленных умников.

Теперь перехожу к заключительному выводу. Во-первых, я полагаю, что отсутствие какого-либо «уничужения» вне всякого сомнения доказано; во-вторых, я полагаю понятие «богохульство» юридически неприемлемым: когда принятие решения является невозможным, обвиняемый должен рассматриваться как невиновный; в том случае если вы не разделяете моего мнения, я полагаю, должна вступить в силу заменяющая его точка зрения, что Богохульство заключает в себе умышленно злостное изображение Бога, которое здесь, невзирая на некоторую незаурядность представления, определенно нигде не присутствует; и, в-третьих, что касается «оскорбления», я с трудом могу поверить в святость и уязвимость чувств людоедов, принимая во внимание всю грязь и не имеющую отношения к делу клевету, которую они на меня вылили.

Мне нужно уже прийти к выводу об оправдательном приговоре в отношении уничтожения и богохульства, но что касается оскорбления: доказательств этому нет, однако и отсутствие его не может быть доказано; возможно, стоит придерживаться в этом случае следующей установки: живи и дай жить другим. Под этим я подразумеваю: оставьте, пожалуйста, этим людям их обиды, ибо, если их лишить обид, у них ничего не останется, и от них самих не останется ничего.

Сим я завершаю свою защитительную речь. Возможно, это первый случай в судопроизводстве Нидерландов, когда обвиняемый предъявляет какие-то требования, но мне дозволено. В данном деле я мало чем рискую: небольшие неудобства, некоторые хлопоты, волнения и шанс на чисто символический де-

нежный штраф (тюремное заключение было бы, конечно, роскошью, но мне это никоим образом не угрожает), который, предположительно, может быть вычтен налоговой инспекцией из государственной казны как расходы, необходимые для получения основного дохода: вот и весь мой риск. Данное дело, однако, каким бы незначительным и мелким, – скорее даже смехотворным – оно ни выглядело, имеет принципиальную важность для будущих традиционных гражданских свобод. И посему я, будучи гражданином правового государства, коим всё еще является эта страна, полагаю возможным требовать, чтобы вы вынесли решение, которое, чем бы оно ни обернулось для меня лично, посредством формулирующей его юриспруденции будет способствовать тому, чтобы этот закон, находящийся в противоречии с принципами современного правового государства и льющий воду на мельницу врагов свободы, попал в то самое место, где ему и надлежит быть: в мусорную корзину.

Святой дух, не повинующийся воле человеческой, но витающий по собственной воле, да пребудет с вами в момент вынесения вами решения. Благодарю вас.



## ИСКУССТВО<sup>1</sup>

*Четырнадцать офортов Франса Лодевейка Паннекука:  
разъяснение для рабочих*

6 февраля сего года от рождества Сына Божия, после полудня, заглянув ко мне, чтобы занести шесть перьев от своего забитого гуся, Булли ван дер К.<sup>2</sup> из соседнего П<sup>3</sup>. застал меня в кухне, где я, извлекиши из местной рекламной газеты только что купленную селедку и склонившись над кухонным столом, в глухой ярости читал пропитанную жиром «бедняцкой семги» рубрику «разное», которая извещала нас о том, что число «три» нередко рассматривается как священное; что древние египтяне знали лакрицу еще до того, как начали пользоваться ножом и вилкой или расчесывать волосы; что вся обувь, которую человечество

1 Пояснение переводчика:

«Четырнадцать Офортов», опубликованные в ноябре 1967 г., представляют собой совместное творчество Герарда Корнелиса ван хет Реве (текст) и Франса Лодевейка Паннекука (иллюстрации). Книга была задумана Реве, в то время уже знаменитым писателем, чтобы привлечь внимание к работам еще неизвестного Паннекука. Цели своей он добился: поднявшаяся вокруг Паннекука шумиха даже напугала того настолько, что он стал избегать гласности, и жадная до сенсаций пресса выдвинула предположение, что Паннекук – это затаянная Реве мистификация. Реве только подливал масло в огонь, пылко вмешиваясь в дебаты. Лишь в феврале 1968 г., наконец, стало доподлинно установлено, что Паннекук действительно существует, и волей-неволей ему пришлось принять статус «Знаменитого Нидерландца».

2 *Bullie van der Knaak* – псевдоним Паннекука.

3 *Деревня Pingjum* (Пенхейм) во Фрисландии.

изнашивает за год, будучи выстроена в цепь, при хорошей погоде может в 6½ раз покрыть расстояние до Луны; и что среднестатистический голландец потребляет чуть больше двух литров вина в год.

– Как тебе нравится, Бул: целых два литра в год.

– И куда, спрашивается, оно уходит?

Мы прошли в гостиную и, усевшись, стали смотреть вдаль, на видневшуюся за кладбищем пустошь. Уже несколько дней подряд мне являлись различные замечательные мысли о Боге и Смерти, но всё, что я мог из них выжать – это половину или ¾ фразы; само по себе неплохо, но не пригодно для создания «песни вечной». Существование – это распад.

Я осмотрел гусиные перья, очинил опасной бритвой одно из них и проверил его в качестве самописки. Перо писало четко и ровно.

– Возможно, создание скромного запаса перьев было бы в высшей степени целесообразно, Бул. Как знать.

Имевшееся в моем распоряжении количество вставочек недавно возросло с 1296 до 9648 штук, благодаря подарку супруги директора X-ской школы провинции Л., так что я, ежедневно сменяя перо, смог бы писать еще примерно 32¾ года, а используя две ручки в неделю – целых 92¾, но мне нужно было принимать в расчет такие вещи, как, например, ржавление или усталость металла, которые постепенно свели бы в могилу весь легион моих остроконечных соратников. Как знать, может быть, к тому времени уже нигде не останется перьевых ручек, а, если разразится катастрофа и все гуси перемрут от, скажем, птичьей чумы или попугайной болезни, останусь я что рак на мели.

– Сколько перьев мне припасти, Бул?

Тысячу штук он нашел вполне достаточным.

– Учти только, что перо ты можешь затачивать не более шести раз.

Я увеличил рекомендованное количество до 1200 штук, сделал для себя пометку и откупорил первую бутылку вина.

– Умеренное потребление благоприятно во всех отношениях, – сонливо проговорил Бул. – Даст Бог, завтра не будет опять башка раскаливаться.

– Это от тебя зависли я, – с упреком заметил я. – От вина никогда вреда не бывает. Я об этом даже писал.

– Ну-ка, ну-ка, интересно.

В папке с ненужными бумагами я отыскал листок, на котором, между пометками «*Бесплатные очки для слепых и украшенные искусственными перьями головные уборы*», «*Опасаться сентиментальности, записывать только Правдивое, чтобы сделать из этого хороший стих*», и «*Не зевай давай / свой член развивай*» под заголовком ПОСЛЕ МОЕЙ ПЯТОЙ БЕЛОЙ ГОРЯЧКИ, ИЛИ IN VINO VERITAS были запечатлены несколько дионисийских строф, которые я прочитал Булу: *Я отрекаюсь от всего, кроме Крови Твоей. / Отрину ли я Кровь Господню? / Отвергну ли я, во злобе, Лучезарной Девы сосок? / я опущу Тебя слишком, о Вечный, чтобы когда-либо не принять Крови Твоей. Я опустился на колени и подъятым стаканом начертил в воздухе крест: «В память Твою».*

Мы пили с лицемерной непривычностью вышколенных выпивох.

– Моя работа под завязку набита чувствами, – пояснял я. – Глубоких переживаний исполнена, что называется, – так сразу слова и не подберешь. Вот почему мои тексты столь часто бывают истолкованы превратно.

– Творческий художник, – согласился Бул. – А ты знаешь, что Х. давеча мне жаловался, что ты постоянно пишешь о прошлом?

– И что ты ответил, Бул?

– Я сказал: а о чем ему еще писать – о будущем?

Вот так: люди вечно хотят чего-то другого. Только-только выйдет твоя книга, и тут же они с вопросом, когда появится что-нибудь новенькое, у них нет сил дожидаться следующей книги (и еще меньше будет желания ее купить). И что бы ты ни писал – книгу, картину – всё равно без толку: либо сам себя, что называется, перепеваешь, либо к обоям по цвету не подходит.

– Ну что делать, если я не занимаюсь прикладным искусством? – рассвирепел Булли. – Я не пишу людей с грибом для штопки вместо головы или с трехпальными руками.

Что меня всегда удивляло в искусстве, на которое намекал Булли, это действительно в высшей степени невероятный характер самых обычных предметов: панцирная рыба, разрезанная картонным реквизиторским ножом на раздую от слоновой болезнй женской руке; столовые тарелки в форме пельниц; непременная – и всегда съезженная до размера укулеле – гитара на стуле; винная бутылка, замаскированная под чернильницу или выкопанную из земли урну; и, разумеется, могильный холм из пемзы, изображающий хлеб, какого не сыщешь ни в одной булочной.

– Безглазый ребенок с собачкой на руках, которая, может быть, вообще кошка, – глухо пробормотал Бул.

Мне вдруг вновь припомнились самодельные открытки, которые иногда присылает художественный народец, – на них, разумеется, ни за что не будет написано «Счастливого Рождества», но будет изображен тот или иной предмет, который может оказаться рыбой или оленем, пока ты, – как остроумно заметил по этому поводу гуру Петер Б.<sup>1</sup>, – «не разглядишь, что это задница».

– Апофеоз материального в новую эпоху, – высказался я. – В наши дни то и дело на это натыкаешься.

Я поведал ему о том, как всего пару недель назад ко мне явился невероятного волосатый, невзирая на опущенную плешь, молодежный работник или же руководитель культпросвета, который, подвыпив, ни с того ни с сего пустился читать бесконечную самодельную поэму, начало которой звучало примерно так: *Лакричные конфеты / жареный картофель / селедка копченая / селедка маринованная / мясные тефтели / копченый угорь / мясо / можжевельника, а заканчивалась следующим: Кошки / Собаки / Взморье / Вересковая пустошь / Лес.*

– И что он хотел? – спросил Бул.

1 Peter Brinkman, приятель Реве.

– Да мы с ним чуть не разругались, – сообщил я. – Не было жизненных условий для спонтанного выражения направленных на внешнее окружение игровых элементов, так мне думается. – Я попытался изобразить встревоженный голос поэта: «Герард, ну совершенно никакого пространства для такого вот творчества, потому что этого нельзя, нигде нельзя!»

– Да ладно, – сказал Бул. – Искусство – это уже достаточно ужасно.

Открывая вторую бутылку, я внезапно припомнил визит одной артистической бабы, явившейся ко мне с каким-то актером или фотографом; она писала на картоне, «продается великолепно, но мне это до лампочки», – помню, косясь из кухонного окна на дом и двор наших соседей, она спросила: «А там тоже гомики живут?»

«Тебе бы горящую кукольную коляску в пизду вкатить», – подумал я тогда, но бог знает по каким причинам смалодушничал и промолчал.

– Представь себе, – вдруг начал Булли. – Всего пару месяцев назад, Господи помилуй, ты бы разве, черт возьми, их всех бошками не столкнул? Я же ничего не просил, я ни о чем таком вообще не заикался? – Его добродушное рыло стало чуть темнее цветом, а правый глаз наполовину прикрылся.

– А в чем дело, Бул?

– А, да ты их не знаешь. Денег куры не клюют. Она – наследница \*\*\*-фабрик – всей хренотени или половины, какая разница: сам знаешь, такие типы никогда точно не знают, сколько у них чего.

У них, рассказывал Бул, имеется загородный дом на Корсике. Или на Сардинии, или на Сицилии, или еще где-то там, вилла за пару тысяч гульденов в Хет Гоои;<sup>1</sup> к тому же полгода-год назад они купили в Ахтерхуке<sup>2</sup> замок XIV века, со стенами толщиной в 60 см, и уже с год реставрируют его и обустраивают.

«К Рождеству, когда покончим с работами, я у тебя картиночку куплю», – сказала она ему. Ну и поехал Булли к означенному времени в своей коробочке на эту виллу в Гоои, уложив в багажник несколько масляных полотен, но до сделки дело не дошло. Три сотни гульденов за холст ей показалось чересчур, и она поинтересовалась, «нельзя ли по дружбе сбавить цену».

Ярость Була стала понемногу передаваться и мне.

– Миллионерша, парень, или почти что, – продолжал он. – У самой эти \*\*\* – Булли опять упомянул название крупной Северонидерландской индустрии – а ей хоть бы хны. Совершенно.

– И что ты сказал, Бул?

– А я помню? Да, кажется, сказал, что я этим на жизнь зарабатываю. Но какая разница, что сказал, что не сказал. Стоишь как обосранный, и всё. О да, замок с толстыми стенами был еще не готов, так что при ближайшем рассмотрении ей покамест было не до картинок. Ты что-нибудь понимаешь?

Нет, я знал, как обстояли дела, но понять этого не мог.

Позже Булу стало известно, что г-жа \*\*\* направо и налево изъясляла мне-

1 Gooi, область на юго-востоке провинции Северная Голландия, район богатых вилл.

2 Achterhoek, регион в нидерландской провинции Гелдерланд близ немецкой границы.



ние, что замечание Булли о том, что он живет с продажи своих картин, показало ей «исключительной пошлостью».

Во время своего рассказа Булли встал, но теперь вновь расслабился и сел на место.

– Ах, этот ее сын, с которым я учился в лицее, был в сущности преславный малый. И они всегда очень тепло ко мне относились. Ну что тут поделаешь?

Нет, ничего тут поделать было нельзя.

– А сколько тебе тогда было? Я имею в виду, когда ты с ее сыном в школу ходил? Жаль, что я тогда тебя не знал.

Обычно, когда я хотел расспросить Булли о прошлом или мечтательно послушать рассказы, еще более исполненные восхитительной грусти, чем мои, он по обыкновению по большей части увивал от моих вопросов или давал мне поверхностный, скрывающий слишком горькие подробности ответ, но в этот раз он поведал мне кое-что.

– Школа эта была, естественно, никакая, ты понимаешь. – Картина была мне знакома. – Сплошное свинство, изгадить всё что можно, сам знаешь. Вроде бы мне там устроили проверку, ну, что-то типа того. И что оказалось? Что я дико интересуюсь природой, растениями и тому подобное, всем, что живет и растет. Вот так вот.

На основании результатов этой экспертизы Була перевели в вечернюю школу садоводства в Боскопе,<sup>1</sup> где он столовался у розовода и спал в каморке под крышей, обклеенной реформаторскими обоями и с непременным умывальным кувшином на расписанном под мрамор столике. Во время бодрствования каждые полтора часа вслух читали Библию. Бул должен был с 7 утра 6 часов обрезать розы, после чего, пообедав, отправлялся в вечернюю школу. Получал он в неделю полтора гульдена или что-то около того. «Шуточки быстро кончились, Растяпа, ты понимаешь». Он мог бы в виде альтернативы поступить в художественную академию в Роттердаме, но его отец, который к тому времени получил в этом городе место, счел это малопримлемым. «Он не хотел держать меня слишком близко к дому. Ну да, поспоришь с ним».

У садовода Бул продержался месяцев восемь. А потом просто не вернулся из Гааги, где был на вечеринке у приятеля. «Садовод, разумеется, тут же позвонил отцу узнать, где я ошиваюсь. Ну где, где, в Гааге, разумеется, только об этом никто не знал. Охохо».

Пересидев денек-другой у дружка в Гааге, он мог бы еще пару недель скрываться у другого дружка в Роттердаме, в нескольких шагах от отцовского дома, но тут его отыскали.

Пока я слушал, уставившись в землю, мною стало овладевать невероятно сильное ощущение одиночества. «Я тогда поступил в автошколу в Утрехте. Сначала всё шло гладко, недели две, но потом я по большей части целыми днями сидел в парке. И я покупал всё на имя отца – книги, авторучки, всякое такое – а потом перепродавал по дешевке моим проворным одноклассникам: таким

1 *Boskoop* – город и провинция в Южной Голландии.

образом деньгу зашибал. Отец однажды пожаловался, что «его сын учится в дорогой школе». Да, ему это влетело в копеечку: несколько тысяч, должно быть».

После этого у Була на полном серьезе началась скитальческая жизнь: время от времени самостоятельная торговля автомобилями; работал водителем, «забиравшим» чужие машины или переправлявшим значительные партии товаров из-за границы; жил среди скупщиков краденого, психов в отпуске, взломщиков на пенсии или предпенсионеров, запойных гениев и сутенеров. «Подонки общества, типчики, прикинь».

Вот как. Я опять сдуру ему позавидовал. Чувствуя, как вздымается от нежности мой Жезл, я представил Були затравленным, окоченевшим, голодным и гораздо более молодым, чем сейчас, с взлохмаченными ветром волосами, падающими на его злое юношеское лицо, сидящим за рулем ревущего грузовика, в распахнутой кожаной куртке и распоротых над коленом джинсах, и вообразил, как, припав к его груди, согревал бы его своим телом, а он, устремив взгляд на дорогу, улыбался добродушно, но чуть насмешливо. И теперь я задумался – сначала в смутной мечтательности, но затем с возрастающей злостью – о собственной потерянной юности, которая никогда не протекала «среди подонков общества» и в которой я никогда не скитался, потому что для этого был чересчур бздун. В этих годах, вместе взятых, печального было больше чем достаточно, но никогда моя жизнь не выходила за рамки честной бедности.

Я потянулся за новой бутылкой и передал её Були вместе со штопором. «Масло для китайских фонариков».<sup>1</sup> Засевшая намертво пробка сломалась. Були протолкнул ее авторучкой в горлышко бутылки, и в глаз ему брызнул мощный фонтан.

– Ч-черт!

– Прейскурант моего виноторговца я читаю как роман, представляешь?

– Уныние способствует алкоголизму, – поведал Бул, разливая, – а алкоголизм – унынию.

Возможно, брызнувший в глаз фонтан послужил лишь толчком, но я почувствовал, что уже нахлынувшая на меня тоска грозит увлечь за собой и Були. «...приподнятость, бодрость, веселье и ощущение братства, которые в любой момент могут перейти в яростную схватку», внезапно припомнилось мне из незабываемой прозы доктора де Хаана и профессора Хандовски<sup>2</sup>. Надо попытаться взбодрить нашего Була.

– Я никогда не бродяжничал, не ходил на судах и не водил грузовиков по бесконечным дорогам чужих земель и народов, – начал я. – А мне надо было бы держаться подальше от дома, я теперь понемногу это начал понимать.

– Я бы не стал это принимать близко к сердцу, – глухо проговорил Бул.

– Да нет, конечно, – согласился я. – Дома тоже ведь есть чем заняться. Поэт всегда путешествует в стране своих грез.

1 Намек на книгу американской писательницы Алисы Тисдейл Хобарт (1882–1967).

2 «Фармакотерапия», 1952 (авторы: dr. Henri Rudolf Marie de Haan, prof. Dr. Hans Handovsky).

– Это точно, – сказал Бул. – Годы художника, в сущности, это индийские годы<sup>1</sup>. – Долгое время царило молчание.

– Но вообще, если вдуматься, – снова начал я, – ты не знаю сколько всякого испытал. Я – нет. Чего ты только не повидал! У тебя опыт. У меня – никакого. Тебя жизнь облагородила, как бы это выразиться, а я ничего не знаю. И всё же оба мы – большие художники, – каждый на свой незатейливый манер. Чего только не бывает.

– Ничего я не хочу, – включился Бул, рассеянно разливая по стаканам. – Я просто хочу заниматься тем, к чему у меня душа лежит. Изю всех сил работать. – Он поднялся с места. – А больше мне ничего не надо. – Точно иллюстрируя непреходящую бдительность, он пристально вглядывался в картинку у двери и аллею, ведущую к дороге, и пустился развивать свои обычные соображения о человеческом сосуществовании. Привычка вмешиваться в чужие дела была хуже всего.

– Творец, ага, – начал он совершенно угрюмым тоном. – Единственное, чего я, черт побери, хочу, это чтобы хоть на денек меня оставили в покое и дали поработать. Чтоб им всем поваляло, всем этим... Сплетники, кляузники, подонки, шпионы. С велосипеда слезают, прикинь, посмотреть, что там за неслыханная жуть у меня творится.

Он постоянно держал на замке входную дверь, на которой висела записка, предупреждавшая, что нет никакого смысла ломиться в заднюю дверь, если вам не открыли переднюю, и всё же они лезли в его рабочий уголок под какими-нибудь хреноблюдскими предложениями и порой по нескольку раз на дню. Он уже подумывал обнести свой двор оградой или стеной, но это было ему не по карману; ивы или клены, которые он с трудом посадил, не прижились и уже несколько месяцев торчали перед окном, засохшие и ободранные.

– Ну да, всё портится или умирает, или разваливается на куски. Да, старина, давай плесни еще.

Жизнь наша была борьбой. Полуденный свет, лившийся из большого слухового окна, которое соорудил над буфетом гуру Питер Б., начал заметно тускнеть, и уже слышалось посвистывание медленно поднимающегося вечернего ветерка, поющего о бессмысленной, растроченной жизни, в которой ничего не происходило.

Булли продолжал свой рассказ. Он вызвал в памяти поистине яркую процессию скоморохов, – от некоего сорта полудурков, считавших вполне нормальным «зайти посмотреть, что там такое», до каких-нибудь рыбаков, которые в отсутствие Булли на полном серьезе полагали, что «за рыбешку» действительно могут обладать Памфилией.<sup>2</sup> «Рыбка требует жертв».

– И всё же это можно объяснить, – высказал я свое мнение. – Ты – художник. Искусство – Монмартр! С хлеба на воду, разве не так? Беззаботный артистический народец. Свободные воззрения, короче: "*l'amour!*" Слово говорит само за себя.

1 От поговорки «индийский год за два идет».

2 *Pamphylia* (*Helmie Slaaf*) – жена Паннекука.

Поскольку это было именно так, потому что давным-давно, когда я еще жил на чердаке Галереи 14,<sup>1</sup> некий таможенник, взобравшись по лестнице, огляделся и возопил: “La Voûte!”

Хотел бы я знать, как много добропорядочных людей – которые не молили языком, не сплетничали, не слезали с велосипеда, чтобы потарашиться или вломиться в дом – проживали в П. Такие были, признался Булли. Он уселся и принялся загибать пальцы. Сначала он насчитал семерых, но потом количество уменьшилось до пяти.

– А почтмейстер среди них есть?

– Ну разумеется, есть. Он у меня под номером «один». – В его ответе сквозило легкое раздражение, но сразу после этого его тон заметно смягчился, и в глазах появилось выражение благочестивого волнения, когда он в сотый раз завел речь о дядюшке Посе, первейшем из порядочных людей в П., который заслужил благоволение в глазах Господа тем, что открыл Булли кредит в своей канцелярии и даже ссудил ему денег.

– Ты когда-нибудь слышал о почтовой конторе, в которой можно было бы покупать в долг? Слышал ли кто-нибудь когда-либо в Западной Европе о таком: почтовые марки в долг?

– Никогда не слышал, Бул.

– Бог есть, и Он выше нашего понимания, – начал я объяснять Булли после некоторого молчания. – Это знак, так можешь это рассматривать. Под мою ответственность. Возможно, час уже близок. – Я со вздохом откупорил четвертую бутылку. Во мне всколыхнулась невероятно тяжкая волна бесстыдной сентиментальности. Я молча глянул в окно. Если кто-либо в своем неведении желал высмеять то, что я только что сказал, меня бы это не огорчило, ибо то, что я видел, было правдой, безмолвной и лучезарной: добродетельный почтмейстер со своим рожком<sup>2</sup> был, сам того не зная, ангелом Благой вести, предсказавшим грядущее Завершение Всего Судным днем; а также, – это открылось мне в дополнительном видении, – Ангелом с трубой на четырех концах земли, призывающим всех к Страшному суду, станет непередаваемой красоты почтмейстер, стройный, русоволосый, не старше 17½ лет – «Се, творю всё новое»<sup>3</sup> – с громадным Членом, который так же, как и головокружительные холмы его Тайной Юношеской долины, будет весьма отчетливо обрисовываться в его форменных брюках; вооруженный могучими, лиловыми – разумеется! – бархатными Крыльями, одним из которых он будет прижимать к бесконечно нежному бедру свою фуражку, дабы не утерять ее в ревущую бурю, порожденную его трубой, так что его длинные, почти девичьи волосы будут падать ему на лицо, – и один взгляд на это исцелит самую глубокую сердечную рану.

– Неотъемлемый переключатель в общении людей и народов, – объяснил я Булу. – Если задумаешься, что примерно этот мужик по домам разносит: те же известия о радости и печали.

1 Дом на Фредериксплейн в Амстердаме, где жили после женитьбы Реве и Ханни Михаэлис.

2 Международный символ почты.

3 Откр., 21:5.

– Я помню, как мы познакомились, – сказал Бул. – Мы тогда только-только поселились на \*\*\*дейк. Мы и жили, и жрали, и спали в кухне, у нас ведь не было ничего: только пара ящиков, на которых мы сидели, и плита. На плите стояла кастрюля с кислой капустой. Вот он является, – с телеграммой, кажется, – подходит к кастрюле, снимает крышку, видит, что в капусте лежит колбаса, и спрашивает, не юноксовская<sup>1</sup> ли это; если да, то он бы очень хотел получить ярылочок, потому что его жена их копит на набор коктейльных палочек.

– Мы истолковываем потаеннейшие желания и мечты человечества, – изрек я.

– Принес бы я ему этот четвертной на следующее утро, и контора, глядишь, не сгорела бы, – кротко сказал Булли. Я знал, что сейчас начнется: несчастье, имевшее прямое отношение к добродетельному почтмейстеру, которое около четырех лет назад стряслось с Булли.

– Я как раз загнал пару офортов и огреб сотнягу, а может и поболее того, – начал он, снова прибегая к своей блатной, суеверной системе счисления: *хрусты, червонцы, четвертаки, стольники и тонны*, они же *красенькие*. – Ну и вот тебе на. – Как-то раз, набив до отказа печку в доме на старой ферме, где тогда жил, и хорошенько поворошив в ней, он отправился к почтмейстеру «вернуть четвертак», прихватив с собой кувшин можжевеловой. – Вечер Святого Николая<sup>2</sup> это был, приятель. Вечер Святого Николая 1962.

Ему, разумеется, пришлось «зайти на чуть-чуть» к почтмейстеру, дабы совместно до самого донышка исследовать подлинность можжевеловки, и на обратном пути его автомобиль увяз: на сей раз не в канаве, а на обрыве («влип брюхом в берег, итить; – я подумал, ну и подыхай тут, а я пошел»), так что, добравшись домой на своих двоих, он поспел как раз к тому времени, когда все здание стояло в огне, но чуть опоздал, чтобы успеть спасти представлявшую «жуткое зрелище» крышу, обвалившуюся в «диком фонтане искр».

– Огонь очищает всё, – сказал Бул. В газетах сообщалось об «убытках в сотни тысяч гульденов, причиненных хранившимся на заднем дворе сельскохозяйственным машинам», и о том, что «дом, в котором располагалась мастерская художника Ф. Паннекука», также сделался «добычей пламени», – но не было ни единого упоминания о том, что хранилось в этой мастерской.

Большая часть одной картины плюс 22 оттиска, оставленные в папке у входной двери (с тем, чтобы их кому-то отдать), уцелели; от остальных – 245 холстов, 300 рисунков и акварелей и почти 200 гравюр вместе с цинковыми пластинами – не осталось ничего.

– Красный петух, итить, – решительно сказал Бул. – А знаешь ли ты, что мне тогда было абсолютно наплевать на всё это? – Он задумался. – Фараоны в этом сомневались. – Он изобразил чей-то сиплый голос: «У нас сложилось впе-

1 Колбаса фирмы Улох.

2 *Sinterklaas*: Николай Чудотворец, Синтерклаас, день которого отмечается в Бельгии и Нидерландах 5 декабря.

чатление, что вы были в нетрезвом состоянии». – Он зашелся неудержимым хохотом. – Да, потом, сильно позже, вот тогда мне стало до смерти жалко, что всё пропало.

– А ты посмотри на это шире, – начал я. – Ну, скажем, в космическом масштабе: Рембрандт обанкротился, Ван Гог ухо себе отхватил, а у тебя, словно вежа твоей жизни – пожар, в котором погибло столько прекрасного; кто станет это отрицать. И посмотри, к примеру, на меня: случался у меня когда-нибудь пожар? Разорвался я? Ухо себе отрезал? И речи быть не может! Могу я припомнить непоправимую потерю или безутешное горе? Задать вопрос – значит ответить на него.

– Ты вот напишешь книгу, и ее сорок-пятьдесят тысяч людей прочтут, – с горечью сказал Бул.

– Это точно, – подтвердил я. – Послевоенную нидерландскую литературу без меня больше представить невозможно. Я это сам где-то читал, в книге: не дурак, знаю, о чем говорю.

– Ну смотри, я-то вот напишу одну картину, – пожаловался Бул. – И она у меня в углу пылится. А если я ее продам, никто уже ее больше не увидит.

– Мои читатели, особенно юноши, меня на руках носят, – объявил я вдобавок. – Вспомнить хотя бы этих литературных гребцов.

– Спорт не имеет ничего общего с политикой, – заявил Бул, но я не дал увести себя в сторону и поведал ему – с расстановкой, основательно и исчерпывающе – историю о двух молодых людях, которые нанесли мне визит прошлым летом; они вышли на лодке в озеро, и тот, что правил, вслух читал тому, что сидел на веслах, мою самую дерзкую секс книжку.

– Вот это я и имею в виду, – упрямо сказал Бул. – С картиной такое не пройдет.

– Не говори так, – осторожно заметил я и быстро пораскинул умом. – Тот, кто сидит спокойно, то есть не гребет, он же может твою картину держать перед глазами того, кто на веслах, чтобы тот мог ею любоваться?

Бул задумался и медленно кивнул; лицо его явственно просветлело. «Возможно ли такое?»

Однако носили меня на руках или нет, я продолжал жить жизнью, в которой ничего не происходило. Никто никогда не стрелял в меня из пистолета, меня никогда ниоткуда не изгоняли, власти не заставляли меня спасаться бегством, и периоды – сенситивистский, индивидуалистский, социалистский или виталистский – вряд ли имели место в моей творческой карьере, в то время как у Булли, например, был его Синий Период, когда он писал глубоким ультрамаринном огромные, больше человеческого роста, монохромные полотна; потом, снова начав использовать эти холсты, теперь уже для реалистичной работы, примерно треть поверхности он мог оставлять нетронутой, если для пейзажа требовалось безоблачное небо, как в случае «Фризского летнего ландшафта», счастливым обладателем коего я мог себя назвать. Мне внезапно вспомнилось, как однажды у нас дома Булли собрался было покрыть лаком эту картину,

уже вставленную в раму, но обнаружил, что забыл кисть, и воспользовался куском старой белой простыни, которая в его руках быстро расцвела красками, особенно синей, так что я обеспокоился, не стер ли он ее с холста, на что он ответил: «Ну есть чуток, парень. Слышь, это ничего: всё равно искусство – чушь собачья».

Ничего не оставалось, не задерживалось в памяти, кроме, может быть, Любви.

– Скажи, Бул: тот милый мальчик, с которым ты вместе учился, сын той дамы из замка, он по-прежнему красивый, сладострастный мальчик? Или он растолстел и подурнел?

Булли глубоко вздохнул и тихонько покачал головой.

– Забудыгой-то он не был, нет, слишком молод для этого. Но в тот день он неслабо заложил в кафе; у отца перед обедом уже на ногах не держался; а после обеда, у матери – они с его отцом уже годы жили порознь, тоже ничего хорошего – там еще поддал. Залился под завязку и сел за руль. Ну, разумеется, педаль в пол. Думал, что по правой полосе едет, а ехал по левой. Заложил вираж влево, чтобы уклониться от встречного, и прямо в дерево. Костей не собрали, брат мой. Милый мальчик, просто милейший мальчик. Но умер, лет уже этак пять назад, я думаю.

Долгое время мы сидели неподвижно, не разговаривая. Оставшиеся дома вновь много потеряли, и можно было возблагодарить Господа за презабавнейший день. Великая лампа дня угасла, и ландшафт являл собой разительное сходство с картиной Булли «Одинокий Динозавр По Дороге В Город Харлинген<sup>1</sup> Смит Покупает Всё». Посвист ветра, постепенно набиравшего силу, превратился в гул, который по-прежнему, но отчетливей, чем раньше, пел о потерянной жизни, в которой толком ничего не случилось. Да, однажды я видел, как мчавшаяся со всех ног малышка с только что купленным букетом розовых тюльпанов поскользнулась и упала, так что одиннадцать из двенадцати цветков сломались, и она, разревевшись от горя и отчаянно сжимая в руках почти обезглавленный букет, вновь припустилась проворной рысцой; и я видел на дороге крысу с отдаленным задом; приподнявшись, она передними лапами совершала движения, словно мыла себе мордочку; и довольно часто я думал о Солдате, которого совсем не знал, но у которого было денег ровно на одну почтовую марку, чтобы отправить письмо матери, и он зашел в казарменную столовую, но у них марок не оказалось, и вот он, не имея решимости уйти, ничего не заказав, на последние деньги купил себе пирожок и тут же уронил его на пол, где его немедленно запачкали и растоптали в крошево чьи-то сапоги: печальные случаи, да, и всё же к жизненным вехам их не причислишь. А сколько времени еще оставалось? Бог знает, но в любом случае меньше, чем было. «Осенью бессмысленной, жалкой жизни», тихонько пробормотал я и покачал головой. Очень возможно, размышляя я, что-то всё же может измениться

1 Город в Фрисландии.

к лучшему, поскольку из предсказаний сестричек М. из Г.<sup>1</sup>, которые только что составили гороскоп Булли, всегда явствовало, что «он мог рассчитывать на некую известность». Мы устроим ему большую выставку у нас дома, предварив ее Св. Мессой, которой будет из буфета руководить Отец Х., а Тигра и Лондонский друг П. будут исполнять музыку Виваль Ди, Виваль Да, как прозвала его поэтесса Х. М.,<sup>2</sup> или другой какой старой колоды для натягивания париков. Ах, если бы Господу было угодно явиться миру и сделать Була почти таким же знаменитым, как я.

Гостиная погружалась в сумерки, но я всё еще не зажигал огня. Существуют вещи, которые нельзя рассказать другому и о которых нельзя спрашивать, как бы ты его ни любил. Мне хотелось, чтобы мы – сперва нерешительным, но постепенно набирающим силу голосом запели песнь, в которой будут упомянуты все когда-либо жившие на земле, песнь, чествующую всё, что дышало; и были бы они столь многочисленны, что никогда не сможет их вместить краска, холст, чернила и бумага, но имена их записаны в Книге, открыть которую однажды будет дозволено лишь Агнцу, и только Агнцу одному.

*(Греонтерп, 19 мая 1967)*



## **БОГ & ИСКУССТВО**

*Речь в Маюдерслоде*

Ваше Превосходительство, Члены Жюри Премии П.С. Хоофта 1968, многоуважаемые присутствующие!

Подводя общий итог своей взрослой жизни и писательского пути, теперь, когда я далеко перешагнул эту точку и приблизился к той, с которой уже видна Смерть, я вижу, что развитие моей карьеры художника отмечено яростной борьбой. Борьбой с хаосом в себе самом и вокруг меня, за порядок; борьбой с бессознательным в себе самом и вокруг меня, за сознательное; борьбой с собственным и чужим непониманием, за понимание, и в первой и последней инстанции: борьбой с собственным и чужим отказом в признании, за признание.

На непризнание другими сегодня жаловаться не могу. Благодарю Вас, члены жюри, за дань уважения к моей работе, и вас, ваше превосходительство, за решение выразить это уважение в присуждении мне Государственной награды.

Об упомянутой яростной борьбе, по сей день сопровождающей развитие моего мастерства, я много раздумывал и постепенно пришел к выводу, что

1 Йозин (Josine, 1896–1991), адресат его «Писем к Йозин М.», и Ленни Мейер (Lennie Meyer).

2 Ханни Михаэлис (1922–2007) – нидерландская поэтесса, с 1948 по 1959 гг. – жена Реве.



причину этому следует искать не в моей личности и не в определенных группировках и персонах, на которые можно указать пальцем и назвать по именам, но в некоем обстоятельстве неизменного и общего характера, который я поясню.

С ранней юности я чувствовал свое предназначение стать романтически-декадентским прозаиком и поэтом в стране, где ни Романтика, ни Декадентство никогда не процветали, не говоря уже о том, чтобы в ней можно было сформировать какую-либо традицию. Конечно, в нидерландской литературе есть романтики-декаденты, и даже крупные, такие как Луи Куперус и Ян Слауэрхоф, но они по большей части забыты, и не случайно, что большую часть жизни они провели за пределами нашей страны. Романтическо-декадентскому писателю – стало быть, тому, кто чувствует свою причастность к по меньшей мере двухвековой западноевропейской традиции – пришлось бы жить и работать в вакууме: здесь нет течения, которое подхватывает его, дабы пронести на своих волнах через стагнацию и мертвые точки; не существует группы, которой он может руководить или от которой получает руководство; нет русла, в котором он мог бы наслаждаться соответствующей безопасностью артистического микроклимата. Романтическо-декадентский писатель в Нидерландах – всё еще магическая тварь, монстр, аномалия: как еще можно объяснить грызню в 1947 вокруг моей первой книги «Вечера», о которой, в сущности, всё еще не вынесено внятного литературного суждения, но вокруг которой тотчас же – такое может быть только в Нидерландах – выстроились в боевом порядке ее противники и защитники; как еще найти объяснение ребяческому и ненужному удержанию стипендии на путешествие, которая уже была мне назначена в 1952 г.; как еще объяснить политический гвалт, сначала по поводу моей книги «По дороге к концу» в 1963 г. и затем вновь о книге «Ближе к Тебе» в 1966; как еще объяснить ужас по поводу моего вступления, также в 1966 г., в лоно Римско-Католической церкви, – в то время как подобное вступление всё же для романтически-декадентского писателя с мистически-религиозной тенденцией в европейской традиции называют скорее обычным нежели странным явлением; и какое еще найти объяснение для несколько глупого и, в сущности, недостойного для нашего правового государства моего преследования из-за так называемого богохульства?

Я – и это не суждение о художественной ценности моей работы, но констатация очевидного факта – одинок в современной нидерландской литературе. Я – и опять же это не мнение, в котором заключается какое-либо суждение об уровне – не могу указать ни на одного современника в Нидерландах, с которым ощущал бы какое-либо сродство.

На вопрос о том, является ли одиночество преимуществом или недостатком, ответить нелегко, хотя подозреваю, что недостаток перевешивает. Однако важнее вопрос, готов ли я принять непонимание, касающееся того, что выражается в моей работе и проистекающие из этого непонимания уединение и одиночество, или же я буду до бесконечности продолжать пытаться ликвидировать недоразумение.

Согласно древней традиции, изложенной также в Священном писании, человеку отмерено 70 лет жизни. Я уже далеко перешагнул за половину этого срока. Итак: если бы мне за почти четверть века писательской карьеры не удалось, невзирая на все бесконечные дебаты, полемики, интервью и «встречные» беседы, прояснить недоразумения с моим Возлюбленным Народом, который лелеет собственные убеждения, касающиеся моего ощущения мира, моих религиозных воззрений, моих взглядов на человеческое существование и на обе великие мистерии – Любовь и Смерть, удастся ли мне это в течение скудных 25 последующих лет, которые мне в благоприятном случае еще отмерены?

Ваше превосходительство, дамы и господа, день короток. «Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать».<sup>1</sup>

Нет, я не думаю, что хотя бы день могу потратить на споры до хрипоты, в которые меня втягивали годами. Я знаю, что моя работа обладает определенным достоинством и законностью, но также и то, что это достоинство и законность ни из чего не явствуют столь убедительно, сколь из самой работы. Это всегдашнее недоразумение, и оно неискоренимо. До сих пор я предоставлял текст и объяснение; надеюсь, что в будущем будет только текст. Таким образом я заканчиваю это слово текстом и только текстом, но сначала хочу сказать вам, как хотел бы воспринять присуждение мне премии П. С. Хоофта 1968. Нередко эту премию рассматривают как более-менее окончательное признание и увенчание короной или одобрением закругленной, и в значительной степени завершенной работы всей жизни. Я не хотел бы рассматривать присуждение мне премии в данном ограниченном смысле, ибо для венца или короны я еще слишком молод и, по моим собственным меркам, еще недостаточно осуществил. Но если мне будет позволено рассматривать это высокое награждение как безусловное признание таланта, зарожденного во мне, который, возможно, в будущем раскроется в полной мере; если я, кроме того, могу воспринимать ее как выражение веры в мою художественную неподкупность; и если я, наконец, могу полагать ее поощрением в предположительно решающей фазе моей литературной карьеры, тогда, ваше превосходительство, члены жюри, я приму ее от всего сердца и с благодарностью.

Я закончу прочтением стихотворения из «Ближе к Тебе», которое мне особенно дорого. Открытка с этим текстом была в своё время, как некоторые из вас, вероятно помнят, по приказу прокурора изъята с полки одного книжного магазина. Я упоминаю об этой подробности не как об анекдотической веселой ноте – что, конечно, тоже справедливо, – и не для инсинуации, – некоторые недоумки наверняка подумали, что зиждущаяся на конституции свобода моего творчества в этой благословенной стране некогда находилась под угрозой, – но для подтверждения и иллюстрации к тому, что я только что говорил о Романтике и Декадентстве: никоим образом не случайно, что мало в каких

1 Иоанн 9:4.

других пассажирах моей работы мое романтико-декадентское мирозозерцание, мое религиозное кредо и мое кредо Любви выражалось бы столь интенсивно и столь полно, как в этих строках.

*ДА ЗДРАВСТВУЮТ НАШИ МОРЯКИ*

*В поезде по дороге домой я ищущу забвения в пиве,  
но то, что должно случиться, неминуемо:  
уже через две остановки входит он, стройный матрос  
с дерзкими ягодицами,  
застенчивый, но грубый. С ушками. Темно-русый.  
Когда я стану богат, он будет ходить  
со мной в город и пить что хочет:  
«это кровь моя».  
И за любую красивую шлюху,  
какую он захочет, я заплачу:  
«это тело мое».  
Я бы охотно поприсутствовал, милый, но если ты стесняешься:  
тогда не надо, и я никогда не увижу твою наготу,  
упрятанную в свитер и брюки, возвышенный рыцарь,  
боготворимый Зверь, мой милый Братишка.*

Это, ваше превосходительство, дамы и господа, всё, что я хотел сказать. Да смилуется Господь над всеми нами. Благодарю вас.

*Перевод Ольги Гришиной*

## ХЕНК ВАН ДЕН БОСХ

### ГОСПОДЬ ГЕРАРДА РЕВЕ

Читая книги одного из моих любимых писателей, я наткнулся в «Ближе к Тебе» на печально знаменитый Ослиный пассаж, в котором Герард Реве в пьяной фантазии пишет последнюю книгу и после этого занимается сексом с Богом, посещающим его в обличье осла.

Тем, кто хотел бы углубиться в картину Божественного Герарда Реве, следует ознакомиться с его защитительной речью на процессе в амстердамском суде 17 октября 1967 г.

После того, как поднялась шумиха вокруг религиозных откровений Герарда Реве в журнале «Диалог» и в его книге «Ближе к Тебе», член палаты депутатов Хендрик Алгра накинулся на Реве, точно фурия (хотя спорных фрагментов сам не читал), и член палаты депутатов инженер Ван Дис задал письменные вопросы министрам юстиции и культуры, отдыха и социального обеспечения, гг. Самкалдену и Фролейку, возникло судебное дело по обвинению Реве в «оскорбительном богохульстве». 20 октября 1966 г. дело передается в суд. Реве защищает г-н Х. Р. Ейл, а кульминацией этого судебного дня является великолепная обвинительная речь прокурора, г-на Я. Я. Абспула. Вынесен замечательный вердикт: с Реве не снимают обвинения, но освобождают от дальнейшего судебного преследования. И Реве, и прокурор подают апелляцию.

17 октября 1967 г. дело передается в амстердамскую Судебную палату. Реве решает проводить свою защиту сам и произносит блистательную речь, обосновывая свои представления о Боге. Суд полностью оправдывает его. Помощник генерального прокурора подает кассационную жалобу в Верховный Суд. Высшая судебная инстанция приходит к заключению, что апелляция неприемлема, и 1 апреля 1968 г. (т. е. дело тянулось почти полтора года) провозглашает Реве совершенно свободным.

#### **Реве: картина Божественного**

Реве противопоставляет свою картину Божественного общепринятой. Общепринятого Бога он называет Богом Нидерландов, или «как именует его наш великий писатель Несцио в своем бессмертном рассказе «Поэтишко»: «Бог твоей тетушки, который говорит, что ты должен был поклониться, проходя мимо дома твоего хозяина, (...), даже если ты никого не видел, никогда не знаешь, кто видел тебя».

Реве приходит к выводу, что вся шумиха, а также судебное дело в связи с его книгами есть следствие конфликта между двумя картинами Божественного: Богом эманентным и Богом имманентным. «Все беды проистекают из этого, – что Бог для меня не есть «совершенно другой», эманентный, но «в выс-

шей степени свой», иными словами: имманентный. Мой Бог определенно не Бог Нидерландов».

Для Реве, стало быть, Бог определенно не «гневный, непредсказуемый старей домашний тиран, которого за нос не потаскаешь, с которым противники ведут себя как дети, прекращающие шалить, ибо скоро конец дня и «отец вернется домой». Я уже не раз повторял, что не испытываю недоброжелательства по отношению к подобным представлениям о Боге, но продолжаю настаивать на том, чтобы, буде таково желание, изложить мои собственные представления».

Но что в таком случае представляет собой Господь Герарда Реве? Верит ли Реве в Бога вообще? Ревист Шак Хюбрехтсе в этом сомневается: «То, что человек религиозный верит в существование Бога, не кажется смелым предположением. И все же мы должны заключить, что Реве верит в Бога эпизодически, а, возможно, даже не верит в существование Бога». Он ссылается на следующий стих из «Ближе к Тебе»:

#### *Последствия*

*В то время, как Тигра рассказывал мне о том, как он был влюблен  
в русоволосого сына полицейского,  
мимо проехал на велосипеде Запихашка, мечта педераста,  
в сапогах и фиолетовых джинсах,  
знание – сила, по дороге в школу.  
Звери пали ниц. Лес утих.  
От камней изнутри затоснило.  
Ночью мне снилось, что я верю в Бога.<sup>1</sup>*

Хюбрехтсе: «Из этого можно заключить, что только в небывалой, идеальной ситуации присутствует вера в Бога. И если, возможно, заявление о том, что Реве в Бога не верит, будет выглядеть несколько резко, сомнительно это в любом случае». В доказательство он приводит стихотворение «Конец дня».

*Наконец-то я ни во что не верю  
и во всем сомневаюсь, даже в Тебе.  
Но временами, когда мне кажется, что Он действительно есть на свете,  
то я думаю, что Он есть Любовь, и что Он одинок,  
и что Он ищет меня с таким же отчаянием,  
как я Тебя.<sup>2</sup>*

Но, в конце концов, должен же он существовать, Великий Даритель смысла жизни, о чем говорится в следующем стихотворении:

1 Пер. С. Захаровой.

2 Пер. С. Захаровой

### *Призвание*

*Сестра Иммакулата, которая уже  
тридцать четыре года  
моет паралитиков, меняет им простыни  
и приносит еду,  
никогда не прочтет своего имени в газетах.  
Но любая вонючая обезьяна с табличкой: что она  
за то-то, и против сего-то, и заграждающая проезд,  
вечером видит свою рожу в телике.  
И всё же хорошо, что Бог есть.<sup>1</sup>*

Это – ответ на вопрос, действительно ли Реве верит в Бога. На другой вопрос, однако, этот стих не дает ответа: что представляет собой Господь Герарда Реве? Мы уже знаем, что его Господь имманентен, но это далеко не всё. Другую подсказку мы находим в «Ближе к Тебе»: «Все зарождается в Любви (...) И на самом деле это не так, что Любовь – это один из атрибутов Божественной сущности, но Любовь есть Бог. Когда еще ничего не было, была Любовь. Из нее все образовалось, и нет на свете ничего, что не образовалось бы из нее. И когда ничего не останется на свете, здесь все еще будет Любовь и Бог, это просто два слова для одного и того же понятия, взаимозаменяемые и идентичные».

### **Бог есть Любовь**

В защитительной речи Реве расширяет эту тему: «В том случае если Бог и Любовь есть одно, и в течение тех сорока минут в год, когда мне удастся верить в то, что Бог возликует и осушит все слезы, по-иному я это не представляю – это будет означать, что Бог страдает сильнее, нежели все жившие, живущие и будущие жить существа, и что Он должен быть утешен нами». В подтверждение он цитирует следующее стихотворение:

#### *К Богородице, четвертой ипостаси божьей*

*Ты, которая мало говорила,  
но все хранила в своем сердце –  
Тебя я приветствую и утешаю, милая Мать,  
Благословенная.<sup>2</sup>*

Реве рассматривает Марию как истинного Бога, Божественную персону наравне с Отцом, Сыном и Святым Духом, частью Наисвятейшей Четверки, также именуемой Святым Семейством; Реве выражает уверенность, что еще до 2000 года это будет принято как римско-католическая догма.

1 Пер. О. Гришиной.

2 Пер. С. Захаровой

Резюмируя: Господь есть Страждущая Любовь, которая должна получить утешение. «Когда я исхожу из того, что предназначение человека есть любить Господа, мне остается лишь ответить на вопрос, какой вид любви к Нему я могу принять за идеал». И он тут же отвечает на этот вопрос: «бескорыстнейшая и безоговорочнейшая любовь», но при этом продолжает поиски симметрии. «Любовь ли это детей к своему отцу? Такая любовь далека от незаинтересованности: к ней примешивается страх наказания и утраты безопасности». Существует также любовь братская, сестринская, любовь к друзьям. Нет, «это любовь, которую родители питают к своему ребенку. Такая любовь, если она истинна, не просит ничего и дает всё. Следовательно, мы должны любить Господа как собственное Дитя».

«Бог очень одинок (...) («По дороге к концу»). «Возможно, что во всем моем творчестве более нигде в столь малых словах не выражено так полно мое понятие о Боге. Мысль, лежащая в основе высказывания «Бог очень одинок» – идея Господа, познавшего одиночество и страдания любви и, невзирая на Его всемогущество, зависящего от любви его созданий – появляется вновь и вновь в моей работе (...)»

Мы знаем уже пять элементов, характеризующих Бога Герарда Реве:

- Бог имманентен,
- Бог есть Любовь,
- Бог страдает,
- Бог – наше дитя,
- Бог очень одинок.

Как же обходится теперь Реве с Богом? Довольно чистосердечно: «Так же как я ищу Бога и хочу любить его и подчиняться Ему (...) так и Господь желает покорствоваться мне и даже позволить мне сексуально обладать Им». То, что это гомосексуальный контакт, к делу не относится: Божество (...) издавна не приередливо, но «ест всё подряд».

### **Бог и Осел**

Об инкарнации Бога в обличье осла: «Бог Един, еще бы, но проблема того, во скольких Ипостасях Он Себя проявляет, кажется мне, имеет второстепенное значение, а одной Ипостасью больше, от этого никому хуже не станет: лучше больше, чем меньше, это я так». Но почему же именно осел? Пожалуйста: «Наимилейшая, наибезгрешнейшая тварь, какую я только знаю, кроме слона – Осёл. Если и есть какой-либо образец доброты, преданности и терпеливости, так это именно сие создание. Не случайно по преданию Осел был одним из лишь двух избранных животных, коим было дозволено присутствовать при рождении Господа (...) Только бессердечный человек может дурно интерпретировать мою идею перевоплощения Бога в Осла (...)»

Бог всего лишь один из членов Святого семейства, и самым важным членом этого семейства является для Реве, разумеется, Мария.

Взгляд Реве на Бога, религию, кажется редким партикуляризмом. Очевидно, что идеи Реве выходят за рамки какой-либо конфессии. В них имеется много элементов, которые мне кажутся очень привлекательными. Но существуют ли, скажем, «направленные», духовные течения, с которыми Реве проявляет родство, я не знаю. Он сам дает подсказку: о том, что мы должны любить Бога как собственное дитя, он говорит: «(...) и до того, как мне в руки попали тексты, из которых явствовало, что я, по меньшей мере, одинокий гений (...)». Он знает, таким образом, родственные души, но не называет их. Шак Хюбрехтсе, однако, упоминает одно имя. «Взгляды Реве в этом смысле проявляют сходство с воззрениями Артура Шопенгауэра (1788-1860); в особенности, как они отражены в диалоге “Über Religion”.

Можно вписать Реве и в средневековую традицию. В шедевре Хёйзинга «Осень средневековья» я нашел (в главе 12: «Образное претворение веры») следующее: «Католическая вера не знает более сильного и проникновенного переживания, чем сознание действительного и непосредственного присутствия Божия в освященной гостии. (...) Но тогда, при свойственном Средневековью наивном обычае судить о священных предметах прямо и непосредственно, это приводило к словоупотреблению, которое порой может показаться кощунственным.» (...) О священнике, который со Св. Дарами едет своей дорогою на осле, говорят: «Un Dieu sur un asne» [«Вон Господь на осяти»] (...) При отсутствии малейшего намерения насмехаться фамильярное отношение к сакральному в сочетании со стремлением к его образному воплощению вело к формам, которые могли бы нам показаться бесстыдными».<sup>1</sup>

(То, что эти формы могут быть весьма сексуально заряженными, Хёйзинга показывает в главе 14). На мой взгляд, описание – возможно, производящее впечатление безбожного – божественного опыта Реве стоит наравне с вполне приемлемым в позднем Средневековье типом религиозной жизни.

Яростная реакция на картину Божественного Реве привела к парламентским вопросам и судебному процессу. Попытаюсь отследить эти реакции.

### Протест против Реве

Наиболее ожесточенных противников можно найти в реформаторско-кальвинистском углу: такие люди, как Алгра (ARP)<sup>2</sup>, Ван Дис (SGP)<sup>3</sup>, Берекамп (CHU)<sup>4</sup> и тому подобные. Я думаю, что не перегну палку, если назову проф. д-ра Г. А. Линдебом их спикером.

Линдебом был профессором медицины в Свободном университете Амстердама и в свободное время занимался вопросом Реве. В 1967 году он опубликовал на эту тему брошюру под красноречивым названием «Бог и осел. Ослобог писателя ван хет Реве в оценке некоторых реформированных

1 Пер. Д. Сильвестрова.

2 Антиреволюционная партия.

3 Политическая реформатская партия

4 Христианско-исторический Союз.



теологов. Протест». Брошюра Линдебом направлена не столько против Реве, сколько против троих теологов, осмелившихся замолвить о нем доброе слово. Упомянутые теологи – Ротхаузен, Каютерт и Брюссард, – чрезвычайно его разгневали: «это подняло вопрос (...) могут ли подобные суждения с общепринятой христианской позиции считаться приемлемыми». Но прежде чем задать головоломку теологам, Линдебом вцепляется в глотку Реве.

Ему вменяется в вину использование «площадной брани» наравне с такими грешниками, как Кремер и Волкерс. Литература Реве – порнография и должна быть запрещена. Затем Линдебом критикует его орфографию: Реве вырос из школьного платья и уже не получит строгий выговор от учителя или преподавателя; посему он постоянно пишет в стиле «Питов это самое картуз» вместо «картуз Пита».

Но это еще только цветочки. Реве – автор, который

а) носитя со своей продажной гомосексуальностью и выставляет напоказ свои гомосексуальные приключения и желания с явным наслаждением, если не сказать гордостью;

б) страдает от алкоголизма;

в) испытывает недвусмысленное желание к Богу;

г) страшится смерти;

д) не скрывает, что своим писательством желает заработать как можно больше.

По окончании этого списка Линдебом предоставляет возможность высказать свое мнение литератору: А. Ден Долард выступает с размахом и беспощадно охаивает «вседерживного чемпиона-гомофила». «У меня было искреннее намерение сделать хорошее дело, предоставив здесь заслуженному литератору широкую возможность вынести разрушительное суждение, чтобы те, кто не собирается смаковать эти две книги Реве, не заработали себе комплекса неполноценности (...)», говорит Линдебом, и в своих дальнейших аргументациях он к стати и некстати будет ссылаться на Ден Доларда.

Вместе с Ден Долардом он, кроме «литературно необработанного садизма и псевдо-артистичного ковыряния в носу», вменяет Реве в вину также и явное намерение мерзким образом шокировать читателя. «Так нужно рассматривать кошунственный пассаж», или, словами Ден Доларда: «Что касается так называемого Богохульства, это отчасти инфантильно и bestолково, с другой стороны – со злокозненным умыслом вколачивается в негибемый образ мышления честного верующего гражданина, чтобы всласть над ним поиздеваться». И так Линдебом неистовствует на добрых шестидесяти страницах. Он разъярен. Несколько булавочных укулов: «позор нации»; «сакральное зверство»; «сакральная гомосексуальная проституция»; «богохульственный»; «Tierschündung»,<sup>1</sup> «свинство».

1 Правильно: Tierschündung – изнасилование животного (нем.)

### Подальше от Меня

Весьма забавно следующее: в определенный момент Линдебом выводит на сцену некоего отца Анастаса Прюдомма, «внука известного Йозефа Прюдомма»<sup>1</sup>. Упомянутый патер опубликовал статью под названием «Подальше от Меня», «написанную в ироническом ключе (...)», в которой прочитан устрашающий урок Реве и всем единоверцам, одобряющим Кошунства и «Греческие принципы». К сожалению, Линдебом не в состоянии сорвать маску с отца Прюдомма, который есть ни кто иной, как пишущий обмокнутым в серную кислоту пером **Виллем Фредерик Херманс**<sup>2</sup>. Вполне возможно, что эта статья – один из величайших успехов Херманса!

В статье Херманс именует Реве «Дон Жуаном скотного двора». Далее он говорит, что «единственный Бог, в которого Реве действительно верит, это дерьмовые деньги». Нелегко определить позицию Херманса по отношению к Реве на основании этой сатирической статьи (они явно не закадычные друзья!), но то, что он не из лагеря Линдебоба, совершенно очевидно.

К счастью, имеются и другие отзывы, и мне они больше по душе.

**Адриан Морриен:** «Возмутительно в подобных вещах то, что христиане требуют для себя монопольного права быть более чувствительными к загадочностям жизни, нежели другие. Фанатично верующие не в состоянии посмотреть со стороны на собственную веру, они просто не могут представить, что то, что они вещают с церковной кафедры, может для других быть в такой же степени кошунственно».

**Кеес Фенс:** «О картинах Божественного и представлениях о Боге нечего и спорить. Если же спор будет неизбежен, я бы почувствовал себя оскорбленным картиной Божественного инженера Ван Диса, той, какую он выстроил в беседе с Бибеб в «Свободных Нидерландах» (фрагмент из интервью: Ван Дис: «Вы сказали, что ван хет Реве верует? Гомосексуалист, который действительно верует, – это представляется мне поистине невозможным. Прочтите первую главу Послания к Римлянам, о мужчинах, пренебрегающих естественным употреблением женского пола...» Бибеб: «По вашему мнению, гомосексуалисты попадают в ад?» Ван Дис: «Разумеется». Бибеб: «И что там случится?» Ван Дис: «Они будут от боли жевать собственный язык в компании дьявола, отринутые Господом»). Тот, кто считает, что богохульство имело место, исходит из унифицированной картины Божественного, утвержденной сверху и нуждающейся в защите».

1 Прюдомм (фр. *Monsieur Prudhomme*) – нарицательный образ, тип самодовольного и ничтожного буржуа, созданный Анри Моннье. (*Henry-Bonaventure Monnier, 1799–1877* – французский карикатурист, иллюстратор, драматург и актёр.)

2 *Willem Frederik Hermans (1921–1995)*, крупнейший нидерландский романист, эссеист и философ.

**Альфред Коссман:** «Стиль Реве уникален, что вновь явствует из этой книги. Серьезность в ней совмещается с издевкой, клоуна не отделить от пророка».

**Ален Тейстер:** «(...) «Ближе к Тебе» я по-прежнему считаю одной из великолепнейших и в высшей степени захватывающих книг, прочитанных мною».

**Герард Ротхаузен:** «(...) в этом отрывке он, по существу дела, пытается выразить свою нежность к Богу».

Представив картину негативной и позитивной критики, закончу великолепным стихотворением – или, может быть, лучше сказать: кредо – в надежде лишний раз убедить читателя в честности Богоискателя Герарда Реве:

### *Признание*

*Прежде чем я уйду в Ночь, что вечно пылает бессветием,  
я хочу еще последний раз сказать:  
Я никогда ничего иного не искал,  
кроме Тебя, кроме Тебя, кроме Тебя одного<sup>1</sup>.*

*Перевод Ольги Гришиной*

<sup>1</sup> Пер. С. Захаровой.

## **«ОН БЫЛ УЗНИКОМ МИРА, КОТОРЫЙ СОЗДАЛ В СВОЕМ ВООБРАЖЕНИИ»**

**В 1993 году в Голландии вышел том писем берлинского писателя Андреаса Синаковского Герарду Реве «Белок тигриного глаза». С А. Синаковским беседует Юрий Векслер.**

*– Когда и как вы познакомились с Реве?*

– Я никогда не встречался с Реве, мы только переписывались и беседовали по телефону. Все началось с того, что у меня в Голландии было большое телевизионное интервью. Реве его видел и, когда через пару дней была презентация моей книги, ко мне подошел некий человек и сказал, что должен передать мне книгу Реве с посвящением. Все в этом книжном магазине, где проходила презентация, остолбенели, а я сказал: «Да, положите сюда, пожалуйста, у меня совсем нет времени...» У меня действительно не было времени, а имя писателя мне ни о чем не говорило. Не знал я и того, что принесший книгу был партнером Реве. Все, кто меня окружал в тот момент – издатели и друзья, были в смятении: «Андреас, ради бога, хотя бы взгляни на книгу». Я плохо понимал, почему они так разволновались, я был занят, стояла большая очередь за автографами. Мне объяснили в общих чертах, кто такой Реве, и в поезде по дороге домой я начал читать его книгу. Не могу вспомнить точно, что это была за вещь, так как с тех пор много его читал, но помню, что происходило нечто странное. Я почему-то поневоле думал о фильме Дэвида Лина «Поездка в Индию». Предложения Реве напоминали мне подъемы и снижения интонации, те же периоды, что были в фильме Лина. Спустя несколько месяцев я рассказал Герарду эту историю и спросил, что бы это значило, на его взгляд. Он рассмеялся: «Ты очень точно все увидел. Когда я писал эту книгу, я читал роман Форстера, по которой Лин сделал свою картину. Я хотел перенять эти периоды Форстера. Знаешь, работая над другой книгой я, например, читал Тургенева. Но еще никому не удавалось увидеть следы моего чтения в моей прозе...». Это и многое другое нравилось мне в Реве, но прежде всего его язык.

*– Какие произведения Реве вам лично ближе?*

– Его проза 50-70-х годов – это фантастически хорошо. Это действительно брильянты. Его последние романы... Ну... Да... Но он был и остается для меня грандиозным стилистом. Между нами, однако, была разница поколений, и она играла важную роль. Поэтому, наверное, я многого у него не понимал и многое мне в нем не нравилось. Трудно было для меня то, что он хотел всегда быть денди. Это действовало мне на нервы. Порой невыносимо. Почему? Потому,

что в этом была поза. Он ведь себя самого, как частное лицо, тоже сознательно и ярко стилизовал.

И с ним было невозможно установить подлинный, живой, непосредственный контакт. Вы всегда имели дело с неким персонажем по имени Реве. Почти сразу же он стал меня именовать «безжалостным мальчиком». Но мне было 33 года, и я чувствовал себя достаточно взрослым. У меня уже была позади биография, полная событий жизнь. И я сказал Герарду: пожалуйста, прекрати эту чушь. Но он начал мне писать стилизованные письма, в которых я был этим «безжалостным мальчиком», он писал мне, например, как сильно возбудило бы его увидеть меня в форме СС.

Я долго терпел это и в какой-то момент сказал ему: «Хорошо, приезжай!». И мы расхохотались и долго смеялись оба. Но для меня все это уже было перебором. Эта история показывает, насколько мы были различными людьми. Для него сексуальность была сложной материей, связанной, в частности, и с его католичеством. Мы были с ним согласны в том, что встреча двух людей независимо от их сексуальной ориентации была и остается тайной. С годами к такому выводу приходит каждый. Наше существование есть тайна. И сексуальность тоже. Но Герард делал из нее странный культ. В его последних романах описаны исключительно садомазохистские фантазии. Для меня же сексуальное было абсолютно иной субстанцией. Это нечто светлое, радостное и беззаботное. Не знаю, может быть, здесь сказывается разница поколений... Я, живя в Берлине, не испытывал никаких трудностей в воплощении моей сексуальности. У Реве же это всегда было связано с доминированием, унижением, осквернением, грязью. Он напоминал в этом Пруста, у которого тоже были фантазии на тему поливания грязью. Я говорил ему о том, что его представления о сексуальности мне чужды, что для меня сексуальность сродни шампанскому – это прекрасно, это доставляет удовольствие и нечего об этом долго говорить. Ответ на вопрос о сексуальности для меня содержится в том, есть она у конкретного человека или нет. Точка. Когда, летя в Израиль, я заполнял формуляр, то в графе sex я написал please. Вы смеетесь, но бортпроводники не нашли это смешным.

Герард примешивал к сексуальности черную магию, и ощущать это было отнюдь не приятно. Этот человек был ... как бы это объяснить... Он был узником мира, который сам создал в своем воображении. Он сам стал одним из своих персонажей. Именно поэтому было невозможно находиться с ним в подлинном контакте. Многие в нем было типично для новообращенных, для принявших другую веру. Он принял католичество и настаивал на важности этого поступка, но было ли это всерьез, никто не знал. Я считаю, что и это было элементом его конструктора ЛЕГО, с которым он мог замечательно играть и разыгрывать других. Как неопит он декларировал, что есть только одна единственная истинная религия, все остальные второсортные, но мог в другой момент добавить к этому, что иудаизм почти такая же по значимости и верности религия, как и католицизм. В родительском доме он воспитывался как коммунист... Из одной ортодоксии он перешел в другую, но при этом мог выступать, как откровенный

расист. Но если его при этом пытались обличать, как расиста или антисемита, – как Харри Мулиш, полемика с которым на эту тему в печати длилась годами, – то Реве вовремя делал шаг назад, заявляя, что все это было скрытой иронией, и тут же переходил в атаку: «Если ты не распознал, что это была ирония, значит у тебя нет ни чувства юмора, ни достаточного развития».

*– Это похоже на провокации с заранее продуманными путями отступления...*

– Он часто так делал и всегда предусматривал варианты самозащиты. Можно сказать, что это был его метод. Он хотел самореализовываться, в частности, подобными провокациями, но не хотел за эти провокации расплачиваться. Ведь его слова и действия ранили многих, но он не хотел терять определенных людей, не хотел расставаться с собственной репутацией, и можно сказать, что он был иногда все же слишком слаб для своих провокаций. Он не мог с достоинством переносить эхо собственных слов и действий. Ему не хватало стойкости.

*– И все же: в какой мере это была игра?*

– Я и сегодня не знаю ответа. Я встречал в своей жизни очень много сумасшедших. Некоторое время назад в кругу моих друзей появился человек, который рассказывал множество прекрасных историй о себе. И прошло полтора года, пока я не заподозрил нечто. А эта наша компания – в основном, журналисты и литераторы, т.е. весьма наблюдательные люди. И я сказал друзьям: «Стоп. Это все выдуманно». Это был типичный случай нафантазированной псевдожизни. Мы попытались тогда с этим человеком поговорить. Ничего не вышло, и мы с ним расстались. И я и по сей день не знаю, верил ли он, что рассказанное им произошло на самом деле, или не верил. Что касается Герарда, то важным было его одиночество. Он был очень одинок. Он сам своим образом жизни и поведением загнал себя в страшную изоляцию... В молодые годы ему уже пришлось лечиться в клинике от белой горячки. Реве, с которым я имел дело, часто бывал нетрезв. Так вот, отвечая на ваш вопрос: я думаю, что иногда он действительно играл свой спектакль и из него были возможны разные выходы, т.е. его воля была свободна, в других же случаях он был неким персонажем, который имел свободу действий только в пределах роли. Все это было нелегко для меня, молодого автора, желавшего получить из опыта общения с ним как можно больше, я желал большего обмена мнениями. Но это не удалось. Я быстро столкнулся с искусственно созданным образом Реве и, когда я это осознал, мне стало даже скучно. Мне были скучны его фантазии: например, как я приезжаю к нему в его дом во Франции. Но здесь все просто: я возбуждал его. Он же меня нет. Была большая разница в возрасте, и я уже в тот момент был с моим теперешним и уже тогда единственным постоянным

партнером. Мы вместе уже 16 лет. Я говорил Герарду: прекрати, пожалуйста, но он через некоторое время начинал снова. Он был как питбуль. Он был ма-няком, который щепившись во что-то, уже не мог остановиться и отпустить.

*– Каков интеллектуальный итог вашего общения с Реве?*

– Наша встреча была событием для обоих, и для меня это была встреча с невероятно сильной личностью. В этой встрече было и многое другое. Герард умел быть для тех, кто с ним сближался, невероятно забавным. Когда он звонил мне около полуночи, он мог находиться в совершенно деструктивном расположении духа, тогда он был депрессивен, маниакален и неизменно пьян, и это было ужасно. Но бывал он в такие часы и в хорошем настроении, и тогда можно было наслаждаться беседой с ним до двух ночи и хохотать до упаду. Он умел быть в такие часы необыкновенно остроумным и фантастически талантливо флиртовать. В разнообразии приемов флирта он был настоящим джентльменом старой школы, невиданным аристократом флирта. Беседа с таким Реве была наслаждением, и собеседник чувствовал себя с ним великолепно. Он чувствовал, что ему оказана честь. Неважно, был ли собеседник известной личностью или нет. Он чувствовал себя особенным. И я в такие минуты ощущал себя необыкновенной личностью.

*– Отразился ли такой Реве, умевший развлекать и флиртовать, в его произведениях?*

– Да, несомненно. Многие читатели его последних книг находят их скучными, но и в этих книгах то и дело встречаешь необыкновенно смешные пассажи и покатываешься со смеху. Это он умел.

Без сомнения, он был очень и очень крупной личностью. Такие фигуры, как Реве или Трумен Капоте, всегда отстаивали независимость художника, представляли ее и защищали там, где она подвергалась сомнениям и атакам. Этим они внесли огромный вклад, важный для нас, авторов последующих поколений. За это я благодарен Реве, а еще за то, что он представляет поколение, добившееся столь важной для моего и последующих поколений сексуальной свободы. Тем, что мы росли в относительно либеральном обществе, мы обязаны Реве и таким, как он. Я думаю так сегодня, но я думал так же и тогда, когда общался с Реве. Я за многое ему благодарен.

## ГЕРАРД РЕБЕ

### СКАЗКИ О КОРИЧНЕВОЙ КОЛБАСКЕ

#### *Скряга шеф-повар*

Милые ребята! Вы, конечно, сегодня вечером славно поужинали, но задумывались ли вы о том, сколько труда вложено в то, чтобы на ваших столиках появились все эти лакомые кушанья и сласти в исходящих паром мисках? Люди готовят по-разному. И все вы, конечно, слышали о том, что в разных странах, у разных народов обычаи и нравы очень непохожие. Фламандская кухня, например, гораздо лучше, чем о ней говорят.

В одной стране съедают листья, а кочерыжки выбрасывают, в другой как раз наоборот: съедают кочерыжку, а листья оставляют. Конечно, существуют и другие страны, где люди съедают и кочерыжки, и зелень, всё – вкусно приготовлено или нет. Например, можно положить на хлеб ломтики редьки. Иногда редька бывает похожа на всякие другие штучки.

Стало быть, в странах, где поедают всё, употребляют в пищу также желудок, кишки, Секретные Части, уши, голову и нёбо.

Но, разумеется, не всё подряд. Потому что существуют вещи, которые есть нельзя. Это вещи ядовитые или просто нечистые, например, старые гребни, очёски и кашки мясоедов и всеядных. Иногда кашкашка похожа на что-то другое: тогда это редька или еще что-нибудь. Поэтому я тоже всеядный. Какашки травоядных, наоборот, не грязные, но от них никакой пользы, потому что ценность кашки давно израсходована благодаря восхитительной экономичности человеческого тела, которое работает в 129 раз экономнее самого экологичного автомобиля. Ибо люди слишком часто выбрасывают все подчистую, потому что у них много денег.

Как-то слышал я от знакомых, что у них в миску с пудингом из миндального печенья упала старая расческа, попавшая к ним из дома престарелых. Пудинг стал некошерным, и его больше никто не хотел есть. Я им тогда сказал: можно ведь объесть пудинг, не трогая расчески? Но они ответили: можно, но смотреть неприятно. Пока суд да дело, расчески было уже не видеть, потому что она опустилась на дно миски! И они отдали этот пудинг соседям, хотите верьте, хотите нет! А я говорю: пожалуйста кушать! Приятного аппетита!

#### *Необычная похлебка Утенка Кряка*

Милые ребята! Послушайте рассказ об одном утенке, которого звали Утенок Кряк. В сущности, Утенок Кряк был порядочным грязнулей. Он совершенно не хотел, чтобы в его маленьком домике было чисто. Нет, он как раз хотел,



чтобы в его домике всё было донельзя грязное и заляпанное. Утеночек Кряк был довольно странным утеночком, вы не находите? Так что домик Утенка Кряка мало-помалу становился всё гнуснее и омерзительнее. Семья, знакомые и друзья Утенка Кряка начали стыдить его. Такая напасть! И вот однажды ранним утром все они явились к домику Утенка Кряка и сказали: «Утеночек Кряк, твой домик настолько запущен, что его просто необходимо отмыть. Мы сами об этом позаботимся». Они засучили рукава и принялись подметать, выколачивать пыль, скоблить, чистить и мыть, так что дым стоял коромыслом. И к полудню, – солнце уже заходило, – они управились с уборкой и отчистили домик Утенка Кряка сверху донизу. Теперь в его домике можно было в буквальном смысле есть с пола. «Ну вот, готово, – сказали они Утенку Кряку. – Теперь твой домик опять чистенький». И они ушли восвосяи.

Но Утеночек Кряк совершенно не радовался тому, что домик у него стал такой опрятный. Ему это не понравилось. К счастью, в школе у Утенка Кряка была одна учительница. Она была ведьма, но добрая, и даже научила его немножко колдовать. Поэтому Утеночек Кряк пошел в свою маленькую кухоньку, сделал там огромную какашку и положил ее в алюминиевый ковшик. Потом он налил в ковшик воды, чтобы какашка в ней плавала, поставил его на огонь и произнес волшебные слова. Едва только прозвучали эти слова, ковшик начал закипать, и пениться, и шипеть, и клокотать, да еще как! Какашка из попки Утенка Кряка, должно быть, была благословенна, потому что она вскипала все больше и больше, перевалила через край ковшика, через кухонный стол, растеклась по полу кухни, через порог дома, по всем комнатам, выше и выше, и вот уже из окон домика Утенка Кряка потекло по улице, потом по другой, из города в город. Скоро народ стал собираться у двери Утенка Кряка и принялся барабанить в дверь с воплями: «Утеночек Кряк! Прекрати варить свою мерзкую похлебку!» Но Утеночек Кряк не отворял двери и не обращал внимания на крики. Он наконец-то был счастлив. Он прошел подальше в коридор, улегся в свое кипящее и шипящее дерьмо и вскоре, умиротворенный, забылся сном. И если никто не выключил огня под ковшиком, он кипит до сих пор!

### ***Добрый урок***

Жил да был мальчик, и был он ужасно противный и гадкий. А еще он был очень непослушный и ленивый, и никогда не помогал своей маме мыть посуду. Да, милые ребята, я согласен с вами, что это был совсем никудышный мальчик! Но он был очень красив, и у него была умопомрачительная, изящная, милая, гадкая попка. Поэтому Св. Николай, который, как вам известно, лучший друг детей, просто потерял голову от этого мальчика. Вы все очень хотите получить что-нибудь в подарок от Св. Николая, но Св. Николай хотел получить кое-что от этого мальчика! Однако мальчика не интересовал Св. Николай, потому что тот был старый, толстый и лысый и весь в перхоти, и мальчик сказал Св. Николаю: «Поди прочь, старый распутник! Тебя вообще в природе не существу-

ет!» Представляете, как огорчился старый добрый друг всех детей Св. Николай! Он стал прикидывать, что бы такое придумать, чтобы проучить непослушного, ленивого, сладенького мальчишку.

Мальчик заявил, что Св. Николая не существует, и тем не менее в ночь, когда Святой ходит по домам, он поставил свой башмак в камин. Св. Николай это знал и на своей лошади приземлился на крышу дома, где жил мальчик. Вы все знаете, что Св. Николай прикрывает голый зад одним лишь платьем, совсем как Папа Римский и кардинал Алфринк<sup>1</sup>. Это-то как раз было очень кстати. Потому что Св. Николай слез с лошади, задрал платье над каминной трубой и уселся на нее голой задницей; а я забыл вам сказать, что еще негодный мальчишка заявил Св. Николаю: «Что до меня, то хоть обосрись!» И тогда Св. Николай выкакал огромную толстую какашку, и эта какашка проделала головокружительный путь из его задницы прямо через трубу, – ну, конечно, вы уже догадались, ребятки, прямо в ботинок мальчика, прямо в башмак гадкого, непослушного поганца.

Ну а вы наверняка уже получили шоколадного лягушонка или зверушку в зеленой или красной шелковой бумаге, а внутри у нее вкусные, мягкие розовые или желтые сопли, это же совсем другая история, верно? Хотелось бы мне, чтобы вы так же, как и я, увидели на следующее утро рожу этого противного мальчишки! Вот тебе и «старый распутник»! Ну что, парень, не жмут башмаки-то?

### ***Смекалистый охотник***

Милые ребятки, послушайте, что однажды случилось. Жил да был один охотник, и ходил он на охоту. Охотился он целыми днями не покладая рук, но, как ни старался, не удавалось ему подстрелить дичь.

Наконец, к вечеру, когда солнце уже заходило, он вышел в долину, и там, прямо перед ним, в царстве зеленых клубней, сидели по меньшей мере семь зайцев. Самый старый из них был крупнее всех, и сидел он, следовательно, посередине. Охотничек наш недолго раздумывал. Он проворно схватил патронташ, но какво же было его изумление и разочарование, когда он обнаружил, что там пусто! Вы уже поняли, да: он расстрелял все пули! Экая незадача! Но охотник не пал духом. Он же был охотник, поэтому быстроенько помолился за хороший выстрел, и молился он очень усердно. И вот ведь как вышло – его мольба была услышана: не прошло и секунды, как он стащил штаны, присел и выпалил из задницы твердейшей, длинной, тонкой какашкой, – ну чисто пуля! Наш охотник тут же понял, как надо действовать. Он молниеносно зарядил свое ружье порохом и вместо пули засадил туда какашку. Немедленно навел ружье, прицелился и нажал курок. Бабах! – пронеслось по долине, и необычная пуля просвистела с головокружительной скоростью так, что просто именины сердца. И тут же какашка, которой выстрелил охотник, попала старшему из

1 *Бернардус Йоханнес Алфринк (1900–1987), архиепископ Утрехта в 1955–1975 гг.*

семи зайцев прямо в лоб и разлетелась на тысячу мелких кусочков. Так случилось, что охотник накануне поужинал в городе и потому разлетевшееся дерьмо испускало премерзостную вонь. Да, ребятаки, большая длинная какашка, которую охотник использовал вместо пули и которая разлетелась на тысячи мелких кусочков, ударившись о лоб самого крупного зайца, воняла так ужасно, что все семь зайцев, включая самого большого и старого, тут же свалились в обморок. И теперь нашему бойкому охотнику осталось только засунуть всех этих зайцев в ягдташ.

Кушайте хорошо, вот что я хочу сказать. И если вы хотите, чтобы ваши щупленькие, резвые и игривые тельца оставались в добром здравии, уж позаботьтесь о том, чтобы они ежедневно выпекали свой добрый славный пирожок. Так что не только кусочничать весь день напролет, а каждое утро или в полдень делать совиную погадку, да покрупнее. Кто знает, вдруг вам всем в этом году Св. Николай подарит ружье!

*Перевод Ольги Гришиной*

## ФРИЦ АБРАХАМС

### КОШКИ ПИСАТЕЛЕЙ

Виллем Фредерик Херманс и Герард Реве любили кошек. Неудивительно, что в их корреспонденции регулярно фигурируют коты.

Иногда друзья весьма детально описывали свои приключения с котами. Как-то раз Реве предложил Хермансу новорожденного котенка, но Херманс, который тогда еще жил в Гронингене, счел, что двоих имеющихся вполне достаточно. Их звали Беллепус (или Белль)<sup>1</sup> и Калс, (по имени министра образования Католической Рабочей Партии, которого Херманс люто ненавидел). Третий кот, Бастиан, только что погиб. Его смерти Херманс посвящает жуткий пассаж в письме 1955 г.

«Пока я был два дня в Гронингене, Бастиана переехала машина. Его голова была сплющена в блин, один глаз вдавлен, другой выдавлен. Маленькая девочка на ходулях, которая нашла его и позвала меня, смеялась, когда я поднял его и стряхнул с него кровь. «Кажется, он свое отжил», сказала она. Даже кошачья кровь более не производит впечатления на детскую душу в эпоху атомарных клише. На следующий день я положил его в коробку и отнес на городскую свалку, где, по указанию мусорщика, пристроил в грузовик, полный уличных отбросов. По пути назад думал, что, как только я ушел, мужики, разумеется, заглянули в коробку, чтобы убедиться, не мертвый ли там ребенок».

Что бы ни случилось, Херманс оставался пристальным наблюдателем. Прочтя этот пассаж, я достал открытку, некогда купленную мною: Херманс с котом на руках, позирующий Эду ван Элскену. Лучшее фото с котом, которое я когда-либо видел. В первый раз я разглядел подпись: «В.Ф. Херманс с котом Себастьяном, 1955». Тот самый кот, незадолго до происшествия увековеченный со своим хозяином.

О Реве мы, благодаря этим письмам, знаем, что он, не задумываясь, засучивал рукава, чтобы помочь своим любимым котам – порой с обратным результатом. Ханни Михаэлис, в то время жена Реве, несколько писем которой также опубликованы, описывает в 1955 г., как тем летом их кошка принесла семерых котят. «Одного, милого, черного как смоль малыша мы оставили себе, но когда ему было 4 ½ недели, он погиб, после того как Герард заставил его (из чистой заботы) пить неразбавленное молоко через вентиляционную трубочку, потому что тот не прибавлял в весе».

К счастью, годом позже Реве сумел реабилитировать себя во время новых родов. На лучшем своем английском он пишет «Дорогому Виллему»: «В одиннадцать утра она сидела у печки со странным пузырем жевательной резинки, торчащим у нее из зада. Я вымыл руки, надел пыльник и приступил к оказанию

1 Belle – красotka (фр.)

помощи. Пузырь застрял крепко, но благодаря осторожной манипуляции пальцами мне удалось извлечь первенца».

Странный пузырь жевательной резинки – какое прелестное описание пленки, в которой находился котенок.

Впрочем, появился на удивление крупный котенок, которого Реве соглашался отдать, только если новый хозяин назовет его Тигром или Тигрой и кастрирует.

В 1968 г., когда их дружба с Хермансом уже была на излете, Реве сообщает, что у него теперь четыре кошки: Хрюшка Панда, Кинки, Мария и Князь Сатана, которого также называли Братишкой. «У тебя есть еще коты?», спрашивает он Херманса. Этим вопросом он словно хотел вернуть старую дружбу. Но ответа уже не получил.

*Перевод Ольги Гришиной*

## ГЕРАРД РЕВЕ

ИЗ СОБРАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ

*Боевые Псалмы (1962-1978)*

### **Кредо**

Нечего ждать, не на что надеяться:  
Остается только тьма и Смерть.  
Я знаю это, но не дрогну: кем бы Ты ни был,  
Я люблю Тебя, всем сердцем, всей Кровью.

### **Гимн М.**

Ты, всезнающая и всепонимающая,  
даже когда у Сына Твоего не хватает времени  
и терпения,  
Тебе, милая Мать, я пою эту песнь:  
выйдя из Тебя, возвращаюсь к Тебе.  
Уповаю на скорую встречу с Тобой.

### **Покаянный псалом**

Пропитанный спиртом, меланхолией  
и почтением к Деве,  
живу я во Фрисландии.  
Не моя, твоя воля свершилась.

**Разлука**

Забудь меня. Вычеркни  
из памяти.  
Пока Тебе однажды не попадется на глаза строка:  
«и в тишине нашел покой»,  
и Ты покачаешь головой, и путь продолжишь Свой.

**Сцена из жизни**

Одна немка по происхождению,  
– научившаяся орать уже во Фрисландии –  
против предания тела земле из-за случаев летаргии.  
Она хочет одолжить мне сочинение в трех томах  
про сотворение мира.  
Ночью, в глубоком сне мне во всем великолепии  
является Дева Мария,  
Которой я обещаю совершить поломничество в Лурд.  
Дату я не назначаю,  
чтобы не привязывать себя ко времени.  
Запыхавшись, я обгоняю Смерть.

**Плач в Страстную Пятницу**

Почитая Твою Смерть, я долго постился,  
и все это время не выпил ни капли.  
Вот видишь: все возможно под Богом.  
Но укажи мне – как урожаем этой убогой жизни –  
хоть одну стоящую строку.

### **Сосуд мудрости**

Сидя у окна, за которым ничего не происходит,  
как старик, изживший свое время,  
он опять залил глотку Кровью Господней  
и подумал, что все будет хорошо:  
под лиловыми лучами заиграет оркестр,  
и прозвучавшую песню  
попросят сыграть  
еще раз.

Его мутит от вина. Возникают вопросы. Долго еще?  
Исчезаем ли мы с лица земли бесследно?

### **Теология**

Богу мы снимся. И когда Он проснется,  
мы исчезнем навеки.  
Может, разбудить Его, или пускай поспит?  
На этот вопрос не ответит ни один священник.

### **Запоздалая набожность**

Вот и я стал одним из тех мясистых мужчин,  
которых сам, будучи нежным юношей,  
ненавидел при встрече в бассейне и на пляже.  
Что еще остается, кроме преклонения пред Тобой?



*Quia absurdum*<sup>1</sup>

Ты дописал книгу, бросил пить, получил права:  
разве тебе нужны еще доказательства существования Бога?

### **Ложная тревога**

Собрат по перу Кармиггелт<sup>2</sup> как-то много лет назад,  
увидел меня на улице, у кинотеатра  
– в окружении друзей я шутил и смеялся, и он подумал:  
«Кажется, он и вправду счастлив.  
Как мило, как повезло-то парню,  
но наша литература – в опасности».

### **Неделя книги 1973 года**<sup>3</sup>

За всю Неделю Празднования Книги  
в Королевстве Нидерландов  
в 1973 году от рождества Христова  
мне не попало ни одной книги о Боге, Любви  
или Смерти:  
ни одной содержательной книги,  
ни одной вразумительной книги,  
кроме моей.  
Все царство земное – мое. Или вернее:  
«Царство Мое не от мира сего»<sup>4</sup>?

1 *Верую, ибо абсурдно (лат.)*

2 *Simon Johannes Carmiggelt (1913–1987) – нидерландский писатель и фельетонист.*

3 *В Нидерландах ежегодно в марте проходит Неделя Книги – десятидневный фестиваль, посвященный книгам той или иной тематики.*

4 *Новый Завет, Книга От Иоанна.*

### **Апология**

Когда я принял католичество,  
моя седеющая шевелюра  
вновь стала темно-русой.  
Давление у меня понизилось,  
а годовые доходы росли день ото дня.  
У меня остались, конечно, некоторые сомнения,  
но, учитывая снизошедшую на меня благодать, я вынужден признать:  
Римская Церковь – это Истинная Церковь.

### **Творящий художник**

Чем старше я становлюсь,  
тем проще – несмотря на изысканные словеса –  
моя тематика:  
любовь (или ее отсутствие),  
и старость,  
и за нею – Смерть.

### **Стихотворение для моего сына Р.**

Теперь, когда сезон закрыт, друзья разъехались,  
вода стала холодной, и пустой воздух,  
увлажненный миллионами слезинок, молчит,  
теперь Господь возвышается во всем беспредельном Величии.

### **Искатель**

Я стою на краю земли  
и кричу: «Где Ты есть?»  
Мне отвечает эхо: «Ты есть? Ты?»

### **Беспечная богема**

Мы с Франсом опять пили безбрежно,  
а потом ссорились. Мне досталось бутылкой по башке.  
Но до выстрелов в чистом поле не дошло,  
и мое ухо еще при мне.

### **Верность**

Если телескоп не врет –  
и мы и вправду всего лишь песчинки,  
персть, горстка пыли случайно пущенная  
в бесплотное облако материи, в стихию вселенной –  
разве Господь послал бы собственного Сына  
нам во спасение?  
На костер его! Сжечь Галилея!

### **Мальчик**

На нем серые брючки, он прекрасен.  
Он взбирается на фонари и деревья  
в надежде, что кто-нибудь смотрит.  
Я смотрю, каждый день, раз за разом, подолгу,  
преклоненный у входной двери моего последнего пристанища  
я пристально гляжу в любовный перископ, узкий дверной визир  
смотрю, в робости своей надежно спрятав лицо от взглядов.  
Сколько ему лет? Как его зовут?  
Ходит ли он в школу? Или остается в деревне?  
Кто покупает ему одежду?  
Сколько лет ему было, когда его впервые  
возжелал другой мужчина?  
И сколько их было с тех пор, таких, как я –  
за дверью или окном преклоненных, не отводя глаз,  
в рукоблудстве напрасно искавших, как  
утолить бесплодную жажду любви?

### **Таинство**

Ночью, в беспокойном видении  
открылось мне, что Божья Матерь, вечная Дева,  
посреди поля сорвала с себя одежды и отдалась  
молодому Солдату, который тосковал по маме  
да еще и был девственником к тому же:  
это был стеснительный и неловкий мальчик, но Она,  
Спасенная, Вознесенная, Коронованная в вечности,  
тактично указала ему путь  
через светлый кустарник к глубокой пещере.  
Я слышал, как участилось его дыхание, когда она сказала:  
«Можешь меня куснуть»,  
и подставила плотные девичьи сиськи  
под его нежные детские зубки.  
Он пил до крови.  
Какая благодать: он у Ее груди,  
Она баюкает его.

*Стихи Пьяницы (1963-1976)*

### **Дорожная молитва**

Господи.  
Я стою на пороге, готовый отправиться в путь.  
Может быть, в последний раз.  
Я хочу любить Тебя.  
Я надеюсь в дороге никому не причинить зла.  
Я хочу бросить пить или хотя бы пить меньше.  
Вот я весь перед Тобой.  
Я знаю, что бы со мной не случилось –  
получу я ранение, найдет ли меня болезнь или смерть –  
я – Твой.  
Потому что и в жизни, и в смерти Ты во мне и я в Тебе.  
Я готов начать путь.  
Прощай, Господи.

### **Любовь**

Наконец-то Йозеф переспал со мной:  
вот теперь у меня есть мужчина.  
Я с гордостью семеню с ним рядом по улице,  
изредка поглядывая на него снизу вверх.  
Я стану носить блузки в цветочек.

### **Морские страсти**

У юных матросиков не было денег  
чтобы купить новые пижамки.  
Им сшили пижамки из старых  
матросских костюмчиков, сношенных до дыр.

### **Долг платежом красен**

В Индии были и такие солдаты,  
что не хотели с кровати вставать.  
Я вытаскивал их из постели: «Вперед,  
идет война. Ты должен воевать».  
В тот же день они погибали.

### **Река Лета**

Я когда много выпью, могу ночью нассать в кровать.  
Стыдоба для мужика 52-х лет.  
А в сущности все равно:  
в конце концов, кто, кроме Господа –  
если Он не перепутает меня с зоофилом Дролкерсом<sup>1</sup>  
или трактирной блядью Муллесом<sup>2</sup> –  
знает, что я там натворил.

1 Ян Волкерс.

2 Харри Мулиш.

*Бдительные псалмы (1977-1982)*

**Закат**

Когда-то я был молод и красив.  
Женщины, танцующие в моих объятьях,  
поднимались на небывалые высоты.  
Теперь мне никого и ничего не поднять:  
единственное, что осталось негибачаемым – это колени.  
Ах, куда же ты подевалась,  
моя сладкая, терпкая, бурная молодость?

**Слава**

«– А ведь вы, – говорит зеленщик, –  
наверное, наш лучший писатель».  
Люди просто так не болтают. Я имею в виду:  
Если бы это была неправда, он бы этого не сказал.  
Я молчу и смотрю в пустоту  
и думаю: «Зачем? За что? Почему?»

**Без сна**

Когда я не могу уснуть, ночной ветер  
доносит мне отзвуки гнева и страстей Господних.  
Но этот шторм перекрывают  
голоса легионов навеки  
потерянных душ,  
взывающих о справедливости.  
На что они надеются? Что они думают?  
Что они думают о нем?  
Что Он Сам о Себе думает?

**Вприпрыжку**

Когда на меня снисходит Милость  
и получается написать стихотворение про Него  
и воздать Ему должное,  
я знаю, что Он откупоривает бутылку вина и пускается в пляс.  
Он поет: «О-опля! Один римско-католический гомик написал  
стихотворение про Меня, вознаграждающее Меня по заслугам».  
И вот Он уже скачет, как безумный,  
и кричит: «Велики дела Мои.  
Все возможно в подлунном мире».  
Высоко поднимает Он бубен, Он слегка захмелел:  
Он не может остановиться.

**Колыбельная педофила**

Когда я слышу, как хор мальчиков поет –  
честь и слава Спасителю  
Иисус Христос аллилуйя –  
по моим щекам текут слезы,  
и я думаю: что будет с этими мальчиками?  
Это прекрасная вера, великая вера, к тому же истинная вера  
– плюс немного хорошей акустики, –  
но в чем прелесть  
пожизненного ожидания Того,  
Кто, к сожалению, никак не явится?

### **Откровение**

Они хотят, чтобы я писал  
на благо прогресса.  
Но я не могу писать, как они,  
хоть и происхожу от них.  
Я должен уйти в народ  
и превратиться в ухо:  
так что-нибудь да услышишь.  
Чего хочет народ?  
Ничего хорошего, это точно.  
Так что пора мне выйти на улицу  
со своим стягом,  
на котором начертано:  
Свобода! Болезнь! Старость!  
Слава Смерти!

*Перевод Светланы Захаровой*



# • ДОСЬЕ ЭРВЕ ГИБЕРА •

## АЛЕКСЕЙ ВОИНОВ

### ЭРВЕ ГИБЕР. БИОМАТЕРИАЛ

Прошло больше двадцати лет со дня смерти Эрве Гибера. За это время во Франции вышел фильм, снятый писателем, изданы произведения, которые Гибер не успел опубликовать при жизни, две биографии, воспоминания его друзей, диск, на котором записаны голоса Жана-Луи Трентиньяна, Жюльет Греко и других знаменитостей, читающих тексты Гибера, полностью посвященный писателю номер «Ревю Литтерер», альбом его снимков, предисловие к которому написал лауреат Гонкуровской премии Жан-Батист Дель Амо, сборник текстов, написанных о Гибере за последние десять лет. В Европейском Доме Фотографии прошла выставка его фоторабот, личных документов и писем. На русском языке в начале девяностых был опубликован самый знаменитый роман Гибера «Другу, который не спас мне жизнь». Теперь, после большого перерыва, в издательстве «Kolonna Publications» в моем переводе вышли книги «Путешествие с двумя детьми», «Одинокие приключения», «Призрачный снимок», «Без ума от Венсана» и «Гангстеры».

«Кто такой Эрве Гибер?» – вопрос затруднительный. За тридцать шесть лет он успел сделать столько, что обозначить его профессию одним словом, не прибегая к перечислению, сложно и несправедливо. Он был журналистом, первым, кто ввел в обиход периодической прессы понятие «фотокритик», талантливым фотографом, сценаристом, получившим в соавторстве с Патрисом Шеро «Пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах за сценарий фильма «Раненый человек», продолжателем гей-темы во французском кино, режиссером, провокационным порнографом, нарушителем устоев, знаменитым писателем.

В его жизни не было из ряда вон выходящих происшествий – однако, все достойно быть описанным и преображенным, – для Гибера любое событие имеет колоссальное значение. С другой стороны, все эти обыденности приводят порой к неожиданным поворотам, как, например, визит на виллу Джини Лоллобриджиды или знакомство с Роланом Бартом. Подобное «перетекание» повседневного в чудо, а чуда в повседневное служит одним из ключей к тому, о чем писал и что снимал Эрве Гибер.

Он родился 14 декабря 1955 года и первые годы провел с родителями в Париже. Его отец был ветеринаром, затем работал в санитарной инспекции. Мать, пробыв полгода учителем начальной школы, решила заниматься семьей и осталась с Эрве и его старшей сестрой. Будние вечера дома, воскресный рынок, отец на работе, мать мечтает модернизировать кухню и купить новый

обеденный стол. Отцу в семье принадлежит абсолютная власть: он запрещает жене пользоваться косметикой и диктует, как ей одеваться и вести себя, она беспрекословно подчиняется. Первые выходы Гибера «в свет» – визиты к двоюродным бабкам, Сюзанне и Луизе, которых он очень любил и о которых потом много писал. Они, казалось, были готовы ради него на все: позднее он фотографировал их в кожаных намордниках, заставлял позировать, лежа в ванной и распутив седые космы, снимал на видеокамеру и разговаривал с ними о смерти. Луиза после учебы жила в монастыре, потом работала в аптеке и страховой компании. Она любила сентиментальные романы, оперетту и полностью подчинялась авторитарной Сюзанне, бывшей скрипачке.

На несколько лет семья уехала в Ла-Рошель, где отец получил новое место. Жизнь на природе, возле городского парка. Все те же уныние и скука, за исключением каникул, когда семья отправляется в путешествие на автомобиле. В своих книгах Гибер создал образ болезненного ребенка. Однако, как утверждала после его смерти сестра, он просто любил все романтизировать и переиначивать. Сам Гибер называл такой подход «правдивой ложью». К примеру, в книге «Мои родители» он описывал, как при его рождении мать кричала «Только бы он родился мертвым». Возможно, писатель придумал эту деталь, но он действительно был не очень желанным ребенком. Гибер утверждал, что рос в среде лицемерия. Если даже предположить, что это «правдивая ложь», для нее были основания. Быть может, поэтому Гибер так любил оставаться у своих старых родственников.

Чтобы отыскать правду, нужно изучить не только две вышедшие биографии Гибера, но и множество других свидетельств. Сам же Гибер часто себе противоречит. Говорить с оттенком двойственности – черта, для него весьма характерная. С одной стороны, он описывает «лицемерие» в семье, с другой – бесконечную заботу отца, который укладывал сына спать, протирая ему ноги одеколоном и рассказывая истории. Укрыв маленького Эрве плащом, отец проводит его на фильмы, запрещенные детям до 18: они вместе смотрят «Виридиану», «Теорему», «Три шага в бреду». Эрве влюбляется в образы, в картинки, в «порочных героев», что находит отражение в книге «Призрачный снимок» и первых фотоработах.

Получив образование, в 17 лет Эрве Гибер возвращается в Париж. До этого он недолгое время играл в детском театре в Ла-Рошели, теперь же пробует поступить в театральное училище. Позже писатель скажет, что не хотел становиться актером и понял это только накануне экзаменов. Он пытается пройти конкурс в киношколу, но и это не получается. Один из преподавателей вспоминает, что Гибер был очень талантливым, но излишне принципиальным. Вскоре Гибер направляется в редакцию глянцевого журнала «20 лет», и далее сжимавшаяся все сильнее пружина будто выстреливает: его обаяние берет верх, и теперь так будет всегда. Его принимают на работу, перед ним открываются все двери. Как и преподаватели в профессиональных училищах, его коллеги отмечают одержимость Гибера литературными идеями и сюжетами.

У журналиста Гибера полный карт-бланш. Спустя некоторое время он, мечтавший работать в газете «Монд», делает очередной решительный шаг: приходит в отдел культуры и просит о встрече с начальством. Но редактора отдела нет на месте. Вернувшись, Ивонн Баби, пораженная решительностью молодого человека и рассказами о его настойчивости и обаянии, сама перезванивает Гиберу. Она хочет придумать новый подход к освещению событий культуры и, заметив заинтересованность ангелоподобного юноши, предлагает ему заняться статьями о кино и фотографии. Гибер говорит, что о фотографии ничего не знает. «Тем лучше, – отвечает Баби, – узнаешь», и берет его на работу.

Через три года после приезда в Париж Гибер знакомится с Тьері Джуно. Джуно работает в центре социальной помощи глухим. По многим причинам Джуно и Гибер не могли быть вместе, однако они будут любить друг друга всю жизнь. Подруге Джуно, Кристине, не удастся от него уйти. Она принимает его любовь к Гиберу, а Гибер принимает Кристину.

В 1977 году Гибер публикует свою первую книгу «Смерть напоказ» и отправляет экземпляр Ролану Барту. Обожающий книги Барта Гибер нуждается в нем, как в наставнике. Между ними завязывается переписка, затем Барт назначает встречу. Гибер уже посещал его лекции, но они ему не понравились. Он ждет совета, однако Барт не дает никаких рекомендаций, говорит, что Гибер сможет справиться сам. Тогда же у Гибера начинается роман с Мишелем Фуко. Гибер постоянно влюбляется и о своих увлечениях рассказывает Тьері: посвящает ему книги, пишет о нем и о прочих любовных подвигах и трагедиях, – Тьері всегда рядом, хотя порой и настроен критически. Лет через пять после знакомства с Фуко в мастерской фотографа Бернара Фокона Эрве Гибер встречает мальчика по имени Венсан. Он станет еще одним возлюбленным писателя и постоянным героем его произведений. Венсану Мармузесу посвящены «Без ума от Венсана» и «Гангстеры». Эти два романа выйдут чуть позже, а пока в одном из самых интеллектуальных издательств Франции «Минюи», во главе которого стоит легендарный Жером Лендон, появляются книги «Призрачный снимок», «Одинокие приключения», «Путешествие с двумя детьми», – последняя также о Венсане.

Журналист Гибер встречается с огромным количеством людей. Некоторые из них занимают в его творчестве особое место. И первая – Изабель Аджани. Гибер фотографировал ее, писал о ней, сочинял сценарии. Актриса согласилась сниматься в фильме по мотивам биографии гермафродита Эркюлина Барбена, Гибер раздобыл денег, но в решающий момент Аджани «пропала». Для Гибера это было предательство, одно из многих, о которых он позже напишет в романе «Другу, который не спас мне жизнь». Аджани же до сих пор уверена, что предателем был Гибер.

Другой, самый близкий друг – Матье, сын Жерома Лендона. Гибер повеял ему все тайны. Вместе с Матье и писателем Эженом Савицкая, в прозу которого он был влюблен, с 1987 по 1989 год Гибер гостил на знаменитой писательской вилле Медичи. Еще один друг Гибера – фотограф и культурный

деятель Ханс-Георг Бергер. Сделанные им фотопортреты Гибера собраны в двух фотоальбомах, вышедших в издательстве «Уильям Блейк». На вилле на острове Эльба, куда Бергера пригласили восстанавливать старый монастырь, Гибер часто гостил. Там же он был похоронен. Еще одна важная фигура в жизни Гибера – фотограф Бернар Фокон, с которым они вместе путешествовали. О поездке в Марокко Гибер написал роман «Путешествие с двумя детьми» (1982) и издал с Фоконом несколько фотоальбомов у «Блейка».

Параллельно с публикациями в «Минюи» Гибер в 1985 году начинает печататься в «Галлимаре». В это время у него и Тьеры появляются симптомы непонятной болезни. В конце 1988 года Гибер признается близким: он болен СПИДом. Более того, заражен весь их тройственный союз. Выходит его книга, написанная на вилле Медичи, «Инкогнито», в которой одним из героев становится сама эта непонятная, неизученная еще болезнь. В том, что он заразился, Гибер винит Фуко, умершего от СПИДа, и в 1990 году издает «Другу, который не спас мне жизнь». Это одна из первых больших публикаций, посвященных СПИДУ. Вот она, долгожданная слава, книга расходуется огромными тиражами, Гибер рад, но понимает, что надежды на выздоровление нет. Он измучен бесконечными посещениями больниц, анализами и исследованиями. Гибера приглашают в телестудии, он замечает, что приобрел публику, которая раньше его книг не читала. Однако он изнурен болезнью и решает прекратить писать. Очередное лекарство создает иллюзию выздоровления. Гибер скрывается на острове Эльба. Местные жители, зная о его заболевании или нет, заходят к нему в гости, угощают его, говорят с ним. Возможно, так было и раньше, но только теперь Гибер замечает доброту и отзывчивость посторонних. В 1991 году он снимает фильм «Стыд или бесстыдство»: 25 кассет по 45 минут черного материала. Это история умирания. Главный и единственный персонаж – сам Гибер. Однако, как и в книгах, его «я» принимает характер самостоятельный, универсальный.

Новому лекарству удалось отсрочить финал, после короткой паузы Гибер снова пишет, «как сумасшедший». Книга «Жалобный протокол» (1991) стала продолжением «Друга»: Гибер находит иной подход к описанию переживаемых им страданий, по его словам, «этот текст оказался в каком-то смысле ближе всего к христианскому повествованию»; в конце появляется иллюзорная надежда на будущее. В книге «Рай» (вышла в 1992 году, уже после смерти писателя) Гибер рассказывает о своей знакомой, мечтающей познать Рай; это уже совсем другой сюжет, чужая история.

Понимая, что и его, и Тьеры скоро не станет, Эрве Гибер делает предложение Кристине. Главная цель – обеспечить будущее детей Тьеры, оставив им авторские права. Полагая, что он погибнет сейчас же, если не будет двигаться, Гибер продолжает путешествовать. Среди последних его поездок – Япония, Майорка. На Майорке он гостит у Мигеля Барсело, который сделал более двух десятков портретов Гибера. Затем Африка: «Об Африке лучше мечтать, нежели путешествовать». Болезнь окончательно побеждает, писатель почти ослеп. На-

кануне дня рождения он принимает гигантскую дозу таблеток, не в силах выносить боль. Через две недели, 27 декабря 1991 года Эрве Гибер не стало. Тьерри Джуно умер спустя полгода, 14 июля 1992 года. Венсан Мармузес покончил с собой 8 февраля 2011 года, когда в Европейском доме Фотографии открылась выставка, посвященная Эрве Гиберу.



Критики отмечают, что, публикуя в 1981 году книгу о фотографии, Гибер ориентировался на работу Барта «Camera lucida». Эти две книги нельзя не сравнивать, однако, скорее всего, Гибер хотел дать литературный ответ любимому писателю, дружба с которым так и не состоялась; не стоит забывать, что к тому времени уже вышла другая книга Гибера – фотороман «Сюзанна и Луиза». У него был и собственный фотографический опыт, он работал фотокритиком в «Монд», что позволило ему, в частности, познакомиться с владелицей одной из первых фотогалерей в Париже, где устраивались выставки и продавались снимки именитых мастеров, Агатой Гайар. Она вспоминает: «Гибер на каждого производил впечатление, что искренне любит этого человека, и только потом возникал вопрос, а кого Эрве любит по-настоящему?» Гайар, признающаяся, что входила во «второй» круг Гибера, то есть не принадлежала к его «семье», тем не менее, была близким ему человеком; осенью 1984 года в ее галерее состоялась выставка фотографий Эрве Гибера, к которой был приурочен выход первого небольшого каталога фотографий писателя «Одно-единственное лицо». В предисловии Гибер, много написавший к тому времени о чужих работах, рассказывает о своем увлечении фотографией, а в самом каталоге раскрывает имена персонажей своих книг, которые в предыдущих текстах обозначались только инициалами.

Гибер был не единственным писателем, публиковавшим книги, где с текстами соседствовали фотоработы: Маргерит Дюрас позже выпустит альбом, в которой она комментирует снимки Элен Бамбергер, Жюльен Грин писал тексты к ряду знаменитых и неизвестных фоторабот. Гибер подготовил несколько альбомов с Хансом-Гергом Бергером. В 1984 году они решили выпустить книгу о путешествии по Египту с текстами и снимками. Заручившись издательской поддержкой, они, подобно Гюставу Флоберу и Максиму Дюкану, вместе отправились в путь от Каира до Асуана. Эрве Гибер решил каждый день, не отправляя, писать письмо одному из друзей, а Ханс-Георг Бергер снимал писателя на фоне пирамид, пустынь и оазисов. Книга «Египетские письма» была опубликована лишь в 1995 году, после смерти Гибера.

Многие из близких Эрве Гиберу людей вспоминают его сильнее всего обаяние и ослепительность облика, говоря, что у этой его стороны была сторона обратная, «темная»: некоторые не могли простить, что Гибер рассказал чужую историю в своей книге, использовал некий факт или деталь в литературных

целях. Эту двойственность писателя мы вновь наблюдаем, читая «Псов». Когда «Псы» были опубликованы в «Минюи», знаменитый автор этого издательства, Маргерит Дюрас, хотя и сама часто весьма откровенно описывала сексуальные сцены, по словам Гибера, «объявила ему настоящую войну» и сделала все, чтобы помешать его дальнейшим публикациям, якобы даже пригрозила Жерому Лендону, что отнесет рукопись романа «Любовник» в другое издательство. Гибер ответил ей текстом «Мой денщик и я», где описал стоящий в лесу завод, задачей которого было уничтожать и перерабатывать книги Дюрас. Когда Эрве Гибер писал «Псов», одним из его главных желаний было создать текст, способный понравиться Мишелю Фуко. Тот, однако, никогда не говорил Гиберу об этой книге. Три текста, которые мы публикуем, посвящены друзьям Гибера: «Лицо» – Агате Гайар, «Письма» – Хансу-Георгу, а «Псы», если расшифровать инициалы, – Кристине и Тьеру Джуно.

## ЭРВЕ ГИБЕР

### ОДНО ЕДИНСТВЕННОЕ ЛИЦО

Когда я пишу, меня ничто не сдерживает, у меня нет никаких препятствий, никаких сомнений и угрызений совести, потому что в этой игре участвую только я (все остальные оказываются абстрактными персонажами, обозначенными инициалами), когда же я фотографирую, есть другие люди, родители, друзья, и я всегда опасюсь: не предаю ли я их в этот момент, превращая в объект созерцания? Этот вопрос, к счастью, быстро отгоняет прочь иная мысль: показывая другим, незнакомым людям, проходящим мимо и, быть может, равнодушным (я могу также представить их соучастниками), людей мне знакомых, людей мною любимых, – я делаю лишь одно – что-то замечательное, прекрасное, как мне кажется; в любом случае, это цель любого моего занятия, любого моего творческого притязания: я высказываю свою любовь.

Думаю, мой опыт фотографа может быть интересен только в плане сопоставления фотографии, в этой упрямой, осторожной, недоверчивой манере заниматься ею. Я снимаю довольно мало, как любитель, я беру фотоаппарат только когда уезжаю путешествовать. Поэтому фотографии, которые можно увидеть в этой книге<sup>1</sup>, сняты в Италии, в Испании, в Польше, в Чехословакии, в Соединенных Штатах; тем не менее, на этих фотографиях нельзя различить, распознать ни одну из упомянутых стран, они могли быть сняты в парижском пригороде, где угодно. Тем не менее, они совсем другие, ибо ощущения иной страны, пьянящая усталость поездки, острота чувств, полагаю, в них отражаются. Любимый человек находится в пределах моей досягаемости постоянно и в каждодневной парижской жизни, но только лишь вдали, на контрасте, когда мы вдвоем посреди чужестранной земли, у меня возникает желание фотографировать его; освободившись от привычек, потерявшись среди непостижимых звуков, он становится персонажем дневника путешественника.

Я хотел бы рассказать забавный случай, потому что он кажется мне показательным для моей ситуации или для моего существования в фотографии относительно некоего ориентира, некоего эталона качества, неоспоримости, которым служит Картье-Брессон. Недавно я пошел с ним и другими людьми в Чехословакии на выставку фотографий, задуманную его подругой Анной Фаровой<sup>2</sup>. Выставка проходила в сельской местности, в ста километрах от Праги,

1 Текст опубликован в одной из первых иллюстрированных книг Гибера *Le seul visage* (1984). (Здесь и далее прим. переводчика).

2 Анна Фарова (1928 – 2010) – франко-чешский фотограф, историк фотографии, особенно знамениты ее монографии о Картье-Брессоне и Роберте Капе. Участвовала в антикоммунистическом движении в Чехословакии.

в древнем монастыре, возведенном на сваях на болоте. Эта выставка была таким событием для жителей столицы, таким символом свободы, таким выражением протеста против несправедливости и в защиту самоопределения, что казалось, будто они поднимаются в воздух, подобно струям нелетучего газа, волнующей пелене, собравшей всех воедино. Анна Фарова произнесла речь, потом толпа устремилась в небольшую круглую часовню, освещенную мягким светом, струящимся сквозь отверстие в куполе; вскоре должна была заиграть музыка. Мы с Картье-Брессоном входили последними и оказались прижаты друг к другу у стены возле самых дверей часовни. Щелчки фотоаппаратов прекратились, настала торжественная тишина, послышался почти погребальный плач единственной скрипки. Тогда я позабыл о присутствии Картье-Брессона, так как заметил, что среди человеческого леса, теснившегося впереди и повернувшегося ко мне спиной, смотревшего, вероятно, на музыканта, виднелось будто бы предназначенное специально для меня в неуловимой игре случая, распорядившегося расстояниями меж фигур, путаными движениями плеч и голов, чье-то лицо, то самое, единственное, что оказалось прямо напротив меня, помещенное, будто драгоценность, в совсем маленький просвет в точности с противоположной мне стороны, оттесненное к другому краю круглой часовни, словно мое отраженье в пространстве. Я мгновенно полюбил это лицо до безумия. Для меня это было мгновение в самой сути своей фотографической. Если бы я сдвинулся на несколько миллиметров вправо или влево или если бы сдвинулось это лицо, видение бы пропало, лицо исчезло. Я быстро настроил фотоаппарат на бесконечность и сделал снимок.

Через несколько секунд я почувствовал, что Картье-Брессон справа от меня задвигался. Он часто поворачивался налево, и, повернувшись в свою очередь, чтоб проследить за его взглядом, я увидел небольшую группу людей, очень красиво освещенных тонкой полоской света, струившегося из проема в куполе: они двигались вместе с толпой, поочередно поднимая головы, дабы осмотреть свод часовни, то, как построено это занятое ими пространство, предназначенное, чтобы слушать музыку. Картье-Брессон никак не мог успокоиться, пока картина не замерла, не стала сбалансированной, совершенной. Очень резко он снял чехол с объектива и, – пока я изо всех сил старался прижаться к стене, затаив дыхание, дабы не мешать ему, – украдкой, в два-три движения, сделал снимок. Тогда я уловил что-то удивительное и незнакомое в его лице (которое я немного знал и наблюдал в различных ситуациях): снимок был сделан, но Картье-Брессон повернулся к группе в последний раз, словно чтобы убедиться в этой картине, и тогда я поймал взгляд, который можно увидеть, когда уходят прочь после того, как казнь состоялась. Никто из этих людей, конечно, не интересовал Картье-Брессона, только лишь игра света, сложившаяся в толпе геометрическая аномалия.

Тогда как для меня, сделавшего снимок, – и, конечно же, я не сравниваю себя с Картье-Брессоном, – фотография была лишь мимолетным проявлением чувства к этому лицу и нашего с ним душевного единения. Позднее, каждый



раз, когда люди расходились, чтобы воссоединиться в каком-нибудь ином месте, будь то выставочный зал или столовая, я искал в толпе это лицо, и когда его обнаруживал, делал снимок с того расстояния, которое нас разделяло, словно это была некая сближающая нас связь, притяжение, возникшие благодаря случаю; игра наугад с пространством, где ставкой было желание. Все мое единение с этим лицом шло через фотографию, так как фотография была и средством к нему приблизиться (подобно льву, который, как я себе представляю, ходит кругами вокруг жертвы).

Я буду говорить открыто – быть может, почти резко, потому что нет иного способа рассказать об этом: три недели назад моей матери удалили раковую опухоль, и после операции я увидел старую женщину с желтым лицом, которая шла, пошатываясь, по коридору, с дренажной трубкой в руке. Освещение в больнице было замогильным: когда мать легла в кровать, это освещение подчеркивало впадины вокруг глаз, вырисовывая на месте лица череп. Не было и речи о том, чтобы сфотографировать мать в такой ситуации, я даже подумал, что больше никогда не буду ее снимать. Мне пришло в голову, чтобы как-то провести время, – тянулось оно медленно, разговор не клеился, – попытаться ее нарисовать: это к тому же была возможность смотреть на нее, любить ее, беседовать с ней в тишине. На следующий день я принес в кармане блокнот для рисования и карандаши, но положил блокнот на стол, на котором стояли цветы, и взял его только, когда уходил, не сделав ни одного наброска: я побоялся, что испугаюсь собственного рисунка и, так как я в любом случае должен буду показать его матери, испугать и ее.

Через три недели машина скорой помощи перевезла ее в клинику в пригороде на облучение. Я приехал ее навестить. В коридоре, направляясь к двери с номером, который уже выучил наизусть, я сразу увидел луч очень яркого света. Я вошел в просторную, хорошо освещенную палату, свет из большого окна наискосок освещал мою мать в постели. И сразу же этот свет восстановил мою связь с матерью или, скорее, с образом матери и надеждой, что она выживет. Я захотел сфотографировать ее. Я сказал ей, что она красивая, и точно так же подумал. Впервые я подумал, что она выживет: свет, падавший на ее лицо, возвращение фотографической привлекательности служили тому гарантией.

ПИСЬМА ИЗ ЕГИПТА  
*Из Каира в Асуан, 19...<sup>1</sup>*



*Каир, 19 марта 19...*

Моя Сюзанна<sup>2</sup>,

из-за тебя мне все сложнее покидать Париж. Боюсь, что ты умрешь, что ты меня не дождешься; но как я могу оказаться возле тебя именно в этот момент? Если только с твоего согласия буду все время рядом, ты ведь знаешь, как я люблю сжимать твои пальцы или касаться рукой твоего лба. Смерть кажется мне теперь отвратительной абстракцией; я слушал вчера, как ты говоришь, я слушал, как любимый голос, который столь чудесно повествует о прошлом, описывает разные детали и запутанные случаи, рассказывал историю твоего деверя, это был настоящий роман, и я с горечью думал о том, как несправедливо, что здание твоей памяти должно исчезнуть. Ты оставила мне несколько камней или несколько комнат, если воспринимать эту жизнь, как некую разновидность дома, в котором, мне кажется, я живу или мог бы жить. Видишь, я сегодня меланхолично настроен. Я провел ужасную ночь, не мог заснуть до тех пор, пока не отыскал в кармане брюк последнюю таблетку снотворного Луизы. Все мое тело было покрыто насекомыми. Я включил свет, чтобы осмотреть постель, но там ничего не было. Гостиничный номер всю ночь, хотя окно девятого этажа оставалось закрытым, тонул в шуме концерта автомобильных клаксонов: вот, я нашел слова, чтобы описать это, и от них никуда не деться. Я никогда такого не слышал: никакой передышки. Если бы можно было представить, что эти едва отличимые друг от друга с короткими переливами звуки исходят от небольших клаксонов, на которые жмут люди в кафтанах и алых тюрбанах, приветствуя каждую звезду в небе или скорый рассвет, то все бы закончилось тем, что их слушали бы, словно музыку, цепenea от ее монотонности, но в ней нет уже ничего человеческого, ее издают металлические нервные системы, ставшие механизмами. Это всего лишь автомобили. Редкие сирены, велосипедные звонки или записанные на пленку заклинания составляют паузы в оглушительном отсутствии тишины. Мотив страдания этой ночью – шум двух взлетающих самолетов: мне бы хотелось уехать обратно. Я совсем не видел Египта. Лицо Ханса-Георга<sup>3</sup>, успокоившегося оттого, что мы снова с ним встретились, впитало в себя все, что я видел за окнами машины, которая везла нас к отелю;

1 Эрве Гибер путешествовал по Египту в 1984 г. «Письма» были опубликованы в 1995 г.

2 Двоюродная бабушка Эрве Гибера. Ей и ее сестре Луизе Гибер посвятил ряд произведений, в том числе книгу «Гангстеры» и фотороман «Сюзанна и Луиза».

3 Ханс-Георг Бергер, фотограф, близкий друг Э. Гибера. «Письма из Египта» вышли с его снимками.

в вестибюле я обратил внимание лишь на какую-то мелодию. Тоненькая неприятная струйка воды в душевой. Мы в старом английском отеле, горевшем в пятидесятые годы: когда я, ощутив легкое головокружение, склонился над балконом, мне показалось, что я вижу среди огней на другом берегу всполохи пожара, как поднимается, наполняя воздух, людское страдание. Но сегодня утром Нил напоминает Сену. Я никогда не думал о подобном сравнении. Я теперь слишком стар или еще слишком молод, чтобы путешествовать. Главное, что у меня больше нет иллюзий. Мне кажется, я чувствую наше истинное положение в этой стране, в нем нет ничего ни славного, ни подлинного и еще меньше вечного. Именно от этого я почувствовал боль вчера при отъезде: я удалялся от того места, где должен был находиться, от места, где должен находиться рядом с тобой в то самое время, когда тебе грозит смерть. Я удержался, чтобы напомнить тебе об этом из аэропорта, сказав: не умирай. Я правильно сделал: твоя рука, машущая мне из окна, в то время как я удаляюсь в саду, значит больше, чем эти несчастные пожелания. Не умирай. Я думаю о тебе.<sup>1</sup>



Каир, 19 марта 19...

Мой Эжен<sup>2</sup>,

посещение большого Каирского музея напомнило мне о тебе. Я о нем слышал, но он оказался совсем другим. С тех пор, как твой медальон на моей груди, мои мысли о тебе не столь мучительны. Моя мать долгое время носила крестик-витафор, рекламу которого увидела в женском журнале, этот мерзкий равнососторонний крестик должен был принести ей удачу и процветание, со временем он лишь слегка источил плоть, которой касался. Что принесет твой медальон? Ведь я решил, – может, я не должен в том признаваться, – что он украсит мой труп? Большой Каирский музей, конечно же, вызывает мысли о смерти.

Я возвращаюсь к этому письму утром (20-го марта), у меня больше нет особого желания писать. Я спал с берушами. Ханс-Георг звонит в «Люфтганзу», чтобы забронировать себе обратный билет. Телефон не работает, тут повсюду какие-то сложности. Я больше не хочу видеть ни Египет, ни пирамиды, я хочу оказаться в каком-нибудь саду, я устал, всё это недостойные слова. Можно увидеть восхитительные фразы, напечатанные на машинке под арабской вязью, в витринах Каирского музея, где белые шарики от моли кажутся хлороформом, усыпившим все образцы: «Редкой красоты шкатулка слоновой кости», «Изящное детское креслице», «Иератическая надпись на крышке обозначает, что эта шкатулка принадлежала Его Величеству в детстве». На каждом золотом листке,

1 Сюзанна умерла 16 января 1991 г., Эрве Гибер умер в том же году: 27 декабря.

2 Эжен Савицкая, бельгийский писатель, близкий друг Эрве Гибера. Они вели своего рода «переписку», упоминая друг друга в своих книгах.

у ног чудовищ возле погребального ложа я видел твоё тело, мой Эжен, то нагое, то в убранных, то с извлеченными внутренностями, то живое. На подпорках этих постелей, – из металла или из дерева, – обличья и морды, готовые укусь, подобия гиппопотамов и псов, карающие руку, что могла бы приблизиться к твоему трупу и осквернить его. В приоткрытых ларцах я видел сцены твоей минувшей жизни, если ты пожелаешь туда вернуться, твоя взбалмошная ветреная голова сможет побороть потерю памяти: с десяти лет ты был королем, тебе надели эту тиару из перевившихся змей, словно устройство для трепанации, и эти плетения податливого золота, что звенели на твоём затылке; в девять лет тебя женили на девственнице моложе тебя, восемь лет ты издавал детские законы, которые вершились в стране чумы, мора, оргий, несварений желудка у крокодилов, коим ты приносил в жертву древность стариков, инцесты меж братьев, целомудрие женщин, священность животных. Ты короновал обезьяну, ты заставил фаворита съесть у тебя на глазах кишки пеликана. Голову твою нашли разбитой палицей на тысячи кусков под прятанной лицом маской в самой глубокой могиле, ученые постановили, что её разбили, когда тебе было восемнадцать. Ночи напролет одной рукой ты сжимал трещотку-скипетр, в другой держал стрелу и голыми ступнями в сандалиях попирал хребет черной пантеры. Днём, на барке, столь же проворной и тонкой, ты отправлялся на охоту. Ты начал собирать сокровища для своего саркофага; ты потребовал, чтобы воспроизвели в миниатюре, дабы ты мог опять без труда побороть их, тела и лица твоих врагов. Ты повелел изготовить глиняные копии всех воинов твоих армий, отображая все их размеры, особенности строения, вплоть до заболеваний кожи. Ты повелел подготовить декорации для жизни возле реки, украшенные гибкими зонтами, подголовниками, париками, румянами, головными повязками, горжетками, потухшими зеркалами, которые неизвестно что отражали, – сердце или низ живота, – раковинками, наколенниками, чешуйками чистого золота, обожавшими прикасаться к изгибам твоих ступней. Ты повелел препарировать, забальзамировать, а затем убрать в сундуки красивейших зверей твоего зоопарка, дабы их повели вместе с тобой к самому центру твоей пирамиды, и они там тебя охраняли. Но прежде, в сопровождении землемера и садовника, ты растянулся на мягкой земле оазиса, ты повелел изготовить в огромных чашах отпечаток твоих очертаний, дабы потом эту форму возвели по всей стране здесь и там; ненавидя статуи, ты хотел, чтобы она снова восстала повсюду. Твоё тело погрузили на тридцать дней в соляной раствор; из боязни, как бы соль не изъела твои ноги, их защитили золотыми чехлами, обернули горячей золотой фольгой. Подготовили особым образом твои гениталии, что были бесплодны, и расположили твой член для поклонения так, как если бы он стоял. Ты изнурил плотников, чтобы возводили они склепы со сводами все более гладкими, все более непроницаемыми, все более и более обширными или же совсем небольшими, дабы вкладывались они один в другой, и ты проскользнул в них со снова зашитой главой, расстроив замыслы грабителей и некрофилов. Я видел четверо большую урну, что служила хранилищем твоей печени, мозга, кишок

и почек, четырежды смотрел я на твое лицо, дважды одно было прямо против другого, то были неосторожно целующиеся двойники, вырезанные из снежного мрамора на крышке. Ты лишился наследства визиря, который тебя обманул, и ты ушел к Нилу в сопровождении кастрированных шакалов, спрятавшихся под покрывалами. Я узнал на слишком синих фигурках, вытканых на коврах твоего мавзолея, лица твоей матери, братьев, отца, одного мужчины и одной девушки. Твои кисти и твои чашечки для чернил были уже раскрадены. Рад ли ты хоть немного, что узнал кое о чем из твоей предыдущей жизни в Египте? Я нахожу, что мы вполне себе египтяне с жабами и пингвинами, вышитыми на наших галстуках... Большие саркофаги Тутанхамона, поставленные один в другой, заставили меня думать о трех белых конвертах, в которых ты спрятал мой медальон.



Каир, 21 марта 19...

Тьерри<sup>1</sup>,

числа, которые я пишу вверху страницы, перестали быть реальными; буд-то меняющиеся даты торемного календаря, они больше не связывают меня с моей жизнью, это словно остановки в потоке другого, временного бытия, смысл которого я не вполне понимаю. Сегодня утром я измучен снами: мне снились кошмары, а сменявшая их полуявь оказывалась еще хуже. В одном из этих снов мы ссорились, в другом вновь вернулись к привычным ласкам. Мне бы хотелось писать тебе о чем-то веселом, волшебном. Здесь в лифте сигареты тушат в кучке песка, которую лифтер словно насобирает горстями в ближайшей пустыне, где, может быть, он и ночует. Он в блистательном ярко-синем расшитом костюме; правда, перепачканный воротничок рубашки и дешевые туфли портят весь вид. Лифтеры постоянно меняются местами: четыре лифта, отделанные палисандром и украшенные пальмами, заставляют их исчезать и появляться, словно из волшебного ящика, при этом все время один ящик остается пустым, почти у всех лифтеров есть бросающиеся в глаза недостатки, которые тоже чуть изменяются, делая их неузнаваемыми; один, царственный и свободный, украшает панель управления красным цветком, дабы подчеркнуть свое отличие. Меня могло бы что-нибудь поразить; в конце концов, мы видим совершенно непривычные вещи, скачущих по вечерам на рынке ослов, выставленных напоказ никудышных лошадей, индюков, потоки крови, огни, мальчишек в пижамах, тащащих за собой груды золота, повсюду столько поддельного и легкого золота, сияющего еще сильнее, чем настоящее, мы задыхаемся от духов и кишок, фимиамов и дымов кремаций; проходимцы предлагают нам

1 Тьерри Джуно, возлюбленный Эрве Гибера.

афродизиаки, из-за плотины в Ниле больше нет ни одного крокодила, и бродяги готовы надевать маски, чтобы играть с нами в кайманов, которые пожирают туристов. Вся эта бурлящая толкотня лучше притворства: это реальность. Тем не менее, видишь, что она складывается из разных составляющих, которые можно перечислять, и все они меня больше не очаровывают. Есть место, где этот обширный рынок все-таки завершается, где нет огней. Это темное нескончаемое пространство, в котором продолжают двигаться силуэты, у меня нет желания делать еще один шаг, это вряд ли страх: разочаровывающая и зловещая нехватка любопытства. Я иду именно туда, куда мне предлагают идти. Я уже страдаю от нашей изолированности, от нашей слишком неопределенной свободы: я хотел бы вверить тело и душу шаблонам какой-нибудь американской туристической организации, отдаться без обязательств беспрестанному обсуждению цен с таксистом, стать безумцем. Ты рассказывал мне, – может быть, я вспоминаю то, чего не было, – что в Стамбуле иностранец не может переступить порог мечети. Нам тоже эти двери из потертого дерева, возле которых нужно разуваться, показались священными. Мы оставили нашу обувь тем, кто потребовал за нее выкуп. Это было однажды вечером; может быть, следует подождать с рассказом? Я бы хотел, чтобы эти иноземные вещи просочились позже в моих книгах, чтобы мой отчет не был столь беспощадно мимолетным (фотографировать в этих местах даже для нас было бы кошмаром). Мы забыли, что мечеть – место, предназначенное исключительно для мужчин, настолько облик и величина этого прибежища казались нам очевидными, почти что знакомыми. Мы не заметили отсутствия женщин. Восхитительно, что место для молитвы служит одновременно местом для изнуренных людей, для сна, для чтения или его видимости, для сна о чтении перед раскрытыми и перелистываемыми книгами, в которых невозможно прочесть ни буквы, для вымыслов, для бредней, для безумия, для абсурда, для зверства (бродячие кошки разделяют пищу и постель этих мужчин), для сказки, для рассказа. И восхитительно также, что молиться можно о паре снятых башмаков, закрытой двери или изгибах бедер, являющих отраду твоей любви. Мы почувствовали, как наши души возносятся, плавают в этой общности, и не волновались, что на нас смотрят, как на чужаков. Вчера мы видели другую мечеть, где в предбаннике была умывальня, а сбоку комнатки, куда заходят освежиться в тиши молитвы. Вместе с гидом, который светил нам зажигалкой, мы зашли в третью, заброшенную, полуразрушенную мечеть; мы поднялись на ее крышу, и я увидел особую, идущую своим ходом жизнь на крышах Каира, населенных собаками, ворами, лентяями; мне пришла в голову идея фильма, где все происходит только на крышах: речь шла бы о детях, которые перепродают золото и заставляют взрослых заниматься проституцией. Мы хотели сходить в сопровождении полицейского в хаммам; я бы описал тебе подрагивания смуглых мышц под белым полотенцем, движения понравившегося тела, блеск золотых зубов или темных зениц, шепоты, возникающие из непроницаемого пара, хлопки от соприкосновений тел, хрипы, я был готов солгать. Хаммам был закрыт, мы едва разглядели за дверью

слишком хорошо освещенную влажную заплесневевшую комнатушку, в которой чахла тощие облачка. И этим унылым утром у меня больше нет желания лгать тебе. Я рад, что ты мне снился прошлой ночью, мне кажется, это хороший знак, лучший с моего приезда.



Каир, 22 марта 19...

Мой волчонок,

в самолете мне пришла в голову идея писать каждый день по письму одному из друзей. По утрам, после необъяснимо тяжелых ночей (тебе было страшно, когда ты оказался в Каире с Дени?) это упражнение меня отчасти спасает, мне кажется, я понял цену своей способности сопротивляться всему, что видел накануне, и что на самом деле не хотел бы видеть. Мне кажется, то, что я пишу, даже вздор, гораздо вернее представляющего моему взору; что мне стоило бы описывать вещи, которые я не видел, двигаться по наитию, будто незрячий. Должен ли я именно тебе говорить эти вещи, тому ли адресату пишу?

Когда я объявил своим слепым<sup>1</sup> во время последней лекции, что оставляю их ради Египта, их лица осветились восхищением и завистью: да, Египет, там должно быть красиво, там должно быть много красивых вещей... У меня такое ощущение, будто я украл у них то, на что они хотели бы посмотреть, в то же самое время я ревную, что они унесли в свою замогильную темень какой-то образ, программу шестого класса, чья лживость никогда не будет доказана. Склонившаяся над землей богиня, живот которой образует небесный купол, каждый вечер заглатывает солнце, переваривает его в своем исполинском теле и утром исторгает обратно. Другой бог одаряет солнце множеством рук, чтобы прикасаться к живым. Сегодня все в полудымке. Каждое утро – нынешнее будет последним, – я оказываюсь за этим столом перед зеркалом. Я пристально смотрю на мужчину тридцати лет, который похож на моего отца. В течение нескольких дней я замечаю пятно на своей щеке, мне досаждают язвочка во рту. Сейчас мы уезжаем в Луксор. Вчера вечером я начал «Пармскую обитель»: какое чудо присутствовать при рождении героя! Там есть злой, абсолютно отвратный отец; кажется, герой – не его сын, настолько сам он прекрасен, женщины его обожают. Он невежественный, но превосходно ездит верхом. Ему чрезвычайно идет мундир, у него наивные устремления, его зовут Фабрис, и я, в свою очередь, тоже его полюбил. Вот совершенно неожиданный компаньон для путешествия по Египту!

<sup>1</sup> Речь идет о Национальном институте молодых слепых, куда Эрве Гибер приходил сначала, чтобы подготовить специальный репортаж для газеты «Монд», а потом устроился работать и около года читал лекции. Этот опыт послужил ему для создания романа «Слепые».

*Каир, 22 марта 19...*

Сюзанна,

увидав вчера во второй половине дня непривычные вещи, – само собой разумеется, не те, что мне бы хотелось, – я почувствовал, что когда ты начнешь умирать, мне не надо будет больше тебе о чем-то рассказывать, и от этого нам обоим не станет страшно, – ни тебе, ни мне, – ибо твой взгляд, идя сверху или же снизу, соединится с моим взглядом, словно от души к душе перейдут контактные линзы. Может быть, ты уже умерла? Если это случилось, ощутили ли мои глаза ласковое прикосновение, которое останется со мной до самой смерти? Я не буду разъединять наши взгляды ни во время сна, ни когда буду смотреть на тех, кого люблю. Защитят ли меня от опасности твой опыт и твое умение различать приметы? Встречаясь с незнакомыми вещами, мой взгляд будет помнить то, о чем помнил твой взгляд. И мы продолжим обогащать их – я своей временной жизнью, ты своей смертью. Кому мы завещаем этот общий капитал, который будет скорее чувством, нежели знанием?

*Каир, 22 марта 19...*

Малыш Тьери,

вчера я плохо описал тебе все предметы, удастся ли мне сделать это сегодня лучше? Порой я чувствую, как подчиняюсь тому, что хочу написать. На рынке я видел не лужу крови, а кровавые брызги, отблески кровавых струй, застывшие по краям лохани. Вокруг нее стояли живые звери. Пламя исходило не из печи, это огненные сполохи бегали вдоль железного цилиндра. Я мало написал тебе о детях, перевозивших тележку с золотом: это два настоящих персонажа, два героя. Золото было поддельным, и они пустились в невероятное путешествие, казалось, что они пытаются найти пещеру Али Бабы. В этих двух детях я узнал нас, хотя никак и не связал это видение с нашей реальной жизнью. Больше всего меня здесь трогает сияние фальшивого золота посреди нищеты, в нем есть что-то успокаивающее, оно намного красивее блеклого золота несгораемых шкафов, оно одерживает верх, как эсперанто. Мне снилось, что мы с Хансом-Георгом тренируемся в написании арабских букв: после многочисленных затруднений я обнаружил, что копировать их не имеет никакого смысла, достаточно лишь имитировать, не стесняясь, рисовать их, лишая смысла, дабы украсить потом тоненькой золотой пленкой. Листая вчера вечером книгу Хан-



са-Георга, я заметил, что один из первых иероглифов этого алфавита образован несколькими штрихами, подчеркивающими глаз, чтобы из него полилась слеза. К счастью, мы посетили вчера дворец Маньяль, одаривший нас Индией. Я не хочу говорить о пыльной жаре или упорстве привратников, выпрашивавших бакшиш за то, чтоб открыть и без того открытые двери. Во дворце этого принца сохранились часы в вестибюле и календарь, царапины на котором покрывают снегом мечеть; радиоприемник и телефон остались на письменном столе. Кровать находится в клетке из прочной москитной сетки: служители были настолько предупредительны, что, несмотря на полусвет, оставили лампу у изголовья зажженной; в ее лучах перед посетителями проходит череда минувших чтений и бессонных ночей. Вот место, где мы могли бы жить. В большой белой аскетично-мужской ванной (в ванной супруги при выходе из купальни стоят кушетки и весы возле трехстворчатого зеркала) я видел, как мимо прошел силуэт, это мог быть лишь силуэт принца или же твой. Вдали за окном показалась загоревшая спина, тело словно колебалось перед прыжком на краю бассейна, который довольно странно смотрелся возле дворца. На картине были изображены дети-метисы принца, собравшиеся в учебную группу, обезумевшие, взятые в кольцо всем тем, что теснится за пределами картины: Египтом. В стеклянном шкафу стоит вылепленная в натуральную величину из воска фигура ребенка-любимца, которого защитила мать, на нем костюм паши, на шапочке павлиний эгрет. Я давно знал о нем. Я расскажу тебе в следующем письме о том, что от меня ускользнуло и вскоре снова ко мне вернется, нужно дать памяти время дополнить картину.



*Луксор, 23 марта 19...*

Тьери, дорогой Тьери,

мы оставили Каир в пыльную бурю, которая была хоть и шафранной, но мерзкой и изматывающей, она одолела наше зрение, смелость и дух: мы чувствовали, как злой песок заполняет наш рассудок, дабы вычернить кровь и душевный настрой. Каирская дорога наделена той же неотвратимостью, что и ход песочных часов; спрашивается, как разум может вынести подобные испытания. Представь себе пробку на какой-нибудь французской дороге в день начала каникул: жара, солнце, пыль, все шалют и беспрестанно сигналият. Нужно пересечь этот ад, прежде чем отыщешь оазис, немного зелени, несколько пальм, глоток воздуха. Воздух здесь хороший, он жаркий и свежий, ободряющий. В холле отеля продают парусиновые шляпы и опахала от мух. Дадим лучше мухам проделать их путь у нас на лицах. И вот я с Хансом-Георгом в

тенистом уголке сада, возле качелей. Всякий раз один из нас чувствует необъяснимую печаль: она не может быть одинаковой у обоих, и мы бы пропали, если бы она возникла у нас одновременно. Со вчерашнего вечера – ночь остается по-прежнему тревожной передышкой – я спокоен и отдыхаю. Сегодня в ванной, в которую широко распахнутые окно и ставни впускали шум и запахи сада, я испытал удовольствие, узнав свое тело, удивился тому, что нахожу его столь девственным, столь нетронутым. Я догадываюсь об отчаянии Ханса-Георга: здесь, как в любых больших отелях, все наделено почти несправедливым совершенством. В окружающей нежности есть что-то тягостное: нужно беспрестанно искупать свое счастье или платить за него. В этом тенистом и уединенном уголке, где мы сидим в одиннадцать утра, чистые и свежие, надушенные, после отменного на этот раз завтрака, сложно начать письмо, пусть даже другу, оказываешься в таком необычно комфортном состоянии, граничащем с амнезией, с отрицанием чувств, с оупением, и это упражнение вновь становится карой, тяжким трудом. Взгляд ищет в пейзаже, в оттенках, в световых переменах, в глубинах, в далях, останавливаясь, повисая над ними, призывы к тому, чтобы писать: они тут, словно наркотик для мысли, они внушают ложную уверенность, побуждают к открытиям, которые надо будет опровергать. Мы должны были преодолеть немало препятствий, чтобы достичь этой почти что беззаботности: чудовищность Каира, постоянное вымогательство денег, пыльная буря, трудности в передвижении по улицам, зловоние, бесстыдство девушек, ведущих себя с европейцами, как худшие французские охотницы до мужиков и, наконец, опыт с пирамидами, одно из самых недостойных переживаний моей жизни. Коран запрещает линчевание туристов, поэтому их толкают в ловушку пирамиды, предназначенную для расхитителей гробниц, во внутренние карательные лабиринты. Снова охватывает беспрестанное наваждение, в котором нужно ползти по узкому темному проходу в поисках воздуха. Злобные щенки, смеясь, хватают вас за ноги, чтобы вы спотыкались, и чистят ваши карманы. После полета на разваливающемся самолете по песчаному ветру мы обрели спокойствие заходящего солнца и зелени оазиса, – машины исчезли. Наш номер, 363, как я тебе говорил, выходит окнами в сад (мы отказались от меньшего номера, из которого можно увидеть Нил); приехав, мы, несмотря на мошкару, настезь распахнули обе стеклянные двери, Ханс-Георг набрал себе ванну, это было незабываемое ощущение счастья, разделенного с тобой, ибо мы уже переживали его вместе.



Луксор, 25 марта 19...

Венсан<sup>1</sup>,

в Каире я дважды думал о тебе в особенных ситуациях: в музее, стоя возле диадемы Тутанхамона; на одном из рынков, разглядывая красную турецкую шапочку с черной кисточкой из переплетенных нитей: ты сразу же появлялась, чтобы примерить диадему и шапочку. Они тебе очень шли, мне хотелось украсть диадему, купить шапочку и привезти их тебе. Диадема была под стеклом, шапочка казалась слишком громоздкой для моего и так уже набитого чемодана, можно будет отыскать у какого-нибудь экзотического шляпника в Париже что-нибудь похожее из фетра или даже крепированной бумаги. Я точно так же думал о тебе и в смутные моменты счастья, которые были связаны с насыщенностью преодолеваемого мною пространства, с мягким и жарким воздухом оазисов, где густые и в то же время нежные оттенки зеленого сменялись золотыми, почти бурными переливами. Но все это почти невозможно передать, в отличие от диадемы, которую можно описать довольно точно: она сделана золотых дел мастером, хорошо знавшим геометрию, дабы сотворить убор для детской головки; это ободок из легкого золота, украшенный безобидными гремучими змеями, который мог появиться из рук астронома, ибо, кажется, изгиб этот предназначен для того, чтобы обнимать миниатюрный глобус; это мог быть и обруч для трепанации, закругленный угломер какого-нибудь анатома. Позади, на затылке, у диадемы сплелись два хвоста, которые напомнили мне прядки твоих более светлых волос, что становятся различимы, когда ты подставляешь спину, золото этого раздвоенного и защищающего ее язычка мешалось с твоими волосами. Видишь, мне кажется, я забыл о самом важном, что составляет красоту этой вещи. Отныне меня волнует, чтобы мое воображение сделало ее твоею, и тогда я с ее помощью смогу еще раз, не касаясь их, поцеловать твои губы.

<sup>1</sup> Венсан Мармузес, юный возлюбленный Эрве Гибера, с которым писатель познакомился, когда тот был ребенком. Гибер посвятил ему ряд книг, в том числе «Путешествие с двумя детьми» и «Без ума от Венсана».



Луксор, 26 марта 19...

Дорогой Бернар<sup>1</sup>,

каирские дети прячут свои школьные ранцы в цветочных зарослях и играют. Те же, что живут в деревнях, довольствуются облаком пыли. Долина желтых цветов Каира – это склад брошенных портфелей. Вдоль Нила, крутя педали в потоке жаркого воздуха, какой-то ребенок сопровождает нас только лишь для того, чтобы нашим глазам предстал необычайный, очень светлый, чистый и в то же время насыщенный оттенок его голубого кафтана: это пятно лазури – его десятая. Здесь приходится за все платить: за воду, тень, скорость, несколько миллилитров инсектицида, злодейски подаренную увядающую розу, ночи, дни, вкусную еду, уважение; и голубизна кафтана – наиболее милостивый из налогов. Детская плоть тоже здесь продается: за тележку с золотом или осла. Не обо всем могу тебе рассказать в письме.



Луксор, 26 марта 19...

Мишель<sup>2</sup>,

писать тебе в эти дни – занятие непростое: мое сознание несколько помутилось, и так как ты отчасти им управляешь... Я откладывал этот момент, будто некое испытание. Пишу тебе в очень красивом саду, в тени, среди несмолкаемого гомона птиц, оказывающихся порой целой стаей больших воронов, рассеявшихся на самой верхушке пальмы. Вчера, когда стемнело, маленькие летучие мыши ринулись к воде бассейна, чтобы украсть из него немного воды. Мне кажется, что я бежал из Парижа, как с поля боя, начиненного мною взрывчаткой, услышать эхо взрывов которой мне не хватило мужества. Этой взрывчаткой служат письма, такими они кажутся мне сегодня в моих мучениях: их возмущенные адресаты заставили меня отвечать. Это официальные письма, письма с просьбами, ободряющие письма, короткие предложения встречи, требования объяснений и одно заявление о намерениях. В сравнении с ними я беглец: я отправил посредников, чтобы мне потом доложили о взрывах.

1 Бернар Фокон, известный французский фотограф, друг Эрве Гибера, о котором говорится в «Путешествии с двумя детьми» и других книгах.

2 Мишель Фуко (1926 – 1984), близкий друг, любовник Эрве Гибера.

Мне неумоимо снятся Ивонн, Изабель<sup>1</sup>, Тьерри: мне кажется, что я обошелся с ними хуже некуда; из-за этого замысла о съемке фильма, сценарий которого я все время переписываю и к которому без конца возвращаюсь в мечтах, в наших отношениях со временем что-то разладилось. Сбегая с поля сражения, я оставил позади и все свои убежища: нежности нашей дружбы. Здесь я окружен прекрасной дружбой, дружбой Ханса-Георга, но мне все труднее и труднее оставлять свое племя, оставлять вас, тебя, Тьерри, Матье<sup>2</sup>, своих двоюродных бабушек. У меня такое ощущение, будто меня арестовали, как виновного, и отправили в заключение в эту чужую страну, словно заложника, что я должен пройти череду испытаний, западни пирамид, солнечных ударов, пустынь, разъяренных мух, москитов, недостойных обменов словами и деньгами, прежде чем вернуться в исходное положение. Что нас спасает: воздушные массы, внезапно более жаркие или более свежие, или лишенные пыли, гармоничность белых тюрбанов над красивыми лицами, тангажное движение какой-нибудь чересчур высокой пальмы или чересчур тонкой мачты фелуки, которую обвил парус, листва оазиса, переходящая в золото, свежий йогурт, искупающий беды местной пищи, чаще вызывающей отвращение. Эти успокаивающие мгновения заставляют меня думать о вас: вы их заслуживаете. Я часто представляю, как вы с Даниэлем путешествуете по этой стране, и размышляю, какими советами могу уберечь вас от неверных поступков, которые мы все порой совершаем поневоле.



Луксор, 26 марта 19...

Тьерри,

через несколько минут уезжаем, уже сто лет, как я тебе не писал. Мы видели множество изумительных вещей, почти столь же прекрасных, что и воспоминания о первых снимках: храм Карнака, колоссы Мемнона; мы – запоздалые гости. Но больше всего мне запомнились мальчик в летящем платье на качелях среди пустыни и улыбки одетых в белое молодой матери и ее взрослого сына, которых мы встречали два дня подряд, когда они ехали на велосипедах, а мы возвращались с экскурсии. Такие улыбки могли бы предстать пред нами и в любом другом месте. Вчера вечером мы долго разыскивали мать с сыном.

*1* Ивонн Баби, глава отдела культуры в газете «Монд», именно она поручила в свое время юному Гиберу писать о событиях, связанных с фотографией; Изабель Аджани позировала для знаменитой фотосессии Эрве Гибера, должна была играть в задуманном им фильме, однако фильм так и не был снят.

*2* Матье Лендон – журналист и писатель, сын Жерома Лендона, главы издательства «Минюи», ближайший друг Эрве Гибера. Вместе с Савицкая и Гибером некоторое время жил и работал на вилле Медичи в Риме.

Уже отказались от поисков, но, поднимаясь по ступеням, столкнулись с ними и приветствовали друг друга с красноречивым участием; однажды на балконе ресторана мы снова подстерегли их, и наши взгляды стали метаться из стороны в сторону, когда они внезапно исчезли. В конце концов, кружась внизу, они нашли и обняли друг друга. Наш привет притянул одну к другому. В эту минуту, когда я сижу, склонившись над столом в саду, падающее в промежутках меж листьями пальмы солнце отбрасывает внизу страниц тени от прядок моих волос, которые, кажется, летят на легком ветру одна к другой и исчезнут, как только сложу этот листок.



Асуан, 26 марта 19...

Кому?

В оазисе есть одиночества высшего счастья: дитя среди пальмовых листьев, белый живой штрих в этих знаменитых зеленых порослях, вот он умылся и пустит теперь галопом своего ослика, в эту секунду его навешает лишь одинокая белая птица. Он завершает свой труд: он хватает в охапку кусок оазиса, он выдирает его, он навьючивает им ослика и увозит с собой в пустыню, лишь для того, чтоб оживить его снова. Кого же мне обнять на прощание, как не это дитя?



Париж, 1 апреля 19...

Ханс-Георг,

идет снег: его ли я ждал, чтобы написать тебе? С тех пор, как я вернулся, время кажется мне бесконечно богатым и долгим: есть столько способов его занять, и я себе в этом не отказываю. Я сплю совершенно спокойно: как удобно, когда все свое! В тот день, когда я пошел забирать визу в египетском консульстве, я пересек три улицы, перпендикулярные авеню Фош. Они звались так: рю Рюд, рю Малинь, рю Ля Сюер<sup>1</sup>. Я увидел в этих трех странных названиях предзнаменования, которые хотел от тебя скрыть. Мне надо было присоединиться к тебе, ты убежал, а затем ждал меня. Что это значило? В общем-то, мне почти все равно. В какой-то момент путешествия я перестал писать письма, ты это заметил. И, тем не менее, события не прекращались. Не вполне понимая,

1 Иначе звучит так: Утомительная (Ухабистая) улица, Пагубная улица, Потная улица.

почему, я отказался о них рассказывать. Поступил ли ты сам точно так же? Мы так быстро пресытились несравненным видом с балкона номера 345 отеля Old Cataract в Асуане, мы так быстро возненавидели столь красивые фелуки. В Абу-Симбеле, который должен был стать целью путешествия, нас отравили манговым соком. В конце концов, однажды вечером я решился позвонить Сюзанне; позавчера, после моего возвращения она чувствовала себя хорошо, вчера она снова собралась умирать. Как она будет чувствовать себя сегодня? Оставляю тебя, чтобы увидеться с ней.

(П.С. Утром перечитал свои письма и перевязал их лентой. Потом сфотографировал эту стопку: это была моя последняя фотография. Я достал пленку из аппарата и заметил, что идет снег).

## ПСЫ

*Т. и К.*

Эти два тела здесь, за стеной, позади меня, под паркетным полом, этажом ниже, я хожу по комнате, словно выслеживая их, они не издадут ни звука, они трогают друг друга, мне даже не нужно воображать их, они прижимаются друг к другу, они обнимаются, их животы слипаются, его хуй трется о ее мокрую пизду, он встает на колени, он лижет ее, они с глухим, едва слышным стуком падают на пол, они тихо пихают друг друга, они знают, что я стою рядом, над ними, неподвижно их сторожа, я не могу даже попытаться уснуть, вытянувшись на кровати, я противостою им, им не удается забыть обо мне, мое присутствие соглядая их возбуждает, он покрывает ее, его хуй входит в ее пизду, проникает туда и снова выходит, его ягодицы сжимаются, мой хуй напрасно встает, когда я представляю эти ягодицы, он выходит из нее, и она поворачивается, он берет ее сзади.

Я расстелил на полу простыню и нарисовал фломастером на ее белой поверхности нечто, похожее на карту, я поделил ее на ремешки, кляпы, разные завязки для рук. Я подсчитал, что мне нужны четыре полоски: одна для ног, одна для рук, одна для хуя и еще одна для маски с кляпом. Ножницы следовали за пунктирными линиями, словно то было лекало, выкройка моих будущих удовольствий. Этого занятия хватило, чтобы мой хуй набух и изверг тонкую сверкающую струю.

Эти два тела здесь, за стеной, за висящим на ней зеркалом, амальгама которого останавливает мой взгляд, под настилом ивового паркета, расположенные схоже, параллельно моему телу, ибо мне кажется, я следую им, перемещаюсь по комнате в то же самое время, что и они, как раз прямо подо мной, они стоят напротив друг друга, они уже разделись, их вспотевшие животы склеиваются, он прижимает ее к себе еще сильнее, он хватает ее за волосы на затылке, несколько прядей остаются в его кулаке, вдруг он засовывает язык ей в рот, его слюна течет, его хуй трется о ее живот, от жара волосы на их телах уже мокрые, входя в нее, он ее кусает, он кусает ее губы, он кусает ее шею, его ягодицы судорожно сжимаются, их бедра непрестанно сталкиваются, она тихо валится назад, он с глухим, едва слышным стуком падает на нее, он покрывает ее, он давит ее, она задыхается, он хватается ртом воздух и выходит из нее, она поворачивается, он ебет ее сзади, он расчесывает ее волосы, погрузив в них пальцы, она засыпает, забыв об удовольствии, они спят, но в моих мыслях связь их не прекращается и изнуряет мое собственное тело, я стою неподвижно, следя за каждой их позой, все мускулы моей шеи вытягиваются в их сторону, я сажусь на пол, чтобы быть к ним еще ближе, чтобы попытаться заснуть, лечь самому значило бы проявить свои притязания, их уже давно не



возбуждает мое присутствие согладая, они не думают обо мне, не представляют меня, наоборот, они хотят обо мне забыть, мое сдерживаемое дыхание не добирается до них.

На мокрой простыне этой бессонной ночи, пропитанной потом моего тела, следы которого еще заметны, я начал чертить черные линии, обозначая, словно взлетно-посадочные полосы, вытянутые фигуры, затем закругленные, чтобы сделать шарики с едким вкусом и шероховатые на языке, когда заталкиваешь их в рот, этот располосованный саван я поделил на ленточки, ремешки, кляпы, ошейник и удила. Ножницы прошли по черным пунктирам, и простыня разорвалась пополам, одним рывком, с треском. Я закрепил ремешки у себя на руках, словно некие подобия орарей, повязок для проведения обрядов. Когда он зашел в комнату, я протянул ему свои руки, вначале он ничего не понял, он пришел взять зажигалку и спираль из спрессованной травы, чтобы поджечь ее от насекомых, он был голый, и от него пахло его телом.

Я пошел в хозяйственный магазин выбрать плетку, они были подвешены за ручки на ремешках к потолку, это были забытые в сумраке среди половых щеток несколько устаревшие экземпляры из прежних запасов, торговец сказал мне: детей больше не бьют, – я ответил: а если ребенок не слушается (и подумал: а если задница жаждет побоев?), – торговец ответил: но вы еще слишком молоды, чтобы иметь детей, – я сказал: нет, я солгал вам, это для коллекции, я коллекционирую предметы моего детства, музыкальные мельницы, дудки, не знаю что. Я выбрал плетку с самой толстой ручкой и плетями, окрашенными с одного боку красным.

Этот черный хуй хорош тем, что он полый, гладкий и расширяющийся к концу, что его можно заполнить горячей водой, которая нагревает хорошо скользящую смазанную резину, когда я повернусь спиной, он насадит меня на этот черный хуй и будет насиловать мою задницу, уступающую под его напором, и вставит его мне, отдерет им, отделает им, вжарит им, оставив его внутри, глубоко, словно рычаг, словно постыдное черное дерьмо.

Эти зажимы для белья хороши тем, что они зубчатые, с зазубринами на концах, что у них есть утолщения, как у ручек штемпелей, мясорубок, прищепок, я выбрал их специально, я нарочно выбрал опасные.

Жертва будет в белом, в своей рванине, палач же будет в черном, он будет обнажен, лишь на хуе черное кожаное кольцо с шипами.

Я зашел к торговцу, с ним в дверях лавки разговаривал какой-то человек. Я спросил: у вас есть плетки? Он ответил: знаете, такой товар продается с ходу, сам держу одну для тещи и одну для жены. Я удивился, что подобная вещь стоит всего пять франков, я и не думал, что их еще продают.

Когда он вошел, на моих руках были завязаны четыре ленточки из простыни, словно знаки некоего ритуала, освящения. Перед нами лежали черный хуй, смазанный и наполненный горячей водой, плетка, бельевые зажимы, однако это его вроде бы не удивило. Я сказал ему: хочешь быть моей жертвой или палачом? Он ответил низким и властным голосом: раздевайся и ложись. Я положил на пол четыре ремешка из ткани, он начал их распутывать, потом он разделся, я протянул ему кожаное кольцо с шипами, чтобы зажать его палку, я проговорил ему: это будет единственное твое одеяние, но он не надел его, на нем была эта набедренная повязка, которую он привез из Соединенных Штатов: она облегала его хуй и яйца, отпечатывая на коже тонкую сетку от вязки, я лег на спину на кровати, сначала он принялся связывать мои скрещенные ноги в лодыжках, обворачивая их и делая множество узлов, он сказал мне: садись, – и я протянул ему руки, он связал таким же образом, скрестив за спиной, мои запястья, словно соблюдая шахматный порядок, затем сел рядом, нагнулся, очень серьезно на меня посмотрел, я подумал, что он собирается поцеловать меня, он плюнул на мои губы, один раз, второй, он сказал мне: встань, – потом принялся перевязывать мне хуй, заботясь о том, чтобы сжать хуй и яйца как можно сильнее, повторно наложив скрученную ткань кольцом у основания хуя и повыше яиц, перекидывая ткань с двух сторон над ягодицами, связывая, перевязывая ее узлами, и, наконец, соединил ее края на моем животе со всей силой, одной ногой упираясь мне в живот, чтобы сдавить еще больше, я едва мог дышать, потом неожиданно взял два бельевых зажима и закрепил на моих сосках, я закричал, он сказал мне: нет, это еще недостаточно больно, – он снял их, он сдавил пальцами, смочив их слюной, мои соски и заставил их подняться среди волос, потом снова надел оба зажима, он сказал мне: рот тебе затыкать пока не будем, он может пригодиться, но можно, наверное, что-то сделать с твоей шеей, – он развернул последнюю ленточку и начал затягивать ее как можно выше на моей шее, под подбородком, словно делая медицинскую перевязку для фиксации шеи и головы, оставив длинную часть одного конца свободной, чтобы управлять моими движениями, как с помощью поводка, он сказал мне: повернись, – и впихнул мне одним движением, раздвинув их рукой, меж ягодиц весь черный и горячий хуй, я почувствовал смазанную резину, обжигающую кишки, он сказал мне: в следующий раз смажем ее разогретым гашишевым конфитюром, чтобы насытить твой зад, или ледящим ментолом, – он дернул скрученную веревку вниз, чтобы я сел на корточки, и сам сел, голый, раздвинув ноги, в кожаное кресло, властный, царственный, лишь в этих узких плавках с очень крупными петлями, сквозь которые я видел, как набухает и прерывисто, судорожно вздрагивает его хуй, он сказал мне: смотри на меня, желай меня, умоляй меня, я хочу видеть, как ты умоляешь меня изо всех своих сил, только чтобы желать меня, я дарю тебе это право желать меня, я хочу видеть, как ты плачешь, потому что настолько благодарен мне за мой дар, – он еще не прикасался ни к плети, которая оставалась недалеко от его руки, ни к царскому кольцу, которое я приготовил для его хуя,

он сказал мне: ты жаждешь увидеть мой хуй, но ты должен это заслужить, и я хотел бы, чтобы ты смотрел на него, словно видишь впервые, и он восхитил тебя, ведь ты никогда не видел столь красивого хуя, такого большого, такого сильного, и чтобы ты смотрел на него неотрывно, поклонялся ему, но теперь тебе нужно заслужить это, – и он дернул за поводок, заставляя меня нагнуться и подчиниться, он сказал мне: нагнись еще больше, я хочу видеть тебя у своих ног, извивающегося, как пес, как баба, – и пальцами ноги начал вталкивать черный хуй в мою задницу, из которой тот медленно выходил, он сказал мне: тебе нужно заслужить мой хуй, ты попытаешься, стоя на четвереньках, высвободить его из чехла, но лишь одними зубами, стараясь ни в коем случае не дотрагиваться до него, ни в коем случае не пачкая его своими губами, – я приблизил свое лицо к его плавкам, вдохнул, запах его хуя ударил мне в ноздри, словно мускус, кокаин, он сказал мне: ты не достоин даже вдыхать мой запах, это я оказываю тебе милость, облизывайся и поскули немного, чтобы показать мне свою кобелиную радость, – я попытался припустить зубами широкую резинку на его плавках, она несколько раз хлопнула, он застонал, но еще не брался за кнут, при каждом моем неловком движении он лишь еще глубже вталкивал ногой в мой зад черный хуй, мне не удалось спустить резинку, тогда я решил приподнять с одной стороны краешек ткани у паха, чтобы оттуда высунулись его хуй и яйца, их запах стал еще сильнее, внезапно они освободились от ткани, и хуй ударился о мою щеку, но он сразу же оттолкнул меня, дернув поводок в сторону, он сказал: я позволяю тебе лишь любоваться моим хуем, смотри, на нем еще видны отпечатки ткани, я знаю, что ты торопишься только для того, чтобы взять его в рот и сосать его, отсасывать, засунув его себе в горло, словно твой рот – насос, и, заглатывая его все глубже, задохнуться, но я тебе запрещаю; ты должен, должен умолять меня и звать хозяином, поклоняйся моему хую, люби его, не своди с него глаз и мечтай о том, чтобы взять его в рот, умоляй меня, я принялся скулить, я смотрел на его великолепный хуй, который начал непроизвольно вздрагивать, я стал просить, умолять, я так хотел, чтобы этот хуй оказался у меня во рту как можно скорее, настолько скрутило меня желание, я сказал: умоляю тебя, дай пососать твой хуй, – он мне ответил: он еще недостаточно тебе нравится, ты не жаждешь его, я хотел бы, чтобы желание светилось в твоих глазах, чтобы ты от него извивался, чтобы оно жгло всего тебя, – я повторил: умоляю тебя, – тогда одним рывком поводка он приблизил мой рот к своему хую, так близко, что мои губы почти что его касались, но недостаточно близко, и он сказал: я запрещаю тебе брать его в рот, довольствуйся тем, что можешь нюхать его, держать свой нос прямо напротив него, нюхай и не смотри никуда, только на него, я разрешаю тебе пускать на него слюны, раз уж ты так мучаешься и ждешь, чтоб проглотить его, – после этого приказа слюна, которую я сдерживал, потекла на головку и оттуда вдоль всего столба до самых волос, омывая его, пробуждая дрожь; он сказал мне: ты мало жауешься, я вижу, что тебе недостаточно больно, – и он снял зажимы с моей груди, надел их по-другому, чтобы стало еще больнее, он сказал: теперь мы поиграем,

я позволю тебе взять хуй в рот, но запрещаю касаться его языком, я хочу чувствовать у тебя во рту одну только пустоту, один только воздух, которым ты дышишь, только твое горячее дыхание, если ты осмелишься хоть как-то задеть его, ты будешь наказан, – он оттянул резинку, и плавки соскользнули по ногам, он сказал: скоро будет для тебя отличный кляп, он взял кожаное кольцо и надел его на свой хуй, сжав яйца, чтобы хуй набух еще больше и все его сосуды напряглись, готовые лопнуть под тонкой кожей, я по-прежнему, изгибаясь и скуля, сидел на корточках у его ног, я открыл рот как можно шире, словно меня просили открыть его в школе, чтобы посмотреть на мои миндалины, и сомкнул его вокруг его хуя, стараясь не касаться его языком, по движению его руки я понял, что он тянется к плетке, несколько секунд ничего не происходило, абсолютно неподвижные, мы оба задержали дыхание, в тот момент мой язык некстати задел его головку, и сразу же ремни кнута, которые висели, лаская их постоянным колыханием, возле моих ягодич, принялись их с силой стегать, и с этими ударами у меня во рту будто оказался хирургический расширитель, железный угольник, вставленный поперек рта, я едва мог дышать, у меня снова потекла слюна, купая в своих потоках его хуй, остававшийся напряженным, набухшим в моем рту в нескольких миллиметрах от языка, он повторял: тебе бы очень хотелось сосать его, да, я знаю, что ты только о том и думаешь, чтобы сосать его, отсасывать, засунуть его себе поглубже в горло, проглотить его, набить им рот, – мой язык осторожно коснулся его головки, и снова обрушился удар хлыста, вновь возбуждая меня, я воспринял это как приказ не подчиняться его запрету и принялся жадно и с шумом сосать его хуй, набивая рот, размазывая по его животу как можно больше слюны, и его рука не прекращала хлестать мои ягодичы, и чем больше он стегал меня, тем сильнее я у него отсасывал; чем больше я у него отсасывал, утоляя жажду, тем сильнее он хлестал меня, иногда он голый ногой опускал мой стоящий хуй, который уже изнемогал от желания кончить, он хотел еще больше поглумиться над ним, доводя его до судорог, он сказал мне: ты будешь у меня сосать полчаса без остановок, я хочу, чтобы ты проглотил всю мою плоть и задохнулся от нее, чтобы она вызвала у тебя отвращение, чтобы тебя мутило, чтобы из-за нее ты уже не мог больше пускать слюну, дышать, – я сосал его без остановки, когда внезапно его уставшая рука перестала полосовать мои горящие ягодичы, и, дернув меня за поводок, он вынудил меня оставить его хуй, он сказал: ты мне надоел, полижешь мой зад, я спустил тебе в рот, а ты даже этого не заметил, моя сперма, наверное, заполнила весь твой рот, мне нужно перезарядиться, накопить еще спермы для твоей задницы, ты будешь лизать мою задницу, я знаю, что тебе это противно и в то же время тебя это возбуждает, ты вылижешь ее всю, будешь нюхать ее и думать, что я напру тебе в рот, даже если я этого делать не буду, нужно, чтобы ты получил от меня со всех сторон, – через какое-то время он повернулся и сказал мне: я хочу поссать, я хочу развел мои губы, засунув в рот с двух сторон по пальцу, и брызнул туда струей мочи, он сказал мне: в следующую раз я напру тебе в задницу, я заполню весь твой живот, – потом он заставил

меня подняться, я все еще сглатывал этот горький поток, когда он принялся позади хлестать мои ягодицы во все стороны, он говорил: я выебу тебя в жопу, ее нужно хорошо разогреть, и нужно, чтобы ты мучился от того, что твоя задница опустела (он только что вынул оттуда черный хуй), нужно, чтобы ты заново принялся меня умолять, чтобы ты вслух возжаждал, чтобы мой хуй был у тебя в заднице, и говори это с жаром, иначе я буду бить тебя ногами, я всажу тебе хуй по самое не могу, потому что ты был послушным кобелем, скажи, что ты его хочешь, что ты хочешь, чтобы мой хуй был у тебя в жопе, заклинай меня, изворачивайся, стучи ногами, я хочу, чтобы ты обосрался от этого, чтобы ты рыдал, чтобы ты опять пускал слюни, лишь бы тебе забили в зад, – и, давя на меня рукой и заставляя выгибаться еще сильнее, он перестал хлестать мои ягодицы и произнес: ты еще недостаточно крепко связан, ты сможешь еще вырваться, ты еще не покорился, – и он развязал веревку на моей шее, чтобы завязать сильнее, обернув плечи и закрепив под лопатками, чтобы обмотать меня, обвязать, как сверток, и, наконец, после того, как набил мой рот кляпом из перепачканной спермой и дерьмом плавок, горьких на вкус, он просунул мне между зубов полоску простыни, словно удила, и любой мой возглас получался сдавленным, его хуй безголозненно вошел в мой расслабленный зад и начал снова там, изнуряя меня при яростных движениях бедер, сильных толчках, с каждым движением он щелкал пальцем по головке моего хуя, который уже не мог сдерживаться, он повернул мою голову, он плюнул мне в лицо, он сжал свои губы, чтобы плевок брызнул в разные стороны, и в мучительный момент оргазма этот изысканный мускусный дождь из тонких струй походил на разбрызгивание признаний в любви.

Их тела за стеной, прямо над потолком, надо мной; возвышающиеся надо мной, они приближаются друг к другу, касаются друг друга, уже раздетые, они все крепче сжимают друг друга, испарина тел притягивает одного к другому, она запрокидывает голову, чтобы приказать ему лизать ее груди, нежно покусывая их, затем прижимает голову к его животу, она раздвигает свои ляжки, она чувствует втиснутый в нее напряженный язык, глубоко внутри, она чувствует, как ее сосут, всасывают, горечь то и дело течет по его горлу, они падают на пол, и я слышу тихий стук катающихся по комнате, проникающих друг в друга тел. Внезапно он стучит в дверь и врывается порывом ветра под предлогом того, что зашел за спиралями из спрессованной травы от насекомых, он в брюках, с голым торсом, он говорит мне: расстегни штаны, – и быстро вытаскивает из моей ширинки измученный член, истощенный эрекцией, он берет его глубоко в рот, он кусает его, он сжимает его в тисках, затем снова уводит. Он перенял вкус моего хуя, чтобы через пару секунд его почувствовала во рту она, чтобы заставить ее впитать мой запах, он осеменяет ее тело нашей историей.

Ты даже не знаешь, как ты красив, когда сосешь, когда нагибаешься, когда становишься на колени, склоняешься над моим стеблем и ловишь его, поглощаешь его и сходишь с ума от того, что он у тебя во рту, ты двигаешься,

извиваясь от нетерпения, от голода, оказываешься голодным зверем, псом, станком, который мне следует отрегулировать, насосом, ты даже не знаешь, как прекрасны твои щеки, втянутые при вдохе, твоя откинута в пустоту голова с прильнувшей к ней кровью, и твои сомкнутые вокруг моей плоти губы, твои полуприкрытые, непонятные глаза, все твое напряженное тело внезапно преобразуются. Мне бы хотелось, чтобы ты видел, как ты сосешь, когда твой рот заполнен моим хуем, чтобы ты видел, как ты проглатываешь мой сок. Я предлагаю тебе единственное дополнение: квадратное зеркало, без рамки, без украшений, которое я буду держать возле своего живота, когда ты припадешь ко мне, изогнувшись, двигаясь из стороны в сторону и мечтая почувствовать в себе в тот же самый момент другой хуй, тогда как моим ладоням даже не нужно сжимать твою шею, чтобы подчинить тебя, когда прекрасными узами ей служит один мой взгляд. По ночам, когда мне тоскливо, я представляю тебя, как ты сосешь вот так, что-то бормоча, с жадностью, и смотришь, как в зеркале вторится твое наслаждение. Я представляю, как ты сосешь не только мой хуй, но и другие; дабы удовлетворить твою жажду, я доставляю тебе в своих видениях множество хуев, необрезанных хуев нежных юношей, тяжелых и черных жезлов, гигантских елдаков, возвышающихся над тобой и твоим лицом.

Теперь – ты слышишь меня? – я запрещаю тебе мыть твой хуй. Я сам буду бережно омыwać его языком и губами, стоя у твоих ног, я хочу съесть остатки твоей застывшей спермы и мочи и всю затхлость, вытекающую из твоего живота, я хочу, чтобы из твоего хуя в мое горло лился ее вагинальный сок. Я больше не хочу, чтобы твой хуй был гладким, лишенным запаха, почти что отдающим мылом у меня на языке, я хочу, чтобы у него было свое отличие, своя особенность, смешавшийся аромат вашей ебли.

Я протянул ему обрывки простыни и сказал: теперь моя очередь насытиться твоим порабощением, сейчас же нагибайся и снимай одежду, уже на полу, хотя тебе это и неудобно, и я поставлю голую ногу тебе на лицо, чувствуя раскаленную штангу хуя в моих брюках, я отлуплю тебя ею по щекам и затылку, я буду тереться своей дубиной о твои ягодицы, ты должен будешь умолять меня самыми непристойными словами, чтобы я воткнул ее тебе в задницу, но сначала вытянись во весь рост, я должен тебя запеленать, – произвольно я уже капал на него слюной. Я сдавил его, затягивая все туже самые тонкие перевязки для намордника, и я сказал ему: это твой собачий ошейник, представь, что на нем шипы и эти шипы с каждым намеком на неповиновение будут входить в твою шею, представь, что куски простыни, которыми я обвяжу твои яйца и хуй, тоже покрыты шипами, которые будут вонзаться в твою плоть каждый раз, когда ты будешь сосать у меня с меньшим пылом, каждый раз, когда твоя рука устанет остервенело мне драть, каждый раз, когда твой зад будет вбирать мой хуй недостаточно глубоко, я хочу видеть тебя падшим и молящим меня, изнуренным моими ударами, жаждущим наказания, видишь, вот эта новая

повязка твоего намордника будет у тебя между зубами и заставит сочиться кровью твои десны, но твой рот может еще пригодиться, у меня есть чем заполнить его много раз доверху – моим надувшимся и бьющимся в плавках елдаком, моим языком, пятерней, нужно, чтобы все твое горло, даже миндалины, которые двигаются помимо твоей воли, доставляли мне удовольствие, перевернись и вытяни ноги, чтобы я связал тебе лодыжки, у тебя не будет никакого отдыха, ты будешь отделан, отдолбан со всех сторон, я хочу слышать, как ты стонешь, как ты плачешься, чтобы заставить тебя заткнуться, набивать твой рот и твою задницу все глубже, без всякой пощады, а теперь протяни руки, я свяжу тебе запястья, стань слабым, безруким, я накажу тебя этой рдеющей на твоём животе эрекцией, кусочком льда я буду тереть головку твоего члена в том самом месте, которое спрятано крайней плотью, пол для тебя слишком хорош, тебе нужно лежать если не на камне, то на льду, на раскаленном добела железе, чтобы ты на нем корчился, чтобы твое тело вспыхнуло и потрескалось, раздавленное моим, я хочу съест твою поджаренную кожу, я непременно хочу содрать с тебя кожу, пока что у тебя под твоими вытянутыми руками и изогнутыми сдвинутыми ногами будет зернистый бархат наждачного полотна, и я дам тебе изголодаться, я заставляю твою слюну течь, и как только она появится у тебя на губах, я достану свою приманку, я на несколько минут спущу свои плавки и, присев на корточки, буду тереть твое лицо своим толстым и влажным хуем, раскачивающимися в разные стороны яйцами, я натру ими всю твою морду, а потом внезапно устрою тебе диету, я знаю, что мой хуй вызывает в тебе самое сильное желание, когда он мокрый, что больше всего ты хочешь его сосать, поэтому до того, как я его тебе вправлю, я запрещаю себе возбуждаться, чтобы потом он был еще более влажным и толстым у твоих губ, и чтобы ты стремился лишь к одному, раскрыть их и дать ему, обжигающему и мокрому, просочиться в твой рот и заполнить его весь, чтобы ты мог посасывать, пожевывать, заглатывать всей своей пастью, но, как я тебе уже сказал, я запрещаю тебе размыкать губы, скули от своего желания, если ты их хотя бы приоткроешь, то сразу же почувствуешь свои ягодицы, я смогу разогреть их, не пользуясь плеткой, я пока не двигайся, я вижу, что твой хуй, отбросив кусочек льда, снова встает, я должен буду его перевязать, поглумиться над ним, зажать его в узле вместе с твоими яйцами, ты жаждешь, чтобы тебя отымили, но я хочу слышать, как ты говоришь это, я хочу, чтобы ты сказал: хозяин, умоляю тебя, я не могу больше оставаться порожним, я хочу, чтобы меня отдолбили со всех сторон, – но будь терпеливым: черный хуй, дрожа, наполняется кипятком, и мой хуй поднимается только для того, чтобы заполнить тебя; – я связал ему руки над головой, я покусал его соски, потом заключил их в тиски зажимов, он застонал от боли, я сказал ему: я не дам тебе покоя, пока не заставлю тебя завывать, – взяв за волосы и опрокинув его голову назад, словно заставляя смотреть, что там творится, я погрузил черный кипящий хуй меж ягодиц и сразу же вынул, чтобы ранить его, затем снова ввел его, чтобы обжигающая и маслянистая резина возбуждала рану, дальше я присоской прикрепил черный хуй к стене, чтобы он не по-

кидал его задницы и насиловал его без перерыва и до изнеможения, угрожая пропороть живот и заставляя подниматься все выше, вставать на цыпочки; я поднимал или же опускал уровень в зависимости от тех позиций, которые я приказывал ему занимать, я заставил его сосать у меня, сев на корточки, прислонив протыкаемый зад к стене, когда его уже тошнило от моего хуя, в то же самое время я бил его по бокам и шептал: я знаю, что мой хуй вызывает у тебя отвращение, я знаю, что тебе страшно брать его в рот, и именно поэтому я и вынуждаю тебя это делать, давай, соси его, хорошенько отсасывая, засунь его себе в глотку, у тебя не будет передышки до тех пор, пока ты не заставишь его извергнуться, полностью, пока его горькое молоко не вытравит тебе задницу, пока оно не обожжет твой желудок, – с высоты я наслаждался, глядя на его рот, искаженный движениями, его округляющиеся щеки, заполненные моим хуем, его лицо стало уродливым и прекрасным, его зад двигался согласно колебаниям моего хуя, я затянул поводок в основании его шеи, чтобы хуй еще больше его душил, затем одним движением сильнее стянул тряпичную веревку, обвязанную вокруг яиц, я услышал, как он визжит от удушья моей плотью, что он больше не может, я увидел, как его член излил тонкую липкую струю, я сказал ему: представь, что ты сосешь у своего кумира, колосса, быка, представь, что ты сосешь у своего божества, представь, что ты сосешь у великана, представь, что ты ребенок и я принуждаю тебя сосать мой хуй, что эта палка тебе противна, что ты никогда не видел такой большой и толстой, и что тебе страшно брать ее в рот, – и я еще больше стянул обе веревки вокруг его шеи и яиц, одним пинком я толкнул его бедра ниже, чтобы он еще глубже сел на черный хуй, я услышал, как рвется его плоть, к его ногам закапала кровь, теперь он раскрыл глаза и в ужасе поднял их на меня, я сказал ему: моя сперма успокоит твои раны, я напущу ее тебе в рот и оставлю немного, чтобы прижечь твою задницу, – в момент оргазма я вытащил хуй из его рта, чтобы забрызгать глаза, которые утонули в белых молочных струях, я на несколько миллиметров передвинул зажимы на его сосках, чтобы он заново ощутил боль, и тут же я вытащил черный хуй из его зада, чтобы вставить его, перепачканный в крови и дерьме, ему в рот, и воспользовался проторенной дорогой, чтобы пустить по ней мой хуй, я взял палку и, трахая его, хлестал его по спине, бедрам, ягодицам, я с силой кусал его шею, и с каждым укусом вынуждал его еще глубже заглатывать искусственный хуй, чтобы он почти что дырявил его горло, одной рукой я держал его за волосы и тянул его голову с силой назад, моя слюна текла по ранам на его теле, я сказал ему: там, где у тебя на теле еще сухо, я поставлю тебе горчичники, вымажу тебя ледяной горчицей, чтобы у тебя не осталось ни одного сантиметра кожи, который бы не возрадовался. Потом мои руки посыплют тебя тальком, принеся облегчение, ты поцелуешь их и заснешь.

Мальчики в этой местности, несмотря на постоянную тепличную жару, носят плавки и белье из ангоры. Некоторые предпочитают майки без рукавов, позволяющие поводить плечами, то белыми и матовыми плечами заключенных, то черными и сверкающими плечами корсаров. Они перемещаются по этому



полупустому пространству, согласно собственным траекториям: они наделены безупречной красотой статуй, их голубые или зеленые глаза пристальны, а странный взгляд будто бездонен, их движения точны, как и во время упражнений на прикрепленных к потолку или стене гимнастических снарядах, на трапециях или кольцах, а еще на батутах, брусьях, канатах. Они покачиваются, потягиваются или опускаются на колени, опустошают бассейны, из которых переливается через край сперма: равномерное движение трапеций или колец, в которые продеты их тяжелые ляжки, чтобы можно было еще сильнее изогнуть спину, в самом деле рассчитано со всей точностью, дабы удовлетворять с помощью смыкающихся губ и задниц, действующих с постоянством насосов, все нужды гостей. Дыхание одного мальчика, грудь которого, словно хрустальный или хромированный сосуд, постоянно выпускает пары амилнитрита, исходящего прямо из ноздрей, разжижая бьющуюся в его сердце кровь и разогревая его бедра, тотчас же заставляет набухать хуй и раздвигаться ягодицы, сластит их и расслабляет, неуловимым образом полируя все тело. Явного источника света нет, ни окна, ни неоновой лампы. Сложно узнать, под землей находится это место или на этажах, в центре города или в предместье. Уже очень долго не произносится ни единого слова, слышен только скрип гимнастических снарядов или скольжение леопардовых одежд мальчиков. То, что распирает и мнет шерстяную ткань прямо под их гладкими животами, под их точеными пупками, довольно велико, и, если захочется спустить ангору вдоль ляжек, в руке окажется выпростанный тяжелый хуй, то белый и матовый хуй заключенного, то черный и сверкающий хуй корсара. Хуй этот надолго остается набухшим и напряженным, высвобожденным из шерстяного белья, чтобы обшаривать внутренности или же массировать десны. Потом можно увидеть, как эти мальчики, доставив удовольствие, плещутся в свежей прозрачной воде бассейнов. Потом они возвращаются, чтобы их снова ласкали.

Хозяин отвязал нас и бросил нам мяса. Мы побежали, чтобы схватить кусок, и запутались в поводках. Хозяин ухмылялся. Мы были голодны. Кусок был великолепен: красный, набухший от крови, весь в длинных прожилках, он капал и дымился, он был еще совсем теплый, его только что отрезали. Он был достаточно велик для двоих, но другой кобель, более быстрый, менее перепутавшийся, схватил его передо мной на лету и зажал в лапах, принялся лизать, облизывать, не кусая, визжа и тявкая. Я подошел к нему, чтобы урвать для себя немного, чтобы и у меня был кусок, который я мог бы лизать, но другой кобель начал рычать, он оскалился, чтобы показать мне свои клыки, потом снова зажал кусок лапами и начал его лизать с новой силой, надменно. Из моего рта вдруг пролилась слюна, и от ее несчастной лужицы, отражения моего безмерного голода, тоже стал идти пар, а потом она замерзла. Я метался вокруг куска, вокруг кобеля, что сжимал его, и хозяин снова засмеялся, показывая белые зубы, гораздо более хрупкие, нежели наши, он сказал: у меня есть только один кусок на вас двоих, но он жесткий и теплый, очень вкусный, вы должны его

разделить, не деритесь больше. Другой кобель по-прежнему сжимал его между лап и теперь посасывал, вдыхал аромат сочившегося сквозь волокна изнутри сока, покусывал этот кусок. Голод, в котором нас до сих пор держал хозяин, истощение, наш вынужденный бег без остановки, с завязанными глазами, по бесконечным кругам в холоде, хотя мы были совершенно голые, выбритые, без нашей шерсти, – все это вызвало у меня смутные видения, и временами мне казалось, будто я вижу, как мясо оживает, запрыгивает в пасть другого кобеля, становясь от этого только желаннее. Украдкой, с мокрым хвостом, с дрожаниями от холода боками, я начал виться вокруг сапог хозяина, а потом, постепенно от них удаляясь, приближаться к другому кобелю сзади, чтобы с силой укусить загривок, дабы заставить его уступить, оставить мне этот кусок. Но нюх, более острый, чем у меня, предупредил его, и в последний момент, когда я уже почти чувствовал кусок у себя в пасти, он обернулся и начал тихо, приглушенно рычать, почти уже лаять, и в этом вызывающем рыке, в том, как дрожал звук, было все удовольствие, что другой извлекал из куска и похищал у меня, это было влажное твяканье, опьяненное мясом, угрожающее. Я отошел в сторону и побежал, я бежал до самого озера. От досады, – хотя мысль о том, чтобы после многодневного голода пить эту ледяную воду, а не есть кусок теплого вкусного мяса, в котором мне было отказано, – хотя мысль эта вызывала у меня тошноту, я немного попил, но хозяин мне свистнул издалека. Вода, которую он нам дает, обычно теплая, тошнотворная, в ней всегда плавают его перхоть и какой-то осадок с запахом его пота, его ног, его зада, который мы должны дочиста вылизывать. Он свистнул мне и заново привязал, я прижался к земле, я боялся, что он станет меня бить. Он сказал мне: ты не очень-то умен, так ты не добудешь себе этот кусок. Другой же кобель продолжал слюнявить его, держа в когтях, по-прежнему не кусая, выжимая его и ликуя, злорадствуя, и вымачивал его в вытекающих соках. Хозяин сказал мне: видишь, он голоден, но он растягивает удовольствие, он знает, что в любом случае может лишь ощутить этот вкус и никогда не насытится им, он знает, что я бросил ему этот кусок, только чтобы он еще сильнее почувствовал голод. – На этот раз истощение, усталость, раздражение заставили меня со всей явностью увидеть, как кусок мяса подскакивает между ног хозяина, вьется там, словно алое веретено, разбухшая на самом конце палица, коническая катапульта, словно таран, которым сотрясают ворота крепостей. Хозяин снова смеялся, и его ноги в сапогах сгибались от этого смеха, бедра дрожали, распахнутая и отороченная густым мехом, который сыпется в наше поило, черная одежда трещала по швам и колыхалась, и между ее отворотов болтался этот кусок мяса, который он подвесил там, словно, чтобы поиздеваться над нами. Я с такой силой вцепился в загривок другого кобеля (у него не было шерсти, которая могла бы его защитить), безжалостно прогоняя его от огромного ломтя, по моей глупости оказавшегося под моими тощими боками, что он взвыл дурным голосом, от которого душа могла уйти в пятки. Он был побежден, и хозяин ударом ноги прогнал его. Я набросился на оставшееся сочащееся мясо, оно шлепнуло меня по щеке, я начал обжираться

им, я настолько не притворялся, настолько не сдерживался, чтобы проглотить его, чтобы оно, согретое другим, ликовавшим над ним кобелем, отдало мне все свои соки, что мне не удалось нарушить божественного порядка и сжать кусок, проглотить, поперхнуться им. Чтобы успокоиться, я перестал лизать роскошную костяшку и принялся ее грызть, когда другой кобель, нападая, твякая и хватаясь за край куска, возобновил попытки. Мы грызли с разных сторон, друг против друга, косясь на это мясо, рыча от удовольствия и угрожая, когда кто-то из нас хотел подобраться ближе, с жадностью пытаюсь овладеть чужой половиной, потом хозяину надоела наша жадность, и вдруг, ничего не сказав нам, он отнял у нас мясо, он сунул его себе в штаны, он сказал: вы всего-навсего голодные кобели и заслуживаете лишь одного: чтобы вас подвесили за ноги, как дичь, а морды заткнули тряпками, завернули в пластиковые мешки и опустили в бадьи, чтобы вы задохнулись там в своей крови и рвоте.

Внезапно стена падает, перегородка исчезает, потолок поднимается, открываются пол, амальгама зеркала тает, и я получаю доступ к их телам, я присоединяюсь к ним. Он только что вышел из нее, он кончил в нее, наполнив ее живот, словно бурдюк. Именно в этот момент я и застаю их. Нет, он еще не вышел из нее, я вижу, как его хуй высвобождается из ее сочащейся пизды, и становлюсь на колени, чтобы поцеловать их союз, я облизываю его хуй, пока тот выходит наружу, и он падает из ее пизды мне в рот, я всасываю их совместный сок. Мой хуй встал. Позже каждый новый толчок моих бедер вгоняет его хуй все глубже в нее, и в этот момент, с потоками нашей спермы, спермы, льющейся от меня к нему, достигающей его яиц, спермы, пересекающей складки кожи, передающейся от него к ней, в этот момент, потоками нашей соединяющейся спермы, в этот самый момент она оплодотворяется.

*Перевод Алексея Воинова*

## КРИСТИАН СОЛЕЙ

### РАЗГОВОР С ДВУМЯ ДЕТЬМИ

Париж, воскресенье 16 сентября 2001 года, час дня. Идет дождь. Я жду возле «Хромого быка», это мясной ресторан на авеню Жан Жорес. У меня встреча с Пьером Раймером и Венсаном Мармузесом, двумя детьми из «Путешествия» Эрве Гибера. Нам не везет, «Хромой бык» по воскресеньям закрыт. Вскоре появляется Пьер. Вырастает прямо передо мной, в широких полотняных штанах, тонком шерстяном свитере, расстегнутой рубашке с засученными рукавами. Под одеждой угадывается худое, мускулистое тело прежнего грациозного ребенка из книги, которая теперь, 20 лет спустя, тоже, конечно, повзрослела. Пьер верен образу, запечатленному на снимках того времени. Его взгляд, надменный вид говорят о циничной заносчивости, которой противоречит ласковый вкрадчивый голос.

Мы ждем Венсана. Пьер отвечает, смотря мимо меня. Мы разговариваем о моем проекте, о друзьях Эрве Гибера. Пьер бросает несколько реплик о тех, кого не очень ценит, произносит слова «культурный мешанин» или «противозаконная вдова», которые не всегда касаются тех, о ком можно подумать. Говорит резко, порой невнятно. Однако, с каждой минутой беседы становится все мягче.

Пьер предлагает пообедать в «Музыкальном кафе». «Это одно из любимых мест Бернара». Конечно, речь о Фоконе. Современный интерьер, вид на эспланаду Сите де ля Мюзик. Появляется Венсан. Вот он, уже взрослый, пересекает эспланаду. На нем серая рубашка и серый галстук, черная куртка, голова обрита почти «под ноль». Выглядит трогательно. Он очарователен. Внимателен. Проявляет уважение. Позже он скажет, что не испытывает никакого восхищения перед Эрве Гибером. Звучит правдиво. В его голосе, в том, как он подбирает слова, в его неожиданно быстрой речи, когда он вспоминает о большом писателе, делающем из него литературного героя и потом убившем его, чувствуется любовь.

Я боюсь его ранить. В конце концов, он выглядит не таким уж хрупким. Может быть, после тяжких лет он заново воссоздал себя. Он оживает, и взгляд его начинает светиться, когда заходит речь об Эрве Гибере. Кажется, чувствует некое подобие счастья, когда говорит о своих воспоминаниях.

У него не такое лощенное лицо, как у Пьера. Он не показывает своей красоты первому встречному взгляду. Ее нужно открывать во внезапно расцветшей улыбке, в случайном взгляде, в той естественности, с которой он переходит на «ты». Его красота нуждается в некоем усилии зрителя, словно красота произведения искусства, дарящая себя тому, кто умеет до нее дойти.

Нет и речи о том, чтобы он что-то умалчивал, недоговаривал. Он говорит с полной свободой, удивляющей, обезоруживающей, словно уже решил все сомнения, пережил всю боль и страдания, все сложности, связанные с Эрве

Гибером. Ему было шестнадцать, когда он встретил писателя, двадцать шесть, когда тот умер. Сейчас ему тридцать шесть.

Я ненадолго отхожу. Когда возвращаюсь, Венсан спрашивает меня, сколько мне лет. Они обсуждали это с Пьером. Он просит извинения, если вопрос бестактен. Я объявляю, когда у меня будет следующий день рождения. Он отвечает, что думал, я моложе. Улыбается. Я рассказываю ему, что, когда был подростком, страстно увлекался произведениями Эрве Гибера; о том, как моя страсть с течением времени изменялась. «У вас хороший вкус», – отмечает он с юмором.

Венсан: «Идея отправиться в путешествие возникла у Бернара Фокона. Он действовал, словно брачный агент. Он потерял голову от Пьера. Хотел, чтобы я привязался к Эрве. Я видел Эрве несколько раз перед путешествием. Впервые встретил его у Бернара Фокона, на рю де ля Гут д'Ор. Эрве работал тогда над фильмом Шеро. Бернар постоянно шикал нам с Пьером. Эрве работал с кем-то в соседней комнате. Он заметил нас из открытой двери. Казалось, он очень хотел познакомиться. Он смотрел во все глаза. Нас это впечатлило, потому что Бернар говорил нам о нем, как об известном человеке. В конце концов, мы немного поговорили с ним».

«Во время путешествия Эрве все время делал записи в маленьком блокноте. Он сердился, когда кто-нибудь пытался их прочитать. Он этого не любил».

«Что мне больше всего нравилось из его произведений, так это пьеса, написанная по мотивам романа «Слепые». Постановка Филиппа Адриена<sup>1</sup> была фантастической. Я редко получал подобное наслаждение».

Пьер: «Я никогда не читал ни одной книги Эрве до конца. Я останавливаюсь, прочитав страниц двадцать. Из осторожности. Что касается «Путешествия», я прочитал всю первую часть. Не вторую. Я был очарован его злобностью. В своей злобе он был весьма деликатен, тонок, лукав, пронизителен».

Венсан: «Я не был восхищен. Когда я читал какой-нибудь пассаж из его книг, в котором он говорил обо мне, это производило на меня такое же впечатление, что и мой приезд в Арль. Там был Бернар Фокон, Кристиан Кожоль<sup>2</sup>, Пьер. Демонстрировали фотографии Эрве. В тот момент, когда я вошел, показывали мою фотографию, на которой я изображен в плавках, она была размером метров десять на десять. Не очень приятно видеть такое на экране».

«Когда книга «Без ума от Венсана» вышла, я долго скрывал это от близких. Но для моей матери это не было какой-то проблемой. Она предпочитала, чтобы я был с богатым и умным юношей, нежели с девушкой... Иногда она была несдержанной, порой немного даже подлизывалась к Эрве, разговаривая с ним по телефону. «Я прочла все книги Эрве. Иногда он использует в них забавные истории, которые я ему рассказывала, иногда я нахожу в его текстах пересказы моих детских выдумок»».

<sup>1</sup> Филипп Адриен – французский театральный режиссер, автор пьес, поставил «Слепых» Эрве Гибер в Париже в 1986 году.

<sup>2</sup> Кристиан Кожоль – основатель и арт-директор профессионального агентства фотографов «ВЮ». Автор ряда статей об Эрве Гибере.

Пьер: «Все его книги написаны, чтобы произвести впечатление. Он не считался с дистанцией, которая должна оставаться между друзьями. Публикуя что-то новое, он, как правило, знал, какой отклик вызовет книга. Он использовал тексты, чтобы сводить счеты. Это были словно боевые установки. То, что опубликовано, наделяется особой силой, потому что кажется, что оно вечно, всегда будет существовать, останется здесь навсегда. Его произведения каждый раз обрисовывали новые ситуации, вызывали недоверие, провоцировали толки».

Венсан: «Иногда я на него сердился. Он рассказывал в своих книгах о вещах, о которых не следовало рассказывать. Он часто писал что-то, что не осмеливался произнести. Это была своего рода отдушина».

Пьер: «Ему нравилось вносить раздор. Как и хотеть всегда отбить чье-нибудь парня. Помнишь о Горке?»

Венсан: «Да. Но это было, скорее, мальчишество. Я помню, как приехал к нему на виллу Медичи. Мы повстречались тогда с Бальтюсом<sup>1</sup>. Эрве и он: это было свидание двух сумасшедших. Чтобы пройти в дверь, которая была высотой не более метра двадцати, следовало нагнуться и в то же самое время подняться по ступеньке. Бальтюс споткнулся. Эрве удержал его, чтобы тот не упал. Прибежала его гейша. Бальтюс узнал Эрве. Он шлепнул меня по плечу и сказал что-то вроде «Так и продолжайте!»».

«Последние месяцы его жизни я с Эрве не виделся. Я был нездоров. Я знал, что не могу вытащить его из дерьма. Пытался его поддерживать до тех пор, пока еще мог это делать. Я сказал ему: «Не беспокойся! Главное, не пей дигиталина. Ты не должен так умирать. Ты будешь нас изводить до самого конца...» Мне было тяжело слезать с наркоты. Мне не верилось, что он умрет. Мы виделись перед тем, как он уехал к Барсело<sup>2</sup>. Я удивился, что он едет в страну с таким сухим климатом, где все так сложно, никаких удобств, в том состоянии, в котором он был. Он вернулся в отличной форме. Я не мог представить его мертвым. Когда он оказался в больнице, я сказал себе, что найду к нему через неделю-две».

Пьер: «У него была своя охрана из приближенных. Ханс-Георг в качестве Цербера. Истеричный Бернар Фокон. Эрве не позволил прийти членам семьи».

Венсан: «Ханс-Георг кружил вокруг, будто ястреб. Это было похоже на «умирающего юного гения»».

Пьер: «Эрве знал характер Ханса-Георга, его лстивость, его преданность...»

Венсан: «Мне не нравилось, что тогда шла речь, чтобы я делал фильм для канала ТФ1 «Стыд или бесстыдство». В самом начале Эрве хотел, чтобы именно я снимал его в обыденной жизни. В конце концов, он сам это сделал, и довольно целомудренно, хотя никогда в жизни камеру в руках не держал...» В фильме есть момент, который я ненавижу. Когда эта ненормальная католичка готова

1 О художнике Бальтюсе (1908 – 2001) Эрве Гибер написал книгу «Дознание о портрете» (*Enquête autour d'un portrait*), изданную в 1997 году.

2 Мигель Барсело (р. 1957) – знаменитый испанский художник, друг Эрве Гибера, написавший множество его портретов. Писатель незадолго до смерти гостил в доме Барсело на Майорке.

пожертвовать ради него жизнью. Можно подумать, что Эрве ценит эти признания. Я в это совершенно не верю».

Пьер: «Это была ирония».

Венсан: «После смерти Эрве Кристина сказала мне: «Ты ничего не получил в наследство. Мне бы хотелось отдать тебе что-нибудь». Я знал, что Барсело написал четыре портрета Эрве, которые я видел у него дома. Я хотел забрать один из них. Я, конечно, не знал, сколько они стоят. Но я ничего не попросил».

«Есть одна вещь, которую мне бы хотелось оставить себе, это права на «Без ума от Венсана». Не из-за денег, их это почти не принесет. И еще мне бы хотелось, чтобы у меня была рукопись. Да, я бы хотел попросить это у Кристины».

«Эрве и так много мне оставил. Ничего осязаемого, но столько воспоминаний. Он должен был решить, что с моей стороны было подло не прийти к нему в последние месяцы. На самом деле, я не пошел к нему как раз из-за того, что подлецом не был».

В конце интервью Венсан и Пьер записывают в мой блокнот свои координаты. Венсан соглашается перечитать «Без ума от Венсана» и письменно прокомментировать сцены из книги.

*Париж, 16 сентября 2001 года*

*Перевод Алексея Воинова*

## ПАВЕЛ СОБОЛЕВ

### НАСЛАЖДАЯСЬ И СТРАДАЯ, ТОРГУЯСЬ И БЕЗУМСТВУЯ, ИЗМЕНЯЯ МИМОЛЕТНОСТИ С ГЛУБИНОЙ

Несмотря на то, что одна из книг Эрве Гибера была издана на русском языке два десятилетия назад, можно уверенно констатировать, что старт процессу плеторического знакомства русскоязычного читателя с прозой Гибера был дан лишь в 2011-ом году выпуском русского перевода «Путешествия с двумя детьми». Роман «*Voyage avec deux enfants*» вышел в свет во Франции в 1982-ом; не удивительно, что имея все формальные признаки дневника путешествия (в Марокко, предпринятого из Парижа двумя молодыми мужчинами в компании двух детей мужского пола), этот текст не испытывает дефицита в прямых указаниях на даты, к каковым приписываются описываемые в нем события. Однако обнаруживая в этом дневнике в изобилии числа и месяцы, его читатель ни разу не найдет упоминания о годе; но если этот читатель будет внимателен, он придет к единственно верному выводу, согласно которому время действия этого произведения практически совпадает со временем его первой публикации. Дело в том, что однажды рассказчик, фиксируя себя и своих компаньонов на изнурительном пути из Могадора в Агадир, находясь в состоянии исключительного утомления от осуществляемого приключения, с нежностью и тоской вспоминает о своей подруге Изабель, которая в искомый момент находится на съемках так далеко от него – аж в Мексике; контекст, в который помещено женское имя, располагает к тому, чтобы в этой подруге была узнана Изабель Аджани и никто другая, а ей случалось сниматься в Мексике единственный раз в жизни – у Карлоса Сауры в «Антонiette», вышедшей на экраны кинотеатров в конце как раз 1982-го года.

Впрочем, читателю «Путешествия с двумя детьми» не следовало бы упускать из виду того обстоятельства, что реальное историческое время, обращиваясь в книге художественным, может подвергаться довольно сильной девиации: например, можно заметить, что в соответствии с «временным поясом» этой книги так называемые международные кинофестивали класса «А» не разнесены по четырем временам года, а случаются едва ли не одновременно; пока Аджани, самый близкий друг Гибера из числа актеров, снимается в Мексике, его близкие друзья из числа режиссеров или только-только приехали из Венеции или Москвы, или как раз пакуют в них чемоданы, а самый близкий из таковых, Патрис Шеро, в это же самое время пребывает в Берлине. В 1983-ом году уже не в пространстве художественного вымысла, а в самой что ни на есть осязаемой – и задокументированной в истории французского искусства – жизни Патрис Шеро снял имевший во Франции заметный успех фильм «*L'Homme blessé*» по сценарию Гибера, и монотонно и невнятно закадрово озвученная



на русском языке видеокопия этой замечательной кинокартины была на протяжении многих лет одним из крайне малочисленных следов присутствия творческого наследия скончавшегося в 1991-ом году от СПИДа в возрасте 36 лет выдающегося французского писателя, драматурга и фотографа Эрве Гибера в чем-то вроде, что ли, условного русскоязычного атласа современной европейской культуры. Кроме этого следа, стоит вспомнить написанный Ярославом Могутиным в 1993-ем году блестящим некрологическим слогом текст на очередную годовщину со дня смерти Джима Моррисона, в котором эстетическое, философское, эротическое восприятие смерти в поэтике лидера «Doors» противопоставлялось обстоятельствам ухода из жизни некоего таинственного Эрве Гибера, который, как было написано Могутиным, покидал земной свет в обществе нацеленных на него софитов. Для читателей "Независимой газеты", не знавших, кто это такой, уже через несколько месяцев случилось исчезновение интриги вокруг этого имени, поскольку в России гигантским (не по тогдашним, а по нынешним временам) тиражом издали предсмертный роман Гибера «Другу, который не спас мне жизнь» (грандиозность количества напечатанных тогда экземпляров тома с русским переводом этого романа отнюдь не мешает ему быть сейчас букинистическим раритетом), автобиографическую книгу с подробным изложением истории обнаружения ее автором признаков смертельного вируса, лабораторного подтверждения его наличия и жизни с ним, финальную часть которой Гибер превратил, по выражению его биографов, в «прямой репортаж о смерти», который велся с помощью установленных рядом с его больничной койкой микрофонов и телекамер и практически аккредитованных при ней хроникеров его отхода. Между тем это произведение, при всех его неоспоримых достоинствах, легче и справедливее назвать одним из ярчайших образцов художественной прозы о «чуме XX века», чем одной из главных жемчужин «корпуса текстов» самого Эрве Гибера, первые значительные свершения в котором датируются годами, значительно предшествовавшими поре вынесения ему необжалуемого диагноза в 1988-ом году. Поэтому не будет преувеличением провозгласить, что эра настоящего – никак не связанного с конъюнктурными соображениями участников книжного рынка (таковые соображения пару десятилетий назад непременно были первостепенными при издании книг, так или иначе связанных с темой СПИДа) – знакомства «русскочитающего мира» с Эрве Гибером как с литературным феноменом наступила только в 2010-ые – с изданием русского перевода «Voyage avec deux enfants», выполненного Алексеем Воиновым.

Один из героев того самого фильма Патриса Шеро «L'Homme blessé» убеждал другого в том, что в предпринятии такого предприятия, как путешествие в Африку, в конце XX века для европейца нет ничего сложного: нужно лишь сделать несколько прививок и за две недели до отбытия начать принимать профилактические пилюли против малярии, а в целом же Африка практически столь же легкодоступна парижанину, как соседний с его домом переулок. Как центральный фигурант сценария Эрве Гибера не отнесся к таковым увещаниям

с доверием, так и сам Эрве Гибер, получив – весной 1981-го года, как можно предполагать – от своего друга, знаменитого фотографа Бернара Фокона, приглашение отправиться вместе с ним и с двумя детьми с не вполне ясными целями в Марокко (страну, обозначенную Фоконом как край между морем и пустыней), остро ощутил, что если его другу такое путешествие далось бы не тяжелее, чем взбалмошная мысль его совершить, то для него самого оно могло бы оказаться сопряжено не только с хлопотным физическим перемещением его тела, но и с суровыми испытаниями для его духа, а оттого оно, как ему стало ясно, требовало тщательных приготовлений. Лишь первую покупку вещей с собой в дорогу Гибер сделал в режиме эмоционального и иррационального акта взбудораженного внезапно возникшими планами далекой и, возможно, опасной поездки человека, – он купил малиновый и лазурный свитера, а также черный шелковый галстук с узором из аэропланов, однако в дальнейшем все намеченные им к приобретению в связи с путешествием предметы стали им оформляться в строгие списки, и отдельной статьёй в них оказалась научная или научно-популярная литература, знакомство с которой помогло бы Гиберу, ступающему в юрисдикцию несколько отличной от привычной ему цивилизации, быть не невеждой в ее истории и нравах, а более-менее просвещенным в них чужестранцем. Проявленное в этой части Эрве Гибером упорство заставило его как одержимого слоняться по парижским книжным магазинам, скупая ботанические и зоологические атласы Северной Африки, путевые дневники исследователей, авантюристов, конкистадоров и энтомологов, соответствующие труды Дарвина, Марка Поло, Кука; это занятие, однако, отнимало столько времени, что у Гибера не оставалось времени открыть приобретенные им тома, тем более что дней за 10 до намеченной Фоконом даты их отъезда Гибер стал не только дотошно планировать путешествие, но и педантично вести отчетность подготовки к нему, а примерно за неделю до вылета он решил, что каждый из семи оставшихся дней должен быть им прожит как последний – не, разумеется, перед его смертью, а перед числом, указанным на авиабилете. Такой уровень мобилизованности, конечно, предполагал ежеминутную проверку исправности замков на чемоданах или наличия паспорта в кармане, а никак не вдумчивое штудирование фолиантов; осознав это и обнаружив в своей комнате подле своих ног груды книг, Эрве Гибер, во-первых, заключил, что книги порой стоит оставлять закрытыми, чтобы они лучше раскрыли свои секреты, а во-вторых, понял, что Бернар Фокон, пригласив его в Марокко, подарил Гиберу книгу самого Гибера, или, вернее, возможность – которая не допускала возможности его пренебрежения – ее написать. Почти в ту же самую секунду Эрве Гиберу стало ясно, что главным условием того, чтобы путешествие человека в Африку свершилось, являлось вовсе не комплексное его превентивное вакцинирование против региональных хворей, а предварительное воображение им этого путешествия – в ошеломительных в своей безусловной порочности, обескураживающих в своей беззаконной вседозволенности деталях, и Эрве Гибер принял даже не то что бы решение, а, скорее, данность: ему открылось,

что в его книге о путешествии должны быть две части, и что первое путешествие свершится в его голове прямо в его комнате, среди его книг, и что рассказу об этом измышленном перемещении в пространстве – для соблюдения чувственного равновесия внутри книги – надлежало стать рассказом об удовольствии, потому что из второй части, в которой неизбежно настал бы черед вести речь о всамделишном вояже, наверняка смог бы – ввиду знававшейся Гибером за собой болезненности восприятия абсолютно любой реальности – получиться только рассказ о страдании.

Однако в итоге на деле вышло так, что уже в первой части этого дневника звонче, если угодно, темы наслаждения зазвучала тема муки; нет, в ней вовсе не оказалось недостатка в сценах настижения ее автором упоительной благодати, и Эрве Гиберу, например, случалось стоять – между пустыней и морем, как и было обещано – на коленях перед двумя своими юными спутниками и целовать этим мальчикам лбки, растирать им на ночь замерзшие от вечернего хождения босиком ноги, а наутро заказывать для этих ног у обувщика сандалии с подошвами из импалы и ремешком из кожи детеныша змеи, или, напротив, позволять тем же мальчикам счищать грязь с его башмаков, мастерить с ними приманки и плести с ними коврики, играть с ними полунагими в бадминтон и совсем с нагими – если не считать одеждой связывающие конечности и натирающие промежность путы – в шекоталки, и учить их несуществующему языку, и это было лишь немногой частью воображенных Эрве Гибером усад его путешествия, однако гораздо отчетливее, подробнее, даже, можно сказать, материальнее ему случилось представить те эпизоды ожидавшей его поездки, что оказались сопряжены с мучениями, – сутью первого такого эпизода стала пытка, а второго – недуг. Жертвой пытки стал сам Гибер, а называлась она «урок плавания»; при помощи нехитрого приспособления из веток, ремней и закрепленных на саговой пальме веревок тело Гиберы зафиксировали неподалеку от берега на поверхности океана, то над которой он – по воле управлявших с берега импровизированным подъемником мальчиков – взлетал в фонтане брызг, то на которую в таком же фонтане обрушивался, а когда Гиберу возмерещились приближающиеся к нему черные плавники, один из двух парнишек расцарапал ему иглами пятки, чтобы кровь, способная привлечь акул, закапала с них в воду, и оба ребенка выдвинули Гиберу очень строгие условия прекращения экзекуции: его освобождение могло состояться только в обмен на одно из трех обещаний – станцевать голым среди бела дня на деревенской площади, позволить детям накакать и написать ему в рот или позволить связать ему руки и посадить при этом ему в плавки трех скорпионов. Что касается болезни, изнурительной – имевшей все признаки смертельной – лихорадки, то ее жертвой стал уже не Гибер, а один из его недавних возлюбленных юных мучителей, сваленный хворью с ног после инцидента, принятого сначала всеми за укус насекомого, отравившего ребенка своим ядом, но в действительного оказавшегося – по разъяснению самого авторитетного местного колдуна – поцелуем мертвеца, наполнившего ребенка своей душой. Действенным антидотом для

укушенного мог стать только танец самого близкому ему человека, исполненный в присутствии чудовища – исполинского змея, специально сохранившегося для таких случаев колдуном, и исполненный так, чтобы зверь, очарованный красотой танца и танцующего, предпочел бы не задушить танцора, а ласково обнять его; в момент, когда танцор высвободился бы из нежно обвивавших его колец тела умиротворенной рептилии, открылись бы и незримые ворота, через которые паразитирующая душа покойника могла бы покинуть сосуд живого человеческого тела, выбранного ею в хозяева; не все пошло как по маслу, потому что здоровый ребенок, согласившийся с риском для своей жизни попробовать таким экзотическим способом спасти больного, не вовремя сэжулировал во время своих обжиманий с чудищем, а змея запах и вкус человеческой спермы будоражили сильнее, чем акул – цвет человеческой крови, и его нега моментально сменилась кровожадной яростью, и уже ради спасения здорового ребенка ползучую тварь пришлось быстро изрубить на куски, однако предпринятый здоровым ребенком ради больного подвиг не оказался напрасным, потому что пусть больной не исцелился сразу, но зато чудесным образом вдруг превратился под покровом ночи из безнадежного лежачего без пяти минут трупа в мобильную, энергичную сомнамбулу, оказавшуюся способной на одиноличное марш-бросковое паломничество в пустыню, в конечной точке которого укус мертвеца был обезврежен поцелуем спустившегося к ребенку ангела.

Однако более чем вероятно, что человек, который, твердо рассчитывая пометать об удовольствиях, все равно принимался грезить о страданиях, на самом деле почитал страдание за высшую форму удовольствия, а оттого все случившиеся с ним в материальной жизни неприятности могли быть вовсе не кознями неблагоприятного к нему провидения, а осознанно – или подсознательно – подстроенными им самим себе невзгодами; поэтому вполне резонно предположить, что, например, Эрве Гибер брал с собой в путешествия огромное количество вещей не из расчета на то, что все эти вещи могли ему пригодиться в поездке, а чтобы плечо, натертое натянутым ремнем тяжелой сумки, принялось отчаянно болеть еще в аэропорту отбытия, а если Эрве Гибер, не сумев дозвониться перед отбытием из аэропорта до оставляемого в Париже возлюбленного, начинал выуживать наружу проглоченную таксофоном монетку, то делал он это в действительности не из жадности и даже не из сентиментальности, а того лишь ради, чтобы покалечить в этих травмоопасных попытках руки. По крайней мере, примерно с таких сцен начинается вторая часть романа Эрве Гибера «Путешествие с двумя детьми», которая может претендовать на право считаться рассказом не о выдуманном, а о вполне реальном африканском трипе; между тем, замысливаясь как сага о мытарствах, эта часть романа, напротив, была почти что обречена на то, чтобы оказаться повествованием о несомненных сладострастиях, – ведь спутником Гибера в этом приключении оказывался человек, чья потребность в духовных и плотских наслаждениях была не менее насущной, чем потребности большинства землян в кислороде

и влаге. История мирового фотографического искусства второй половины XX века содержит в себе упоминания о Бернаре Фоконе как о вполне себе благопристойной – с позиции традиционной морали – арт-персоне с высокой волею к участию в гуманитарных или даже «цивилизаторских» предприятиях; например, широко известен его проект, в рамках которого он, прибывая со своими ассистентами в разные страны мира (преимущественно «третьего»), раздавал местным детям дешевые фотоаппараты и просил фотографировать в среде своего привычного обитания все, что им заблагорассудится, а потом собирал принесенный ему «улов» и устраивал благотворительные выставки. Из книги Эрве Гибера можно вынести представление о том, что Бернар Фокон, очевидно, был в действительности несколько тоньше организованной натурой; в частности, мы можем обнаружить в его созданном Гибером портрете человека, который отлично себе представлял, что от детей можно получить куда более интересные вещи, чем сделанные ими фотографии, правда, и завоевывать их к себе расположение и даже соблазнять их нужно чем-то более оригинальным, чем обычные фотоаппараты, и что во избежание ситуации, в каковой сделать ребенка в далеких краях источником острого удовольствия для себя окажется невозможным, следует не строить излишних иллюзий насчет сговорчивости туземных детишек, а загодя брать туда – для надежности – подходящих детей с собой. Бернар Фокон так и поступил в рамках авантюры, в которую он вовлек Эрве Гибера: в путь с ними отправились два мальчика среднего пубертатного возраста, и поскольку один из них (фаворит Фокона) был чрезвычайно хорош собой, а товарищ этого милашки («приписанный», так сказать, к Гиберу), напротив, удивительно собою дурен, можно заключить, что Фокон своим любезным приглашением даровал Гиберу не только возможность сочинить книгу, но и стать законодателем традиций жанра, в каковой она только и могла быть написана, – если сюжет добротного полицейского романа обычно содержит в себе образы плохого и хорошего копа, то в безупречной педофильской повести – ну а что иное еще могло породить такое путешествие! – должны, вероятно, обязательно присутствовать образы прекрасного и уродливого ребенка. Итак, если взрослому человеку нужно от ребенка нечто большее, чем плоды его экзерсисов в фотосъемке, то и привораживать его следует чем-то куда более затейливым, чем стандартная фотокамера; на этот случай у Фокона имелся огромный арсенал: поддельные спички, взрывающиеся сигареты, дымовые шашки, ароматические шутихи, разноцветные мыльные пузыри, микроскопические подзорные трубы, крапленые карты, коробки с двойным дном, и даже – уже в Марокко – шарики кифа; если не скупиться в общении с ребенком на все лучшее, что есть у взрослого, и взрослый может рассчитывать на соразмерную в отношении себя такую же щедрость ребенка, главным богатством которого, оказывается, разумеется, его нагота, первой, самой трогательной – сулящей так много грядущих радостей – формой преподнесения каковой в дар должно оказываться в большей степени кокетливое, нежели смущенное вытаскивание ребенком – на взрослое обозрение – из пропитанных мочой

трусов его пениса. Даже Гибер, приготовившийся встречать лицом к лицу в Марокко несчастья, а вовсе не улады, тем не менее, вынужден был признать, что созерцание обнаженного ребенка является не форменной мукой, а натуральным блаженством, однако, будучи значительно уступавшим в искушенности в подобных удовольствиях Фокону человеком, он до поры до времени наивно предполагал, что пароксизм наслаждения, которое доставляет взрослым мужчинам общество нагих мальчиков, заключался в осуществлении права на запечатление и тиражирование их изображений; однако Гибер, возомнивший, что в Африке на его долю не должно выпасть ни одного счастливого мгновения, старался огородить себя даже от таких невинностей, а потому, оказываясь в гостиничном номере подле обнаженных мальчишеских тел, принимался топить объектив своей фотокамеры в ворохе притащенного им из Франции в Марокко скарба: *«Дети просыпаются голыми: их хрупкие ноги еще во власти сна, их спины плавно изогнуты, у них подтянутые и крепкие маленькие ягодички, когда они переворачиваются, видны их гладкие лобки, стебельки их членов, они охотно показывают себя, они медлят, перебирая и надевая одежду, они потягиваются. Я закапываю фотоаппарат глубоко в сумке среди вещей, словно закусив в мыслях губу, я удерживаюсь от того, чтобы достать его и воззвать к наготы детей. Я едва на нее смотрю. Так же, как я следую написанному мною плану, препятствующему наслаждению, желание которого успешно дает о себе знать, я принуждаю себя противостоять фотографии, которая, вероятно, тоже является наслаждением»*. К чести Эрве Гибера, его моральный облик в течение этого путешествия эволюционировал таким образом, что ближе к его последним дням «возвращения» к детской наготы не только стали для него совершенно естественной вещью, но и принялись предполагать доставание не фотоаппарата из сумки, а детородного органа из брюк. Причем рост гражданской смелости и развитие безупречного вкуса к прекрасному, без каких-либо решиться на такие процедуры и переживать их с упоением было бы невозможно, стали наблюдаться у Гибера даже не столько в результате тесного общения с Фоконом, сколько под влиянием вторгшихся в жизнь Гибера, что называется, марокканских реалий, которые, быть может, стали первой в его жизни средой, где такие вещи, как днями не мыться, не чистить зубы, ходить необутым, пердеть и рыгать в полный звук, выставлять напоказ свой грязный потный член, пить, не считая стаканов, и курить, не считая косяков, были не пунктами обязательной программы публичного поведения богемной творческой единицы в европейском мегаполисе, а совершенно естественными, ни в коей мере не являвшимися бросанием вызова «общепринятым нормам» человеческими привычками, справление которых вовсе не требовало – как эпатажные трюки в Париже – к себе постороннего внимания; у каждой из них в Марокко оказался столь восхитительный вкус, что Гибер, толком еще не распробовав их, уже если не понял, так подспудно ощутил, что его вживание в роль рыцаря печального образа на марокканской земле – земле между морем и пустыней – не состоится, потому что любое, самое примитивное физиологическое действие – вроде

опустошения мочевого пузыря или кишечника – в этом краю не могло оказаться несопряженным с получением острого кайфа. Совершенно понятно, что Эрве Гиберу рано или поздно должна была прийти в голову мысль (или, вернее, его сердце однажды должно было осениться чувством), что в стране, где так приятны дефекация или мочеиспускание (и где разваренный бычий хвост кажется деликатесом, а похожий на болотную трясику – не только видом, но и запахом – чай – нектаром богов), оргазмы тоже не будут заурадными; эти выглядевшие чрезвычайно правдоподобными предположения неоднократно подтвердились, и особенно остро – вероятно, в последнюю ночь постояльчества Гиберы в отеле «Аладдин», когда он пережил, по всей видимости, самый незабываемый из своих марокканских оргазмов, – танцую босиком и в спущенных штанах на террасе номера на верхнем этаже причудливый вальс со своим возлюбленным мальчиком; правда, закрытость позиции в этом вальсе была далеко не идеальна, ибо одна из рук ведущего пристроилась не на талии ведомого, а на его члене, а второю рукой ведущий охватывал собственный член, однако ритм мастурбационным движениям задавался не привычной вальсирующим формулой «по три шага в такте», а совершенно иным размером, присущим другому сорту танцевальной музыки – диско, немного странно звучавшему в арабском городе, но звучавшему – в ситуации с танцующими Гибером и мальчиком – оглушительно, на всю улицу, из динамиков расположенного напротив «Аладдина» ночного клуба «Али-Баба». В миг, когда из члена Гиберы изверглось его семя, с его же уст истомным стоном слетело имя крепко ухваченного им за уд ребенка, а еще через несколько мгновений на смену смолкшему диско пришли ревущие крики заклятия, принесенные с верхушек минаретов призывы к утренней молитве, и ко всему прочему, все это происходило в квартале, несколько десятилетий назад отстроеном заново после разрушительного землетрясения; едва ли даже во всей своей жизни Эрве Гиберу приходилось кончать в более грандиозных декорациях.

Впрочем, если держаться точности, то следует признать, что Эрве Гибер почти до самого финала своего пребывания в Марокко – уже пустившись во все тяжкие самых греховных наслаждений – пытался убедить себя в том, что варварская страна, в которую он позволил себя привезти, была больше похожа на каторгу, чем на курорт, и даже давал себе обещание в том случае, если ему удастся унести из нее ноги, больше никогда не покидать не только границ Парижа, но и, возможно, стен своей парижской квартиры, однако вернувшись-таки в Париж, Эрве Гибер даже для себя больше не смог сделать секрета из того, что в Марокко с ним случились настолько чудесные вещи, что не только не случались с ним никогда прежде, но и почти наверняка никогда не случатся впредь; и его тактильная и слуховая память прочно хранили воспоминание о том волшебном танце и сопутствовавших ему эффектных обстоятельствах, но чем острее это воспоминание «воспроизводилось» в его сознании, тем сильнее сводила его с ума невозможность заново пережить пережитое; сводила так невыносимо, что вызывала желание от этого воспоминания избавиться,

однако это желание со всей очевидностью оказывалось неосуществимым, ибо составляющие суть марокканских воспоминаний Гибера образы могли только нарастать, а не улечиваться, – в отличие от золотисто-коричневого марокканского песка, привезенного Гибером во Францию в карманах куртки, меж страниц блокнотов, на монетах и купюрах, под ногтями, который пусть и казался Гиберу таким же драгоценным, как героин, но который он, однако, старался растратить в надежде избавиться вместе с ним и от наваждения; что ж, куртка попадала в химчистку, исписанные листки блокнота швырялись в мусорные корзины, деньги клались на барные стойки, руки познавали маникюрный уход, однако это никак не облегчало для Гибера страшной пытки «жаждою утраченного»: *«Я не видел его уже больше двух недель, но я все еще целовал его ноги, каждый вечер, ложась, я вновь надевал, будто убор жениха, маленькое кольцо из рыбьих зубов, которое подобрал на улице, и которое он мог бы мне подарить, снять со своей шеи, чтобы надеть на мою, утром его присутствие удивляло меня прикосновениями, мне его не хватало и он душил меня, ночь жестоко заставляла меня его забыть, его вес на мне становился совсем незаметным».*

Думаю, даже этого крохотного отрывка достаточно для того, чтобы понять, что «Путешествие с двумя детьми» – не только увлекательнейший роман-трагедия, но и душераздирающая романтическая поэма, а это значит, что среди всех замечательных свойств этого изумительного произведения есть и такое, как гармоничная сочетаемость в нем несочетаемых с общепринятой точки зрения вещей; мастерство сообщать своим творениям такой вот плеохроизм бывает присуще художникам только очень могучего таланта. Эрве Гибер был как раз таким художником; если об этом долгое время в «русскочитающем мире» по большей части могли строиться «заочные» догадки, то в 2011-ом году, наконец, был дан старт импорту в него неопровержимых этому доказательств.

Следующим таким доказательством стала книга «Одинокие приключения»; в рассказе «Любовные письма (или опрометчиво избранное хранилище)», открывающем цикл новелл Гибера «Les Aventures singulieres», изданный впервые в 1982-ом году, есть сцена, в какой молодой парижанин, раздосадованный тем, что юноша из провинции, которым он увлечен, отказал ему во взаимности, требует у последнего в телефонном разговоре возвратить все пылки послания, что безответно влюбленный ему отправил; в противном же случае выдвигающий ультиматум грозит не отдать холодному к его чувствам строптивцу чемодан с вещами, который тот неосмотрительно у него оставил на несколько дней своего постояльчества в Париже, причем возможные попытки хозяина чемодана вернуть свой багаж силой упреждаются доведением до его сведения, что чемодан до поры до времени будет сокрыт в секретном месте. Хозяин чемодана говорит, что его *«не устраивают такие преувеличения»*, на что отвергнутый им поклонник замечает, что его *«рана источает безумие»*; невозможно устоять перед соблазном констатировать, что эта сцена звучно репрезентует



две главные для всей книги «Одинокое приключение» темы – тему торга и тему сумасшествия, причем подлежащими к обмену предметами торга часто оказываются вроде бы сущие безделицы, но он почти каждый раз ведется словно не на жизнь, а на смерть, и сумасшествия, вроде бы настолько легкого, что чаще всего его проще принять за рассеянность, чем за душевную болезнь, но однако тоже заставляющего своего носителя, что называется, «жить на грани» даже в обстоятельствах, которые внешне и близко не выглядят похожими на экстремальные.

В большинстве из образовавших «Les Aventures singulieres» новелл центральный герой (в котором без труда угадывается сам Гибер даже в тех случаях, когда на его шее не висит фотоаппарат) совершает путешествие, но куда менее далекое и более краткое, чем нашедший романтическое и поэтическое отражение в «Путешествии с двумя детьми» вояж; ни одно из приключений не заходит не только дальше пределов Европы, но и дальше соседних с Францией стран. Итак, о зыбкости границ между неспособностью к концентрации и форменным помешательством: скажем, французского фотографа, отправленного в нечто вроде командировки в итальянский музей, открытый для посетителей только по субботам, в момент его прибытия к месту назначения воскресным утром еще можно принять за человека, лишь испытывающего некоторые проблемы с организацией своего быта, но уж тогда, когда он дожидается следующей субботы и попадает в музей – съемки экспонатов в котором ему заказаны – с севшими батарейками для вспышки (а магазины, где можно купить новые, откроются лишь тогда, когда музей опять закроется), он выглядит уже практически слабоумным; страсть художника-фотографа к запечатлению своего лица в уличных фотоавтоматах может выгодно объясняться подобающей ремеслу этого человека эксцентричностью, но в случаях заказа им с получившихся фото надгробных портретов уже нетрудно различить признаки хотя бы его частичной невменяемости; подставление человеком в другие автоматы, для чистки обуви, коричневых башмаков под щетки с черной ваксой (и наоборот) можно принять лишь за проявление свойственного творческим натурам «витания в облаках», но вот предпринимаемые им попытки защититься от страшущих его комариных укусов путем втирания антикомариного лосьона себе в шевелюру (то есть нанесения защитного средства на единственный участок тела, на который комары и не вздумают покушаться) довольно прозрачно намекают на уже одолевающий эту натуру идиотизм; отказ юноши от мытья головы ради того, чтобы его волосы не теряли бы – вместе со своей жесткостью – и своей вьющести, вполне допустимо принять за симптом лишь чуть-чуть болезненной зацикленности на своей внешности, однако решение этого же юноши не только не мыть руки, но и пачкать их в чем только можно во имя той цели, чтобы, выпивая в барах кофе, как можно больше грязи оставлять на кусочке сахара в вазочках на стойках, уже уместно усмотреть указания на маниакальную, общественно опасную психопатию. Наконец, подавление молодым человеком в себе отвращения к чужим немы-

тым – с покрытыми слоями желтой серы раковинами и каплями коричневатой эмульсии на внешних концах слуховых проходов – ушам в процессе утления этим молодым человеком к обладателю таких ушей острого сексуального желания можно запросто объяснить могуществом иррационального «зова плоти» или рациональным примирением с издержками «случайной связи», но вот немолимости намерений того же юноши в этом же процессе – и на фоне этого же отвращения – в ходе сопутствующих ему лобзаний как следует вылизать обломок сгнившего зуба во рту своего неопрятного компаньона по соитию, пожалуй, точную дефиницию можно отыскать лишь в диагностическом вокабуляре теоретической сексопатологии.

Разумеется, если художественные образы дают основания заподозрить в безумии их создателя, это верный признак того, что эти образы удались; ясный разум – не самый эффективный генератор подлинных шедевров в искусстве. Правда, в этом случае необходимо, чтобы безумие имело благородную природу; ну, уж у клонировавшего себя в своих персонажах Эрве Гибера с его сочившимися им – безумием – ранами все было более чем изысканно: мало того, что эти раны были душевные и никогда не затягивались, так еще и получены были на войнах самого героического типа – войнах за любовь. Справедливости ради, однако, следует заметить, что фронты этих войн очень часто больше походили на бизнес-переговоры о готовящихся сделках купли-продажи; Эрве Гибер был настолько одержим представлением о том, что любое завоевание на любовном фронте имеет свою материальную цену, что, не обставив как следует ритуал оплаты, даже не мог тогда полноценно насладиться трофеем (или покупкой, как посмотреть): скажем, как чрезмерно мнительные и подозрительные представители сторон коммерческой операции в момент подписания фиксирующего ее осуществление контракта – в страхе стать жертвой надувательства – ставят свои автографы на нем – во избежание фальстарта – абсолютно одновременно, так и Эрве Гибер, оговорив с симпатичным прохожим условия, на которых он его мог глубоковлажно поцеловать, опускал банкноту в 5000 лир в карман прикинувшего к его устам юноши лишь в тот миг, когда на его – Гибера – язык – попадала его – юноши – слюна. При этом Эрве Гиберу было прекрасно известно, что деньги – не самое могущественное платежное средство на, если так можно выразиться, «любовном рынке», потому что иногда перед людьми насущнее, чем потребность в деньгах, встает необходимость в некоторых иных предметах, которые, возможно, и могут быть приобретены за деньги, но далеко не во всех обстоятельствах; вот поэтому Гибер, отправляясь пусть даже в самую недолгую, всего-то на пару суток поездку в другой город в компании молодого человека, на которого у него к тому моменту уже возникли известные виды, набивал свою походную сумку лекарствами от всех болезней, которые он знал, в надежде, что уж одна-то обязательно свалит с ног ночью в гостиничном номере обожаемое им существо, когда все аптеки будут закрыты и все врачи будут спать; пусть только одна, но уж скрутит несчастного так безжалостно, что у того не будет доставать силы сносить страшную боль, и

вот тогда и должен был бы состояться триумфальный выход Гибера со спасительными пилюлями, в благодарность за которые он рассчитывал получить наслаждения, тысячекратно превосходящие в своей упоительности даже самые развратные засосные облизы. Впрочем, к несчастью (наверное) для Эрве Гибера, эдакий «натуральный обмен» становился сутью и тех отношений в его жизни, в рамках которых не он желал кого-то, а кто-то желал его; со всей мощью отличавшего Эрве Гибера литературного таланта именно подобного рода ситуация оказалась описанной в последней новелле «Одиноких приключений», «Стремление к имитации», повествующей о последствиях принятого Гибером приглашения от вдовствующей знаменитой актрисы погостить в ее роскошном особняке близ города Р., – как было уверенно сочтено не только биографами Гибера, но и более-менее просвещенными читателями его книг, прообразом для хозяйки этого особняка едва ли мог послужить кто-то другой, кроме Лоллобриджиды. Самым громким мотивом в оказанном Гиберу властном гостеприимстве оказался так хорошо известный ему торгашеский (звучавший, правда, не базарным гомоном, а, скорее, степенными аукционными возгласами): например, позировать Гиберу для пикантных снимков бывшая звезда киноэкрана соглашалась лишь в обмен на то, чтобы он стал ее любовником, за созерцание еще более пикантных изображений кинодивы, но сделанных в те далекие времена, когда она была не страшна, а прекрасна, от Гибера было потребовано рассказать о позах, в которых он совокуплялся со своим последним возлюбленным, и проиллюстрировать рассказ карандашными набросками, наконец, уговаривая Гибера не покидать его, экс-звезда была готова дарить ему чуть ли не по этрусской вазе за каждые лишние сутки, проведенные им под ее кровом; однако пусть даже актриса все больше молила, а Гибер по большей части проявлял непреклонность, у Гибера не было никаких иллюзий насчет истинного своего статуса в этом их причудливом партнерстве и насчет того, кто внутри него – партнерства – в действительности над кем имел власть: когда Гиберу случилось сопровождать актрису на устроенном американскими кинопроизводителями торжественном приеме, у него, воспользовавшись ее временной отлучкой, поинтересовались даже не его при ней положением, а просто родом его занятий, на что Гибер ответил – *«Вы не видите? Я ее раб»*, и это ни в коем случае не было ни манерничаньем, ни нытьем, – скорее просто печальной и мудрой констатацией знававшегося Гибером за собой обыкновения обязательно быть «при ком-то», причем едва ли не единственным условием, выполнение которого обеспечивало человеку попадание от него Гибера в зависимость и возможность Гибером манипулировать, было принятие этим человеком Гибера «всерьез», то есть декларирование номинального признания со своей стороны исключительности его художественных талантов, в аутентичности и масштабности которых беспрецедентно одаренные люди часто имеют свойство мучительно и неизменно сомневаться. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что Эрве Гиберу случалось глубоко привязываться не только к красивым мужчинам или юношам (что было для него приятной ситуацией

виду его сексуальных предпочтений), но и к отвратительным женщинам (что было мукой, формальная добровольность принятия им которой никак не снижала степени ее болезненности).

Чем глубже были пережитые человеком страдания, тем, несомненно, сластнее бывает вкус за них отмщения; в новелле «Стремление к имитации» Эрве Гибер не пощадил Лоллобриджиду, не просто сообщив ее образу в ее полувековом возрасте – для «наведения красоты» на лицевой части лысеющей под сменяющимися париками головы нужно было, с точки зрения Гибера, не открывать косметичку, а вызывать бригаду реставраторов – отталкивающие черты, но став, по сути, поэтом своего к ней отвращения, которое имело как физическое измерение (*«казалось, что каждое ее слово было не просто звуком, а чем-то материальным, тактильным, словно волна, вал смрада, который ударял мне в лицо»*), так и, если угодно, духовное: Лоллобриджиде запечатлена в этой новелле катастрофической невеждой, выступающей за смертную казнь и считающей Пазолини порнографом. А, быть может, такой портрет был вовсе не актом мести, а жестом отчаяния или досады Гибера на некий чуть ли не рок, под гнетом которого его жизнь против его воли устраивалась так, чтобы ему приходилось большую часть своего времени тратить не на людей, которые восхищались его личностью и его художественными дарованиями абсолютно искренне и безоговорочно бескорыстно, а на таких, чьи восторги по тем же поводам были по крайней мере уж хотя бы частично притворными и льстивыми; серьезным аргументом в пользу такого предположения служит то обстоятельство, что герою предвещающей в «*Les Aventures singulieres*» историю о Лоллобриджиде новеллы «Однажды ночью» в последних ее строках в сладостную минуту во сне является образ Изабель Аджани – актрисы, отношения Гибера с которой были как раз-таки не отмечены – за вычетом одного исключительного случая – скверной преследования какой-либо выгоды; Аджани говорила, что обожала Гибера, Гибер утверждал, что боготворил Аджани, и для того, чтобы убедиться, что в этих признаниях (от своих Аджани не отказывается и по сей день) не было никаких «преувеличений», достаточно посмотреть на фотографии Аджани, сделанные Гибером, – Аджани в ее 25 лет не получалась неудачно ни на чьих снимках, но на портретах Аджани авторства Гибера ее волшебное лицо часто отмечено какой-то совершенно запредельной, почти инопланетной одухотворенностью: этот феномен невозможно объяснить расхожим стереотипом, состоящим в том, что занятые в творческих ремеслах гомосексуальные мужчины часто бывают искушеннее кого угодно в акцентированной эстетизации женской сексуальности, – великолепие сделанных Гибером фотографий Аджани невозможно объяснить так буднично и примитивно, и эти будничность и примитивность, пожалуй, стоит опровергнуть при помощи еще одного избитого клише: несомненно, между ними двумя «имелась какая-то химия».

Самой знаменитой фотосессии Гибера с Аджани оказалась посвящена целая новелла в его книге «Призрачный снимок». Это вряд ли, чтобы Гибера мог

вот прям всерьез волновать вопрос о том, какое из двух главных занятий в его жизни – фотография или литература – отмечено, что называется, большим благородством, однако непозволительно было бы игнорировать следующее: в ранней и посвященной преимущественно фотографированию книге Гиберы «L'Image fantome» (1981) фотография и литераторство (или, если быть более точным, письмо) оказываются в некотором роде помещенными в конкурентную среду. В этом не было абсолютно ничего удивительного, если бы фотография в предложенной конкуренции или побеждала бы, или, по меньшей мере, с легкостью ее выдерживала: ведь выглядело бы совершенно естественным, если бы фотограф, карьерно состоявшийся в своем художественном ремесле, произнес бы (написал бы) вдохновенную и аргументированную речь в защиту притязаний этого ремесла называться искусством; традиционно такие притязания художественной фотографии – практически на любом витке ее истории – более или менее широкие художественные и нехудожественные круги склонны или вообще отклонять, или акцептировать их лишь частично – если и соглашались считать ее искусством, то только или компилятивным, или там «производным», поэтому вполне ожидаемо было бы от фотографа, чаще всего наводившего на что-либо объектив с целью достижения именно художественного результата, ожидать пылкой отповеди в адрес «консерваторов», суть которой могла бы, например, сводиться к тому, что при решении художественных задач обилие средств в инструментарию решающего так же не лишне, как и при решении, допустим, задач тригонометрических, и, по сути, презрительно задвигать фотографическое искусство за изобразительное – это примерно то же – столь же глупое – самое, как синус и косинус считать категориями академической науки, а тангенс и котангенс – чуть ли не ересью. Однако в «Призрачном снимке» ничего такого и близко не происходит: фотография перед письмом если не капитулирует, то только потому, что снимается с боя после взвешивания, будучи признаваемой подлежащей к переводу в более легкую весовую категорию; впрочем, во славу легкости – не как приятного при разумной дозировке свойства бытия, а как возможной не противоположности, а эвентуальной альтернативы основательности в искусстве – Эрве Гибером в «Призрачном снимке» написаны столь пылкие и одновременно точные строки, что фотография никак не должна показаться ни одному читателю этой изумительной книги чьей бы то ни было бедной родственницей.

Собственно, литература – далеко не самый очевидный выбор партнера для фотографии, в спарринге с которым последняя могла бы быть как следует протестирована на соответствие праву называться самостоятельным и самодостаточным видом искусства; обычно на такую работу нанимается живопись, которой, как правило, адвокаты фотографии (в этой роли чаще всего выступают фотографы, имеющие амбиции называться фотохудожниками) сначала с удовольствием делают комплименты за некоторые ее свойства, а потом мягко указывают на отсутствие у нее некоторых других, каковые они – адвокаты – в избытке обнаруживают у своей клиентки (и одновременно кормилицы), пред-

лагая тем самым заключить нечто вроде вечного пакта о перемирии, который предупреждал бы желания живописцев называть фотографов шулерами и профильтровал бы соблазны фотографов именовать художников ретроградями, предполагая таким образом взаимоуважение одних к другим и обоюдное признание равновеликости друг другу ценности их искусств. Эрве Гибер, как нетрудно обнаружить, это широкораспространенная дипломатическая практика не особенно воодушевляла: в одном из образовавших «L'Image fantome» эссе Гибер отдает дань уважения и восхищения сразу нескольким своим любимым фотографам разных эпох в связи с их выдающимися достижениями в жанре автопортрета, однако тут же признается в том, что в его глазах даже самые новаторские и предельно эксгибиционистские из этих работ все-таки не могут сравниться в художественной силе с лучшими из автопортретов Рембрандта. Такая ситуация, однако, не выглядела для Гибера загадочной, потому что в его представлении тот гандикап, что фотография способна дать живописи по части точности, оказывается совершенно ничтожен в сравнении с той предпочтительностью, что имеются у живописи над фотографией касательно глубины, причем не в качестве отвлеченного понятия: Гибер находил, что поскольку у фотографии только один слой, она обречена быть поверхностней, к примеру, масляного полотна. Однако поверхностность фотографии была не менее – если не более – очевидна для Гибера и в тех случаях, когда «контрастировать» с ней призывалось не рисование, а письмо; в другом эссе, «Опись картонки с фотографиями», где Гибер разбирает фотографические архивы своей семьи, он находит снимки, на которых его мать запечатлена ребенком и подростком, и констатирует, что *«эти детские фотографии ничего не говорят о ее воспоминаниях, ничего /.../ в них не просвечивает: это слепая, немая, искаленная память»*; для Гибера становится очевидна крайняя скромность мощностных характеристик повествовательности и выразительности этих изображений в сравнении с аналогичными показателями воспоминаний его матери о своем детстве, которыми она имела обыкновение делиться с сыном; Гиберу оказывается совершенно ясно, что случись ему со слов матери записать эти воспоминания, эти даже совсем сырые мемуары оказались бы куда и емче, и точнее, и правдивее в смысле «документирования» давно минувшей «действительности», чем любые кадры, эту действительность непосредственно запечатлевшие. Исходя из этого наблюдения, Гибер делает вывод о том, что даже самая дотошная фотографическая история любой семьи, собранная пусть даже в десятках фотоальбомных томов, все равно оказывается поверхностной; тут же для слова «поверхностная» Гибер находит синоним «нелитературная», прямо указывая на то, что если бы тот или иной род хотел бы сохранить о себя зрячую, красноречивую, неувечную память, его представителям не следовало бы лениться браться за бумагу и перо. Конечно, семейная фотография в видовом смысле куда ближе не художественной, а, скорей уж, журналистской (хроникерской) фотографии, однако Гибер еще в одном эссе, «Совершенный снимок», несколькими страницами ранее уже предложил универсальную для любого

фотожанра формулу «оппонентства» фотографии и письма, причем оппонентства жесткого, предполагающего статус препятствия одной для другого, определив фотографию как *«занятие всеохватывающее и позволяющее многое забывать»*, а письмо – как занятие меланхолическое, призванное сохранять воспоминания о вещах, в то время как фотографии имеют свойство – часто неизвестное их коллекционерам и так называемым «фотолюбителям» – воспоминания стирать. Что же это за вид искусства, если он так пренебрежителен, расточителен и даже безжалостен по отношению к одному из главных испокон веков искусства активу?!

Тоже в тексте «Совершенный снимок» Гибер повествует о случившейся с ним летом 1979-го года на Эльбе почти что истерике, когда у него не оказалось с собой на пляже в Рио-Марина фотоаппарата и он не смог зафиксировать восхитивший его беспокойный морской пейзаж и нескольких сражающихся с волнами юношей на его фоне; острое чувство сожаления в связи с несделанным кадром позволило Гиберу на протяжении многих месяцев отчетливо и в деталях воссоздавать в памяти и тот пейзаж, и действия его, если так можно выразиться, «персонажей», припоминая все больше подробностей бушевавшей бури и оживляя в сознании все больше оттенков, что были ей присущи. По прошествии этих месяцев Гибер осознал, что окажись тогда фотоаппарат у него на шее и наснимай он с этим пейзажем хоть целую пленку, память его не сохранила бы о той натуре вообще ничего, – настолько ничего, что он, возможно, глядя на сделанные кадры, в упор не мог бы взять в толк, что вообще его могло в ней прельстить (и даже не мог бы быть уверенным в том, что он вообще там был и что снимки сделаны им), однако благодаря тому, что эти кадры не состоялись, он написал несколько страниц своих воспоминаний о том виде, вчитываясь в которые, он понял, что эти страницы тот пейзаж в его памяти увековечили, потому что предпринятая в отношении практически любого объекта литературная работа – даже, возможно, и в случае отсутствия у взявшегося за нее выдающихся литературных талантов – обычно многократно превосходит в глубине воздействия на человеческое сознание этого же объекта, так сказать, фотографическую транскрипцию. Похожая ситуация описана и в одноименном с книгой эссе «Призрачный снимок», в каковой устроенная Эрве Гибером фотосессия с его матерью в качестве модели в последний день перед переездом его родителей на другую квартиру оказалась загублена из-за непростительной ошибки фотографа: Гибер неаккуратно вставил пленку в аппарат и она засветилась еще в процессе съемки; если бы сессия удалась, по признанию Гибера, он не написал бы о ней ни строчки, а в итоге, сорвавшись, она дала повод ему написать не просто об одном дне из жизни своих родителей, но и, отталкиваясь от событий этого дня, едва ли не обо всей истории их если не любви (ее у них Гибер, кажется, не подозревал), то «отношений»; Гибер ощутил, что успех этого предприятия (фотосъемки), в отличие от краха, не только не побудил бы его к литературному осмыслению случившегося, но и даже не запустил бы в его сознании механизм «поисков утраченного» или

реконструкции подзабытого: «у этого текста нет других иллюстраций, кроме чистых кадров пустой катушки. Если бы кадры были сняты, текста бы не существовало. Снимок лежал бы передо мной, вероятно, вставленный в раму, безукоризненный и поддельный». Ближе к финальной части книги, в новелле «Любимые фотографии» Гибер вовлекает два основных своих «дела жизни» уже в подлинно антагонистические взаимоотношения, называя свой литературный текст фотографическим негативом. «Он говорит о фотографии негативно, он говорит лишь о призрачных снимках, о снимках, которые не были отпечатаны, о латентных снимках, о снимках до такой степени сокровенных, что из-за этого их невозможно увидеть»; это место – эдакий промежуточный финиш, взгляд на уже сочиненные страницы, появление которых на свет стало возможно – как окончательно становится ясно автору как раз к этому месту – только благодаря еще «предродовой» гибели множества изображений.

Однако Эрве Гиберу были известны и такие литературные жанры, которые не только не вступают в противоречия с фотографированием, но и оказываются ему исключительно близки, – к таковым он относил дневниковые записи (прежде всего путевые) и письма к друзьям (прежде всего из поездок). Идеальной иллюстрацией такого рода «фотографического письма» Гибер находил «Итальянское путешествие», произведение Гете, написанное им в конце жизни на основе дневников, которые он вел, и писем, которые он написал друзьям, во время его путешествия по Италии с 1786-го по 1788-ый годы. В эссе «Фотографический почерк» Гибер сравнивает итальянские словесные пейзажи Гете с видами на сувенирных почтовых открытках, а его же, например, описания рукотворных достопримечательностей – с кадрами архитектурной съемки; когда же Гиберу случается обнаружить итальянский пейзаж в романах Гете (например, в «Изобразительном родстве»), он отмечает в нем куда более глубокую – в сравнении с фотографической – проработку, констатирует в нем куда более долгую выдержку и считает уместным сравнить его уже не с фотографией, а с картиной, но в данном случае по отношению к ней фотография не оказывается более низкой иерархической ступенью: Гибер находит романские пейзажи Гете более скучными в сравнении с дневниковыми и приходит к выводу о том, что ради прирастания глубины изображению часто приходится жертвовать своей мимолетностью, – это как раз и есть одно из названий вышеупомянутой легкости, каковая и служит для фотографии тем самым козырем, наличие которого у нее на руках и заставляет воспринимать ее как серьезного игрока за абстрактным столом, за коим нужно представить усаженными и самые древние, и самые юные виды и подвиды искусства. В свидетели справедливости своих оценок Гибер призвал самого Гете, который, компилируя «Итальянское путешествие», разбирал свои дневники и отправленные друзьям письма (по его просьбе возвращенные ему для художественных нужд) и решительно пресекал в себе соблазны удобрить их домысленными деталями или распространить их довоображенными красками: повестись на это, по оценке Гете, значило девальвировать или вообще обнулить ценность своих давних «оригинальных»



ощущений, которые он по определению считал истинными (а еще Гибер мог по этому же поводу призывать в свидетели и самого себя, заключив, что пусть из фотоархивов получается плохой банк воспоминаний, но зато из них выходит недурное хранилище для произвольных реминесценций: например, разглядывая свою детскую пляжную фотографию, взрослый Гибер решительно не мог вспомнить обстоятельств, при которых она была сделана, и тем более – себя в них, но зато мог ощутить свои пятки детскими, а на них – нестерпимый жар песка).

Между тем люди в своих письмах друзьям далеко не всегда пишут о своих впечатлениях (туристических или каких еще); иногда, например, им случается писать о своих чувствах. Среди новелл, образовавших книгу «Призрачный снимок», одну все-таки никак не назовешь текстом, появившимся, что называется, «на месте» несделанных снимков: новелла «Предательство» повествует о том, как отпечатанные как раз-таки (и известные нынче на весь мир) снимки едва не погубили дружбу, которой Гибер, вероятно, дорожил в своей жизни как никакой другой, – разумеется, с Изабель Аджани; их знакомство – по крайней мере, в его уже нешапочной форме – произошло по воле самой Аджани, в ранге еще совсем юной, но уже безоговорочной кинозвезды, собственноручно выбравшей Гиберу на роль фотографа самого ближнего к себе круга, имевшего право на эксклюзивную ее съемку во время ее занятости в одном из амбициозных международных проектов; прежде, чем их отношения вышли на высочайший уровень взаимной доверительности и двусторонней привязанности, неперемненными участниками этих отношений были ткацкая лупа и игла, которые Изабель каждый раз извлекала из своей сумочки после того, как Эрве успевал проявить очередную с ней пленку; каждый негатив, собственное изображение на котором Аджани не устраивало, она усердно уродовала иголкой. Однако к тому дню, в который Гибером была осуществлена едва ли не самая прекрасная фотосессия Аджани за всю ее карьеру – в загоне для хищников парижского зоологического сада, все лупы и иглы между ним были если не зарыты в землю, то отброшены в сторону, поскольку между Гибером и Аджани, по взаимному ощущению, уже был заключен безмолвный, нематериальный пакт о вечной друг другу верности; буквально через несколько дней после того, как снимки были готовы, Гибер случайно прочитал в газете, что та часть зоосада, в которой были сделаны фотографии, закрывается на капитальную реконструкцию, и сообразил, что больше никто и никогда не сможет снять Изабель в этих декорациях; спустя несколько часов он обнаружил себя продающим эти ставшие еще в большей степени раритетными фотографии Аджани за внушительную сумму (хотя и вдвое уступавшую первоначально им запрошенной) в одно из парижских изданий, а еще спустя несколько – отправляющимся в Венецию на поезде в давно задуманную командировку, с чеком на полмиллиона франков в бумажнике, но на фоне невыносимого раскаяния в содеянном. Прежде, чем сесть в поезд, Гибер пытался несколько раз дозвониться до Аджани, чтобы сознаться в жутком предательстве, но безуспешно; тогда он оставил ей одно

письмо, в котором описал, что сотворил, потом – прямо перед поездом – оставил второе, с номером телефона венецианского отеля; прибыв в Венецию, он сразу же был достигнут звонком Аджани, сказавшей ему короткую фразу: «Значит, ты был не совсем мной доволен, ты решил отомстить». Этот звонок сначала довел Гибер до слез, а потом стал и побудительной причиной, и катализатором для написания Аджани третьего послания, в котором он признавался, что чувствует себя в падающем в бурный поток на дне глубокого ущелья биплане, прячущимся на высоком дереве от свирепых сторожевых собак, наконец – отрезающим бритвой лапы бешеному псу, которого душит лошадь. Письмо было опущено в почтовый ящик, а через несколько часов Гибер уже мчался на поезде обратно в Париж, еще через несколько – отвоевывал, бросив на стол своему недавнему покупателю ни на франк не обналиченный чек, пачку драгоценных фотографий. К тому моменту, в который Гибер позвонил Аджани, чтобы сообщить ей практически о спасении им собственной души, до нее уже дошло и его третье послание; одна из самых прекрасных в истории человечества женщин сказала Гиберу, что, как ей кажется, вся эта авантюра была им затеяна по единственной причине – получить повод написать ей, и что в итоге ей уж точно жаловаться не на что: он ей раньше никогда не писал, а теперь она счастлива иметь у себя его письма; возможно, именно в тот миг, когда Изабель Аджани произнесла эти слова, Эрве Гиберу письмо и стало казаться более важным, чем фотография, его предназначением.

Появляется Аджани – пусть и совсем мимолетно – и в книге Гибер «Fou de Vincent» (1989); в главном герое этого сочинения читатель без труда различит – или, по меньшей мере, заподозрит – повзрослевшего персонажа «Путешествия с двумя детьми»; превратившись из ребенка в юношу и получив имя Венсан, он становится «фигурантом» уже не дневника путешествия, а, если угодно, «дневника страсти», испытанной – как можно догадаться – к его прототипу автором этой книги. В «Fou de Vincent» же возможно обнаружить и прямое указание на то, что этот же прототип вполне мог быть востребован Гибером при написании еще одной книги, в которой Венсан вновь стал бы спутником Гибер в затажной поездке, но на этот раз – в кругосветной, а также принял бы женское обличье; например, под именем Джейн. С чисто формальной стороны дела это было бы наследованием у Пруста, создавшего бессмертный памятник своей любви к своему шоферу, превратив его из Альфреда в Альбертину, только если Пруст прибег к этому трюку как к необходимости в эру диктатуры ханжества, то для Гибер обращение к нему стало бы скорее прихотью, имеющей, правда, эстетические обоснования; можно только строить предположения, почему такая книга так и не была им написана и почему Венсану так и не суждено было обрести не только женское имя, но и женскую плоть: возможно, у Гибер к тому моменту, когда в нем созрела такая идея, уже не хватало на ее реализацию ни времени, ни сил (которые он, сживаемый со свету неизлечимой болезнью, предпочел израсходовать на другие сочинения), а, быть

может, ему просто в этом случае не хотелось заниматься совершенствованием чужого фокуса (пусть и такого благородного авторства, как прустово), поскольку он всю свою недолгую – недолгую и вообще, и «в искусстве» – жизнь постоянно с успехом изобретал свои. «Fou de Vincent», однако, не оставляет сомнений в том, что затея с Венсаном-женщиной Гиберу – прояви он волю и интерес к ее воплощению – непременно бы удалась, потому что уже и в тексте «Без ума от Венсана» на позиции возлюбленного Гибера проще простого – и приятнее приятного – оказывается воображать себе его возлюбленную. Я думаю, что и сам Гибер охотно допускал возможность такого прочтения его истории, видя в нем не то чтобы способ для достижения ее, скажем, второго дна, а, пожалуй, эдакий «план Б» для постижения сути ставшей главной темой этой книги одержимости одного человека другим, что мог бы пригодиться тем ее – предположим, немного консервативного кругозора – читателям, кому не слишком удалось, следуя предложенному по умолчанию плану, преуспеть в этом предприятии. Ведь уникальность этой одержимости состояла прежде всего в беспредельности ее глубины, а вовсе не в гомосексуальности одержимого и предмета его обожания.

«Fou de Vincent» с помощью внутренних ремарок позиционируется как перебранные и подготовленные к печати под книжной обложкой дневниковые записи Гибера, прямо или косвенно связанные с юношей, в которого он был влюблен, скончавшимся в результате полученных при – совершенном под воздействием целого ассорти стимуляторов и расширителей сознания – прыжке из окна четвертого этажа травм, причем перебранные в порядке от начала к концу – от самых свежих к самым древним; внимательный читатель заметит, что все-таки эти записи в книге безукоризненно не следуют обращенной вспять хронологии, и история романа Гибера с Венсаном с помощью этих заметок рассказывается вовсе не со строго запущенной из настоящего в прошлое линейностью, а достаточно хаотично; кроме того, в этой истории есть, по крайней мере, один неоспоримо вымышленный факт: согласно выводам большинства гибероведов, молодой человек, послуживший прообразом для Венсана, вовсе не умирал еще при жизни Гибера, а пережил его на два десятка лет, он покончил с собой в 2011 году, в день открытия выставки фоторабот Гибера в Европейском доме фотографии. Лишь в одной единственной сцене в этих записях, образовавших страстную и изящнейшую поэму о любви, у меня при всем желании не получается вообразить на месте Венсана женщину: это когда Венсан испражняется, сидя на унитазе в гиберовой парижской квартире, а Гибер в это время, стоя рядом с унитазом на коленях, пытается сделать занятому дефекацией Венсану минет; не могу представить, чтобы в подобной ситуации с облегчающейся на унитазе девушкой мужчина мог бы попытаться, например, полизать ей клитор; то есть наверняка, в отличие от, скажем, укуса себя за локоть, эта идея – по крайней мере, в теории – технически осуществима, но ясно, что она сопряжена с такими исключительными сложностями, что я не могу поверить в то, что удовлетворение страсти таким образом в действи-

тельности может приносить даже хотя бы одному из участников такой процедуры удовольствие. Любое же другое драгоценное воспоминание Гибера о столь много значившей для него любовной связи мне видится легко поддающимся без каких-либо проволочек – в случае возникновения на то необходимости – замене гендерной принадлежности объекта его – Гибера – чрезвычайно сильной привязанности, причем безо всякого ущерба этого воспоминания правдоподобию и эмоциональной остроте. Эта замена оказывается вполне возможной и в случаях свидетельств о самой интимной грани романа Гибера и Венсана, включая предельно натуралистичные описания их совместных сексуальных практик, ну а уж применительно к дневниковым записям о духовной или «церемониальной» сторонах их отношений можно сказать, что тут ей – замене – уже абсолютно ничего не препятствует. Гибер впервые узнал Венсана еще ребенком и сразу же ощутил влюбленность, но чтобы задать вопрос о возможной взаимности был вынужден ждать взросления Венсана; когда у Гибера вечернее свидание с Венсаном, он брется второй раз на дно, чтобы не царапать Венсану кожу; Венсан знает, ароматы каких духов у Гибера немедленно вызывают романтическое настроение, и экспериментирует с их компилированием; Гибер мечтает сделать фотографию обнаженного Венсана в ванне, обложенного покоящимися на водной глади лепестками роз; когда Гибера охватывает спорадический порыв особенно сильной нежности к Венсану, он не удерживается от того, чтобы схватить Венсана прямо на улице на руки и закружиться с ним; когда Венсан дает Гиберу – подлинный или надуманный – повод для ревности, Гибер в присутствии Венсана приглашает потанцевать девицу, пляске с которой отдается с форменным исступлением, рассчитывая заставить ревновать уже Венсана; голос Гибера, когда он звонит Венсану на работу, дрожит от волнения, если трубку берет его начальник, в котором Гибер боится пробудить обнаружением своей влюбленности в Венсана для себя соперника; Венсан панибратски называет Гибера в разговорах со своими знакомыми по фамилии, хвастливо применяя к Гиберу собственническое в своей притязательности местоимение «мой»; Гибер немного сердится на Венсана за то, что тот, получив зарплату, всегда стремится потратить ее в компании не Гибера, а своих подружек, или безрассудно спустить всё на красивые штотки, Гибер обижается на Венсана за то, что тот в одностороннем порядке определяет регулярность их свиданий, на которые он согласен только в режиме «время от времени»; неужели хоть что-то из этого, в случае помещения на место имени Венсан имени Джейн или любого другого женского имени, не показалось бы правдоподобнейшим штрихом к описанию отношений внутри гетеросексуальной пары? Никаких особых сложностей с превращением Венсана в Джейн не возникает и тогда, когда записи в дневнике Гибера касаются сеансов их физической близости; причем не возникает и тогда даже (за вычетом оговоренного уже случая), когда эти записи содержат вполне конкретные упоминания о роли в этих сеансах венсановых гениталий. Гибер как торжественный знаменательный момент в их союзе с Венсаном фиксирует миг их первого точного совпадения

оргазмов – нужно ли говорить, какой важной вехой оказывается это событие в отношениях мужчины и женщины; Гибер указывает, что секс стоя был для них с Венсаном невозможен из-за существенной разницы в росте – с этим же ограничением смиряются и пары, в которых партнер гораздо выше партнерши; Венсана очень возбуждает перед занятием сексом с Гибером совместный с ним просмотр порнофильмов, в которых крупно показываются лица женщин на пике сексуального наслаждения – какой нормальной женщине подобная увертюра не покажется замечательным – апеллирующим к ее эrogenным территориям – прологом к совокуплению; Гибер просит у удовлетворяющего его своей рукой Венсана разрешения сфотографировать эту руку на его эрегированном члене – не сомневаюсь, что в интимном фото- или видеоархиве каждой склонной к эксгибиционизму счастливой «традиционной» пары должен быть широко представлен такой «сюжет»; Гибер иногда чувствует, что Венсан испытывает тревогу в те минуты, когда его член находится во рту Гибера, и подозревает, что Венсан так напуган страстностью его оральных ласк, что попросту боится, что от избытка чувств Гибер откусит ему его «достоинство» – думаю, что уместным (пусть и не вполне точным) эквивалентом этой сцене была бы такая, в которой женщина была бы озабочена целостью и невредимостью своих сосков, каковые совокупающийся с ней мужчина в приближении к экстазу все хищнее и хищнее прихватывает уже не только губами; в самом любимом из регулярных снов Гибера Венсан усердно сосет у него – если мужчина не видит снов с занятой таким занятием живущей с ним женщиной, то им и жить вместе не стоит; Гибер любит порой разбудить Венсана среди ночи и поделиться с ним горячим шепотом на ушко своей свежей эротической фантазией, например, о том, как он лижет Венсану яйца – я легко представляю себе ситуацию, в которой при точно таких же обстоятельствах мужчина сообщает любимой женщине о том, как здорово было бы, например, погрызть ее лобок; Гибер любит сосать Венсану член при ярком искусственном или натуральном дневном свете, а Венсан любит в это время нежно трепать шевелюру на зарывшейся в его пах голове Гибера и любовно находить в ней новые проплешины – нужно ли говорить, что все то же самое не имеет никаких противопоказаний и к куннилингусу; Венсан любит танцевать голым под песни Принца, а Гибер любит ползать при этом тоже голым на четвереньках перед Венсаном и стараться заглотить себе в рот венсанов член – мне кажется, песню Принца можно заменить, скажем, на ламбаду, предполагающую широкое расставление ног партнершей, при котором лизание женского межножья становится столь же комфортным, как и сосание чего бы то ни было в мужском; однажды Венсан приносит извинения сосущему его члену Гиберу по такому поводу: он забыл ополоснуть свой пенис после того, как несколько часов назад вставил его в вагину одной девчонке – легко в «зеркальном» отражении к этой сцене увидеть женщину, извиняющуюся перед ласкающим ее срамные губы языком мужчиной, что у нее не было времени подмыться после того, как один ее приятель сегодня поорудовал промеж этих губ своим стволом; Венсан од-

нажды очень хвалит Гибера за то, что тот сделал ему точь-в-точь такой же замечательный минет, что обычно делает ему его тренер по айкидо – тут запросто можно представить выказывающую признательность мужчине женщину, тронутую тем, что тот так же дооргазмно дотеребил губами и зубами ей клитор, как до сего дня получилось только у ее инструкторши-лесбиянки по фитнесу; Венсан на просьбы Гибера дать отыметь себя в зад неизменно отвечает, что его попа предназначена для высирания какашек, а не для вмещения членов – такую аргументацию запросто могут использовать и девушки, находя поводы для отказов своим мужчинам в анальных проникновениях; когда Гибер настаивает на том, что все-таки ему иногда удавалось вставлять член в зад Венсана, Венсан, смеясь, отвечает, что это могло случаться только тогда, когда Гиберу удавалось его напоить, а вообще в Библии написано, что гомосексуализм является грехом, и Гибер должен это помнить – легко же представить девушку, в рамках такого же игривого отщучивания заменяющей гомосексуализм на содомию, на которую она идет по большим и редким для своего мужчины праздникам, крепко привязывая его к себе подогреванием в нем вечной надежды на то, что хоть когда-нибудь, но ему снова удастся повторить этот сладчайший опыт; Венсан любит в их общей постели с Гибером иногда ложиться на него – лежащего ничком – сверху и начинать имитировать присущие содомитству движения – общеизвестно, что в интимной жизни гетеросексуальных пар на фоне глубочайшей влюбленности мужчины и женщины друг в друга в рамках эксплуатации подогревающей эту влюбленность привычки говорить друг другу вопиющие непристойности в их интимном щебетании часто возникает смешашая их обоих тема возможной бисексуальности партнера, что побуждает женщину в сладостном притворстве заняться имитацией содомизирования своего благоверного; Гибер в один из дней тратит в одиночестве несколько часов на то, чтобы наловчиться орудовать в своей заднице солидным дилдо, периодически вытаскивает его, отмывая от своих фекалий, и засовывает сызнава – иногда сила непристойностей, нашептываемых мужчиной и женщиной друг другу в постели, такова, что эти непристойности начинают требовать своего, так сказать, овеществления, и если женщина и мужчина договорились, что она отражает его в зад с помощью здорового годмише, вполне резонно со стороны мужчины будет упредить этот исключительно отважный опыт индивидуальной тренировкой; Гибер постоянно просит прощения у Венсана за свою слишком сухую задницу – порой реализация фантазий, возникших у мужчины и женщины на фоне проговаривания ими друг другу различных сальностей и похабностей, наверняка может оказываться настолько исключительно приятной, что эти фантазии, «материализовавшись», становятся не разовыми, не эвентуальными, а непременно атрибутами их каждого нового сексуального контакта; предположим, что некие мужчина и женщина теперь не обходятся ни при одном коитусе без засовывания женщиной мужчине в анальное отверстие одного или нескольких пальцев, и мужчина считает необходимым каждый раз просить у женщины прощения за то, что микрофлора его ки-

щечника не оказывается для ее пальцев достаточно приятной – в тактильном смысле – при нахождении в нем средой.

Вероятно, если бы Венсан стал женщиной, Изабель Аджани пришлось бы обернуться мужчиной; если в одной из новелл в «L'Image fantome» Аджани едва не стала жертвой гиберова предательства, то «В без ума от Венсана» Гибер позиционирует себя не как предающего Аджани, а как преданного ей; в качестве цены за прощение Гибер назначает для Аджани следующее: она должна отдаться юноше, в которого он влюблен. Наверное, если бы Гибер в своей книге описывал бы свою влюбленность в девушку, то в качестве роскошного подарка для нее он старался бы свести ее не с роскошной женщиной, а с роскошным мужчиной, так что Аджани, по всей видимости, пришлось бы пережить в пространстве художественного вымысла трансгендерную метаморфозу и вместо своей хрупкой женственности блистать на страницах книги Гибера, например, хищной маскулинностью. Впрочем, куда проще, чем представить Аджани мужчиной и даже чем Венсана – женщиной, читателю этой книги оказывается представлять женщиной самого Гибера, душу которого в женском теле мечтал бы обнаружить даже Венсан, признававшийся своему любовнику в том, что если бы у того была бы женская грудь, то он на нем (-й?) непременно бы женился; сам Гибер наверняка был бы совсем не против выйти за Венсана замуж, потому что переживал натуральные минуты счастья, когда Венсан принимался заниматься в его квартире исключительного «мужними» делами: вешал картину, чинил проводку. А в моменты, когда Гибер начинала чувствовать, что их разрыв неизбежен, он ощущал себя брошенной невестой, а никак не оставленным женихом; ну а могло ли быть иначе, если ожидая визита Венсана или собираясь к нему на свидание, Гибер трижды или четырежды менял туалеты, будучи не в силах выбрать, в чем ему лучше всего в этот раз показаться возлюбленному.

Когда же речь идет о воистину всепоглощающем обожании, взаимном ли, или же «одностороннем», для глубины впечатления (или силы потрясения), которое оно может произвести на (или вызвать у) воочийно наблюдающих его или знакомящихся с – почему бы и не художественными – свидетельствами о нем чутких ко всему прекрасному и эмоционально высокоразвитых людей, половая принадлежность вовлеченных в это обожание персон оказывается даже не то что второстепенным, а вообще ни на что не влияющим фактором; я веду к тому, что пусть «Fou de Vincent», как и многие другие тексты Эрве Гибера, формально содержит в себе признаки если не прямо вот уж «маргинальной», то, по меньшей мере, «субкультурной» прозы, на самом деле эта великолепная книга – как опять-таки и другие написанные Гибером – не имеет никаких противопоказаний к тому, чтобы быть лестно оцененной по своему высочайшему достоинству далеко за пределами эдакого условного богемного арт-гей-гетто, внутри которого, как мерещится многим академичным теоретикам культуры, немногочисленная группа творцов создает «узкоспециальное» искусство для лишь слегка превосходящей их в количестве такой же специфической аудитории; в действи-

тельности же единственным обстоятельством, которое может помешать человеку наслаждаться литературным наследием Эрве Гибера, оказывается отсутствие у человека хорошего художественного вкуса, – при наличии же такового человек обречен в это наследие безумно и беспамятно влюбиться.

«Fou de Vincent» заканчивается кражей; Гибер долгое время отказывает Венсану в уговорах дать ему почитать экземпляр своей ранней книжки «Псы» (1982), псевдоменторски замечая своему фавориту, что детям такие книги читать рано; наконец, однажды Венсан умыкает из дома книгу незаметно для хозяина, и в тот же вечер звонит Гиберу, признаваясь в том, что прочитал «Псов» по дороге к себе домой, крутя велосипедные педали под светом фонарей. Как ни будь разнуданны описанные во «Псах» сексуальные практики участников чего-то вроде любовного треугольника (одна женщина в которых служит для двоих мужчин подобием спортивного снаряда, на котором они, стимулируя друг друга к эксгибиционизму, соревнуются в брутальной маскулинности, что, правда, служит лишь прелюдией к – или антрактом в – тому/том, чтобы совкупиться им самим, под еще более крепким градусом принуждения и садизма, – с попеременными выступлениями на позициях палача и жертвы), все-таки очень трудно вообразить себе (учитывая пылкость, с которой сами Эрве и Венсан предавались своей страсти), что, стремясь оградить Венсана от такого чтения, Гибер действительно пекся о его целомудрии; пожалуй, накладывая на книгу такое ложное табу, он как раз и хотел спровоцировать Венсана на нечто романтическое вроде вот такой вот кражи и добиться того, чтобы эта книга была прочитана его возлюбленным вот в таких вот небанальных обстоятельствах, о чем Гиберу было бы сделано вот такое вот взволнованное признание. Однако в иной ситуации Гибер, вне всякого сомнения, считал Венсана способным на самую настоящую, а не на, так сказать, «ритуальную» кражу, потому что находясь с ним в одном гостиничном номере на курорте Сен-Жиль-Круаде-Ви весной 1987-го года, Гибер – как ясно из отправлявшихся им оттуда в Париж друзьям писем – был нешуточно обеспокоен целостью и сохранностью покоившейся на дне его дорожной сумки еще незавершенной рукописи его последнего на тот момент сочинения, которой он исключительно дорожил и на которую, очевидно, считал все увереннее выходявшего из-под его влияния Венсана способным «покуситься». По крайней мере, примерно в таких обстоятельствах и таких декорациях Эрве и Венсан могут заставаться читателями книги Гибера «Les Gangsters», опубликованной, как и «Fou de Vincent», в 1989-ом году. В ней Гибер совершает пусть не долгое кругосветное, о котором ему сильно мечталось, так хотя бы краткое и недалекое – на французское побережье Атлантики – путешествие в компании Венсана; несмотря на то, что у «Гангстеров» с «Fou de Vincent» не только один год издания, но и, судя по всем признакам, примерно общее время действия (то есть в известном смысле это, если так можно выразиться, «параллельные» тексты), невозможно отделаться от ощущения, что предпринят этот вояж уже на излете, в закатной фазе их люб-



ви; если в капризности и эгоизме Венсана нет ничего нового, то Гибер впервые предстает в свое прозе тяжело страдающим от болезни, которая в итоге его погубит, и которая в тот момент еще не проявилась во всей несомненности, но уже прислала – в качестве мучительного пролога к предстоящему основному «корпусу» страданий – один из самых жутких из встречающихся своих «стартовых» симптомов – опоясывающий лишай. Долгие недели отказывавший Гиберу в какой-либо теплоте Венсан в конце апреля 1987-го вдруг снова становится с ним нежным, соглашаясь поехать с Гибером на море, однако довольно скоро выясняется, что эта поездка привлекла Венсана прежде всего лишь в том смысле, что ее формат показался ему очень подходящим для интенсивного справления его наркотических потребностей; первую ее половину он курил гашиш с исключаяющей любое здравомыслие частотой, вторую (несколько суток напролет) – проспал в отеле; с одной стороны, это было обидно для Гибера, на фоне испытываемых им мук и все крепнущего предчувствия своей недалекой смерти все острее нуждавшегося уже не в ласковом любовнике, а в чутком собеседнике, но с другой – приносило ему и приятное отдохновение, ибо одним из самых больших удовольствий в жизни для него было смотреть на спящего Венсана (порой ему казалось, что за излюбленную позу Венсана, которую тот произвольно принимал во время сна, он в него и влюбился; что именно она превратила привязанность в любовь), а, кроме того, крепко спящий Венсан не представлял никакой опасности как потенциальный похититель столь драгоценных для Гибера бумаг. Между тем, Венсан может претендовать в «Гангстерах» на статус в лучшем случае «героя второго плана»; эта книга – признание Гибера в любви прежде всего не к юноше, а к двум старушкам, его двоюродным бабкам – Сюзанне и Луизе.

Конечно, именно любовь – не самое первое чувство, которое приходит на ум при поиске нужного слова для определения характера отношений между двумя капитулировавшими перед маразмом пожилыми сестрами и их, можно сказать, юным родственником, внешне выглядящих так, что основательно тронувшиеся умом старушечки находят любые поводы, чтобы изводить одного из своих молодых наследников, принуждая его к участию в их обстоятельствах, но при этом решительно не желая следовать в своем быту его апеллирующим к здравому смыслу рекомендациям. Это, однако, действительно была лишь внешняя сторона их отношений, в то время как наполнены они были исключительной эмоциональной теплотой. Общеизвестен тот факт, что к своему внучатому племяннику Сюзанна и Луиза испытывали настолько безграничное доверие, а к его художественным практикам – настолько подлинное уважение, что соглашались не просто выступать его фотомоделями, но и сниматься ню, и, например, в собачьих намордниках (и это при том, что одна из них в своих преклонных годах оставалась девственницей); сам же Гибер неоднократно указывал на то, что именно Сюзанна и Луиза были теми его родственниками, объединенность семейными узами с которыми представляла для него наибольшую ценность. Есть красноречивые свидетельства особой нежности, что

питал Гибер к этим двум женщинам, и в «Гангстерах»: например, когда кто-то из друзей советует ему проявить больше твердости и решительности в том, чтобы заставить старушек привести запущенные имущественные и «наследственные» дела в порядок, Гибер возражает в том духе, что не хочет своей настойчивостью вызывать сомнений у тех, для кого перед их смертью стала главным утешением его к ним привязанность, – сомнений, допустим, в искренности этой привязанности; подозрений насчет того, что привязанность эта – «постановочная», разыгрываемая ради более «выгодной» позиции в завещании. В другой сцене Гибер нечаянно застает одну из своих бабушек вынувшей изо рта вставную челюсть, впервые в жизни созерцаая ее в таком виде, и тут же заключает, что увидеть новый, ранее неведомый тебе лик того, кого ты по-настоящему любишь, полезно – в смысле обогащения своих представлений о любимом тобою существе – даже в тех случаях, когда этот лик – скажем, с провалившимися щеками – ужасен. Сами же бабушки в той фазе своей жизни, в какой они застигнуты в «Гангстерах», кажутся геронтами со столь бесповоротно охваченным «хаосом и сумерками» сознанием, что оценить глубину и аутентичность вызываемых у них Гибером чувств, оказывается достаточно сложным; собственно, главная сюжетная линия и первостатейная интрига в «Гангстерах» сводится к следующему: некая бригада строителей навязала бабушкам ремонт в их доме, который нельзя даже назвать дорогостоящим, – по сути, речь идет о целенаправленном разорении старушек, гипнотически завороченных сверхчувствительными и исключительно галантными ремонтниками и выплачивающих им за практически мифические работы любые суммы, какие мошенники осмеливаются – а отвага их велика! – попросить; Гибер, придя в ужас от степени безумия, что характеризует готовность его родственниц дать себя обобрать (бабушки и сами если не понимают, то уж подозревают, что их надувают, но так увлечены этим приключением, что не в силах противиться своим ласковым палачам), пытается положить конец бесстыдной афере и обращается в полицию; строители исчезают из дома, но ситуация менее напряженной не становится – уже выманенные деньги вернуть не удастся, а, кроме того, у Гибера есть все основания полагать, что банда не откажет себе в удовольствии отомстить за его – помешавшее плеторической реализации их планов – вмешательство. «Гангстеры» выглядят чем-то вроде плутовского романа, но нарратив в котором сосредоточен вокруг не коварства плутов, а слабоумия их жертв; это поразительно, но «Гангстеры» оказываются единственным произведением среди сочинений Гибера (по крайней мере, в той их – уже весьма и весьма объемной – части, что переведена на русский язык), в котором Гибер выглядит литературным наследником не только Жана Жене, но и другого из двух самых значительных французских писателей XX века, Луи-Фердинанда Селина. Сначала в поведении только Сюзанны и Луизы, но затем – и всех остальных «участников конфликта», «прораба» и его рабочих, полицейских и даже самого Гибера (во всяком случае, на уровне оценок, которые он в режиме «внутреннего монолога» дает происходящему) правдоподобие и фантастич-

ность выступают в настолько безупречно равновеликих количествах, что, так сказать, «в миниатюре» Гибер начинает казаться чуть ли не конгениальным самому искушенному в истории мировой литературы исполнителю – и, возможно, даже изобретателю – этого непостижимого трюка. Вслух проговариваемые Сюзанной и Луизой «потоки сознания», касающиеся сложившегося в их доме положения, а также – в режиме полных отчаяния на них реакций – «про себя» безмолвно воспроизводимые Гибером, конечно, не «прореживаются» в его книге комплектами из восклицательных знаков и многоточий, но ритмически и интонационно текст в некоторых фрагментах «Гангстеров» выстроен так, что пусть и графически неотображенное присутствие этих знаков препинания ощущается в нем также явственно, как это происходило с пропущенными предложениями в телеграммах. Впрочем, на чисто же сюжетном уровне «Гангстеры» вызывают самую явную ассоциацию с тем романом Селина, который он написал еще до осуществленной им пунктуационной революции; равнозначная присущность некоторым персонажам этой повести Гибера признаков и реалистичности, и «фантомности» приводит к тому, что Сюзанна и Луиза в один момент начинают казаться раздвоившейся мамашей Прокисс, а намеревающаяся сжить их со свету банда гиньолей – растражировавшимся в нескольких португальцах (или, быть может, арабах; даже с этим нет ясности) Робинзоном. Ну а когда Гибер начинает обследовать подвергшуюся со стороны злодеев реновации лестницу и подозревать, что они готовили падение с нее Сюзанны, в парижскую квартиру гиберовых бабушек и вовсе ударяет отдающий мумиями смрад тулузского подземелья.

Именно письмом к Сюзанне открывается изданный уже после смерти Гибер сборник писем, написанных им – но не отправленных, а только вложенных в конверты – людям самого «ближнего» его круга из Египта, путешествие куда он совершил в 1984-ом году. Невозможно не обратить внимания, читая это письмо, на то, что страх Гибер перед смертью Сюзанны (старшей из сестер) очень сильно досаждал ему еще тогда, когда своей собственной смертью он не чувствовал – не имея к тому никаких оснований – и даже робкого дыхания; Гибер признается Сюзанне в этом письме в том, что каждый раз, покидая Париж надолго, он испытывает если не стыд, то шемящую тревогу при мысли, что в момент ее смерти его может не оказаться рядом с ней. Причем кончина Сюзанны казалась ему уже в 1984-ом году повесткой настолько скорого будущего, что уже в другом письме, которое он написал – если не вполне ей, то «на ее имя» – спустя несколько дней после сочинения первого, он торопливо дает Сюзанне – или, скорее, себе – несколько клятв, подразумевающих их «посмертное» исполнение; среди них, например, такую, как неизменно рассчитывать на ее опыт и на ее искусство верно толковать приметы и тогда, когда ее уже не станет. Понятно, что Гибер в пору написания этих писем и мысли не допускал о том, что может сам умереть раньше, чем Сюзанна; в итоге получилось так, что он пережил ее всего на несколько месяцев. Ясно также, что

исключительная мучительность жизни Гибера в эти предсмертные месяцы, скорее всего, не позволила ему сохранить этой клятве верность; однако, это ни в коем случае не девальвирует благородство мотивов, двигавших Гибером в момент ее принесения: такие эмоции и побуждения бесценны. Бесценно и выдающееся литературное наследие Гибера; во всяком случае, ни один из опубликованных на русском языке его текстов не дают поводов применить к этому наследию более скромный эпитет.

# • КОЛЛЕКЦИЯ •

## ОСКАР БАУМ

### ИЗ КНИГИ «ЖИЗНЬ НА БЕРЕГУ»

Оскар Баум жил в Праге и писал по-немецки. Заниматься литературой он начал рано, но в этом ему мешало, с одной стороны, очень плохое зрение, а потом и полная слепота, а с другой – необходимость зарабатывать на жизнь уроками музыки. В 1904 году Макс Брод, который любил общество и легко завязывал знакомства в литературной среде, познакомил Баума со своими друзьями Феликсом Вельтшем и Францем Кафкой. С тех пор так называемый «пражский круг» – Брод, Вельтш, Кафка и сам Баум – стали регулярно собираться в доме Баума, чтобы говорить о литературе, философии, сионизме и просто жизни и читать друг другу свои тексты. Баум не раз оказывался одним из первых слушателей Кафки, в том числе когда Кафка читал ещё не оконченные главы из «Процесса» на этих домашних чтениях. В романе Баума «Дверь в невозможное» можно найти переклички, даже полемику с «Процессом», но и Баум, вероятно, повлиял на Кафку как текстами, так и лично. Кафкино внимание всегда притягивала к себе печатная машинка со шрифтом Брайля, которую Баум часто носил с собой. Не исключено, что она была чем-то вроде прототипа ужасного аппарата для вбивания буквы закона под кожу осуждённого, изобретённого Кафкой в «Исправительной колонии». Личное знакомство произвело большое впечатление и на Баума. Когда Брод представил Бауму Кафку, Кафка просто молча поклонился, а слепой Баум смог заметить это по лёгкому движению воздуха от поклона. Кафка верил в жесты, а Баум умел их ценить. Они дружили до самой смерти Кафки. В 1941 году Баум умер после тяжёлой операции, так и не успев эмигрировать в Палестину.

Баум написал и опубликовал несколько романов и пьес отдельными книгами, а также множество музыкальных и театральных рецензий в берлинских журналах. Сегодня его книг почти не читают, хотя прежде его романы были довольно хорошо известны читателям. Роман «Жизнь на берегу» (*Uferdasein*) был дебютом Баума и принёс ему мгновенную, пусть и не самую громкую славу. Хотя в романе (точнее, сборнике новелл) описываются события из жизни слепых, назвать его автобиографическим в прямом смысле нельзя. Именно сочетание собственного жизненного опыта и писательского воображения делают этот роман действительно оригинальным.

В отрывке, публикуемом ниже, действие происходит в воображаемом городке Безенау, но, возможно, Баум косвенно ссылается на пражский городской ландшафт. В Праге, неподалёку от собора Св. Вита, находится Zlatá

ulička, бывшая Alchimistengasse, т.е. Алхимический переулок. Здесь во времена императора Рудольфа II, до революции в науке, жили алхимики, которые должны были найти императору философский камень. А во время Первой мировой войны здесь же, в полуподвальной комнате, Кафка сидел над дневниками, изобретая странные рассказы о полулюдях-полузверях. Яростному алхимику из воображения мальчика в новелле Баума добыть золото не удалось, как ни Кафке, ни Бауму всю жизнь не удавалось работать на жизнь литературой; и оба писателя знали, что за изобретением рассказов можно действительно выпасть из реальности, как стеклянная реторта из окна.

*Анна Глазова*

### **Из будней безработного**

Почему все ставят намерение выше случая?

Разве намерение само не случайность?

Кто может поверить в то, что способен управлять собственными мыслями или же тем истоком, откуда они берутся? Знает ли кто-нибудь вообще, в чём состоит главная движущая сила мира? Я имею в виду, главнейшая сила, которая не что иное, как его первопричина? Случай кажется мне не менее, а намерение – не более понятным... Если я поцелую девушку, то потому ли, что она наклонилась над подвеской у меня на цепочке от часов и притягательное тепло её щеки веет над моими губами? Или же потому, что я уже давно избрал её предметом всех моих мечтаний и помыслов из-за совпадения её качеств и моих предпочтений? Не удивительно ли подобное стечение обстоятельств и, одновременно, не обманчива ли связь между ними?

Бертель Эрфлингер уделял много времени таким размышлениям.

Какое объяснение выбрать – что директор интерната разрешил ему учиться только изготовлению щёток потому, что считает его просто неумным или же слишком ленивым для занятий музыкой? Ему невдомёк, когда он успел заслужить такое отношение к себе, но его музыкальные способности точно не могли сыграть роли в решении этого вопроса, потому что на их наличие его никто не экзаменовал.

Или продолжать думать, что со стороны господина директора это была просто въевшаяся привычка, может быть, ещё и подкреплённая случайно пришедшим настроением, которая и заставила его взять Бертеля под руку и отвести вниз по винтовой лестнице в мастерскую, сопровождая каждый шаг сладко льющимися речами о достойном и завидном положении усердного ремесленника, если только такой ремесленник знает толк в чисто выметенной мастерской и ни ногой не ступает в питейные заведения. Так или иначе, Бертель признал за

матерью правоту, когда он вернулся домой из интерната и она запретила ему идти учиться щёточному ремеслу. У него лежат на банковском счету 23 000 гульденов, так что в таком маленьком городе как Безенау, где всё дёшево, он сможет без труда жить на проценты. Зачем проводить целые дни в поте лица, сидя в пыльной мастерской, калечить пальцы проволокой, добывать прибыль обременительными манипуляциями с самыми разными предприятиями и частными покупателями? И всё это ради нищенского дохода! Нет, она этого не позволит её единственному сыну, её любимцу, её Бертлю!

Это стечение обстоятельств, однако, привело к тому, что теперь он проводил целые дни в размышлениях. По счастью, мыслей у него было достаточно, и он углублялся в них с пристрастием и без усталости.

Но больше всего он любил те часы, когда мама читала ему вслух. Полнота и некоторая минорность её тёплого голоса были богаты оттенками, и голос становился почти юношески гибок, когда в нём вспыхивало пламя воодушевления. Приятно было уютно свернуться в глубоком кресле с высокой спинкой, которое стояло на философски выбранной золотой середине между камином и окном. Мягкий голос струился в комнату с оживлением, но без буйности. Читая, она передавала возвышенную и приукрашенную страстность выдуманных событий и людей, окружала сына чувствами и судьбами, расставленными чётко продуманным строем. Жизнь в книгах была красочна, но краски сочетались в продуманном порядке.

И хотя литературные вкусы фрау Иоанны и ее сына совпадали редко, ей всегда удавалось разделить интерес к книге, привлёкшей его внимание. Зачастую Бертль прерывал чтение в особенно напряжённых моментах повествования и, чтобы распалить собственное любопытство, пробовал сам придумать продолжение и логически вывести будущие поступки героев. Когда это были пьесы, он всегда выбирал паузу после второго или третьего действия, в зависимости от того, трёх- или пятиактная это была пьеса.

Если читали роман, то он продолжал повествование перед каждой новой сессией чтения. Сессий становилось всё больше и больше, чем больше времени он проводил дома. Скоро он настолько завладел вниманием матери, что ей приходилось тайком улавливать минуты для занятий домашним хозяйством.

К счастью, на служанку Рези можно было положиться, и она умела неплохо готовить. Иногда, когда у мамы начинало жечь глаза от чтения, она останавливалась – нередко на самом захватывающем месте, – потому что просто не находила сил двинуться дальше среди танцующих букв, и тогда она рассказывала Бертлю о прошедшем, добросовестно, со множеством подробностей, тут и там приукрашая рассказ красным словом. Он выслушивал истории о дядьях, дедах, кузинах, приятелях... но чаще всего об отце. Он, оказывается, был самый посещаемый врач, самый завидный кавалер, лучший всадник и игрок в кегли во всём Безенау, к тому же – первый тенор мужского хора.

Бертль не возражал против таких перерывов. Другое дело, когда вдруг, в самом пылу рассказа, когда полностью увлечён, объявляли визит: госпожа налоговый инспектор, или госпожа фельдшер, или госпожа главный инженер...

...и они входили, садились, добродушно беседовали на ничтожнейшие темы, но с такими прилежностью и упрямством, что иной раз ему в этом мерещился чей-то злой умысел. Всегда, когда прерывалось чтение, а особенно в таких случаях он чувствовал себя словно униженным. Становилось ясно: он обречён на зависимость от чужих возможностей и желаний. Он не мог следить за героями книг как ему заблагорассудится, хоть он с удовольствием погружался в их деятельную жизнь в побеге от собственных пустынных дней, и эти герои были его второй и лучшей повседневностью. А иногда, наоборот, ему приходилось выслушивать рассказы о героях, когда его к ним не тянуло и он был поглощён собственными фантазиями. Бывало и так, что он скучал по ним, к нему не шёл сон, им овладевало истощение и отвращение после горячечного потока мелькавших видений. Вокруг царил пустота; воображение мучил голод; фантазия легкомысленно растратила себя и теперь искала пищи и впитывала в себя всё что можно.

И как раз в такие-то моменты мама не могла посвятить ему себя из-за какой-нибудь ничтожной мелочи.

Он сжимал в пальцах и листал книги, в которых таились скрытые наслаждения. Он проводил рукой по исчезающе малой высоте печатных строк, прямых, как колонны солдат, выстроившиеся на страницах по обе стороны разворота.

И они были для него мертвы и лишены смысла.

В те месяцы он взялся читать книги, набранные шрифтом Брайля. Он заказывал книги, какие только мог найти, в гамбургской публичной библиотеке. Он со страстью предавался новому занятию, потому что в нём он был независим и мог наслаждаться без помех и чужой помощи.

К вечеру у него обычно болели пальцы, а однажды фрау Иоанна обнаружила в книге с особенно колким шрифтом несколько страниц со следами крови. Тогда она взяла его за обе щеки, поцеловала в лоб и с шутовой серьёзностью вымолила у него обещание не читать больше книг по Брайлю. Ему было легче на это согласиться, чем она предполагала, потому что таких книг печатали немного и он уже успел прочесть каждую по два-три раза. А повторять одно и то же без конца было не в его вкусе.

Сын владел всеми мыслями, а тем более чувствами фрау Эрфлингер. Любить и баловать его было единственной целью её жизни. Долгие годы её вдовства были мучительно пусты и безжизненны, и она благодарила сына уже за то, что он терпел её присутствие без жалоб на скуку. Она везде и всегда искала поводов повеселить его. С владельцем одной из книжных лавок поблизости она поддерживала знакомство и штудировала все издательские новинки, покупала всю литературу, на какую доставало средств, и каждое утро начинала с того, что обдумывала, каким бы книжным сюрпризом удивить сына за обедом или ужином.

Он же, в свою очередь, отвечал ей трогательной восприимчивостью. Он не хвалил книг без объяснений и обдуманых аргументов, как если бы воспитывал вкус и оценивал блюда с позиций искушённого эксперта. Он словно перечислял



специи и определял соотношения использованных ингредиентов – муки с яйцами, маслом и другими составными частями.

Он чествовал писателя, если мать пожертвовала крупную сумму за его произведение; он оставался невозмутим и тогда, когда её заботливость сказывалась на выборе книг не лучшим образом.

Тогда он сидел, слегка приоткрыв рот, устало свесив руки, нахмурив лоб и погрузившись в скуку.

Он слушал, как избыточные слова и выражения без конца возникают и исчезают. Так он привык следовать по запутанным следам собственных фантазий, пока фрау Иоанна читала, думая, что его внимание всё ещё обращено к книге, и только изредка резко прерывала чтение жалобами, когда уставали глаза или голос.

Так Бертель воспитал в себе большую силу воображения.

Он пускал фантазию вскачь и погонял её ещё и ещё.



Однажды жил-был алхимик, посвящённый в самые глубокие тайны, белый каббалист, и жилось ему несладко. Он голодал. Тогда он взял чёрную табличку, написал на ней своё имя золотыми буквами и повесил на входную дверь. Он решил продавать целебные мази и снадобья, чтобы заработать себе на мясо, яйца и молоко. Но у него так и не появилось на столе еды. Никто не доверял его искусству. Его изъеденный морщинами лоб, впалые щеки и адский огонь в глубоких глазницах были ужасом города. За лекарствами и советом предпочитали ходить к цирюльнику или рыночному знахарю. В конце концов, в день, когда голод и ярость стали нестерпимы, алхимик запер свою лавку, собрал со всех полок пузырьки, плавильные чашки, пробирки и реторты и стал со всей силы бросать их, один предмет за другим, прямо через закрытые окна на улицу. Раздался невыносимый звон, грохот, всё разлетелось на куски, разбилось вдребезги! Между горками из осколков густые, неспешные ручейки малинового сиропа стекали в озёра касторки, эмульсий и помады для волос. Серная кислота, купорос и пряные и сладкие желудочные капли сливались в общий поток, и в нём сбивались в островки, как дрейфующие льдины, разнообразные сухие травы, пиявки, палочки корицы, плитки жевательного табака и гусиные перья. На шум сбежался весь город, люди столпились полумесяцем вокруг хаотического скопления странного мусора и схватились за животы от смеха. Дикий магистр пылал алым гневом! Он упирался руками в гнилые оконные рамы, на которых теперь держались только жалкие обломки стекла. С треском и скрипом дерево поддалось натиску его пальцев, и он перегнулся через подоконник к невыносимо хохочущим насмешникам.

– Тыфу на вас! Собачья свора безбожников! Накажи вас Господь!

– Господь! – сказал он. – Тот, кто принадлежит тьме.

Тут все похолодели от ужаса. А он ещё несколько раз крикнул «тьфу», плюясь, как садовый шланг, когда на него наступают ногами. Толпа зашевелилась, кто-то потянулся за камнями, чтобы вознаградить его за эти речи по достоинству. Но он исчез, испарился в мгновение ока. Они ещё видели его фигуру, когда целились, но когда камни достигли цели, из пустого окна только рассмеялся воздух на тысячу голосов. В дом ворвались, пронеслись по всем комнатам, держа перед собой распятие – но не нашли ни следа человека, живого или мёртвого.

На следующее утро город проснулся от налетевшего как вихрь крика, который возник ниоткуда и кружил на месте с неослабевающей силой. Кто распахивал окно, тот терял слух. Несколько хладнокровных смельчаков попытались, крепко замотав уши полотенцами, выйти за ворота, но ворота не открывались. Не обошлось и без праведников, расслышавших в этом визге трубный зов страшного суда. Наконец, стало ясно, что это давали о себе знать миллионы и миллионы новорождённых, которые лежали, белые свёртки, плотными рядами без конца и края, заполняя все улицы города, а, может быть, и весь мир! Многих женщин пришлось удерживать силой, иначе они выбегали на улицу, чтобы дать несчастным деткам грудь. Некоторые потеряли рассудок и винили себя в том, что это – те дети, которых они не захотели рожать. И что же дальше? Бертль усмехнулся. Даже самые достойные граждане скорее станут давить по два младенца на каждом шагу, чем умрут от голода взаперти. Но, может быть, рядом оказался миллионер в погоне за медалью и как раз решил учредить детский дом для нежеланных младенцев.

Фрау Иоанна сочла, что улыбка Бертля относилась к отрывку, который только что прочла ему вслух, и позволила себе ненадолго прервать чтение. Она сказала, что рада угодить ему удачным выбором книги.



Что было бы, если бы внезапно, по воле необъяснимой силы, во всей вселенной свет изменил свою химическую структуру и все глаза на Земле в одночасье утратили зрение? Немногие, очень немногие не потеряли бы лица: те, кто печатает фотографии в тёмных комнатах, кто весь день работает в горных шахтах, у кого из-за трахомы или конъюнктивита глаза застилает зелёная пелена. Но вредное влияние света продолжалось бы только 24 часа 32 минуты и 27 секунд, как выяснилось бы тогда, когда стало ясно, что у младенцев, родившихся в тот день, зрение пострадало, а на следующий – уже нет.

Разумеется, на зрячих сразу поднялся бы спрос. Машинисту железнодорожных составов стали бы платить как университетскому профессору, полицейскому – как директору банка, кухарке – как королевской возлюбленной. Вся человеческая цивилизация изменила облик. Живопись ушла в прошлое, скульптура утратила ценителя. Оратория разрослась и заглушила оперу. Уличная жизнь в больших городах поутихла. Электрические трамваи пропали. В повозки стали

запрягать специально обученных лошадей. Поставщики газа обанкротились, а благотворительные фонды стали финансировать обучение зрячих.

Двадцать лет спустя подросток оказался бы в непроницаемых джунглях непреодолимых трудностей и ложных представлений.

Бертль снова и снова возвращался к подобным размышлениям. Тысячи разнообразных ситуаций возникали у него в голове в таких подробностях и так живо, как если бы кто-то рассказывал о них вслух.

Вместо плакатов с рекламой и объявлениями на каждом углу стояли бы фотоплакаты и непрерывно объявляли о театральных постановках, концертах, лекциях, собраниях различных организаций и расхваливали бы разные товары. Углы домов обили бы войлоком, чтобы даже самый неосторожный прохожий не смог покалечиться. Во всех странах мира ввели бы правило, по которому ходить разрешалось вверх по улице только по правому тротуару, вниз — только по левому.

Но больше всего Бертелю нравилось погружаться в истории о любви.

Юная дочь недовольного жизнью обойщика была свежа и терпка, как утренний ветер. Она проскальзывала мимо окна, у которого он обычно проводил часы до полудня в мечтаниях, — проскальзывала, может быть, даже и несколько раз в день. Она не любила никого, кроме своих старых родителей, у которых была единственным ребёнком. Но внезапно их постигло несчастье. Они совсем лишились средств, мать умерла, а отец заболел и лёг в больницу, чтобы не голодать дома. Тогда проворная дочь нанялась к фрау Иоанне в служанки. То, что полное доверие матери к их нынешней служанке, Рези, делало такой сценарий несбыточным, он преградой не посчитал. Он всё глубже и глубже вживался в свою мечту.

Он почти наяву слышал, как шуршит её платье, когда она поспевает по домашним делам, проворная и прилежная. Вот только речь у неё была грубая, и она грубила даже фрау Иоанне.

Однажды ночью она пришла к нему в спальню. Он вздрогнул от страха и радости. Она, тем временем, села, повернув к себе спинкой кресло, на котором висела его одежда. Неприятливо, рублеными фразами, она сказала ему, что не желает больше видеть его печальных глаз. Или пускай берёт себя в руки и находит силы для веселья, или она будет вынуждена уйти.

Она сделала паузу, но он не знал, что сказать.

– Ну?

Он мучился от неловкости и не мог сообразить, чего она от него ожидает.

– Мне всё время кажется, что я обязана вам помогать, — объяснила она, — да только с какой стати это моя обязанность, у меня у самой в жизни довольно горя.

Заскрипела дверь: это фрау Иоанна принесла вечерний выпуск газеты. От чтения газеты он никогда не отказывался. Отношения между странами и народами, поступки лиц, чьё имя у всех на слуху, общественная жизнь вполне могли соперничать с его мечтами. Но сегодня в мире не произошло ничего интересного, и вечерняя газета была пуста.

Бертль опустил голову на подлокотник кресла в мягкой обивке. Он бы снова начал мечтать, но это не так-то просто. Фигуры быстро бледнеют, их действия кажутся надуманными и примитивными, мечтателем овладевает пресыщенность. Кто-то мог бы сказать: огонь догорает, остаётся только пепельно-серая безысходная скука. Но рано или поздно он додумывал до конца все свои истории, потому что в его характере была основательность. С дочерью обойщика он разделался быстро: когда он узнал, какая она грубая, он ответил ей, высокомерно склонив голову набок, что не может менять выражение лица как ей заблагорассудится. Придётся уж ей самой разобраться в своих чувствах. Но в глубине души он понимал, что в более подходящее время его ответ был бы иным, совсем иным.

Он часто воображал себя грозным рыцарем-похитителем, хозяином горной крепости. Он похищал самых красивых и гордых женщин страны и целые дни проводил в галантных разговорах с ними. Но когда наступала ночь, он распорядился, чтобы у них отобрали платье, привязали к креслу напротив зеркала высотой в полный рост и зажгли по обе стороны зеркала по толстой свече, и свечи горели всю ночь...

В тёмных зарослях он скрывался, поджидая, когда на дороге появится прекрасная женщина или нагруженный золотом купец. Или пил награбленное вино из награбленных кубков – по одному глотку из каждого золотого кубка, а пил он много, вернувшись домой после тяжкого разбойничьего дня.

Просторные покои его крепости от пола до потолка заполняли ленты с голов отвергнутых возлюбленных.

И ещё он пересекал прерии в лице предводителя индейцев. Не было хижины во всей округе, не знавшей удара его томагавка. Мужчин он брал в плен и давал каждому копье и щит, а женщин превращал в подстилки для ног. День без пролитой крови не заслуживал прихода ночи, и потому по ночам он часто крался, всё ещё охотясь, как тигр, сквозь многослойную тьму ночной чащи.



Каждый день около четырёх часов дня, когда пили кофе, мать брала его на прогулку, обычно в кладбищенский сад неподалёку. Бертль не любил гулять. На прогулках встречались госпожа налоговый инспектор, госпожа фельдшер, госпожа главный инженер. Всякий раз, когда они возвращались домой с прогулки, у него начинала болеть голова от злости на тысячу одинаковых вопросов и ответов, сводивших безграничное богатство языка к ничтожной лужице общих интересов. Но он не говорил об этом вслух. У матери не было другого общения, а без него она никогда не выходила на прогулку. У него хватало духу только на то, чтобы время от времени находить невинные отговорки, из-за которых прогулка отменялась или хотя бы сокращалась по времени.

Целыми днями он дремал в кресле, не шевелясь. Его тело становилось рыхлым и расплывалось. Фантазии плодились и соревновались друг с другом

в страстности. Краски в них сгущались, жизнь без передышки набирала обороты, трепет и мучения сочетались с бросавшими в дрожь наслаждениями и сладкой истомой. Он терял контроль над плодами собственного воображения. Они появлялись без спроса и отказывались уходить, когда он гнал их прочь. Они превратились в повелителей, завладели и временем, и пространством. Не хватало времени даже на сон.

Когда вокруг воцарялась тишина и весь мир замирал в сонливости, отдаляясь, потухая, приключения прозрачных героев увлекали его всё сильнее. Рассеянно, медленно он освобождался от одежды и задумчиво ложился в постель, пока в кухне за стеной затихал звон и стук посуды и столовых приборов. Последние звуки дневной жизни рассеивались в темноте.

Под окнами только изредка проезжали повозки. По стуку удалявшихся копыт можно было определить, к вокзалу ехали или, наоборот, от вокзала. Из пивных заведений возвращались домой господа, смеясь и обмениваясь легкомысленными фразами. За ними выходили пьяницы, горланя песни. Позже всех, около двух ночи, появлялись студенты, бодро шагали по мостовой, распевая застольные куплеты почти в полный голос. Затем в ночные звуки начинали незаметно вплетаться и звуки утра. Между взрывами визгливого смеха девушек, завлекавших прохожих, и руганью пьяных просачивался скрип ранних крестьянских телег, вёзших на продажу, судя по кудахтанью, птиц, или, судя по мычанию или бляению, скот. Были среди них, наверное, и телеги, нагруженные зеленью, яйцами и маслом, но вряд ли молоком, потому что только час спустя слышался грохот повозок, везущих стеклянные бутылки. А когда с чётким перестуком проезжал почтовый вагон, уже наступало утро, и Бертель злился, что так и не успел уснуть. От злости сон уходил совсем. Стоило огромного труда разомкнуть воспалённые веки, и словно свинцовые тиски сжимали голову со всех сторон.

Когда он, наконец, окончательно просыпался в десять или одиннадцать утра, с шумом в тяжёлой голове, мама уже сидела у окна. Она дразнила его, называя лентяем, а сама донельзя радовалась его здоровому сну. Он не возражал ей, но не из доброты. Губы у него спекались, кожа обтягивала кости на щеках, любое движение, даже вдох и выдох, давалось с трудом. И ни в чём ни малейшего смысла! Он никогда не мог встать с постели, не открыв глаз. С закрытыми глазами он чувствовал себя как будто всё ещё спящим и совершенно беспомощным, настолько глубоко въелась привычка держать веки поднятыми.

Бывало, что он просыпался далеко за полдень. В таком случае распорядок дня менялся, и он довольствовался только поздним завтраком и ранним ужином. А иногда его, наоборот, охватывал такой безудержный голод, что он умудрялся уместить пять приёмов пищи в несколько часов, совсем не уменьшая порций.

Бессонные ночи стали его любимыми часами. Его привлекали не мягкая постель и не покой в простёртом теле. Теперь он никогда не лежал долго без движения. Когда он слышал, как дверь дворницкой со скрипом затворялась, он знал, что две женщины, делящие заботу о нём, спят глубоким сном.

Тогда ему становилось тесно под тяжёлой периной.

В холодное время года в его спальне всегда было жарко натоплено, как в комнате больного, и тепло манило его молодое, пресыщенное покоем тело встать с постели и двинуться – без вседневного присмотра – в мягкую тишину. Ему хотелось неизведанных движений.

Он прыжком соскочил с кровати, и босые ступни оказались на ковре. Между ковром и кроватью лежал ещё маленький коврик на голом полу, но он намеренно перепрыгнул его целиком. Пружинящей походкой он прокрался к столу и стал ходить вокруг него, то приседая, то с силой толкая себя вперёд, большими, полными силы шагами.

Он думал о девушках, о целом городе девушек, которые теперь лежат каждая в своей нежно благоухающей спальне и тоскуют. Одна обняла край пухового одеяла и спрятала в нём лицо, так что тёплая, мягкая ткань приникла к её губам, словно бархатная щека.

Другая пытается охладить пылающий лоб, прильнув им к стеклу поверх картины над кроватью. Её волосы рассыпались и угодили за картинную раму. Она всё сильнее прижимает лбом картину к стене, а рама больно тянет за корни волос. Но она этого почти не замечает. Она придвигается ближе и ближе, ища самое прохладное место на стекле, чтобы унять свой жар. Вот она стоит на коленях. Вот уже почти выпрямилась над постелью, задыхаясь и обнимая ногами сложенные горой подушки...

Он сел на письменный стол и стал тереть пальцами ног край гардины по правую сторону, там, где складки почти касаются пола. Он думал о счастливицах, веселящихся с опьянёнными любовью подругами, стократно разжигающих страсть в неостановимом вихре удовольствий и только за огромную цену готовых поступиться хоть одним из своих несметных желаний. Он в малейших подробностях представлял себе часы, полные смеха, прохладного вина, горячих поцелуев и весёлой игры попеременно то в погоню за сердцем, то в обладание им.

Иногда около его кровати внезапно раздавался скрип двери, и на пороге появлялась обеспокоенная мать. Он отгонял от себя видения и говорил ей, зевая: «Я встал выпить стакан воды, но вплоть до этого спал как убитый».



Бессильный луч предполуденного солнца упал на затылок Бертя; он вздрогнул всем телом, когда мать, прервав чтение, поспешно вскочила на ноги и бросилась заботливо опускать жалюзи, вслух коря себя за невнимательность.

Сегодня она читала ему новое произведение любимца литературного мира, и первые несколько страниц Берть охотно наслаждался чтением. Но вскоре его внимание стало рассеиваться. Мысль зацепилась за слово или образ и ушла в сторону. Ему не удавалось сосредоточиться достаточно, чтобы

направить мысль в одном направлении. Напрасно он пытался вернуться из заветной страны, куда его то и дело переносило воображение. Он прилагал столько усилий, чтобы снова разобраться во всех хитросплетениях чужой прозы, что следить за мыслью автора стало почти мучительно.

Мать читала: «Садик на задах её виллы вёл прямо к прохладным волнам, и только изредка гудок парохода нарушал неподвижную, глубокую летнюю тишину. В воздухе разливались аромат и пение птиц, мелькали крылья, жужжали пчёлы, зудели кузнечики. Эта нежная, мечтательная красота простиралась перед двумя очень белыми и бойкими ножками, которые сновали по траве между крытой верандой и прохладными волнами. Узко прочерченные, посыпанные галькой тропинки поскрипывали под быстрыми шагами...»

И Бертель слушал, как чрезвычайно ясный, весёлый голос, полный знаковой теплоты и сердечности, произносил недостижимые чужие речи, преображая обыкновеннейшие слова в безграничную мольбу о любви.

Он чувствовал, как на его плечо легла очаровательная рука; и вот он уже сидит на крытой веранде рядом со сказочной девушкой, и она тихо рассказывает ему о своей жизни.

Виллу и прилегающий участок земли ей подарила мать, прежде чем исчезла навсегда под руку с бароном Цукером в глубине Египта. Она сама, благо-разумная дочь, не обрадовалась этому и не удивилась, пусть мать, оставшись вдовой без средств, и зарабатывала до этого одними только уроками фортепьяно на жизнь себе и дочери. В начале каждого месяца ей приходила достойная сумма из универсального банка, а больше из всего огромного мира до неё не добиралось ни одного знака участия. Почтальон не знал её имени. Дорогу к её летнему домику можно было найти с большим трудом. Домик загораживала стена, почти скрытая деревьями и кустарниками и обрывавшаяся проходом к синей прохладной воде. Вид был, как картина, прекрасен, но живость красок свидетельствовала о его реальности, под стать густому лесу, который начинался сразу за виллой.

Она никогда не появлялась на людях, потому что боялась любопытных взглядов из-за исчезновения матери. И даже с пожилой служанкой, которая приносила ей всё необходимое, она говорила с неохотой.

Её дни были пусты, и она заполняла их, любясь растениями и животными в саду. Она говорила мудро и красноречиво о том, сколько радости и горечи ей приносили эти бесконечно длившиеся дни, далёкие от настоящей жизни. Она заключила свой рассказ так: «...и потому я достанусь тебе, бесцельный прохожий! Давай разделим одиночество на двоих!»

Последовали поцелуи, поцелуи без числа. Они горели на его губах. Он вытянул руки, по его лицу пробежала сладкая судорога, счастливые стоны сотрясли тело.

Фрау Иоанна как раз читала довольно пресный отрывок, и фраза на половине застряла у неё в горле. «Сынок, что с тобой?» – воскликнула она в страхе и изо всех сил бросилась опускать его руки, сама не зная, зачем. Её ужаснула

его неестественная поза, он словно был вне себя. Но большой силы и не потребовалось: окоченевшие руки сразу ожили, Бертель стремительно обнял её, так что у неё перехватило дыхание, и осыпал её поцелуями, смеясь и плача. Она слабо пыталась высвободиться из его объятий. Все мысли смешались у неё в голове, её разрывало на части мучительное смятение. Она не могла понять, что нужно сказать, что спросить? Она вглядывалась в милое, искажённое лицо, ища спасительного слова, жеста.

Наконец, его пальцы, больно сжимавшие ей руки, разжались, и она опустилась в кресло, с трудом переводя дух. Но облегчения она не чувствовала совсем; её наполняла туманная, болезненная тревога.

– Что с тобой вдруг случилось, Бертель?

Он вскочил на ноги, потёр виски и глубоко вздохнул, будто пробуждаясь.

– Со мной? Мне просто показалось...

Фрау Иоанна отвела ему руки от висков, тревожно вглядываясь в лицо.

– У тебя что-то болит? Не вздумай ничего скрывать!

– Ах, нет, нет! Просто мне померещилось, – он смущённо засмеялся, – что я нашёл невесту, необычную девушку! Я, как ребёнок, влюбился, поверил в мечту!

Фрау Иоанна вскочила с кресла, трепеща от страха, и неудержимые слёзы покатались по её лицу.

– Сынок! – Она погладила его по голове. – Тебе не нужно ни жениться, ни строить собственный дом. От этого одни заботы и огорчения. Радуйся, что ты от них свободен!

Она поцеловала его прямо в глаза.

– Я буду твоя невеста. Да?

Он прижался к ней щекой, отшутился от вопроса и не подал вида, что что-то утаил от неё.

Но одинокая девушка из садика у виллы не оставляла его больше ни ночью, ни днём.

Бархатный подлокотник кресла был её щекой. Он украл из маминой шкапулки надушенный лист бумаги для писем и обмахивался им: это её дыхание. Когда ветер дул в открытые окна, раздувая гардины, это шелестело её платье. Когда ночью в шкафу загадочно поскрипывало дерево, он слышал стук тонких каблучков на её сапожках и звук совлекаемой одежды. Он часами говорил с ней. Иногда у него даже двигались губы, но фрау Иоанна не обращала на это особенного внимания, потому что он и раньше иногда развлекал себя тем, что играл на губах или прищёлкивал языком, как маленькие дети. С невестой же он говорил очень откровенно и прямо. Он жаловался ей на печальное однообразие дней и на бессонные ночи. Он называл её ласковыми словами и нежно корил за то, что со дня их первой встречи она его ни разу не поцеловала. На эти упреки она не отвечала и становилась недовольной и односложной.

Иногда казалось, что её вообще нет. Тогда его охватывал страх, так что даже перехватывало дыхание! Не зная, что делать, он хватался за окружающие предметы, ошупывал кончиками пальцев всё, что попадало под руку...



Призма сомнений искажала мечту. Череда событий теряла связность, наступало оупение.

Ни движения в душе. Когда он переходил из своей комнаты в другую, когда что-то менялось в расположении вещей вокруг него, или когда он садился к столу и одно сменяло другое: скатерть, суп, уговоры мамы кушать плотнее, мясное блюдо, блюдо из овощей, десерт, когда каждый кусок, подцепленный вилкой, оказывался, как и положено, во рту, обладал тем вкусом, какого и следовало ожидать, и с каждым куском порция на тарелке убывала – можно ли было, тем не менее, видеть во всех этих действиях результат намерения их совершить?! Совершались ли они действительно потому, что были продуктом размышлений? Нет! Он много раз, сидя у себя за письменным столом, думал о том, чтобы написать невесте, но у него не было ни её адреса, ни даже имени. Кто оборвал связь между ними? Она просто пропала из виду. Уже из одного этого следовало, что с его взглядом на жизнь всё в порядке, в отличие от обманчивого, коварного порядка вещей.

Может быть, существуют духи, которые поставили себе задачу ежесекундно оживлять тот или иной кусочек его бытия, а на самом деле не существует ни живых существ, ни земли, ни воздуха, вообще никаких явлений? И только на том месте, где он в эту секунду находится, в поле его внимания, в пределах восприимчивости органов чувств разыгрывается коварный спектакль, обманчивая игра отражений. И эта игра создаёт полную иллюзию идущей своим чередом, не зависимой от него жизни и заставляет его думать, будто бы то, что вокруг — не более чем ничтожно малый отрезок вселенной.

Когда он переходил через улицу, все предметы, окружавшие его дома, исчезали, и существовали только камни, на которые ступала его нога, женщина, на руку которой он опирался и которую считал своей матерью, и от силы двое-трое людей, которые возникали на несколько секунд в пределах его слуха и проходили мимо только для того, чтобы придать правдоподобия призраку уличной жизни. Зачастую его отделяла от невесты какая-то злая сила. Неощутимое потустороннее вмешательство намеренно чинило препоны. Однажды он набрался смелости и, после долгих раздумий, решился задать ей невинный сокровенный вопрос, но в ответ услышал только равнодушные голоса прохожих, громкие разговоры, звон посуды, ключей, звук открываемого водопроводного крана и плеск воды, льющейся в чугунную кастрюлю.

В его сердце необъяснимо закралось сомнение, уж не была ли вся его радость пустой фантазией, плодом одиночества?

От гнева он вскочил с места. Где прячутся эти злонамеренные духи? Он обежал всю комнату, хватаясь за воздух. Может быть, ему удастся их поймать? Один пинок пришёлся по двери, она со стуком захлопнулась на замок. Звучки притихли. Он вздохнул с облегчением: одного он победил, даже, наверное, уничтожил. Гордясь победой, он стал изобретать планы обороны от духов на будущее.



В Безенау проходил небольшой музыкальный праздник, и под окнами Бертля маршировали под музыку самодеятельные оркестры. Внезапно у него вспыхнула мысль о том, что последние несколько часов он провёл не с ней и даже не в тоске по ней. Он упрекал себя, но вечером того же дня возлюбленная снова оказалась рядом. Он чувствовал тепло её ласковых рук на своих плечах. Он слышал шорох и шелест, как будто сминалось кружево её таинственных ночных одежд. Волосы щекотали кожу лба.

Дверь в изножье его кровати заскрипела, и босые ноги прошли по ковру. Он обернулся.

Несмелая рука опустилась на подушки рядом с его головой. У него вырвался глубокий вздох.

– Да что же это, – тихо сказала она, – ты спишь, Берть? Почему ты стоишь?

Она коснулась его щеки.

– Потому что ты играешь со мной в прятки и я никогда не знаю наверняка, со мной ли ты.

– Это тебе приснилось, Берть?

Она склонилась над его лицом.

– Ты спрашиваешь меня? Тебе ли не знать, есть ли ты на самом деле?

– Проснись, Берть! Тебя что-то мучит.

Она поцеловала его.

– Теперь-то ты от меня не скроешься! – воскликнул он с восторгом. Он схватил её за талию, прильнул к её губам, и поднял со смехом к себе на кровать.

Она отчаянно сопротивлялась, испуганная насмерть. С безграничным упованием он ощущал свою над ней силу. Он потянул её дальше от края кровати, она потеряла опору и очутилась в постели, уже рядом со стеной, а её рубашка разорвалась сверху донизу. Её сковало бессилие, руки разжались, тело ослабло. Поцелуи впивались в неё, болезненно жала, как будто она потревожила пчелиный улей. Вдруг раздался стук в дверь, резкий и бесцеремонный.

Фрау Иоанна проснулась и рывком села на постели. Что? Где она? Сквозь жалюзи, как сквозь решётку, в комнату пробиваются рассветные лучи.

Берть спит рядом с румянцем на щеках. Волосы спадают ему на лоб, пальцы крепко сжимают край одеяла. Но что за стук? Наверное, Рези неосторожно стукнула башмаками, ставя их под дверью.

Но вдруг у неё падает сердце. Холодная дрожь бежит по коже, тошнота подкапывает к горлу. Она срывает с себя одеяло, перепрыгивает легко, как ребёнок, через спящего, пугается звука собственных шагов, но проскальзывает почти бесшумно к себе в комнату. Оцепенение, сковавшее её ум страхом, от которого она пустилась в бегство, покидает её, и на место страха приходит – воспоминание. Перед глазами встают невероятные, безумные картины. Она сворачивается калачиком на кровати. Брр, как холодно! Постель совсем остыла.

– Вспомнит ли он, что произошло, когда проснётся?

Её сотрясают рыдания. Она зарывается головой в подушки и впивается в них зубами. Она так крепко прижимается лицом к подушке, что слёзы, не находя прямого пути, бегут ручейками по вискам и затекают в ушные раковины.

Ведь бывают же землетрясения, ураганы, наводнения или ещё какие-то искупительные бедствия! Что-нибудь должно случиться и предотвратить наступление дня. Или нужно самой выйти навстречу случаю, навлечь на себя беду? То, что она не почувствовала страха от этой мысли, заставляет её осознать тяжесть случившегося.

Она испытывает безмерное отвращение к себе. Только одно-единственное прикосновение милосердного тепла ещё смогло пробиться сквозь глухое отчаяние: бесконечная печаль о своей несчастной судьбе.



Её разбудил резкий звон колокольчика. Она открыла глаза в испуге. Сколько времени? Рези пробежала мимо её комнаты в прихожую, отворила дверь. Кто позвонил? Она расслышала мужской голос: почтальон.

От кого могло бы прийти письмо? Может быть, просто объявление о свадьбе или смерти, разосланное всей округе? Во всём мире нет ни одного человека, который мог бы поинтересоваться её жизнью. В любом случае, нужно собраться с мыслями, хотя бы убрать волосы с лица, привести себя в порядок.

Но девушка не постучала: значит, письмо пришло ей самой, или она решила не будить хозяйку. Она, наверное, будет удивляться, почему та так долго спит, хоть обычно встаёт рано.

Интересно, а без присмотра служанка справляется с делами так же бойко и прилежно?

Фрау Иоанна подняла голову, прислушиваясь. Нет, не слышно ни звука. Наверняка она стоит у лампы и читает письмо. И как раз сегодня столько дел! Нет, так нельзя.

Фрау Иоанна встала, поспешно оделась. Не прошло и минуты, как она уже стояла перед служанкой в кухне.

Пришлось переделать столько дел, что фрау Иоанна вспомнила о завтраке, только когда Рези пришла доложить, что молодой хозяин уже оделся.

Она велела подавать завтрак на двоих.

Но когда она вошла и увидела, как он сидит, загадочно улыбаясь, наклонившись вперёд, отодвинув от себя чашку, но держа вторую чашку с кофе в вытянутых над столом руках, будто приз, всё вчерашнее снова прошло перед её глазами вереницей воспоминаний. Большого мужества стоило ей дойти до кресла и опуститься в него, не упав.

– Что ты делаешь, Бертель? – спросила она с беспокойством и медленно протянула руку к своей чашке, которую он, смеясь, потянул назад к себе.

– Нет, нет, ты не получишь кофе, пока не расскажешь, почему ты сегодня встала в такую раннюю рань, почему убежала?

Она с дрожью вглядывалась в его лицо.

– Но ты же знаешь, что сегодня суббота, у меня было столько дел...

Он довольно усмехнулся, отпустил чашку и нежно погладил её по руке, неподвижно лежавшей на скатерти.

– Какая прилежная и старательная новоиспечённая хозяйюшка!

С неотвратимой, жестокой ясностью она начинала понимать: бедный мальчик! Она механически помешивала ложечкой кофе. Несчастный, милый, добрый мальчик! Как это могло с ним случиться? Ведь он жил без забот и без хлопот, его жизнь текла по привычному руслу!

– Странно! – внезапно прервал он молчание. – Я всё хорошо помню, но нашей свадьбы не помню совсем. Разве это не удивительно? Либо я был настолько рассеян, либо настолько взволнован. Ни малейшего воспоминания. Не могу сказать даже, каков был голос у венчавшего нас священника, низок ли, высок ли, или даже утром ли было венчание или после полудня... Странно!

– Не может быть, не может быть! – Она была вне себя от отчаяния. – Я ничего не знаю ни о каком венчании! Венчания не было! Тебе, наверное, всё приснилось, а по утрам часто бывает так, что вспомнить сон целиком не удаётся.

– Приснилось? – Он медленно и задумчиво покачал головой, как будто припоминая.

– Всё пройдёт, ты забудешь этот сон, пустяки.

– Приснилось?! Нет! Нет!

Она дрожала, всё ещё не теряя робкой надежды.

– И я не хочу! – крикнул он внезапно, вскочил и обнял её, беспомощную, с непомерной силой.

– Берть! – воскликнула она в ужасе.

– Ладно, ладно! – Он отпустил её, смеясь. – С такой изнеженной дамой нельзя без осторожности.

Она убежала. Когда она увидела, что кухня пуста, она вышла за дверь и ждала на ступеньках, пока Рези вернётся с рынка. Она не могла решиться вернуться домой одна. Это был самый страшный час, потому что причина несчастья стала ей ясна, как и вся цепь следствий, ведущих назад к причине.

– Это моя вина. Как я могла забыть, что такое молодость?

И она целыми днями не появлялась ему на глаза. Но если по ночам её охватывал ужас, она гнала его прочь.

Она никогда не запирала дверь. И когда он приходил и, дрожа от счастья, не мог оторваться от её губ, её судьба уже не казалась ей такой тяжкой.

Иногда она чувствовала почти бессознательную гордость за собственное мужество.

Плохо было то, что никто ничего не замечал. Рези считала душевную болезнь, о которой фрау Иоанна не хотела с ней говорить, постыдной и поэтому пресекала любые расспросы.



Однажды утром Рези заболела и осталась лежать в постели. Чтобы не сидеть весь день впроголодь, фрау Иоанна сама отправилась на рынок за провизией.

Идти знакомой дорогой было странно и утомительно. Она шла медленно и неуверенно, боясь, что прохожие могут заметить, как долго она не выходила из дома. Слабость в теле и тяжесть в голове заставили её осознать, как мало и плохо она спала в последнее время.

Улицы казались чужими. У неё кружилась голова, когда она поднимала взгляд и замечала, с какой непостижимой лёгкостью люди шагали по скользким камням. Собака прошмыгнула между ног у одного господина, а ребёнок упал, потому что стал убежать от собаки. Беспорядок во всём, невнимательность прохожих, безрассудность — становилось даже страшно.

– Фрау Эрфлин... фрау доктор! Как давно я вас не видела! Как ваши дела? Чем вы занимаетесь? Вы так бледны, ни тени загара, вы, должно быть, совсем не выходите из дома!

Это была госпожа уездный врач, и, хоть она и сыпала словами, на ресницах у неё висели крупные слёзы, так сильно тронул её жалкий вид фрау Иоанны.

Она ответила, но довольно скупно.

– Но это так безответственно с вашей стороны! Я вас не понимаю. Вам нужно позаботиться о себе! Человеку нужна забота!

Фрау Иоанна продолжала неподвижно смотреть прямо перед собой.

– Что с вами?

– Нет-нет, со мной всё в порядке, — наконец тихо произнесла она.

– Оставьте шутки! — вскинулась дама. — Вы думаете о чём угодно, только не о себе, а это большая ошибка. Я уверена, что с вами ничего страшного не случилось, но если не обращать на себя внимания, может ведь, Боже упаси, стать хуже. Скажу вам честно: в первый момент я даже испугалась, когда увидела, как вы переменялись.

– Дело только в том, что я стала немного старше с тех пор, как мы с вами познакомились. Никуда не денешься! — На этом она поспешно попрощалась.

Но слова госпожи уездного врача, а особенно её удивлённые, вопросительные взгляды ещё долго её преследовали. Теперь она и сама замечала, что люди рассматривают её, а некоторые даже останавливаются и провожают взглядом.

Несколько женщин стояли на углу и громко вздорили.

– Но она же вдова! Я знаю её лучше, чем собственные подмётки! — прокричала одна и со страхом отпрянула, когда фрау Иоанна прошла мимо и смерила её взглядом.

Она с трудом дошла до дома, погрузившись в беспокойные подчёты и размышления. Она ужаснулась: память отказывалась служить ей. Дома, у зеркала, она опустилась на пол без сил...

К счастью, Рези вскоре поправилась, и фрау Иоанна смогла послать её в город за покупками, каких не успела сделать сама.

– А на обратном пути зайдите к доктору Кесселю и попросите его навестить меня, мне что-то нехорошо.

Она ушла в свою спальню, осыпаемая служанкой многословными пожеланиями здоровья, а потом пошла к Бертлю.

Он занимался тем, что разрезал большой лист бумаги на двадцать четыре одинаковых части. Он хотел отмерить по шестьдесят минут на каждом листке, чтобы удостовериться, что все часы дня действительно имеют одинаковую длину, потому что у него было стойкое чувство, что ночные часы — самые длинные, а утренние и вечерние — самые короткие, и только часы около полудня имеют нормальную длину.

Она горестно выслушивала его объяснения и одновременно писала длинное письмо доктору Кесселю.

Тихо, чтобы не подать вида, что её внимание не целиком обращено к Бертлю, она проскользнула к окну. В последние секунды она не могла свести с него глаз. Она словно бы ждала приказа, подсознательно она чувствовала, что собирается пожертвовать собой ради него.

Прикрепляя к оконной раме ремень, который Рези использовала, когда мыла окна, и осторожно делая последние приготовления, она держала в голове единственную мысль, единственный горячечный вопрос: всё ли она записала в письме? ничего не забыла? всё важное упомянула?

Ничего не приходило в голову. Она вернулась к столу и ещё раз перечитала письмо.

Она с болью думала о том, что не может поцеловать его в последний раз. Он бы почувствовал в её прощальном поцелуе что-то совсем другое!

– Кроме того, должно существовать отличие между часами воскресенья и обычного дня, четверга, например...

Не порежется ли он случайно перочинным ножом? Да нет, нож тупой, и он давно знает, как с ним обращаться.

Она поправила книги на полках, чтобы не упали, и отодвинула стулья, чтобы не загоразживали проход.

«Или уйти в другую комнату?»

Она взглянула на часы, испугалась, что поздно, скользнула к окну. Быстрые пальцы не дрогнули, она помедлила секунду, потом закрыла глаза и оттолкнула ногой кресло.

## АЛИСТЕР КРОУЛИ

### АБСЕНТ: ЗЕЛЕНАЯ ФЕЯ

I

Всегда оставляйте для меня этот темный уголок, чтобы я мог посидеть здесь, коротая зеленые часы и следя за горделивой поступью Времени. Ибо я уже покинул проклятый город, где Время скачет верхом на белом мерине Смерти, подгоняя его ржавыми от крови шпорами.

Время проглядело одно местечко в Соединенных Штатах – в Новом Орлеане, между Кэнел-стрит и Эспланейд-авеню, возле устья Миссисипи. Река устремляется на север, к весьма занятой пустыне, где расположено чудесное кладбище, превосходящее самую буйную фантазию. За низкими белеными стенами беспорядочно разбросаны запущенные, причудливые могилы, а совсем рядом раскинулся великий город борделей, веселый циничный сосед. Как писал Фелисьен Ропс (или, быть может, Эдмон Арокур?): «*La Prostitution et la Mort sont frère et sœur – les fils de Dieu!*»<sup>1</sup> Так или иначе, прав был автор «Легенды полов», уравнивший мать с могилой и поддержанный в этом психоаналитиками. Словом, *quartier macabre*<sup>2</sup> за северной крепостной стеной, омываемой Миссисипи, служит началом и концом всего. В этом промежутке протекает река нашей жизни, оплодотворяющая землю порою мутными и малярийными водами, чтобы в конце пути впасть в теплое лоно Гольфстрима, который можно аллегорически назвать рекой Жизни Божьей.

Но мы стремимся проникнуть в суть вещей и, если желаем сосредоточиться на духовном, должны заглянуть по ту сторону грубых природных явлений. Основа жизни – искусство, а «Дом абсента» – душа и сердце старого новоорлеанского квартала.

Завсегдатаями этого заведения были незаурядные люди – настоящие пираты, как, например, капитан Лафит, который не только обкрадывал соседей, но и защищал их от набегов. Здесь же до самой смерти сиживал Генри Клей, чье имя получила сигара. За стенами этого дома никто о нем больше не помнит, но здесь грозно расхаживает его подлинный и, полагаю, негодующий призрак.

Здесь же капли воды выдолбили мраморные бассейны и освятили их в новом крещении абсентом.

Я потягиваю лишь вторую рюмку «самого пленительного и коварного яда, разрушающего сердце и мозг человека», который когда-либо пробовал в своей жизни. Я не какой-нибудь там американец, жаждущий быстрого действия, а пото-

1 «Проституция и смерть – родные сестры, дочери Божьи!» (фр.).

2 Мрачный квартал (фр.).

му не удивляюсь и не расстраиваюсь оттого, что не падаю на месте замертво. Я способен проникать в души людей и без помощи абсента, но абсент обладает волшебными свойствами! Он пропитался духом заведения – это эликсир, шедевр средневекового алхимика, а вовсе не обычный алкоголь.

Беседуя с хозяином о тшете бытия, я постигаю тайну сердца Божьего, состоящую в том, что любые, даже самые уродливые явления несказанно прекрасны и достойны вечной божественной любви.

Как еще Господь мог бы оправдаться перед человеком за то, что сотворил его? В сущности, это и есть мой ответ царю Соломону.

## II

Преграда между божественным и человеческим тонка, однако незыблема: художника отделяет от буржуа лишь угол зрения – «ложь помещается на волосок от правды».

Я рассматриваю молочный отлив абсента, и это наводит на мысль об одной весьма любопытной загадке, неизменно встречающейся в мифологии. Можно назвать ее загадкой радуги.

Первоначально, в причудливой, но знаменательной древнееврейской мифологии радуга считалась символом спасения. Мир был очищен водой и подготовлен к открытию Вина. Господь больше никогда не уничтожит свое творение, но доведет его до совершенства путем крещения огнем.

Можно также провести аналогию с разноцветным плащом Иосифа – этот миф считался столь важным, что впоследствии был заимствован для романтической истории Иисуса. Завеса Храма тоже была разноцветной. *Манипура-чакра*, или «Лотос Драгоценного Города», считается важным центром в индуистской анатомии, очевидно, тождественным солнечному сплетению, и центральной точкой нервной системы человека, отделяющей сакральное от профанного, низшее от высшего.

В западном мистицизме промежуточная степень посвящения именуется *Hodos Camelionis*, «Путь Хамелеона». Это явный намек на ту же загадку. Также известно, что в алхимии жидкость на промежуточном этапе становится переливчатой.

Наконец, среди видений святых встречается одно под названием «вселенский павлин», при котором все сущее предстает в этом царском наряде.

Здесь можно было бы привести сотни цитат, размахивающих прекрасными стягами, стоящих на котурнах в ослепительно лучащихся кольчугах, ярких и блестящих в свете полуденного солнца, что вечно пребывает в зените!

Но я и так уже написал слишком много, чтобы прояснить всего лишь одно скромное сравнение: возможно, переливчатость абсента каким-то оккультным образом связана с тайной радуги. Ведь не вызывает сомнения, что кто-то незаметно и неуловимо вводит пьющего в тайный чертог Красоты, зажигает его



мысли восторгом, наделяет художественным зрением (хотя бы в той мере, на которую мы способны от рождения), шьет для его воображения нарядное платье из материи столь же разноцветной, как и разум Афродиты.

О, Красота! Как давно я люблю тебя, как давно гонюсь за тобою – ускользающей, неосязаемой! Но диво: ты обнимаешь меня денно и ночью благодатной, роскошной, мерцающей тишиной.

### III

Сторонники сухого закона, вероятно, относятся к типу морально неустойчивых людей: они не способны даже вообразить, что человек в силах устоять перед соблазном. Более того, они, словно дикари, одержимы страхом неизвестности и считают алкоголь неизбежно притягательным и властным фетишем.

Незнание природы человека усугубляется полнейшим незнанием природы божественной. Сторонники сухого закона не понимают, что у вселенной может быть лишь одна цель и что, после того как житейские дела благополучно улажены, потребности удовлетворены и с помощью предметов роскоши создан необходимый уют, остаток человеческой энергии нуждается в выходе. Излишек воли возносит человека к Богу посредством религии, любви, искусства. Эта троица неразрывно связана с вином, так как все это – различные виды опьянения.

Вполне логично, что против каждого из них восстает сторонник сухого закона. Правда, обычно он делает вид, будто признает религию подлинной основой человеческого существования. Но что это за религия! Она лишена малейших признаков экстаза и даже поклонения: в руках трезвенника религия становится холодной, фанатичной, жестокой и глупой – безжалостным формальным учением, чуждым сострадания и человечности. Он полностью отвергает искусство и любовь: любовь сводится к механическому (даже не физиологическому!) акту, необходимому для продолжения рода. Но зачем его продолжать? Искусство паразитирует на любви и играет для него роль сводни. Трезвенник не отличает Аполлона Бельведерского от грубого бесстыдства на некоторых помпейских фресках, не отличает Рабле от Элинора Глин.

Каков же для него идеал человеческой жизни? Трудно сказать. Столь заскоружное существо не может иметь подлинных идеалов. Существовали еще философы-аскеты, но их учение оскорбило бы трезвенника ничуть не меньше, чем наше, ведь эти учения не столь противоположны, как кажется на первый взгляд. Трезвую картину мира довершают рабская зависимость от жалованья и неизбывная скука.

Некоторые биологические виды выживают благодаря внушаемому ими отращению: мы брезгуем наступать на них каблуком, сколь бы высок тот ни был. Но раз уж их признают крайне опасными для человечества (тем более что они пародируют его), следует все же собраться с мужеством или, точнее, перебороть тошноту. Да ниспошлет нам Господь святого Георгия!

## IV

Общеизвестно, что гению сопутствует порок. Почти всегда он принимает форму сексуальных причуд. Отметим, что бессилие, например, в случае Карлейля и Раскина, следует расценивать как причуду. По крайней мере, ко всем случаям применим термин «патология». Также у большинства великих людей наблюдается пристрастие к выпивке или наркотикам. Известны целые исторические периоды, когда почти все великие люди несли на себе подобное клеймо – именно в эти эпохи угасал героический дух нации, а буржуазия открыто торжествовала.

Данные случаи говорят о явном отвращении к жизни, возникающем у художника при наблюдении за окружающей действительностью. Ему необходимо отыскать иной мир, и не важно, какой ценой.

Вспомним конец восемнадцатого столетия. Во Франции появление гениальных людей, если можно так выразиться, обусловлено Революцией. В Англии, при Каслри, Блейк прячется от человечества в мистицизме, Шелли и Байрон становятся изгнанниками, Кольридж находит утешение в опии, Китс сгибается под гнетом обстоятельств, Вордсворт вынужден продать душу дьяволу, который тем временем безраздельно властвует в лице Саути и Мура.

Аналогичный поэтический период наблюдался во Франции с 1850-го по 1870 год. Гого отправился в изгнание, а все его собратья пристрастились к абсенту, гашишу либо опию.

Однако есть еще одно соображение поважнее. Некоторые люди, постигшие смысл Града Божьего, не обладают ключами или, обладая ими, не в силах повернуть их в замке. Такие люди нередко стремятся попасть в рай, используя подложные верительные грамоты. Так томящегося без любви юношу слишком часто обманывают мысленные образы, и он обнимает Лидию, воображая, будто обнимает Лалагу.

Но величайшие люди не страдают от ограничений первого или от иллюзий второго рода. При этом они также предаются мнимым излишествам. Ломброзо по своей глупости пытался отыскать причину этого в безумии, так, словно умопомешательство позволяет овладеть высотами прогресса, тогда как рассудок отступает перед бергшрудом. Все объясняется совершенно иначе. Представьте себе психическое состояние того, кто получает по наследству или обретает собственными силами исчерпывающее самосознание художника, иными словами, божественное самосознание.

Он ощущает невыразимое одиночество и вынужден закалить себя, дабы суметь его вынести. Все равные ему давным-давно мертвы! И даже если он найдет себе ровню, между ними едва ли будет возможна дружба – разве что холодная учтивость двух королей. У гениев не бывает родственных душ.

Что ж, он может смириться с презрением всего мира, но с болью ощущает свой долг по отношению к нему. Поэтому для гения так важно быть человеком.

Однако божественное самосознание развивается постепенно. Долгие годы молодая душа озабочена новизной объективного мира. Лишь когда мастер разрушает собственной магией любые иллюзии, он обретает способность пребывать в мире высшей Реальности. Одновременно возникает страшное искушение – желание вступить в этот мир и наслаждаться им, вместо того чтобы оставаться среди людей и терпеть их заблуждения. Но поскольку единственная цель воплощения для подобного мастера – это помощь человечеству, он должен быть готов к наивысшему самоотречению. В исламе известен грозный мост Аль-Сирак: сто́ит сделать неверный шаг, и острый край перережет ступню, но путник должен решительно идти вперед, иначе он свалится в пропасть. Я не могу сидеть в «Доме абсента» вечно, погрузившись в неизреченное видение райского блаженства. Мне следует дописать этот очерк, чтобы люди смогли наконец прийти к постижению истины. Но деятельности творящего божества самой по себе недостаточно. Искусство слишком тесно связано с реальностью, от которой необходимо временно отречься.

Поэтому работа гения также является частью его искушения: он беспрестанно воспаряет в небеса, его неумолимо притягивает к себе вечность. Мастер напоминает корабль, отнесенный бурей от гавани, где надлежит взять на борт пассажиров, направляющихся к Островам блаженных. Поэтому он вынужден бросать якоря, но единственной точкой опоры служит тряси́на! Дабы не потерять рассудок, художнику приходится завязывать дружбу с грубейшими представителями человечества. Точь-в-точь как лорд Дансейни и Огастес Джон в наши дни или Тенирс в старину, он любит сидеть в тавернах с матросами, бродяжничать вместе с цыганами или вступать в интимную связь со всяческим отребьем. Эдвард Фицджеральд встречался с неграмотным рыбаком, проводя с ним целые недели. Верлен дружил с Рембо и Биби Ла-Пюре. Шекспир общался с графом Пембруком и графом Саутгемптоном. А Марлоу даже погиб во время пьяной драки в презренной таверне. Что же касается сексуальных отношений, трудно назвать хотя бы одного гения, чья жена или любовница обладала маломальски сносным характером. В противном случае он бы наверняка изменял ей с какой-нибудь мегерой или вампом. Ведь добрая женщина слишком тесно связана с той райской реальностью, от которой он клятвенно отрекся!

Наверное, поэтому меня так заинтриговала женщина, которая пришла и села за соседний столик. Давайте же представим себе историю ее жизни, попробуем взглянуть на мир ее глазами!

## V

Ей не больше тридцати, но выглядит она старше. Она приходит сюда регулярно – раз в неделю или в месяц, но уж если приходит, то напивается в стельку, чередуя пиво с джином: лучшие английские специалисты признают эту смесь наиболее эффективной.

Ее история проста и незатейлива. Несколько лет ее содержал в роскоши богатый маклер, торговавший хлопком. Она переехала с ним в Европу и жила в Лондоне и Париже, точно королева. Но затем ей вдруг пришло в голову, что пора задуматься о «респектабельной» и «благопристойной» жизни: словом, она вышла замуж за человека, который мог обеспечить ее лишь обычными удобствами. Результатом стали раскаяние и периодическая потребность забыться. Она по-прежнему «респектабельная женщина», которая неустанно твердит, что она, мол, не из «этих девиц», а «мужняя жена с дальней окраины» и «сроду не путалась с мужчинами».

Виноват в этом не брак, а сами люди, неспособные признать его назначение. Вследствие странного парадокса он стал триумфом буржуазности. Вступить в брак, как его понимает церковь, под силу только герою, ведь брачный обет – это грозный торжественный договор, союз, заключенный двумя душами против всего мира и судьбы, а также мольба о благословении Всевышнего. Фроман ошибался, называя смерть самым чудесным приключением: ведь смерть неизбежна, а вступление в брак – добровольный подвиг. Если в наши дни браки заключаются по расчету, это лишь свидетельствует о победе торгашеского духа. Мы словно даем рыцарский обет и клянемся сражаться с драконами, хотя никаких драконов нет и в помине.

Эта несчастная женщина так и не поняла, что респектабельность – обман и что брак освящается любовью, а вовсе не церковью или государством. Уравняв супружескую жизнь с богадельней, а не с крестовым походом, она потеряла крах и теперь ищет утешения в алкоголе, оставаясь в плену все той же роковой ошибки.

Вино вызывает сдержанную радость, которая сопутствует доблести и вознаграждает за труды, словно султан на копье или развевающийся флаг, но ведь на них невозможно опереться. Потому глаза женщины стекленеют от ужаса, когда она размышляет о своей непостижимой участи. Она сталкивается с тем, чего всячески пыталась избежать, и не понимает, что, сто́ит взглянуть этим призракам в лицо, как они тотчас в страхе разбегутся. Ибо единственная реальность во вселенной – Бог.

«Дом абсента» – вовсе не заведение, ограниченное четырьмя стенами, а средоточие множества философских учений. Я мысленно вылетаю из этого темного уголка, дабы удовлетворить насущные потребности человечества, но всегда возвращаюсь библейской голубкой в Ноев ковчег – в это странное маленькое святилище Зеленой феи, воздвигнутое не на вершине Арарата, а на берегу «Матери вод».

## VI

Ах, Зеленая фея! Какие чары делают ее столь восхитительной и столь грозной? Вы знаете французский сонет «*La légende de l'absinthe*»? Наверное, его автор обожал абсент. Судите сами:

*Apollon, qui pleurait le trépas d'Hyacinthe,  
Ne voulait pas céder la victoire à la mort.  
Il fallait que son âme, adepte de l'essor,  
Trouvât pour la beauté une alchimie plus sainte.*

*Donc, de sa main céleste il épuise, il éreinte  
Les dons les plus subtils de la divine Flore.  
Leurs corps brisés soupirent une exhalaison d'or  
Dont il nous recueillait la goutte de – l'Absinthe!*

*Aux cavernes blotties, aux palais pétillants,  
Par un, par deux, buvez ce breuvage d'aimant!  
Car c'est un sortilège, un propos de dictame,*

*Ce vin d'opale pale avortit la misère,  
Ouvre de la beauté l'intime sanctuaire  
– Encorcelle mon cœur, extasie mon âme!<sup>1</sup>*

1 Погибший Гиацинт оплакан Аполлоном,  
Но смерть не победит – душа возбуждена,  
Священной красоте по-прежнему верна,  
Иной алхимии ища по горным склонам.  
Вот иссушает бог, в жару неугомонном,  
У Флоры взятый дар, листву и семена,  
И золотится пар над грудой волокна,  
По каплям осадясь абсентовым возгоном!  
И гольфьба пещер, и хоровод харизм –  
Вкушайте этого напитка магнетизм!  
В нём будто бы диктамн и заклинанья разом,  
Опаловый бокал изводит скорбь с опалой,  
В святилище красы путь метит небывалый,  
Чарует сердце мне, и душу жжёт экстазом!

Стихотворение аллегорически представляет традиционный способ производства абсента (дистилляцио спиртовой настойки) как алхимическую возгонку.

Душа возбуждена – автор использует термин, характеризующий гексаграмму 51 И-цзин, «гром» (возможно, случайно).

Диктамн (диктамнон, диктамнус) – критская душица, *Oregano dictamnus*, которой в эзотерической традиции приписывается свойство развивать провидческий экстаз. В мифологии диктамн – средство для излечения ран и выведения из тела стрел, в традиционной медицине – успокаивающее средство и часть снадобья, провоцирующего искусственный выкидыш. В русских переводах часто путается с ясенцом (*Dictamnus albus*). Критская душица используется в некоторых рецептах при производстве абсента.

Опаловый бокал – при разбавлении абсента водой (традиционный способ употребления), он приобретает мутноватый опаловый оттенок. Кроме того, в эзотерической традиции опал – камень, усиливающий магические свойства. (Перевод и комментарий Я. Старцева)

Почему абсент окружен особым культом? Последствия злоупотребления им в корне отличаются от последствий злоупотребления другими стимуляторами. Даже пагубное влияние и деградация, к которым он приводит, стоят особняком: жертвы овеваны мрачным ореолом и, пребывая в своем оригинальном аду, с некой жутко извращенной гордостью радуются тому, что они не такие, как все.

Но не следует судить о чем-либо по плачевным результатам злоупотребления этим явлением. Ведь мы же не проклинаям моря за изредка случающиеся кораблекрушения и не запрещаем лесорубам пользоваться топорами из сочувствия к Карлу I или Людовику XVI. Пусть даже с абсентом связаны особые пороки и опасности, этот напиток обладает также достоинствами и добродетелями.

Слово «абсент» происходит от греческого *apsinthion* – «непригодный для питья» или, по мнению других авторов, «неприятный». Какой странный парадокс и в том, и в другом случае! Впрочем, нет: сама по себе полынная настойка нестерпимо горька, ее необходимо ароматизировать и смягчать другими травами.

Главная из них – благодатная мята, которую великий Парацельс ценил столь высоко, что включил в состав своего *Ens Melissa Vitae* – предполагаемого эликсира жизни и панацеи, но так и не довел работу до конца.

Сюда же относятся мята, анис, фенхель и иссоп – священные травы, хорошо всем знакомые по сокровищнице Ветхого Завета. Сюда входит даже майоран, делающий мужчину целомудренным и одновременно страстным. В загадочное зелье добавляют настой из зеленых стеблей ангелики, ведь, подобно самой *Artemisia Absinthium*, это растение посвящено Диане и наделяет чистотой и ясным сознанием, хоть и с примесью лунного безумия; ну и, самое главное, туда добавляют критскую душицу, один цветок которой, по утверждениям восточных мудрецов, обладает таким могуществом в высшей магии, что превосходит плоды всего мира. Видимо, изобретатель абсента и впрямь был магом, приготовившим смесь из священных трав, которая должна очищать, укреплять и овевать благоуханием душу человеческую.

Подобных результатов, без сомнения, легко достичь при надлежащем употреблении напитка. Всего от одной рюмки становится свободнее дыхание, поднимается настроение, пылко бьется сердце, а разум и душа готовы выполнить ту великую задачу, ради которой каждый из нас послан в этот мир Богом-Отцом. В присутствии абсента даже пища утрачивает свои грубые свойства и уподобляется манне небесной, так что таинство питания не влечет за собой никаких телесных расстройств.

Пусть же паломник почтительно войдет в храм и выпьет на посошок абсента, ибо в основе философского совершенства лежит верное представление о жизни как рыцарском испытании. «Что бы ты ни делал – вкушал ли яства или утолял жажду, делай это во славу Господа!» Эти слова приобретают особую

убедительность для любителя абсента. Да выйдет он победителем из жизненной битвы, и пусть архангел в зеленом одеянии встретит его ласковыми лобзаниями и увенчает мистической вербеной в Изумрудных вратах Золотого Града Божьего!

## VII

Но вот кафе начинает заполняться. Это небольшое помещение с темно-зелеными деревянными украшениями, дощатым потолком, посыпанным песком полом и старинными картинами полностью соответствует духу времени и уже начинает оказывать магическое воздействие. Вот входит забавная приземистая девочка с длинной белокурой косой и в сопровождении общительного старичка, словно сошедшего с балзаковских страниц.

Статный и миниатюрный официант Фрэнк со свирепыми усищами, заслоняющими почти всю его фигуру, похожий на заправского бойцового петушка в длинном белом фартуке, важно подносит им рюмки ледяного удовольствия – зеленого, точно глетчер. Вскоре Фрэнк молодецки шагает к музыкантам и поет для нас веселую старинную каталанскую песню.

Снова распаивается дверь. Входит высокая, изящная, змееподобная девушка с копной черных волос, завязанных узлом на голове. На руке у нее висит пухлая женщина с голодным взглядом и рыжей тициановской гривой. Они выглядят отрешенными, увлеченными каким-то важным вопросом и задумчиво пьют аперитив. Я спрашиваю мальчика-мулата, прислуживающего за моим столиком (какая холеная и гибкая черная пантера!), кто эти женщины, но ему известно лишь то, что одна из них – танцовщица кабаре, а другая – владелица хлопковой плантации, расположенной вверх по реке. За круглым столом в центре зала восседает один из хозяев с компанией друзей: он дядялый, румяный и общительный – вылитый шекспировский трактирщик. Вот входит дюжина веселых парней и девушек. Старый музыкант садится за пианино, и в следующий миг все кафе уже кружится в мелодичном танце. Впрочем, каждый посетитель очерчен невидимой линией: музыка не выводит из задумчивости двух странных женщин и не нарушает моей собственной отчужденности.

Вот «смешливая, бесстыжая шалунья» – вся в черном, за вычетом прямого белого воротника. Она светится, словно солнышко, широкой и свободной улыбкой, смотрит чистым, непорочным, горящим взором. Разбитная крупная белокурая ирландка в черном бархатном берете, пальто и белых ботинках болтает с двумя парнями в хаки, приехавшими из-за границы. А вот и креолка – белоснежная с головы до ног, с соблазнительным личиком, носиком-кнопкой, забавным темным румянцем и дерзко улыбающимся маленьким красным ртом. Эти яркие островки омываются общим потоком местного житейского уклада. Добропорядочные матери семейств с серьезным видом обсуждают дела, и одному Богу известно, что же всецело владеет их вниманием – любов-

ная страсть или цена на сахар. В кафе можно встретить очень мало заурядных, неинтересных посетителей, и все они без исключения мужчины. Исполинский Большой бизнес – суровый деспот! Он порабощает всех мужчин подряд, а женщинам приходится всячески изворачиваться, ведь иначе не выжить. Конфеты и розы «американская красавица» не спасут в тяжелой ситуации. В общем, даже в этом благословенном месте недостает того типа мужчин, в которых так нуждаются женщины.

За соседним столиком сидит древний старик. Говорят, в свое время он творил великие дела, был инженером и впервые открыл возможность бурения артезианских скважин в сахарской пустыне. На его поношенном сюртуке краснеет орден Почетного легиона. Это одна из многих жертв строительства Панамского канала, обломок кораблекрушения, выброшенный на берег приливной волной коррупции и спекуляций. Он человек старой закалки, из бережливого крестьянства: рента приносит ему небольшой доход. Он говорит, что староват для трансатлантических переездов, да и какой в этом смысл, если в двух шагах от его квартирки на Бурбон-стрит можно ощутить атмосферу старой Франции? В этом новоорлеанском квартале встречаются странные дома: снаружи они выглядят убого, но, войдя внутрь, неожиданно попадаешь в просторные комнаты, ведущие к резным деревянным балконам. Так и этот старик в «Доме абсента» тоскует по дням былой славы. Его порыжевший черный сюртук с вытертой красной розеткой исполнен благородства.

Черный цвет, кстати, широко распространен среди женщин: неужели в этом проявляется врожденный вкус? По крайней мере, он повышает общий уровень привлекательности. Большинство американок, даже если они недурны собой, портят собственную внешность безвкусными нарядами. Но здесь нет ничего экстравагантного и вульгарного – никаких псевдопарижских платьев и ложнолондонских шляпок. И ни одного убора, который мог бы вызвать возражения у квакера. Здесь нет места заурядности или нескромности нью-йоркской женщины, одевающейся донельзя аляповато, считая верхом совершенства образ вечной хористки – идеал, которого она неизменно достигает, хотя, видит Бог, лишь немногих представительниц «высшего общества» можно было бы усадить в первых рядах партера.

По другую сторону от меня сидит роскошная ражая дева с горделивым, жестоким и страстным лицом – по-современному мускулистая, но обладающая неброским старинным очарованием. Она с языческим смехом встряхивает растрепанными локонами. Ее настроение так же переменчиво, как ветер. Но чем занят кавалер, заставляющий ее ждать? Я не стану раскрывать читателю этот маленький секрет, не то...



## VIII

Ну конечно же, это моя возлюбленная (никакие журналы на свете не способны опошлить столь прекрасное слово!), которая терпеливо ждала, пока я очнусь от раздумий. Она вошла молча, украдкой, прихорашиваясь и мурлыча, точно большая кошка, уселась и приступила к Наслаждению. Она знает, что мне нельзя мешать, пока я не отложу перо. Мы пойдем с ней ужинать в итальянский ресторанчик, который содержит старый моряк, готовящий лучшие ravioli по эту сторону от Генуи, а затем отправимся гулять по мокрым ветреным улицам, с радостью подставляя лицо под теплый субтропический дождик. Мы спустимся к Миссисипи, полюбуемся корабельными огнями и послушаем морские рассказы о путешествиях и приключениях. Меня глубоко взволновала одна история, похожая на предание о геркуланумском часовом. Крейсер Военно-морского флота США был откомандирован в Рио-де-Жанейро. Это произошло еще в дотелеграфную эпоху. Порт оказался на карантине, и кораблю пришлось стать в открытом море в десяти милях от берега. Тем не менее, на борт проникла желтая лихорадка. Люди умирали один за другим. Невозможно было связаться с Вашингтоном, и, как выяснилось позднее, Министерство военно-морского флота начисто забыло о существовании судна. Приказы не поступали, капитан застрял на своем посту на три месяца. Три месяца одиночества и смертей! Наконец он подал сигнал проходившему мимо кораблю, и крейсер перебросили в более здоровые воды. Конечно, эта история вымышленна, но как роскошно звучала она в устах старого прохвоста, который сидел и жевал табак, изредка отплывываясь! Мы обязательно спустимся к реке и чинно побродим по набережным. В жизни гораздо больше интересного, чем в кино: нужно просто уметь нащупать пульс реальности.

Красота присутствует в каждом проявлении жизни: правда и ложь, мудрость и глупость – все равноценно для бесстрастного, непредубежденного взгляда, а секрет заключается вовсе не в том, чтобы уйти от мира, а в том, чтобы сохранить в себе целомудренную, священную, нетронутую частичку, не прикасающуюся с внешним миром. Иными словами, необходимо отделить сущее и воспринимающее от деятельного и страдательного. Подобное искусство по плечу только художнику. Как правило, это врожденная способность: вероятно, ее можно обрести путем молитвы и поста, но, вне всякого сомнения, нельзя купить за деньги.

Но даже если вы ее лишены, есть прекрасный способ добиться точно таких же или сходных результатов. Без остатка посвятите свою жизнь достижению этой цели, проводите каждый день в старом «Доме абсента», потягивая ледяной опаловый напиток. Дождитесь, пока мир преобразится у вас на глазах, и вы сами преобразитесь вместе с ним. Тогда вы станете мудрыми, как боги, знающие добро и зло, и постигнете, что добро и зло – вовсе не две противоположности, а единое целое.

Возможно, пройдет еще много времени, прежде чем с глаз спадет пелена, но с точки зрения художника одно минутное переживание искупает бесчисленные муки. Оно решает любые вопросы жизни и смерти, ведь жизнь и смерть тоже едины.

Это переживание доступным языком объясняет вселенную, устанавливает подлинную связь между «я» и «не-я» и преобразует прозу рассудка в поэзию души. Точь-в-точь как ваятель мысленно созерцает будущий шедевр в бесформенной глыбе мрамора, с которой нежный и заботливый резец должен лишь снять покров Изиды, так и вы, возможно, научитесь созерцать наивысшую благодать и славу, сидя в этой потрясающей обсерватории – старом новоорлеанском «Доме абсента».

*V'la, p'tite chatte; c'est fini, le travail. Foutons le camp!*<sup>1</sup>

(1918)

Перевод Валерия Нугатова

1 Ну все, кошечка, шабаш. Пойдем отсюда! (фр.).

## ЯРОСЛАВ СТАРЦЕВ

### РИФМОВАННАЯ ИЗНАНКА СРЕДНЕВЕКОВОГО РАЗУМА

Часто встречался с мнением, что поэзия абсурда появилась веке в XVIII самое раннее, причем в Англии, а если делать поправку на масштаб и распространенность – то раньше лимериков и говорить не о чем. Затем уже всплывают всякие *Karphornverse*, сюрреализм и прочие занятные вещи околехармсовского толка.

Между тем – прошу любить и жаловать: старофранцузские *resveries*, *fatrasies*, *fatras* – реверии, фатразии и фатрас. Целый жанр – или совокупность близких жанров – особенно расцветший в XIII-XIV веках и постепенно вырождающийся в последующие столетия; у Рабле много прозаических вариаций подобного рода, потом след теряется.

Небылички-реверии – чередование дистихов с полным переворачиванием смысла от одной строки к другой. Фатразия – уже оформленная схематически манера поэтической речи, основанная на абсолютном абсурде, «втиснутом» в достаточно строгую форму (наиболее распространенная этимология – от «фаршировать», *farsurare*). Занятно, что и сама форма абсурдна: сочетание 5-ти и 7-сложников в одной строфе встречается редко ввиду очевидной неестественности такого размера.

Рождение жанра связывают с «Безделками» (*Oiseuses*) и «Фатразией» Филиппа де Реми, сеньора де Бомануар, 20-е – 40-е годы XIII века. Он, разумеется, опирается на традицию, которая вполне прослежена, но Филипп де Реми придает жанру самостоятельность, отдельность. Однако его тексты слишком структурированы вокруг топонимики, а потому не очень интересны для перевода: что-то в духе «подмосковного Байкала каракумская тайга», но с использованием географических наименований, которые современному читателю ни о чём не говорят. Потом – знаменитые «Аррасские фатразии», около 1300 г.: 55 строф, принадлежащих, как будто, разным авторам и составленные в Аррасе; подозревалось в том числе и авторство Жана Боделя – но, видимо, он тут ни при чем. Собственно история фатразий на этом заканчивается, но несколько десятилетий спустя у Ватрике из Кувена появляется родственный жанр, фатрас: опять же абсурдное содержание в рамке из двух стихов, позаимствованных из невинных модных произведений или придуманных по случаю. Как кажется, фатрас связаны с публичной импровизацией: один из участников задавал тему, две известные строки, а другой сочинял собственно текст в рамках строгой формы.

Кстати, Большой франко-русский словарь слово *fatrasie* знает, но определяет его совершенно неадекватно как «сатирическую поэму». Что до слов *rêverie* и *fatras*, то в современном французском они имеют не связанные с литературой устоявшиеся значения.

Прелесть жанра – в полноте и совершенстве абсурда; это даже не «по реке плывет утюг», это «река порхает, ковыляя, по утюгу»; не синица поджигает море, а само море поджигает синичий кашель. Вырождение жанра – попытки сделать его осмысленным, происходящие с XV века: наполнение текста осознанно-юмористическим или сатирическим содержанием, превращение в бурлеск или в пародию. К XV веку появляется разделение фатрас на два вида: «реальные» и «нереальные», т.е. осмысленные и полные потешной бессмыслицы. Первыми появляются «нереальные», но через сто лет исчезают почти полностью. Возникающие позже стихи в жанре *соç-à-l'âne* – тоже попытки создать осмысленную бессмыслицу, нанизать ее на какой-то внятный общий стержень. Есть и смежные жанры, популярные в период высокого средневековья – *sotte chanson*, например, «дурацкая песенка», где автор по конкретному и вполне понятному поводу дурачится, юродствует, в том числе и с элементами полной бессмыслицы.

Понятно, что после такой трансформации фатрас исчезают: просто строгих форм много, эта ничем не лучше и не хуже. Специфика пропала. Позднейшие исследователи пытались найти в этих стихах хоть какой-то смысл: скрытую пародию, зашифрованные послания и пр. – ничего не нашли; находят только в позднейших, предренессансных вещах, где что-то подобное действительно появляется. А смысл совсем в другом, он экзистенциальный, а то и онтологический – не на уровне конкретных фраз, строф или произведений, а исключительно на уровне самого жанра: мир вверх тормашками, когда переворачивается не просто социальный или божественный порядок, а сама постижимая разумом упорядоченность мира.

Любопытно, что нечто похожее происходит с лимериком, как на английской, так и на русской почве: постепенно из очаровательного парадоксального абсурда он превращается в рифмованные по заданной схеме попытки плоского юмора, апеллирующего к парадоксу, но безусловно проигрывающего другим лаконичным жанрам, – и именно в таком виде получает распространение и находит популярность.

А во Франции – точнее, в пикардийско-фландрских областях, – пик средневекового абсурдизма приходится, видимо, как раз на XIII век, и проявляется это и в других литературных произведениях. Хороший пример – приведённое ниже фаблю о святом Мартине: известный жанр, бродячий сюжет, но в интерпретации анонимного автора гротеск становится совершенно немислимым, почти апокалиптическим – но при том очень наглядным. Вообще, как ни странно, абсурд оказывается далёк от волшебных сюжетов, которые как раз очень конвенциональны, но всю черпает из повседневности: в фатразиях мы встречаем в качестве героев крестьянскую домашнюю живность, а также селёдку да свёклу, в фатрас – отсылки к расхожим цитатам и персонажам из Священного Писания или «Романа о Розе», в гротескных похабных фаблю – к знакомым и архетипичным бытовым ситуациям.

Практический вопрос заключается в том, надо ли это переводить, зачем, и если да – то как. Конечно, интерес этих вещей преимущественно историче-

ский – но это и важно. Дело в том, что в средневековье не было такого количества литературных ниш, как сейчас, когда для любой небольшой группы любителей существует свой жанр, своя литература, неизвестная и неинтересная остальным, – и количество таких групп невероятно велико. Литература средневековья – это преимущественно мейнстрим, там нет малых жанров и особой литературы для отдельных любителей. А раз так, то для наших представлений о средневековом обществе оказывается весьма важным учитывать, что для тогдашних людей вот это было мейнстримом, чем-то распространенным, привычным и востребованным. Состязания по сочинению фатрас устраивались и при королевском дворе, и перед менее притязательной публикой: Ватрике из Кувена упоминает в одном из произведений, что он бы и рад писать о высоком, да за него не платят, а спрос на фатрас есть всегда. Кроме того, множество частностей: Вийоны\Чосеры\Рабле и пр. выросли как раз из этой литературы, без нее многие их авторские ходы не вполне очевидны или несправедливо считаются результатом каких-то индивидуальных прозрений. Интересно, что все эти литературные чудеса возникают и расцветают в очень ограниченном географическом и отчасти культурном ареале, пикардийско-фландро-голландском. Это, прежде всего, северная литература на французском – и только потом уже собственно французская. Как раз со становлением общезападной литературы и выясняется, что интегрируются туда эти вещи очень плохо. Вообще же, для осознания того, что средневековье – это Другое, необходимо, на мой взгляд, иметь представление обо всем разнообразии тогдашних жанров, а не только об избранных местах (неважно, идет ли речь о рыцарском романе или об изрядно беллетризованных фаблио). Кстати, регулярно пришеивающиеся в фатразии скабрёзности, пресловутый «телесный низ» – тоже важный элемент этой картины мира; понятно, что они здесь появляются не с краской девичьей стыдливости и не как этический или эстетический вызов, а как нормальная составляющая дискурса. Разумеется, и тогда это было неприлично – а потому смешно; но европейская культура, кажется, не доходила до сакрализации срамной лексики, которая случилась в России, и божба с ироническим богохульством должна была восприниматься резче, чем грубые описания дефекации или коитуса. Что до интереса собственно литературного, то, кажется мне, чистый незамутненный абсурд, принципиально лишенный каких бы то ни было намеков и связанной с ними интенциональности, любопытен сам по себе.

Как переводить – неясно. То есть, вопрос, конечно, не в мере дословности, а в стилистике. Это вообще проблема: как переводить нечто для своего времени новое, удивительное на язык другого времени, когда все это давно банализировалось?

Напрашивающийся рецепт – посмотреть в сторону переводов Кэрролла, но это ведь XIX век, и весьма утонченный. Там абсурд вносится в уже готовые типичные ситуации, которые переворачиваются – а у французов изначально никакой типичной ситуации нет, там уже второе слово каждой фразы опровергает первое. И словотворчества, кстати, почти нет.

Вот несколько экспериментов. Сразу же оговорюсь: часто принято считать, что фатразия – это произведение из 11 строф: во всех списках они идут именно «пакетом». Между тем, ввиду отсутствия семантической или формальной связи (чередование рифм, например, или регулярные повторы и т. п.) значение этого мнения весьма условно, потому я считаю возможным перевод отдельных строф-фатразий; к тому же, во Франции существует и некоторая традиция их изолированной публикации. В отношении фатрас оснований для такого укрупнения нет (хотя, у того же Ватрике из Кувена – это цикл из 30 строф, но гораздо больше изолированных примеров): каждые 11/13 строк – отдельное произведение.

На русский, насколько я знаю, раньше эта литература не переводилась – да и на современный французский очень фрагментарно.

### **Аноним XIII в. АРРАССКИЕ ФАТРАЗИИ**

(1)

Ледень без мороза  
 Нассужал тверёзо  
 Пшик за просто так  
 Расколола в розы  
 Добрая стервоза  
 Яхонты из врак  
 Тишь-да-гладь из передряг  
 С ясным днём в ночные грозы  
 Бились долго за бивак  
 В чистой горсточке навоза  
 Плавит медь в Динане всяк

(2)

Прямо к урожаю  
 День везёт, въезжая  
 Вытканый сырок  
 И кинтана злая  
 Топчет Сену с краю  
 За один пердок  
 Целый мир меж них пролёт  
 Кровь по венке выливая  
 Клоп орёт: я нынче смог  
 Два здоровых каравая  
 Муравью забил в задок

(3)

Поле, полно дамок,  
Для колодных лямок  
Рыцарски поёт  
А летучий замок  
Понатыкав замок  
Тонко печку шьёт  
С башни бы скатились влёт  
Кабы не подмога мамок  
Снарядивших наперёд  
Сбрую для игры в приямок  
Что в донжон подкоп ведёт

(4)

Угорь застеклённый  
И прибарахлённый  
Мчит себе вдогон  
И фламандец с Роны  
Пропердеться склонный  
Римо-греко бздён  
Ветры наивритил он  
До баклуш неугомонный  
Порастратил, чем силён  
А пучок травы посконный  
Тут же начал новый кон

(37)

Потрошёный пёс  
Ладился всерьёз  
Церковку сужать –  
В гребне без волос  
Гнев такой возрос,  
Что пришлось нырять.  
Куры кинулись болтать –  
Аж копыта все вразнос,  
Кабана взялись имать –  
Меда напрудили воз,  
Чтоб осляти полетать.

(54)

Перьевои медведь  
Бодро сеял снедь  
С пристани до веси.  
Взялись лук раздеть –  
Он решил запеть  
В несказанной спеси.  
Красный слоник взялся здесь,  
С ним слизняк, страшной как смерть,  
Заблажил он, куролеся:  
«Сучьи дети, ближе геть!  
Я писал во сне словеси!»

**Ватрике Брассенья из Кувена**

**(до 1319 – после 1329) и Раймондин (?)**

**ФАТРАС, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ ФИЛИППА**

(1)

*Обходись одной ботвою,  
Коль не нравятся бобы.*

Обходись одной ботвою,  
Иль накроешься пиздою  
Где в округе лишь гербы,  
Там же целочьей тропою  
Прёт из жопы капля гною,  
Дырки на дристню слабы,  
Даже опосля косьбы  
Не заткнёшь её стернёю,  
Изнавозите дубы –  
Подотри своей губою,  
Коль не нравятся бобы.



(2)

*О, развежь печаль скорее –  
Сердце я тебе отдам.*

*О, развежь печаль скорее,  
Киска, что лежит, дохляя,  
И поет по четвергам  
Аллилуйю все сильнее –  
Аж засовы, не краснея,  
Молвят: «Весь прибыток – нам».  
Волк решил: «Ну, щас я дам!»  
И, себя не разумея,  
Вышел грохнуть Бога сам,  
Говоря: дружок, смелее –  
Сердце я тебе отдам.*

(7)

*Увы, мне даму надлежит покинуть,  
Теряю сразу радость и покой.*

*Увы, мне даму надлежит покинуть,  
Женитьбы на Святом Петре не минуть,  
Чтоб народился идол меловой,  
Он бурю даст в утробу опрокинуть,  
И тут бы половчей любовь отринуть –  
В раю тогда напрячусь я с лихвой,  
Поверит ангел в Бога – станет мой,  
Так запою, что всё там будет стынуть,  
Что все решат – я сплю, как неживой,  
Но сладость смерти не спешит нахлынуть –  
Теряю сразу радость и покой.*

(24)

*Веселей, дружок мой милый,  
Распрости с тоской зелёной.*

Веселей, дружок мой милый,  
Вместе с дохлою кобылой  
Шпрот утопленный копчёный  
Стережёт порог всей силой –  
Не пройдёт слизняк постылый,  
А надёжно продегчёный  
Пёс меловый бойко-сонный  
Не куснёт, клянусь могилой.  
А совьют петлю законы,  
Не рыдай слезой унылой –  
Распрости с тоской зелёной.

(25)

*Моей любви Христу, ни Приснодеве,  
Ни всем святым коснуться я не дам.*

Моей любви Христу, ни Приснодеве,  
Не удержать в гусяном горьком чреве,  
Не дав оттуда вырваться мудям,  
Клочок земли унявшим на посеве;  
Прополощу водой засохшей в зеве –  
Учён я нынче этим чудесам,  
Во сне пантеры я увидел сам –  
Она ебла веретно во гневе.  
«Прощайте», говорю своим друзьям,  
«Отца вам истолочь, да при нагреве –  
И всем святым коснуться я не дам».

**СВЯТОЙ МАРТИН И ЧЕТЫРЕ ЖЕЛАНИЯ**

(Анонимное фаблю, 12-13 в.)

С одним нормандским мужиком  
Случилось чудо, о каком  
Подробно расскажу сейчас я.  
Тот мужичок, в беде и в счастье,  
Святого поминал Мартина –  
Привычке не нужна причина,  
И что б ни делал, где б ни был,  
Молил Мартина да хвалил,  
К святому что ни день взывал.  
Раз поутру мужик пахал,  
А про святого не забудет –  
Мол, пусть Мартин со мной пребудет.  
И тут, откуда не возьмись,  
Святой Мартин пред ним явись,  
И говорит: «Тебя люблю я  
И преданность ценю такую –  
Ты шаг не делал отродясь  
Ко мне сперва не обратясь.  
Так я воздам тебе немало –  
Бросай и пахоту, и рало,  
И в пляс пускайся, не робей,  
Да вникни, что дарю тебе я:  
Желай, что хошь, четыре раза,  
Как скажешь – так и будет сразу,  
Да не спеши, вот мой совет –  
Назад желаньям ходу нет».

Мужик давай благодарить,  
Домой помчался во всю прыть,  
Сумев опомниться едва ли –  
Но дома враз его уняли.  
Жена, немытая спросонок,  
Давай вопить: «Пришел, сучонок!  
С хуя ли пахоту оставил?  
Иль дождь мозги тебе разбавил?  
Не жди обеда, не дождёшься,  
Аль думал – раз, и обожрёшься?  
Паши с утра и вот досюда,  
За жрачку за свою, паскуда!

Не лыбься – ну, нашла кретина!  
Чтоб сдохла вся твоя скотина –  
А хуй ли толку – вот он, тут,  
Дела дебила не ебут!  
Не уработался поди!»

«Остынь-ка, баба, не гунди, –  
Мужик в ответ. – Мы, слышь, богаты,  
И заживем теперь пиздато,  
Хорош и нам сидеть в говне.  
Святой Мартин явился мне:  
Четыре раза получу  
Чего, старуха, захочу.  
Тебя я, вишь, спросить хотел –  
Бежал, насили дотерпел.  
Что взять – и брось ты канитель:  
Деньжат, богатства иль земель?»  
Как услышала это баба,  
Тут обняла его не слабо:  
«Ах, муженёк, неужто так?»  
«Ну да, брехать я не мастак»  
«Ох и дела, скажи на милость!  
Я словно заново влюбилась!  
Так дайте, муж и господин,  
И мне подарочек один!  
Уж я ли не рвала все жилы!  
Одно желанье заслужила –  
Вам трёх достанет в лучшем виде,  
И я останусь не в обиде».

«Остынь-ка, да суди сама –  
Я, чай, не выжил из ума.  
Вам, бабам, только волю дашь –  
Войдете враз в дурацкий раж.  
Почнёшь тряпья себе желать,  
Да пряжи там, да льна штук пять!  
Но мне святой Мартин помог,  
От спешки прямо остерёг:  
Мол, ты того желай, земля,  
В чем есть нужда на самом деле.  
И правду-то сказать, боюсь  
В беду с тобою попадусь:  
Что бабским сотворишь умом –  
Вдвоём не расхлебать потом.

Любовь-морковь – скажи соседям!  
Как обернёшь меня медведем,  
Козлом, ослом или кобылой –  
Пиздец ведь, Господи помилуй!  
Все проебёшь в один присест». «Ах, муж любимый, вот вам крест,  
Да пусть отсохнет мой язык –  
Вы вечно будете мужик,  
И вечно на себя похожи –  
Уж вы мне всех мужчин дороже!»  
«Ну, коли так, тогда пускай –  
Бог в помощь, нут-ка пожелай  
Обоим нам добра по вкусу». «Во имя Господа Исуса, –  
Жена в ответ, – чья сила с нами,  
Хочу, чтоб ты оброс хуями:  
Рука, нога, спина, башка ли –  
Чтобы везде они торчали,  
И чтобы не висели вяло,  
И чтоб на все мудей хватало,  
Чтоб каждый крепенько стоял,  
Как если б ты рогатым стал». И как сказалось, так сбылось:  
Мужик елдами вмиг оброс:  
Во рту и на носу – штук шесть,  
И дальше – было их не счесть,  
И длинных, и слегка раздутых,  
Коротких, толстых, острых, гнутых;  
Белы, багровы, темнокожи,  
Глазки на них – помилуй Боже:  
Фасолину закинешь смело –  
Она б, не шоркнув, просвистела  
Без остановок до мудей.  
Хуи вскочили всех мастей,  
Как меч, как шишка, как подкова –  
Уже и места нет живого  
Где б не пробился хоть хуёк –  
На теле, начиная с ног,  
В ушах, на скулах, на зубу,  
Огромный хуй торчит во лбу,  
На рёбрах, на спине – повсюду;  
Хуёв бессчётно, врать не буду!

Попав под этакий расклад  
Мужик со всех сторон рогат,  
И от волшебных этих дел  
Он, прямо скажем, охуел.

«Блядина, ты ж клялася мне, –  
Так обратился он к жене, –  
И что ж ты, сука, нажелала?  
Ить мамка зря меня рожала,  
Коль выйду я перед людьми  
Утыкан эдак елдаками».  
«Ах, муженёк, – жена в ответ, –  
В одном-то хуе проку нет,  
Да дохлой шкуркой он висит,  
А нынче – эвон их торчит!  
А до людей – ходи беспечно,  
Тебе халява будет вечно,  
Нигде и платы не возьмут –  
Прибыток, стало-ть, есть и тут!  
Все к одному, хорош базлать –  
Ить вон какая зверья статья!»  
Мужик в ответ: «Ну ладно, знаю  
Чего тебе я пожелаю:  
Пусть на руках, ногах, везде,  
Где влезет – выйдет по пизде,  
И чтобы их не меньше было –  
Хуям, вишь, по одной на рыло».  
Тут баба враз опизденела –  
Под глазом, глядь, пизда созрела,  
На лбу – три штуки ровно в ряд,  
И перед пиздоват, и зад,  
В подмышках разместились ловко  
Тут королёк, а там – сиповка,  
Мутовки вон и плоскодонки,  
И вислогубые пиздёнки,  
И гладких тьма, и волосатых,  
И пухлых, мелких, узковатых,  
И целок, и давно распёртых,  
И крепких, и в мозоль истёртых,  
Пизда на пятке вылезает –  
Мужик от смеха аж рыгает.  
«Эй, муженёк, – жена орёт, –  
Ты что же натворил, урод?»

«Эх, жёнка, полно те ругаться –  
Хуёв-то нынче – уебаться:  
В одной пизде какой мне прок?  
Зато, как выйдешь за порог,  
В деревне будешь на примете:  
Пиздатея бабы нет на свете!»  
«Постой-ка ржать, – жена в ответ, –  
Ить двух желаний нет как нет!  
Желай, чтоб сгинули, балда,  
Пизды с хуями без следа,  
А там – с желанием одним  
Возьмем достатку, сколь хотим».  
Он и скажи, не ждав беды,  
Чтоб ни елды, мол, ни пизды.  
Едва договорил мужик –  
Без хуя он остался вмиг,  
И баба тут же обмерла –  
Пизды нащупать не смогла.  
Обоим ясно – вышло хуже.  
«Слышь, ты, – жена сказала мужу, –  
Последний раз-то не сплохуй,  
Верни пизду, верни свой хуй.  
Четвертая, ты вишь, попытка –  
Давай хоть будем без убытка».  
Тут мужику уж не до брани –  
Он все вернул, как было ране.  
Пизда с елдой – где им пристало,  
А вот желаний-то не стало.  
Вам байка сказана не зря –  
Понять несложно, в корень зря:  
Доверься бабьему задору –  
Такхватишь горя и позору.

## ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Из «УЭЙКА ФИННЕГАНОВА»<sup>1</sup>

Изокал российской азбукой Анри Волохонский

### Их безвременная кончина

(стр. 495-501)

Твоя жена: Амна. Анма. Амма. Анна.

– Как хочешь так бери нас, о Дама Мрия, по степеням, как артис леттерарум кве патрона, но боюсь, о моя бедная дма того же имени, что со всеми вашими лешими и пешими, ты вышла надута.

– Увы, живых усладья!

– Лорди До и Леди Донь! Дядя Пузл и Тетя Джек! Конечно же его, глухого и немного, этого старого хамбургера бойкотировали и герлокиссировали сверху и снизу через флотильных флажков, сколько я сам ныне понимаю, что было вписано с признательностью и подписано руки прочь. Гогель Могель с Печки Упал. Немое кино для Миллионов. Не было там ни на Датском острове архимандрита, ни мниха на Дамском, ни единой из четырех забегаловок на полном полнолунии его экуанемических консилиабул, ни ни некоторых ни которых дев над почвой невинных под полнейшей поверхностью, но будут близ и около него, г-на Угревиппера, лица сеющего и зеленеющего, его всего бумгалоего, на Твою мощь полагаюсь Господи, ради рифм и форм от частей до кусков после уже совершенного.

– Во всех Ушах бывает Верт, Древняя Эйре век как Пирс Орейли хлоп флеперудручен.

– Подробней!

– А у меня тут все под пальцами: Лигги-пигги лежала в саду. Легги-пегги купалась взад а пухлые пукеры прыгали перед птуалептом. Ма тут. Да там. Мадас. Садам.

– Патер патруум кум филиабус фамилиарум. (Дядин дед и тетнины дудки). Но, или, ну, и, вздымаясь с ее тинистых тенистых водорозделов дабы раз навсегда сменить травматургическое подлежащее и вернуться к сути, чтобы ты сам смог отождествиться с ним внутри себя, волнуясь, но не переливаясь, по крови с папаней, по корму с маманей, ибо тогда слишком много ее, Абы на Лифе и повернувшись вновь к папане:

– Ведь никогда не было у них прозрачно – шел ли он вместо чая за пивом или за чем-то послаще? Он выпустил Кристи Колумба и тот вернулся голумбь имея в клюве пару невызвозразимых от вора-птички а потом выпустил вонючую Ворону (лекарону) и легавые по сию пору в поисках. Первый из дрожащих среди кум родимых роем кружащих. Его никогда не возможно встревожить, но

1 Продолжение. Начало см. в МЖ №№ 53, 54, 55, 56, 57, 58



он должен когда-то восстать. Ибо если будущее заключено в любом прошлом, то оно есть сейчас: кто же тут кто бы не знал Квиннигана и сколько их было при Квинниган'с квейке! Вот как! Его производители, не суть ли они же его потребители? Ваши экзгуменации вокруг его фактификации ради инкантиции в процессе деформации. Декламируй!

– Арра иррара хиррара – разве не прибыли они полулегально для исполнения Ад Региас Агни Дапес – фогабоулеры и панибернскеры после нежирных и тощих годов, охотники по шурам и по скальпам, мессиканты великого бога, алый трейнфул с Двустрой Петардой, объединяя леггатов и преллапов в их внушительном возрасте – два и тридцать плюс одиннадцатикратные сотенные со всеми внутренними и внешними и полноплодовыми из Ратгара, Ратанги, Раунтауна и Раша, с Американской Авеню и Азианской Площади и от Аффриевой Дороги и Европейского Плаца, не говоря об углублениях Ноо Сох Уальдс, от Вико, Меспила, Рок и Сорренто из-за его вождения в волдырях и ужаса за заразой, в салон его надежд напротив кия его крааля, как жилы железа у Максимагнитной Горы, напуган желая уйти, но сам же встал по пути, мерриониты, дамбдамбдраммеры, лукканикане, Аштумеры и с ними Парки Беттери и крамлёвские Боярды, Филлипсбургеры, Балимуниты, Рагениаки и Клонтарфская нишета ради размышления о манифесте и выполнения первостатейных своих долгов пред им обоими, по двенадцать камней по бокам с этими их: Да блудствует круль! и их: Швр ир Фрст! и их: Виски к Концу! и их: Писано Евреем! при и посреди утверждённых предположений о стоялых делах в его восхитительной пивной на базаре в журнальном зале у журнальной стены, Хвосты и прочие, экспрот, для его пятисот и шестидесяти шести лет полудетия, великий старый Магеннис Мор, Парси и Райли (берут что дают), промытый Ринсеки Пробкой Хлоп и Повторой Грёб с царскими церемониями для обувных магнатов и каучуковых судей и рощи из гущи и муфтий из муслиновых муфт подряд султанскиеласти и миндаль майданский, сахибов сироп и правая принчипесса в своём дрессировочном одеянии и царица ночных сосудов и рыцарей полночных и двое салаамиев и пол хамбургера да еще Ханзас Хан с парой толстых махарадж и Германский Гейзер, собственной персоной, серебром из никеля, временно презренный, сам себя двигающий столь эгоистично, и был там Дж. Б. Дуньвлоб первый из покрывкиных нашего времени и винный шик французских стюартов и тюдоров с дубовыми ставками на Цесаревича против Леодегариуса Санкт Легерлегера, верхом на спинке мула подобно Амаксодию Задомнаперёдию, зад, перед и кик в лифт, и он умело вторил шлюшекурвину природному гимну: Эй, кобылки, выше хвост! И так же как и пустующий тронный зал, Маслильня Сухих Хлебов, может спокойно принять у себя Оранжевых и Мосли, М.П. с позволения Друидов Д.П., Брехонов Б.П. и Флогулагов Ф.П. и Агиапомменитов А.П. и Антепаммелитов П.П. и Короля Ульстера и Герольда из Мюнстера, за Аткеевой Подписью и Атлоновой Росписью и его Имперского Сочетания в единственном числе и его геммоносных потомков в ефодах и ордилянах и его алмазосукая внука Адамантия Любоковская, все они кровожадные ирландцы, амок и амак, все полностью, без этих своих истощен-

ных пенчабских и догрильских и томильских и гугеротских как их там, после изрядно свежего портера и добрых доз водки, да не забыть бы о браге и про пиво из Персии О'Райли, обмокнутое в его пани аннагола (она подсушивала в Кеннедиевой печи кривые булочки, пекомые мне под выпивку) социализируя и коммуникантируя в обожествлении своих членов дабы надуть и уберечь от огня старенького бедненького василиуса с его артуро склей розовым, то был Додарик О'Гонок Дран, вышвырнутый в мировое отсутствие на круглом столе без потопных светил, и сие столь же верно как брайанов меч у Вернонов, и дюжина и одна и ещё одна сальная свечка вокруг, которые собрали его дочери ради отрезвления его сынов, высоко лёжа во всех измерениях, в притворном одеянии с людоморовой цепью, с ого каким ароматом, флюоресцирующим от его обмоток как вонь благовоний в итальянской лавке, эрика вереском возлегла над его благородным челом, спектр нынешнего, потешающийся над кандидатами его дадида, изжаренный до изнеможения, оплаканный хилидрынами и шерамимами, нижними и важными, трутнями и доминаторами, древними и ещё более древними верными, с ним, благозавершенным и выставленным на продажу после объективной оценки, он – сальный и славный, самодыржявный, леченный, меченный, озабоченный, набальзамированный в ожидании облевания его трясины поразительно высоко вознесённой, что выяснилось по завершении его жизни сверх допущенного и тем самым обращенной в ничто.

– Дуй удойно и всем кранты! И все его погибайлушки, пляшущие и трепыхающиеся в двадцать девятом воплощении:

Мыло Мулило! Омо Умыло! Танц леди Деди О! Труп труп труп! О Босс! О Бес! О Мёрзнер! О Морда! Мерды! Мор! Мерзость! Махмато! Мутьмаро! Смерч! Смерть! Смерды! Во Хулил! Увы Халал! Ту Туони! Ты Танатон! Малавинга! Малавунга! Сыр ох Сыр! Зри ах Зри! Хамвос! Хемвос! Умартир! Удамнор! Мамор!

Роквиум вечный да издает глас дольмечный!

Несчастная перлеппертула да светится в его очках! (Псих!)

– Много веселья в Финноконское воскресенье. Кру умр, да с дров встаёт курароль!

– Боже, сохрани его для жизни сокровенной!

– Буг, Баг, Биг, Бээг! Жиркость-Эдди-Псарь. Четверых поутру, двоих отобедав, а там ещё троих, но душеньки их ко всем чертям. Не так ли? Навоз. Нанос. На нос. Финн. Fin?

– Невозможная лажа невероятных лжецов! Ты хочешь быть там где ты тут, нежа неисчислимую ножку и, выражаясь окольно, толкать толковищу, а твои хинди и шинди, буйные базарные боровы толкуют только – словно ты малый, сорли бой, и этого-то ты повторяясь добиваешься?

– Я хочу быть тут где ныне ты мало ли, шури гай звон по покойнику, пока сам живу в собственных обстоятельствах как пьяница во дремоте пронзительно проникая и искательно возникая. Хоть я и не могу выкинуть тот фунт сухеных олив, но способен вылить сверх его сук звука звучащих.

– Оливер! Не ты ли это? Был ли то стон или звон волюнок или вой о войне? Внемли!

– Трись трись душа моя! Любовью во плен! С окровавленным сердцем! С открытым сосудом! С обиженным чувством! С обойденной лапой! Уиски! Уиски! Уиски! Даи деревяшку...

– Гори в Рот и Огнь в Доннербрюхо! Блуждаем ли кругом холмов могильных и что это за застывшая Вавилония, расскажи-ка?

– Кто-то там, кто-то там, кто-то там, кто-то там подлип? Кто-то там, кто-то там, кто-то там?

– Бей бубен-барабан! Рупор к грунту! Дохлый гигант жив! Иглы играют в напёрстках. Казьльский клан! Оп! Кто это там?

– Довгол и Финшарк, они кружат по кругу.

– Жэнь дзин. Бензин.

– Кромабу! Кромвел к виктории!

– Грызть, гнуть, гнать и гноить их всех до единого!

– Джиньзин.

– О вдовы и сироты, то ваши оплоты! Вечно верны! Роза, вперёд!

– Там крик косули! Белая лань. След плетётся, переплетаясь, псам роги тру-бят! Пусти, и пусть преследуем! Таитл! Таитл!

– Даи двинем бочку! Трахнем дочку! Папу дави!

– Внемли! Заоблачный отец! Наш!

– Бензин.

– Продан! Я продан! Моя неизвестная моя невеста! Моя первейшая! Моя сестрейпая! Моя прощайшая невеста неизвестная! Заморская, я продал.

– Пипеточка, родная! Нам! Нам! Мне! Мне!

– Форт! Форт! Байройт! Марш!

– Я! Верен я! Изольда. Пипеточка, песценная моя!

– Жизньвдзин!

– Невеста неизвестная, узнай почём я стою! О моя неизвестная! Моя цена, бесценная моя?

– Дзинь!

– Невеста нейзвестная, почём? Когда торгуешься, знай мою цену!

– Дзинь!

– Пипеточка! Пипетта, песценная моя!

– О! Мать слез моих! Верь для меня! Схорони сына своего!

– Дзинь!

– Вот мы уже и тут. Настройся на звуки иностранных стран! Привет!

– Женьдзин.

– Привет! Куку! Тить тить! Ты кто?

– Не весть!

– Привет привет! Баллимакарет! А я Изз? Мисс? Ведь так?

– Тить! Ты кт...?

НИЗВУКА

## • АРХИВ •

ПАВЕЛ УЛИТИН

КАПРИЧОС

Февраль 65  
20.2.65

### КАПРИЗЫ КОРОЛЕВСКОГО ЖИВОПИСЦА

Капричос — испанская сказка с хорошим концом, но началось—то с зеленого гонца от Великого инквизитора, но дело—то пахло костром, но никто же этого не знал. Три Мухкетера на Шестом Этаже Усачевско-го общежития, да, бомбы и револьверы, да, но были бы бомбы, был бы другой конец. Тоже утешение. Револьвер хранился в "Вопросах ленинизма". Рисунки с картинками и полное собрание сочинений Гомеца дела Серна — радости пана Мариана Эйле. Что он вам пишет?

БАХ

ТОККАТА И ФУГА /РЕ МАЖОР/: и палка у тополя: электронный баян. Капризы фантазии первого королевского художника: все хорошо кончилось, а могло бы иначе. И ему и ей — все всем понравилось. Ему, королю, ей, королеве. А материалы у Великого инквизитора множились. Отношения с папой усложнялись. "Гепрюгелте Ворте" украдены у — у кого-то из ГДР.

Тебе токката как Роботу английский: ему это нужно как собаке 5-я нога.

Рыбная ловля, когда рыба уверена, что она рыболов. Год рыболова кончился. Досье состоит уже из 16 томов. Что мне в ней больше всего нравится, так это нравственная чистота. Вы знаете, как она про-износит слово "преступница"? С интонациями Марии Стюарт.

3000 слов — письмо королевы в ночь перед убийством. Демоническое сверх-я: помогала убить мужа и писала сонеты.

2

Хорошо воспитывать в близости к животным. Кролик — домашнее животное. Иногда. Поэтесса в 4 с половиной годика ругалась матом. Он читал бы все про себя. А вы? Тоже, да не то же. Так надо. Не давать спать 2 дня, 5 дней, 10 — только и всего. Душа ругается, человек ломается, остается одна оболочка, да удивительная умиротворенность: так надо. Ни дыбы ни ямы: вежливые дамы. Останется книга "И И И" да абстрактная цифра 348 907.

В память о погибших романах мы сидели за столом, а за окном была звезда и ничего как будто зловещего. Лейтенант-хранитель печати № 5 приходит на ум всякий раз, когда беру ремень и подпоясываюсь. Полковник — когда в обед на второе гречневая каша.

Мыслители-миллионеры — жуткие люди /мыслитель с винтовкой — миф: он все силы употреблял на то, чтобы не мыслить и вообще презирал умные беседы, иногда это ему удавалось, иногда/: они оперируют миллионами /чужих жизней/ и континентами. Для них ты — один человек — пустое место. Им страшна бомба в 750 мегатонн потому, что она делает не пригодной для сельского хозяйства обширную территорию целой страны. А то, что людей не останется, это их не волнует.

Испания в конце 18 века, когда королева могла сказать про Великого инквизитора: а ему надо дать по рукам, — это уже не та Испания. Что такое "вай-пииз"? Очень важные особы, сокращение из 3 букв. Я жду жену. А вы когда-нибудь наблюдали, как течет вода?

Картинка для Л.Робота: перевернутая кверху ножками кровать и жалобный голос: прикройте, мне холодно. А ваш все чего-то пищит. Вылечили. Излечили графомана от мании величия: черный монах: он и она. Рафа, Рафочка, у еврейских мальчиков удивительная любовь к уменьшительным. Сам себя называет Левушка. Терпеть не могу. Они любят, когда их уменьшают. Ласково для них это звучит. Советская космическая собака — уже не актуально.

## ТЕ ЖЕ ТАМ ЖЕ

Мелькнула челюсть  
лупоглазого парня.  
Потом прошел флибу-  
стьер театроведения.  
Потом старый ИФи-  
Литик. Заглядывал  
эстонский валютчик.

Геннадий Айги был  
без Блока. У него  
вся философская  
часть переписана  
в общую тетрадь. А  
крысолов? Вы писа-  
тель при ЦК!

Я иду и думаю: я иду, и слова вызывают боль.

Апулея даже не чи-  
тал. Тогда еще не  
было "читать за-  
поем". Тогда было  
только "читать на-  
взрыд". Чужие стихи.

Удар в нос, он тоже  
умеет. Со всеми по-  
ссорился, теперь вот  
с вами. Черная сотня  
в "Национале".

Слышно было, что где-то кто-  
то дрожит, но кто и где, ра-  
зобрать было невозможно. 25  
дражэ. Хватит ему и трех!  
18.2.65.

Эссинейшн ов эсиз, какая-то  
страница из романа "Рожден-  
ные звездой". Какая-то ста-  
тья нового кодекса. Но тог-  
да мысль работала в старом  
исчислении. Что вы будете  
делать после 3 МВ? Готовить  
4-ую. Не надо слишком много  
существенного сразу. Само-  
снабженец с лысиной и само-  
сожженец с записной книжкой.  
Те же там же и тоже то же.  
Тоже, да не ТО же. Опять 25  
раз фраза из "Сверхчелове-  
ка". Всех пора на смену.

Лабухи вставляли, когда он  
мимо столиков ходил. Стихи  
из архива Но.-Со.: в совет-  
ском ресторане нет места от-  
прыскам царей. БД я Т. Охот-  
ник уехал, не убив медведя.  
Детективная история проходит  
по тем же маршрутам, что и  
погибший роман про атомное  
оружие. Метрополь по форме  
и Националь по содержанию.  
Для мальчиков в спортивных  
курточках не звучит: они не  
учили "Вопросы ленинизма".  
Старший содержант! Запомню.

## ЗВЕЗДА И ЧТО-ТО ЗЛОВЕЩЕЕ

4

ПОСЛЕДНИЙ, МОЖЕТ БЫТЬ,  
ПОЭТ

Все цитаты на 4 языках за 25 лет прозвучали за этим столиком, когда сидели с Кроликом. Не без французской Библии. Не считая "Фауста" Гете. Не считая. Он плохо ориентируется в гостинице "Интернациональ". Не без И, но ближним не оставив славу. Про новый памятник: он вписывается, он здорово смотрится, вечером прожекторы. Цитата из Шатобриана, хотя и по-французски, взята у Пушкина, а не у Шатобриана. Дым, дым, дым. А я думал: просто дым. Размышления кухарки и слова королевы: глава I9 наз. "Что мне делать с моей красотой?" "АИЦ" — это не Анастасия Ивановна, а "Арбайтер-Иллюстрирте Цайтунг". Опять же шифр. Вошел генерал-ан-шеф с двумя телохранителями, пижон из гостиницы "Эклер" сказал: ббб-лл-леск! Полное впечатление сработавшей арифметики: 33 + 25. Виконт де Бражелон на лестнице общечития на Усачевке в 1936 году впервые разговаривает с красным кардиналом. Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои! Через 24 года после этих слов. Начало "Атомного оружия": американские девушки — как голландский сыр: чем больше они попорчены, тем больше их любят.

5

Из Лихтенберга 7 страниц,  
особой важности — 2 страницы.  
Такие рожи.

ВЕТРЯНАЯ ЛЕДА

БЕЗ ПЛЕДА

И

НАЧИТАННАЯ ЛЕДИ

БЕЗ ЛЕБЕДЯ /1965/

О, даже спички спортивные. Противные? Мораль викторианской эпохи. А ему послышалось: вегетарианской эпохи. Звезда, и еще одна звезда, и что-то зловещее. Но смысла надписи зловещей никто из них не разгадал. Да и то, что она зловещая, никто, кроме одного человека, не почувствовал. Секретная миссия началась с концом Возвышенной Организации. Бунт — это про наследственного мечтателя-индивида. Атомное оружие — это про НИИ. Тут место для вклейки цитат из калужского паустовского про погибшие романы. Не считая задания с Лопухинского переулка. Особняк стоит, но библиотека в другом месте. Подумать только, столько напряжения, столько волнения, столько забот уместилось на 5 страницах. 4 погибших романа в виде дайджестов хранились на Лубянке.



Лихтенберг — вот кто жил в одно время с Гойей. Илья Грек /И.Грек/ — еще один псевдоним. Краски пряничные, ты не помнишь инициалы того Кустодиева. Вирсавия в русском стиле раздевается в русской бане, а через окошко церкви и прочие прелести, огромное полотно, была собственностью Горького, а он завещал городу Горькому. И Рерих очень богатый, опять же из коллекции Луначарского. Что нам дано, то не влечет. Тот момент, когда еще можно остановиться. Цитаты из Албера Камю идут под беседы с Ба Дзинь-доном. Тоже детектив. Пластмассовый пистолет под свечей на столике и картинка с умирающим Маратом. Она собирает вырезки только про своих личных знакомых. Они кооперировались. Они обменивались информацией. Я видел образец работы над текстом: по линейке подчеркнуты отдельные слова, 166 романов Жоржа Сименона, есть линии красным карандашом, есть круги жирным синим карандашом, множество всяких отметок и шифров, ссылок и вообще следов кропотливой работы. Но в журнале все появляется без подписи и создается впечатление благодушия и благонамеренности, а главный доволен, а "министерство" в курсе, вот как работают "и нашим и вашим". Резидент сидит там вот уже 25 лет. Я видел рекламу его книги, написанной лет 15 тому назад. Он пишет "объективно" /слова Ба Дзиня/. Не галантный век, но и не Великий инквизитор, либеральный в общем, нет у него возмездия, а меч дают за выслугу лет, значит, он еще с Ягоды, а может даже и с Менжинского. Рудек получил 2 группу. Так кончилась цена головы с визитом на Новую площадь. Зашел в ЦК, накричал там, где разговаривают шепотом, наскандалил, вызвали философов в белых халатах, проверить, а потом отправить к историкам в голубых фуражках.

### СОВРЕМЕННОКИ

Все псевдонимы Эрика Блера были заимствованы из немецких журналов второй половины 18 века: Лихтенберг, Бетховен, Дмитриев, Байрон и Гойя.

Там хорошо про жертву собственной сыскной системы: Ежов заводит досье на товарища Сталина: вдруг понадобится. Шурик Шелепин был красивый парень. Слыхали. Охотник о нем: а нашьется, ведет себя неприлично, совсем неинтересный собеседник. Полового он знает. Веселая вакханка, она же ветряная Леда? Нет, но они подружи. Идет 9 листов телефонных разговоров под Гертруд Стайн. Мы этого не знали. Но о многом догадывались правильно. Портрет поэта Когана вырезан из многотиражки МГУ. Для него он был "Славка", а для З.Паперного всегда "Вячеслав". Ох, как мне сразу плохо, ф-ф-фу! Тоже мученица, а играет Веселую Леду.

Он баговался анекдотами. Открыли записи и черновики и фрагменты, и оказалось, что 75 процентов анекдотов ходило в те годы по Советской России. Отсюда можно сделать вывод, что он — их автор. А на самом деле

он любил фольклор. Сэр Уинстон. Как всякий старый романист, он не гнушался и чужими анекдотами.

Это от тебя не уйдет. Но я уйду за то от этого. Ты мосель Шалон в руке. Но она не читала новеллы Андре Моруа. Пусть идет в библиотеку. А греки считали: платиат — это не преступление, а дань уважения. Все мечта общего пользования заимствованы у кого? Правильные были письма, эти дабы его раскусили.

8

Эти страницы написаны совсем в другом жанре. Тут работала не стенограмма, а и не телефонный разговор, а

ВОТ ИМЕННО

Две страницы, четыре человека: место встречи — гостиница "И". Все главным образом из цикла "Анти". Точнее, "Анти-Г". Что ж вы там смотрите? Риторический вопрос доставлен по почте из далекого сибирского городка. Не читайте. Петри, хайль! Только его и видели.

Рыбная ловля с Ренуаром: по вторникам, с бородой, конечно, только чтобы не абстрактный, портрет художника в юные годы. Они читали "Близость" в той позе, которая описана в "Кама-Сутре" под названием "бхаяна". Я увидел знакомый переплет и опупел. Почему опереточное прилагательное? Зубастик не ответил. 1000 страниц про кафе так и называется — "КАФЕ". "Кафе" открывается рисунком на машинке работы Л.Робота. Его сочинение? Он не достаточно знает русский, чтобы иронизировать по-русски. Леда недооценивает. Леди переоценивает. Так она же всем все рассказывает. Он тоже ходил т у д а. Но он это и не скрывал. Да, он для того и ходил, чтобы потом всем все рассказывать. Тоже хуже. Модернист-искусствовед прибил к декоративным берегам. Быть знаменитым некрасиво. Я не удержалась. А то вы когда удержитесь. Вы на "вы"? Всегда были на "вы". Школа английского языка. Советский язык сначала вышел из советской тюрьмы, а потом услышан в вопросе ученика 4 класса. А на "савецком языке" у вас ничего нет? Рычал Паперный: а Ремарка нет? Спрашивала Нина Нестурх: что-то по трам-па-ра-рам. Нет, по гиндрогинекологии спрашивала не она.

9

Береги меня, я у тебя на ниточке держусь, помогай мне держаться.

Зеленое пальто на троллейбусной остановке в феврале 58 года. Увы, утешится жена и друга лучший друг забудет.

Баб-Эль — псевдоним Бабея. А Мандэб где же? А мандэб выпустил книгу стихов и успокоился.

Он не битник, он пробник. Всегда без спутников, одна. Героиня Ремарка исчезла. Начитанная леди не читала Камю, не читала она и подаренную книгу. Ж.-П.Сартр как философ ее не интересует. Но неплох как подарок ко дню рождения. Я? Задружила? Слово-то какое! Слово, действительно, не из ее лексикона.

Вот когда он у себя в квартире заведет удава для воспитания дочери в близости к животным, вот тогда я ему нанесу визит. Февраль 56 года — вот когда это было. Никогда не забуду. Удав просил: будьте великодушны, не будьте злопамятны. Кролик сидел и моргал глазами.

10

Веселая была жизнь. До сих пор страдает из-за больших глаз и мелкой прозы. Придут 3 товарища, наведут порядок, тогда и найдется. Тогда будет поздно. Два колокола раскачивались в темноте. Звуча не слышно. Он просто оглох. Да, конечно, но для Бетховена было бы легче ослепнуть, да, но он видел и мог рисовать, конечно, сходить с ума — еще хуже, но он же сходил только по ночам или ему и днем мерещились чудовища? Иногда и днем. И это было страшней всего. Его помощник это сразу оценил и стал бережно относиться к некоторым выходкам учителя. Герцогиня этого не понимала. Теперь это называется "Катерина Измайлова". Вклад. А он бы понял чего-нибудь. Понял бы, если бы ему объяснили. Тогда не интересно. Ему важны собственные слуховые галлюцинации. А вы со своими зрительными ему до лампочки. Почему контакт с одной и нет контакта с другой? Ошибка. Были же стихи в адрес главного шефа. Были же стихи, по ошибке приписанные переписчику. А в настоящего автора они не верили. Больно уж не солиден. Студент, да, что-то пишет, тоже, да, но, вы же сами видите, тот — совсем другой человек. Поэт Онежский позабыт, позаброшен. Зато Булату Окуджаве выделили 13 строчек. Сергей Наровчатов вообще не упоминается. Нет такого. Обидно, конечно.

## НАРОЧИТО

замедленные движения: симуляция провала. Неудача и в этом случае.

Болгарская фотография устарела.

Как быстро засматриваются эти ракурсы.

20.2.65

Она тоже лежала там. Но об этом даже мужу не сказала. Просто не приходилось.

## II

Как много из-под той машинки. Та машинка умеет много, не то, что ваша. А вы удивляетесь. Уменьшительные эпитеты произвели впечатление: нет, нельзя, снять копию тоже, но это же для вас высшая мера наказания. Купил бы, если бы были деньги. Квотроценти улыбнулось. Старик будет читать Андреэ Морюа. Вклад ограничился улыбкой и обещанием. А вы что хотели?

## СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ

Ноги стыннут, череп пылает, машинка стучит. Палка у тополя четко режется на сером фоне потому, что она черная и блестящая. Фотография с "Памиром" лежала на столе у полковника Скалосуба. Полковник не был зубоскал. Полковник был серьезный человек. 4 часа за протоколом его утомили, и он выглядел как труп, но от этого еще зловещей сверкал серебряный меч на жандармском мундире. Серебряный голубь в черепе Андрея Белого, ах, Петербург, моя религия, ах, мрачный мрамор мавзолея, нет, не простят они ему, конец процесса, такой н! Такой накал.

Устрой лишь так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил. Татка на тахте, Белкина поэма. Эллкин телефон. Стеллкин голос. Все перепуталось в доме Болконских.

**ВЫБОР БОЛЬШОЙ, ОТБОР ПЛОХОЙ.**  
А в уборной всегда вспоминал Лебедева-Кумача.

Табу у Бабеля:

— В комнате на улице Данте пахло немывтым молодым козлом.

Ленту надо купить.

Ритуальная открытка

пошла в досье. Он его называет не иначе как Хозяин Гостиницы. Шпионская кличка была ударом в нос. И тут сработало "клеветите, клеветите, что-нибудь останется". Худой и черный, а был толстый и розовый. Что бы это значило? Антресоли не ответили. Не той стороной повернулся к нему А.Солженицын. Не он сукинсынил в уголке. Не она обнажалась. Не ее он встречал в халате, накинутом на тело без трусов. Уроки не пропали даром. Адрес отравителя новый, телефон тоже. Что такое слава? Тут он был специалист. Если бы за каждую рану давали нашивку, за рану сердца, толстый блондин был бы в нашивках с ног до головы. За одним цветком вдвоем летим?

**ПОБРАТИМ НАПИСАЛ ПРЕДИСЛОВИЕ**

Снайперша не дала стихи в этот сборник. Она: я еще без поправок эту книгу издам. Профессор Нусинов взял ее под-руку.

Смех без мата — это уже достижение. Обычный разговор — мат без смеха. С мехамом. С мехматом у них ничего не вышло. Одна от- казалась писать рапорт. Сейчас трудно заставить. Сейчас все как бы на общественных началах. Техника в этом деле вперед не движется. Товарищи предпочитают старые испытанные методы. Быстро, выгодно, удобно. И никаких специальных расходов. Он шел с той стороны, потому что в той стороне — отделение милиции. Так полагается. Под этого писателя завели целый шкаф. Особый сейф. Специальный товарищ получал зарплату только за то, что он читал и делал выписки. Выписки комментировались тремя другими специалистами. Страшно любит фантазировать разговоры под своих бывших следователей. Но все в общем на одну и ту же тему. И никаких конструктивных предложений. У него новый телефон. А то бы что? У самого легкомысленного из мемуаристов увидели мрачный колорит. Что ж тогда сказать ПРО? АВТОР ДВУХ ПОЛИЦЕЙСКИХ РОМАНОВ не любил ходить в тайную полицию. А когда тебя вызовут? Пойдет, конечно. Ответит, конечно. Скажет, конечно.



Г4

Под впечатлением рассказа о четырех погибших романах беседа о коньках и прыжках в воду не произвела впечатления. Все тут чемпионы. Все прыгают в высоту. У него на груди "СССР", у нее — латинская буква "эс". Она говорит: она патриотка, а "эс" означает не "у-эс-а", "сос": спасите наши души. Она кончает физкультурный институт, а мама у нее работает в ООН, да, не меньше ни больше, не говорите по-английски, она еще не собирается работать переводчицей, да! А книгу с надписью она из-под столика, конечно, ему не показала. Грузин ничего плохого не имел в виду, просто это для него испытанный метод знакомства. Армянский коньяк — Они на третьего не рассчитывали, водка — да, только немного, рябина — это коньячная настойка, разве есть такая, диплом у него есть, голова на плечах тоже, но он думал: в Москве можно что хочешь, а оказывается в Москве тоже сложно, уй, как сложно! Адресами они не обменялись. Армянский поэт приглашал его в Ереван: много репатриантов, нужен разговор по-английски, 7 000 тебе цена, если ты хороший человек. Если! Взяла коробку из-под депутатских папирос для сына. А на большее ты не рассчитывай. Слово "провока-тор" они расценили как шутку. Вы меня правильно поняли? Он бы сидел в библиотеке и читал Ницше. Но у него есть деньги, и он сидит в ресторане. 2 раза в месяц, в день получки, тоже ритуал. БЕЗ МЕНЯ! Когда у него будет 4 книжки для троллейбусного чтения, вот тогда и только тогда. А ну его: в адрес мадридского корреспондента. Бах на 58 оборотах забыт. Бандит делает зарядку под Бетховена. Вам говорил кто-нибудь, что вы похожи НА? Говорили. Тоже. Тоже ТО ЖЕ САМОЕ. Увы, не Вы. По забыт, По заброшен. На самой деле продан на улице Герцена. Хрен цена вашим заботам. А вашим? Не надо, не надо. Ее не пускают в дом писателей без мамы или без дяди. А у нее просто такой голос. Ну что ей делать, если у нее такой голос? Не ее мучает, а она мучает искусство. Чья эпитафия? Его же, чья же еще.

15

Он, например, по утрам хорошо себя чувствует, а вечером всегда плохо. Вот если бы наоборот, тогда неврастеник. Плохую консультацию получили. А она никогда об этом не узнает. Много вы ВЬЧИТАЕТЕ из абстрактной прозы, там нет ни одного адреса. Ну вам еще и адрес? И телефон? Телефон у нас есть в телефонной книге. Телефон мы всегда найдем. А он ничего не сказал, назвал только фамилию. Только и всего. Но уже одного этого было достаточно, чтобы полковник Борис Паш повернул ему в нужных кругах репутацию осведомителя. Ошибка Роберта Оппенгеймера была единственной. Морис Шевалье. Но они и фамилию знали, им нужно было только одно "да", и все. Выдал имя. Предал друга. А друг был лучшим собеседником на темы французской поэзии 16 века. Ни о чем другом они никогда не говорили. Раз, один только раз перекликнулись аллюзии, и фраза сработала на марксистский контекст, но их даже неизданный Маркс не привлекал как тема для откровений. Их не сместило, что Институт Маркса прекратил издание Маркса, потому что 20 последних томов оказались совсем не "марксистскими". "Бунтующий человек" прошел мимо. Для студентки Сорбонны он, конечно, "Камю, один Камю". Но мы теперь знаем мнение Л.Робота: "Камю. 9—00. Не стоит". Спасибо за информацию. Можно деформировать? И ТЮРЬМЫ РОДИНЫ гостеприимно распахнули свои чугунные двери: проза 1941 года. Сядь, пожалуйста. А ты молодец. Как ложку, как большую столовую ложку. Две подушки, на одну лечь, другой накрыться. Тихие повизгивания слышалась из той комнаты. Она уже читала Бабеля. У нее есть выдержки, за которые Бабеля собирались тащить в суд, но освободила Февральская революция. Сколько трудов! А что ей больше делать? Тоненькая диссертация, а сама толстая. Но хуже — наоборот. Она по итальянской литературе, а не по египетской.

16

Вызвали эксперта по художественной криминалистике. Эксперт провел экспертизу. Машинка другая, стиль тот же, лексика совсем не похожая, подозрительный текст послать в Союз, пригласить еще специалиста из Правления, но одно несомненно: они не встречаются. Вызывать пока не надо. Следить по-брежнему. Новая линия. Новый начальник, но постоянный заместитель не участвует в операции. Привлечь дайджест по Кукриджу, усилить дело В-Потьмах, пока ничего больше не надо. Старика тем более трогать не надо, Старик нужен в качестве подсадной утки. Тут пошел охотничий разговор, рыболову стало скучно. Поплавок есть, кирпич есть, "Старика" нет, но можно достать, Кривая говорила, что у нее есть. Владелец "Победы" прошел мимо кабинета Семичастного, получая сатанинское удовольствие. Последняя книга Савинкова написана во Внутренней Тюреме. Пааазвольте, что это за внутренняя тюрьма, я здесь родился, я всю жизнь ходил на работу через Лубянку и не знал, что тут тюрьма. Вы за что? За Имре Надя. А вы? Я за то, что был не против, а за Имре Надя. А вы? А я — Имрэ Надь. Трое в одной камере. Резидент баловался армянскими остротами, но не знал, что их придумывает Старый еврей с Новой площади. "Комментарий О..." был прокомментирован литературным криминалистом. В апологетической форме разоблачал существующий в СССР строй и в саркастической форме восхвалял американский образ жизни: заключение специальной экспертизы по роману "Атомное оружие". Юл Айтн в 1951 году, маленькой карточкой, изъятой при обыске, открывался первый том. Силен мужик? Силен! Дает? Во! Во дает! Кого вы считаете лучшим советским поэтом? Конечно, Заржавина? Нет, он лучший анти-советский поэт. А что лучше всего? "Ветераны", конечно. После "Окурка" ничего нового не читал.

ТУТ ЛОШАДИ ЗАРЖАЛИ ВОЗРАЖАЯ

17

И привычно пальцы тонкие прикоснулись к "Кобуре". Первая глава "Хабаровского резидента" была переписана полностью в протокол. А он думал, наивный человек, что ему уж больше никогда не придется отвечать на те же самые давно забытые вопросы. Ан нет. Опять 25 повторений одного и того же вопроса. С какими намерениями вы писали это? А это? А это? А это? А это? А это? А ЭТО?

И опять на 25-й день тот же вопрос:

— Так с какими намерениями?

18

И опять на 25-й день тот же вопрос:

— Докажите, что вы сожгли.

И опять и опять и опять.

### ПЕПЕЛ И СЛЕЗЫ

Крови не было. Крови никто не видел. Пепел стучался в сердце. Слезы лились у жены. Но в мире есть душа одна, она до гроба помнить будет. Ариадна, сестра. Брат мой, усталый страдающий брат. Мать моя родина, я большевик. Сестра моя жизнь. Америка, мачеха, всех святых в водород твою душу через Христа-Спасителя ангидрид твою в серную кислоту через диалектический материализм и материалистическую диалектику бога душу же ман-фиш!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Он завелся на 5 минут.

Следователь восхищенными глазами смотрел на очкарика. Вот это дал! Эт-т-то надо уметь. Эт-т-то надо оценить. Он оценил взглядом знатока. Откуда у вас так много слов? И вы так сколько можете? 4 часа подряд? Да нуууу?! Вот это класс. Погодите, я вызову полковника, он послушает. Это ж надо!

Сопромат пригодился.

МетаМАТеМАТика — нет.

Он еще от мальчишек спасался тем, что читал им Баркова. Или будешь читать про Луку или от-лупим, выбирай. Про метод Огино он ничего не знает.

Остановливаться было поздно.

Завод кончился через 48 часов.

Но спать ему не дали.

19

Капитан, сворачивать паруса! Рыболов, сматывать удочки! Но виконт уже не мог остановиться.

28 октября 1958 года — принято ЕДИНОГЛАСНО. Черные крупные зловещие карательные буквы:

О действиях члена Союза писателей СССР Б.Л.Пастернака, не совместимых со званием советского писателя.

Черная пятница.

Черное солнце.

58.10.28

В тот год осенняя погода стояла долго на дворе.

Пепел был потом, нет, пепла не было, крови тоже не было, слезы ТОЖЕ были.

Под гневным требованием советских писателей расстрелять Тухачевского секретарь Ставский поставил подпись Пастернака. Как он вскипел! Как он возмутился! Сейчас же в Союз, в Москву, на электричку! Где запонки? Где галстук? Где лучший костюм? Через 4 часа вернулся усталый и умиротворенный. На вопрос: ну как, ответил: так надо. Сказал: так надо, поужинал, выпил простокваши и стал читать томик Французских поэтов. Что было у Ставского? Интересней было у Фадеева. Фадеев целый вечер каялся и плакал, он молча слушал. На другой день оделся, пошел к Фадееву и сказал: Саша, ты не бойся, я никому не скажу. Пепел Бабеля, Пильняка, Кольцова стучался в сердце. Ставский сказал: Боря, я прямо, ты хочешь опровержение, я пошлю, его не напечатют, но тебя посадят: вместе с тобой посадят и меня, тебя за протест, меня за подлог. Вот почему

Т А К

Н А Д О.

А цитата с кавычками — это дышло, куда повернул, туда и вышло. Этому нас учил Переверзев. Это было в 1936 году. В 1946 году Переверзев был в-Потьмах. В 1956 году Переверзев читал "Начтвор"а. В 1976 году Переверзев умер. Переверзевщина для него был пройденный этап.

Рычаги рычали, а муравьи молчали. Сколько доброты в молчании? Сколько хочешь услышать. Все зависит от. До тех пор буду повторять, пока не кинут жирующие зайцы на снег опущенных крапин следов. Пейзажам он учился у Салтыкова-Щедрина и Шолохова. На второй комнате висел список студентов: 1/ Е.Онегин, 2/ Г.Печорин, 3/ И.Головлев. Сэ муа! — стучал в комнату девушек полудуфранцуз, полупоэт. Дай свои брюки, ты все равно рано ложишься спать, а я поеду в Дом правительства собирать членские взносы с Гали Куйбышевой. Удивляюсь, почему он не классический поэт. Одесский франт и барахольщик уже ушел. Очередь за кем? Вы будете за мной. А был бы браунинг в "Вопросах ленинизма", и для вас и для ваших товарищей все кончилось бы еще 8 декабря 1938 года. Шестой этаж забыл усачевскую Богоматерь. Жена одного и мать другого приходили потом к коменданту в кладовую за вещами и книгами. Куда ж делся все-таки портфель? Трехтомник Белинского попал к В.Панкову. Читал, выписывал и делал выводы. Опыт большой. Не в первый раз. В песенке Джойса Навуходоносор стоит рядом с пролетариатом. Унасекомили Швейцарию? Это было гораздо позже. Было где-то про погибшие романы, я уж не помню где. Провалы памяти у меня регулярно через день. Плохой период — это каждый день провалы памяти. Пики — стучит машинка. Завтра машинка не будет работать. Завтра с отвращением вспомню о погибших романах. Завтра: ты меня не трогай, я посплю.

2I и послед.

Ой, не надо так скрыпеть, прямо по нервам!  
Читал охотно в Апулее только одну страницу. Про осла  
и укротительницу осла в цирке. Латинский шрифт в сле-  
дующий раз. Резать бумагу было удовольствие. Было.  
Ого, 7 часов подряд, не вставая, почти не вставая.  
Тоже не метод.

ТОЖЕ НЕ МЕТОД



*Примечания:*

Небольшой текст Павла Павловича Улитина (1918–1986) «Капричос» представляет собой в оригинале 21 страницу машинописи формата А5, обернутых сложенным вдвое листом формата А4 с надписью «Для ННД / 21 стр.» Предоставлен Н.Н. Садовой.

Как обычно у Улитина, текст полон отсылок к обстоятельствам его биографии, реалиям московской культурной жизни того времени; цитат, аллюзий и намеков, многие из которых мы пока не в состоянии объяснить.

1

*Усачевское общежитие* студентов ИФЛИ.

*"Гепругелте Ворте"* – Geprugelte Worte / Rosie, Paul (1910–1984). – Berlin: Eulenspiegel-Verl., 1958, 1.-5. Tsd. Карикатуры.

3

*"Рожденные звездой"* – роман Г. Уэлса (Star Begotten, 1937).

3 МВ – третья мировая война.

Но.-Со. – Ю.А. Нолев-Соболев.

*Детективная история* – текст Улитина 1960 <http://www.rvb.ru/ulitin/detectiv/>.

4

*"Арбайтер-Иллюстрирте Цайтунг"* – Arbeiter Illustrierte Zeitung или AIZ, антифашистский иллюстрированный еженедельник, выходивший в 1924-1933 в Берлине, затем до 1938 в Праге.

*Братья и сестры, к вам обращаюсь я, друзья мои!* Через 24 года после этих слов – речь Сталина в 1941; 41+24=65.

5

*калужский паустовский* – м.б. "Мы не можем себе даже представить какая бездна таланта, ума, сколько прекрасных людей погибло по вине Дроздовых. Если бы они существовали, то, думаю, у нас был бы подлинный расцвет культуры" [http://www.rvb.ru/ulitin/detectiv/ulitin\\_detectivnaya\\_istoriya3.htm#285](http://www.rvb.ru/ulitin/detectiv/ulitin_detectivnaya_istoriya3.htm#285).

в Лопухинском переулке находилась после войны Библиотека иностранной литературы.

6

*Рудек получил 2 группу. Так кончилась цена головы* – Ян Рудек – персонаж романа Ж. Сименона «Цена головы» (здесь обозначает знакомого ППУ).

7

*мосье Шалон* – персонаж рассказа А.Моруа "История одной карьеры" из книги "Фиалки по средам" (М., 1964).

9

*Мандэб выпустил книгу стихов и успокоился* – имеется в виду Коржавин (Мандель), его единственная книга до эмиграции: "Годы". М.: Сов. писатель, 1963.

12

я еще без поправок эту книгу издам – Б. Слуцкий, «Лакирую действительность...».

16

дайджест по Кукриджу – Е.Х. Кукридж. "Тайны английской секретной службы". М.: Воениздат, 1959.

Последняя книга Савинкова написана во Внутренней Тюрьме – «Рассказы», сатирически изображающие жизнь русских эмигрантов.

ТУТ ЛОШАДИ ЗАРЖАЛИ ВОЗРАЖАЯ – заржали кони, возражая (Б. Слуцкий, «Лошади в океане»).

17

"Хабаровский резидент" – текст Улитина, дайджест см. [http://rvb.ru/ulitin/khabarovskiy\\_rezident/](http://rvb.ru/ulitin/khabarovskiy_rezident/).

18

"Ариадна, сестра..." – рассказ А.Моруа из книги "Фиалки по средам" (М., 1964).

же ман-фиш – фр. je m'en fiche ((мне) наплевать).

метод Огино – метод Огино-Кнауса, календарный метод контрацепции.

20

"Начтвор" – очевидно, текст Улитина; упоминается в "Куске Лондона"

Переверзев Валерьян Фёдорович (1882–1968) – в 1934–8 преподавал в ИФЛИ, 1938–56 репрессирован (Колыма, Минусинск, Александров, Красноярский кр.).

пока не кинут жирующие зайцы на снег опущенных крапин следов – из "Поднятой целины".

Одесский франт и барахольщик – ср. магдебургские полушария З в книге "Ошибка пекинской тюрьмы" <http://www.rvb.ru/ulitin/oshibka/>.

*Подготовка текста и комментарии И.А. Ахметьева*

## ОЛЬГА КОМАРОВА

Ольга Комарова (1963–1995) – автор из круга московско-ленинградского андеграунда. Ее рассказы, печатавшиеся в «Митином журнале» в конце 80-х годов, были собраны в книге «Херцбрудер» (1989). В начале 90-х обратилась в православие и запретила издавать свои тексты. В конце жизни была сестрой милосердия в сестричестве во имя царевича Димитрия при Первой Градской больнице. Погибла в автокатастрофе, похоронена на территории храма свт. Николая в Подмосковье, село Федоровское.

Неопубликованный рассказ «Виолетта» найден мной в квартире матери Ольги Комаровой на Парковой улице в Москве.

Выяснилось (сообщила мать), что какие-то неопубликованные тексты могут находиться у подруги Комаровой – Екатерины Д., но получить их невозможно, потому что Екатерина Д. на религиозной почве «впала в прелесть», устроила у себя дома «маленький монастырь» и не идет на контакт с миром; к тому же, она вряд ли отдала бы мне тексты, так как Комарова категорически отреклась от написанного и поставила об этом в известность всех своих подруг по вере. Чемодан с рукописями она незадолго до смерти вынесла во двор и сожгла. Духовник Ольги Комаровой протоиерей Аркадий Шатов (сейчас он епископ Пантелеимон) сообщает:

«На следующий день после ее смерти звонил патриарх (Алексий II). Словами из Нового Завета сказал о том, что не нужно скорбеть... С одной стороны, общину нашу она переросла, и в Федоровское поехала, потому что искала более строгой жизни, большего общения с Богом. А в монастырь уйти тоже не могла. (...) Отец Иоанн Крестьянкин сказал, что раз Оля всегда слушалась, значит, все делала правильно, значит, блаженна ее посмертная участь».

*Олег Зоберн*

## ВИОЛЕТТА

Виолетта. Когда я впервые услышал, что она Виолетта, я хохотал до упаду. Имечко такое, что можно хоть человека убить — Господь Бог все равно не догадается, кого наказывать, и непременно ошибется в своем возмездии. Как это она говорила? Нет, писала... «Проклятие вульгарной цыганки (пустячок, клякса, просто за то, что ты дал ей копейку, потом рубль, а пятерку не дал — случайность, событие, вовсе не обусловленное твоей предшествующей жизнью) быстро свело бы тебя в могилу, беспричинно изменив ход сюжета, но она не знает же, как тебя зовут, а потому просто пугает...» — Фу, как там дальше... Черт, помню же наизусть... — «...пугает, как если бы чахоточный кашлянул тебе в лицо через тонкое стекло или тончайшую пленку, а Господь Бог — та же цыганка».

Виолетта — это как раз кличка, подходящая для воровки или проститутки. О да, под кличкой мы ни судье, ни священнику не известны, а потому ненаказуемы — Виолетта знает об этом, но покорно соглашается не грешить. Нет, она не осуждает, она только опускает молча глаза, подразумевая, что мы все сообщая ухватим ее за чересчур густо покрашенные ресницы и что есть силы потянем кверху, вынуждая ее тем самым против воли глядеть на то, на что глядеть стыдно, то есть на белый свет и на нас в нем.

Я познакомился с нею летом на рынке. А ведь подошел же я к ней — сейчас готов даже сам себя избить — а ведь подошел, увидев за прилавком декорированную девицу с романом м-м де Сталь (по-французски) под мышкой. Она продавала черную смородину по пять рублей, нежно прижимая к себе изящный томик. У нее был немного слишком высокий, будто с залысинами, лоб, прямой чуть заостренный нос, тонкие губы и в уголках рта — складки от вымученных улыбок. Ресницы, короткие и круто загнутые, были как у всех подмосковных жительниц, бессовестно покрашены, а волосы, от «химии» мелко вьющиеся, зачесаны назад и закреплены черным пластмассовым ободком. При этом она была даже как-то парадоксально красива, но несколько угловата, словно все ее кости были когда-то поломаны, а тело помято в тесной электричке таким образом, что какой бы то ни было шарм в этом существе был навсегда невозможен. Спасибо хоть на футболке, кроме глубокого выреза, ничего страшного — ни портретов, ни фирменных знаков — не было.

Она обрушивала на покупателей такой водопад приветствий, извинений, благодарностей и профессионально-услужливых ужимок, что те вообще не понимали, где находятся. А вокруг гуляли грязные рыночные голуби, давя красными лапками черную смородину на жирном асфальте.

И вот — как я попался на эту «Коринну» под мышкой? Попался... А если перевести Коринну с французского на язык пригородных электричек, то получится как раз Виолетта — и мы познакомились. Она закурила кубинскую сигарету и произнесла речь не то о концептуализме, не то о диссидентах — ясно, что без этого девушка обойтись не может, если ее нашли не в библиотеке, а на

рынке. Потом она сдала весы, для чего пришлось долго стоять в очереди — а ушли мы вместе. Я предложил зайти в кафе-мороженое, но она поймала такси и укатила заниматься в Историчку.

Позже я узнал, что она торговала этой смородиной из маленького мамино-го сада только один день, а в Историчке побывала два раза за все лето. У нее была какая-то чисто символическая работа, кажется, на полставки, а так — она не делала ничего, и лень, похоже, была для нее синонимом невинности.

...Нет, я ничего не понимаю, ведь эта девица может писать гораздо лучше меня — отчего же она не пишет? Возьмется, может быть, раз в несколько месяцев — сочинит нечто такое, что я с ума схожу от зависти и восхищения. Сочинит, начнет править и вдруг бросит — да, конечно, сейчас придет некто добрый и доделает работу за нее. Или оборвет фразу на полуслове и сядет у моих ног, преданно тараша на меня глаза. А я занят — я пишу какую-то газетную пошлятину или заведомо несносный сценарий для телепередачи, ну, в лучшем случае, перевожу что-то. А она трется щекой о мое колено и шмыгает носом. Не пачкай мне джинсы своей пудрой, любимая — тыфу! Я занят, у меня работа. Зачем ты делаешь такие дурацкие глаза? Я встаю, отбрасываю свою рукопись и беру ее листочек — черт, дура, садись и пиши — чего ты хочешь от меня? Ты наглая, Виолетта, твоя неблагородная праведность мучительна и скучна, как пародийное бабское резонерство. Ты знаешь, я не вижу, знаешь, как надо — и ничего не делаешь, потому что как только человек переступает границы первобытной лени — он начинает грешить, ибо в предметном мире нельзя шевельнуться, не тронув предмета и не вызвав тем самым вполне реальной мести, которая есть не более чем инерция. Ты думаешь, ты единственная, кто боится уродующей мести вещей?

Девочка-фиалочка живет, не оставляя следов и паразитируя на чужой инертности. Она даже не в состоянии себя содержать — ни материально, ни морально. Что вы, Виолетта не может писать для газет, Виолетта бережет свою гениальность до лучших времен, когда прочие (значит, мы все) ценой — не скажу нравственных, — а скорее личностных потерь приобретут себе взрослость и солидность, ну, Виолетточка, совесть ты наша! — и сложат к ее ногам лавровые венки, может быть, не совсем честно по отношению к собственному Я завоеванные, и золотые монеты — причем почившая на лаврах праведница сквозь сон намекнет им, что лучшего применения для своих дурно пахнущих даров им никак не найти. А заодно им (нам, значит) придется поработать на нее, исправляя орфографические ошибки и трогательные стилистические ляпсусы, потому что Виолетта устала, обороняя свою невинную леность, и до таких мелочей ей нет дела.

До моего появления она еще как-то держалась: пустяковая должность в маленькой конторе не слишком обременяла ее, оставляя достаточно времени и сил, чтобы читать, писать и ходить в гости. У нее были какие-то знакомые в Москве, хотя и не было своего круга — ее, «загородную», не желали и не могли считать равной себе люди, с которыми ей хотелось бы общаться — и она играла

в одиночество, пинками отгоняя от себя навязчивых женихов и провинциальных подружек. Она всячески оберегала себя и от своего дурацкого имени — не хотелось верить, что вот, детка, родилась Виолеттой, так и живи теперь. В ее предложении отказаться от всего — единственное спасительное решение. Но притащить с собой на рынок потрепанную Жермену де Сталь — это еще на всякий случай можно, потому хотя бы, что даже я не сразу смог распознать могучую стихию пошлости и безответственности в таком поступке, а это, разумеется, было рассчитано на меня, ну, не на меня лично, а на ту совокупность положительных знаков, появление которой в жизни Виолетты было предопределено (затребовано, если хотите) тщательным подбором минусов, освобождающих в ее сознании и судьбе место для некоего совершенного существа — как бы гения и редактора в одном лице, каковым, по ее мнению, я и являлся. Присутствие такого «идеального меня» должно было обеспечить Виолетте возможность вовсе исчезнуть вместе со своим именем, безграмотностью и непреодолимо дурным вкусом, который не дает о себе знать только при условии полного бездействия. И вот она долго выковыривала и выцарапывала из себя все, что имело отношение к ее собственной жизненной инерции и приготовила наконец в душе такую огромную и аккуратную пустоту, которую можно было бы назвать **НЕСАМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ** **ВООБЩЕ**, если бы эта несамостоятельность не имела конкретных претензий. Вот вам афоризм: женственность есть разновидность наглости. Не комплекс неполноценности, а просто неполноценность — Виолеттина ущербность или выщербленность, формирующая меня против моей воли. Непристойная женская активность, глас вопиющего, только не в пустыне, а прямо в ухо. Чтобы как-то успокоить Виолетту, я обязан был заменить ее собой, взять на себя заботу о драгоценных плюсах, вытянутых из меня ее ненасытной ленью, то есть любить и лелеять эти плюсики (не дай бог погнуть у них палочки!), и при этом сохранить способность к творчеству — Виолетте не нужен самодельный божок — ей подавай творца, но согласившегося посвятить себя тому, чего сама она сделать или высказать не может, а может лишь нечетко наметить (я только глупая женщина, Тонио Крегер...).

Может быть, вы успели заметить (а в дальнейшем это станет еще яснее), что мои рассуждения о Виолетте, особенно касающиеся ее литературно-языкового таланта, несколько противоречивы, но, поверьте, в ней действительно странным образом сочетались единственность и неопределенность, глубокое проникновение в тайны языка и бесцеремонность нищенки, а самое удивительное — наивная жажда переживаний и холодное фигурство.

Если бы я мог выразиться понятнее, я был бы счастлив: сформулировать и забыть — вот что мне нужно. Но для этого надо быть таким, каким хотела меня видеть Виолетта — совершенным и удачливым — а я не такой, и поэтому я только записываю — отсюда и противоречия...

Постепенно Виолетта перетаскала в мою квартиру свои шмотки и рукописи, потом и вовсе переехала ко мне, поругавшись (из-за меня же) со своими домашними и вклеив матери пощечину (она долго плакала потом, но ее мать сказала про меня такое слово...).

Мы все продолжали знакомиться — вели бесконечные разговоры по ночам, и в большинстве случаев наши взгляды совпадали — не зря же был затребован именно я! Зато когда она в чем-то была со мной не согласна, когда я говорил что-то лишнее, в ее представление обо мне не укладывающееся, я мгновенно терял собеседницу — Виолетта вздыхала, ежилась, делала большие круглые глаза, глядела на меня умоляюще, вовремя — не вовремя тащила меня в постель и позволяла чуть не какать себе на голову, выражая таким издевательским способом свой якобы глубоко скрытый упрек.

Писать она не бросила, но отныне ее сочинительство было обращено только ко мне: она звала меня ответить ей так, чтобы забылась ее просьба и остался только конечный результат — плата за предопределяющее восхищение. Сама она ничего не доводила до конца, плакала, жаловалась на бездарность, на неспособность сосредоточиться, даже не пытаясь как-то замаскировать очевидную неискренность. Иногда я просто не помнил, что у меня вообще-то есть своя работа, и Виолетта не в праве требовать от меня, чтобы я занимался эстетическим оправданием ее бесплодности. Интересно, не мучила ли ее совесть?

Меня совесть мучила. «Да, дорогой, я очень завидую твоей будущей жене, но прекрасно понимаю, что это буду не я — и вовсе не собираюсь насильно тащить тебя к алтарю...» Снова упрек-приглашение... А я...

Даже во сне я ни на мгновение не забывал, что у меня на плече дремлет не ласковый котенок, а несуразная писательница, отказавшаяся от литературы и от всего остального тоже — нет, не ради меня, мне вообще не ясно, чего ради — а меня использующая, как наиболее легкое (легкое ли?) объяснение своей лени, как паровоз, в конце концов...

«Я действительно считаю, что ты думаешь обо мне слишком хорошо, так же как мне иногда кажется, что ты считаешь меня красивой только из-за своей близорукости. Это так, но... Когда я не играю в самоуничужение, мне приходят в голову замечательные, чуть тронутые вульгарностью, идеи, которые заведомо красивее твоих, строгих и чистых. Также мои переживания сильнее и острее твоих, хотя всякая экзальтация — позор. Чего-то я не получаю в ответ, чего-то тебе для меня жалко, а это порождает отвратительную душевную неудовлетворенность. Потому я и боюсь отойти от тебя, потому требую постоянных подтверждений того, что ты у меня есть. И в то же время я не хуже, а лучше тебя понимаю необходимость и неизбежность одиночества и противоположность Liebestod.

Если благополучие есть неременное условие благородства, то вульгарность — следствие вечного пребывания в Африке, куда изредка ходят погулять непослушные дети во главе с Н. Гумилевым. Там, конечно, бродит весьма изысканный жираф, но всю воду давно выпили, и нет возможности принять душ. Ну есть ли надежда на преодоление гротеска, если, сударь мой, я вам Африка, а вы мне — благоустроенный особняк в тенистом саду? Или я ошибаюсь — в особняке пока нет электричества и удобства во дворе?»

Во дворе, Виолетта, да. Убийственно. А за что? А что? Я получил диплом с отличием, хорошую работу и успел сделать себе имя — пусть пока в узком кругу профессионалов, но это дает право надеяться и т.п. Я не вижу в этом ничего дурного. Да, мой талант несколько покорежен, да, я в свое время чем-то поступился (частью себя?), но взамен я получил материальную (извините) независимость, какое-то признание и — о ужас! — Виолетту, как живой упрек непонятно в чем — ведь она же не морщилась, когда ела мой хлеб, заработанный литературной халтурой.

Нет, она не умерла от стыда и голода, она повесила мне на шею свою невинность и навязчиво пыталась отвлечь меня от работы, требуя постоянного внимания к себе и с глубокомысленным видом заставляя блуждать по закоулкам ее сознания, нарочно для меня запутанным так искусно, чтобы я не смог оттуда выбраться. Я предполагаю, что ее вполне бы устроило, если б я был старше лет на десять — таким преуспевающим литературным буржуа — тогда я мог бы с большим комфортом устроить жизнь этой свободной исповедницы, нашедшей пристанище в моем доме.

Вот что — традиционная эстетизация действительности привела к тому, что престиж гения вырос до безвкусно преувеличенных размеров. Но я не обязан принимать это на веру. Прежде всего я должен по возможности честным трудом обеспечить себе сносное существование, чтобы не есть чужой хлеб (это касается и морального благополучия). Вывесить флаг безгрешной гениальности над черепичной крышей моего буржуазного дома — это штучки Виолетты. Вот. Еще точнее — важна не работа сама по себе, а то, что она исключает нищенство.

Что же, Виолетта, ради бога — пиши, я дам тебе кров, машинку, помощь с публикацией — только работай. Так нет же, уже не может... Чудесные прояснения при общей аморфности сознания — слабые намеки на то, чем она могла бы стать, с юных лет включившись в борьбу за выживание (я не имею в виду шествие по трупам — или ты зверь, Виолетта, и не можешь представить себе процветания иначе как в результате грабежа и убийства?)...

...От знакомых она избавилась быстро. Все эти люди по одному разу бывали у нас (вернее — у меня в доме, но в гостях у Виолетты). После долгого разговора с ней — я не присутствовал при этом, я работал в комнате, а она принимала гостей на кухне — они тихо испарялись, и больше я их не видел — что уже она им шептала — не знаю, но выглядели они, когда выходили, несколько пришибленно.

«Для меня они были персонажи — не более того. Я собирала и хранила их, создавая своеобразную иллюзию общения, иллюзию моего пребывания в одной реальности с ними, я так развлекалась, но теперь у меня есть ты (подтверди это немедленно, теперь же — хоть побей меня) — и в этом нет нужды. Мне не жалко их — каждый из них когда-то словно на что-то согласился — сначала выбрал ампулу, потом и конкретную роль, а это смерть. Мне вовсе не кажется странным, что все они приходят сюда и покорно выслушивают от меня



любую, даже совершенно произвольную и необоснованную ругань. Я чиста. Пожалуйста — можете показывать меня в музее, пусть даже в голом виде. Я выдержала, дождалась тебя (и что же, Виолетта, ждешь приза?), я не попала ни в какую кабалу (конечно, ты хочешь быть зависимой только от меня, но не от обстоятельств) — меня никто не ждет, я не умею вести себя на сцене, я не знаю текста, и потому — вот, пожалуйста, я в твоей власти, не кто-нибудь, а я — не сделай мне больно. У них у всех есть названия — я легко подбираю для каждого подходящие слова, а у тебя названия нет, у тебя должно быть имя. Человек — имя, а не имярек, только тогда он в состоянии отвечать за свои слова и поступки».

И т.п. — не зови меня этим именем, Виолетта. Это не литература уже, это магия — власть формы над содержанием. Не произноси слов — в нашем с тобой совершенно словесном романе, в котором непременно все формулируется, синтаксическая финтифлюшка или лексическая прелесть настолько убедительны, что диктуют, вопреки року, дальнейшее (по воле автора, а не Автора) развитие событий — и мысль изреченная есть правда. Работай, Виолетта, думай, создавай свое, безупречное, но не трогай уже созданного и не ставь меня в положение Господа Бога по отношению к тебе — ангелу, это вульгарно, Виолетта. Ты охраняешь себя от других, а я берегу других от себя. Других — и тебя тоже. Будь собой, даже если ты считаешь, что называться Виолеттой непристойно. Любая роль хороша, кроме роли бесцеремонной нищенки — не трогай никого и утешайся собой.

«Я, имярек, прошу освободить меня от занимаемой должности и отпустить на все четыре стороны, потому что я подлая зараза — да, так? Каждый последующий факт абстрактно вытекает из предыдущего, так что сотрудник такой-то уволен по статье о подлых заразах и, возможно, четвертован, но где гарантия, что это тот же? Или — венчается раб Божий имярек рабе Божьей имяречке, а поскольку расписывается в ЗАГСе он тоже с имяречкой, и нельзя достоверно установить идентичность этих двух дам, то он оставляет за собой (как самое заветное) право плевать на ту и на другую, а заодно и на меня, хоть я ни при чем — сочетание слов, коли оно удачно, может предшествовать мысли, а если эти слова — не имена собственные, то шарлатан со вкусом может, например, проследить развитие человека от питекантропа до филантропа, но я не филантропка».

Кстати, Виолетта уволилась с работы. Не было больше необходимости вылезать спозаранку из нагретой нашими телами мягкой постельки и бежать на мороз. Она разнежилась, а в разнеженном состоянии Виолетта напоминает мокрую теплую тряпку...

А как вы думаете, почему она так поступила? Сперва оставила родителей, потом друзей — и вот, теперь службу? Разумеется, всему причиной ее верности и преданности, которые не позволяли ей изменить мне даже в смысле сохранения простых человеческих привязанностей и выполнения служебных предписаний. Приказов она ждала только от меня. Более того, она требовала при-

казов. Это доходило до абсурда — например, гора невымытой посуды в раковине росла и росла до тех пор, пока я не произносил этих слов: Виолетта, дорогая, вымой, пожалуйста, посуду — тут она спокойно, торжественно и в то же время униженно улыбаясь, отправлялась делать то, что я просил (нет — велел).

Единственная моя просьба, которую она не пожелала выполнить — это принимать какие-то меры, чтобы не забеременеть. Вероятно, это вытекало из ее принципа никак не защищаться от меня, а скорее всего — было следствием тряпично-расслабленного состояния, нахальной лени.

Я готов был чуть не вовсе отказаться от физического обладания ею — мне было страшно, и я считал себя виноватым, потому что брать ее замуж не собирался, о чем она прекрасно знала — но ведь не уходила, а только вздыхала и бог весть что выдумывала (не для того ли она ушла с работы, чтобы подчеркнуть свою зависимость от меня?), лишь бы освободить себя от ответственности.

Господи! Да, нищие духом безусловно блаженны, они не трудятся, а только требуют себе рая — дай нам немедленно Царствие Небесное, сделай милость, потому что мы ее не заслужили — и так решительно тянут руку, что, кажется, схватят сейчас за горло, если не получают подаяния... Для тебя, Виолетта, наверное, лучше всего было бы быть паралитиком, у которого подвижны только глаза — я не могу придумать более точного символа твоей требовательной покорности (чтобы не сказать — бездеятельной активности — вот бред...).

Она год нигде не работала и жила у меня без прописки — ей грозили неприятности. Как-то раз ей позвонил бывший одноклассник и предложил место сотрудника на гонораре в какой-то газетке. Она обещала написать небольшой репортаж на пробу и сообщила мне это с видом свергнутой королевы, отправленной на жительство в монастырь — это была не уступка, а демонстрация. Полдня она где-то моталась, вернулась домой в слезах и села за машинку. Нет необходимости говорить, что каждый остервенелый удар по клавишам сопровождался сдавленным стоном. «Все, не могу, — сказала Виолетта, — не могу...» И, рыдая, сползла под стол. Она, конечно, не врала, но у меня не было желания вытаскивать ее из-под стола, где она, повизгивая, тыкалась мордочкой в плетеный бок корзины для бумаг — что ж, дорогая, ты так долго берегла свои душевные силы, что вряд ли теперь возможно, если даже ты искренне (в чем я сомневаюсь) этого хочешь, преодолеть скованность, которая называется отсутствием мастерства, не иначе. Нет... Для Виолетты, теперь-то я понимаю, это означало: не могу на таком уровне, сбавывают скрытые предохранители — хорошо, а на каком уровне можешь?

Ее литературные фрагменты-провокации, которые она продолжала преподносить мне время от времени, превратились в одной ей понятный, синтаксически перегруженный набор тяжелых словесных конструкций, довольно однообразных, представляющих собой как бы расширенный рассказ про глую куздру, причем содержание ее писаний было ничуть не более конкретно. В какой-то мере эта неконкретность заражала и меня — да, годы общения с

Виолеттой не прошли для меня даром. Было и такое, что я часами сидел за машинкой, скрипя зубами и выкуривая по четыре-пять сигарет над одной страничкой, которая потом все равно годилась только на то, чтобы завернуть в нее окурки — так они не очень воняют — и выбросить (та самая моя корзина для бумаг быстро наполнялась сигаретными бычками, завернутыми в смятые черновики), Виолеттино дезорганизирующее присутствие ощущалось всегда — я был близок к сумасшествию, к самоубийству. А она... Виолетта, перед смертью, на исповеди, ты все равно будешь одна... — но нет, она не человек, она бродячая собака, которой я, по слабости, дал приют в своем доме и не решаюсь выгнать ее на улицу лишь потому, что ей действительно некуда идти — собаки не исповедуются, за них спросят с хозяина... Я теряю контроль над собой, даже сейчас я путаюсь, я сбиваюсь, будто за спиной стоит Виолетта... Да, она всерьез играла в собаку. А собака играла в то, что она моя — шла за мной по улице — то убегала немного вперед, то чуть отставала, но ни на минуту не теряла меня из виду — пока я не догадался спуститься в метро...

В метро, куда ей не пройти... Это наваждение длилось уже больше двух лет... Жениться на первой встречной? Уехать? Но как оставить женщину, перед которой я виноват, хоть эта вина и была навязана мне ею... Заставить... заставить ее мне изменить, обратиться на кого-то другого безудержный поток отрицательной энергии? Боже, это подло! Да и невозможно (приходилось ли вам страдать от невозможности совершить подлость?) — у Виолетты не было уже никаких знакомых, ее забыли или постарались забыть даже те, кого она исповедовала здесь на кухне за чашкой чая, мои друзья тоже перестали заглядывать сюда — мы виделись в редакции или в кафе, изредка я ходил к ним в гости — но Виолетта вообще нигде не бывала, она словно чего-то ждала и боялась упустить момент, когда это может произойти. Есть на свете женщины легкого поведения. А она... она женщина тяжелого поведения, такую женщину можно вместо камня повесить на шею, если соберешься топиться.

Может быть, я все-таки должен был... Чуть, не может быть в этом деле никакого должностования. Жена — это другой человек — любящий, родной, но другой, не я. А предстать себя в церкви рядом с этим непонятым созданием (ни дать ни взять — глокая куздра, у нее даже имени-то нет, можно ли при венчании назваться Виолеттой?)... Ужасно...

Жениться на ней — и всю жизнь провести один на один с этим глазастым упреком, поставить под сомнение правильность своих убеждений, вечно плакать и каяться — худшей муки нет. Ненавижу пустые хлопоты и не собираюсь просить у нее прощения за то, что иначе понимаю благородство.

Я не боюсь, что меня сочтут посредственностью — я бы мог (не сейчас, конечно, а раньше) сделаться серьезным и решительным дилетантом, вроде большинства самиздатских писателей, литрами глушить водку, выпрашивая по червонцу деньги у родителей, и творить, сразу, без подготовки, без черновиков, некие литературные шедевры, которые рано или поздно, будучи принятыми за по каким-то идеологическим причинам отвергнутые государственными

издательствами, просочились бы в западные журналы, а оттуда, когда я стал бы уже знаменит, с триумфом вернулись бы в Россию, принеся с собой хорошие гонорары и скандальную (независимо от их содержания) славу. Я мог бы успокаивать себя тем, что не сам отправлял рукописи за границу, не играл в правозащитника — зачем? — это сделали бы за меня другие, те, для кого жизнь в том и состоит — маленькие артисты и профессиональные популяризаторы «левого» искусства. Поверьте, на все это у меня хватило бы ума и таланта, и, может быть, в этом случае душевных потерь было бы меньше — но, простите, до чего же такой путь аморален! Я выдвигаю крамольный (с точки зрения богемы) тезис: человек должен работать не только ради культурного или общественного прогресса, но и (возможно — в первую очередь) для того, чтобы обеспечить самого себя, свою семью, а при необходимости и родителей. Хорошо, если при этом он может заниматься своим настоящим делом, хорошо, если это не идет в ущерб его творческой потенции, но если ты гений, и в то же время мучаешь мать и используешь жену в качестве дойной коровы (как же, она обязана сама приносить в дом деньги, а себя — в жертву мужу, она ведь только служанка его таланта!), то для меня ты не гений, а дерьмо, и творения твои имеют соответствующий запах — это все равно как великие полотна эпохи титанов-гуманистов (которую принято уважительно называть Ренессансом) кажутся мне зараженными сифилисом. Вот и сочтите меня посредственностью, а все вышеизложенное — проповедью буржуазной морали, но, по-моему, только выродок может за одну лишь красоту простить женщине то, что она шлюха.

Уверен, что Виолетта скорее оправдала бы меня на пути воинствующего диетантизма и самолюбования — но вчуже, потому что она ни за что не стала бы такой женой-жертвой (ее жертвенность совсем иного рода, выбрала же она меня, литературного поденщика, а не какого-нибудь пьяного и бездомного, зато полного небесно-творческих сил поэта) — она прощает всех, кроме меня, называет какими-то именами, покровительственно улыбается и — прощает.

Прошло еще время, я чувствовал себя уже совершенно больным, я ни одной мысли не в силах был додумать до конца, работал машинально, меня спасала лишь ненавистная Виолетта, единственная человеческая инертность.

Я был на грани полного краха — и принял решение расстаться с Виолеттой, потому что жить с женщиной, которую ненавидишь и от которой вынужден постоянно защищаться, еще более безнравственно, чем выставить ее за дверь. Не осуждайте меня, моя потерянность неизбежно повлекла бы за собой окончательную утрату работоспособности, и тогда Виолетта все равно осталась бы без поддержки, и нам обоим пришлось бы — нет, не бедствовать, это можно легко пережить — а нищенствовать...

Уже больше месяца я вообще никак не отвечал на ее ласки — мысль об интимной жизни с ней была мне омерзительна. Я принял решение, но ей не мог пока об этом сказать. И тут случилось то, чего я уже перестал, просто забыл бояться — Виолетта оказалась беременной.

Она не устраивала истерик, она просто вошла в комнату и протянула мне бумажку... Это было направление на аборт. У меня потемнело в глазах, я едва

не потерял сознание. Что ж, так и надо мне — наказанием за грех является еще больший грех, где блуд — там и убийство. И что теперь делать? Позволить это, свалить все на нее? Она честно предоставила мне такую возможность, сама предложила этот катастрофический выход из положения. Но ведь я по собственной воле ложился каждый вечер с нею в постель... Запретить? Порвать направление, расцеловать ее с лицемерной нежностью, и — о Господи! — Виолетта сделала бы матерью моего ребенка. А это означало обречь неродившегося еще человечка на уродливо-безумную жизнь в мире Виолеттиных литературных формул и моего вечного страха, а этого тоже нельзя.

Я ничего не стал делать, я смирился с мыслью о неизбежности греха, и Виолетта на три дня исчезла из дому. Я проклинал себя и все на свете, я зарывался лицом в подушку и бил эту подушку — и себя по ушам и затылку — я не подходил к телефону и не выходил на улицу.

Виолетта явилась, еще более тихая, чем всегда, и села на маленькую скамеечку, положив голову мне на колени. От нее пахло лекарствами и еще чем-то — незнакомый мне запах наводил на мысль о разлагающихся трупах. Я столкнул ее голову с моих колен, и при этом моя рука коснулась ее влажной и липкой шеи.

В эту минуту мне показалось, что я свободен. Я пересел к столу, придвинул к себе машинку и хотел было снова начать работать, но что-то мне мешало, я не мог еще понять, что. Рука, которой я оттолкнул Виолетту, непроизвольно сжалась в кулак, она была еще влажной и липкой. Я пошевелил пальцами, подул на руку, но чувство, что она грязна, не пропало. Я замер, глядя на свою ладонь, и чем больше смотрел, тем более жуткой и мерзкой она мне казалась. Я встал и, держа руку подальше от себя, отправился в ванную — мыть ее горячей водой с мылом. Когда я снова подошел к столу, у меня все равно ничего не вышло с печатаньем — теперь и машинка была грязной и противной, как шея Виолетты. Я намочил ватку и протер машинку, особенно с той стороны, где до нее дотронулась моя правая рука. Потом вытер ее насухо фланелевой тряпочкой, на всякий случай выбросил поскорее эту тряпку и еще раз вымыл руки, забрызгав мыльной водой манжету сорочки. Теперь все мое внимание сосредоточилось на этой манжете — я даже хотел сменить сорочку, но опомнился, и мне пришло в голову, что я веду себя сейчас, как сумасшедший или невротик, страдающий мизофобией (если не ошибаюсь, так называется этот вид навязчивого страха). Но неужели я не могу овладеть собой, я же, в отличие от психа, все-таки осознаю неадекватность своего поведения... Нет, клетчатая манжета, на которую перенеслось мое отвращение к Виолетте, притягивала к себе мой взгляд, и если усилием воли мне удавалось отвести глаза, я все равно чувствовал ее на запястье, как постоянно раздражающую меня гадость. Никогда бы не подумал, что это так ужасно... Я переоделся.

И тут я посмотрел на живую Виолетту. Она сидела с ногами на кровати и внимательно следила за мной.

Потом мне стало еще хуже. Я купил раскладушку и поставил ее в угол, отгородившись от Виолетты шкафом. Но поздно — в доме, кроме этой раскладуш-

ки, не было вещи, которой Виолетта не касалась бы много раз; все мое белье, на вид такое чистое и свежее, было стирано Виолеттой, а значит, испачкано еще больше — и меня не спасало то, что я старался передвигаться по квартире осторожно, ни до чего не дотрагиваясь. Мое собственное тело было мне противно — совершенно невозможно было отмыть его от прежних Виолеттиных объятий... Да будет двое одна плоть — сбросить бы, хоть ножом соскоблить с себя эту чужую, неуютную, колющую меня направленными внутрь невидимыми шерстинками кожу, остаться до конца, до костей обнаженным — но тут мимо пройдет Виолетта, до меня донесется ее запах, и я не буду уже чистым.

Да — бред. Но вызванный этим бредом реальный дискомфорт делал для меня недоступной хотя бы минуту покоя — я не мог спать, мне снилась она.

Виолетта не пыталась больше заговаривать со мной, перестала писать мне литературные письма, перестала заниматься хозяйством — похоже, она все поняла, и с каждым днем сильнее и сильнее сжималась, будто для того, чтобы занимать в комнате как можно меньше места, но опять-таки не уходила, а только втягивала голову поглубже в плечи, так что казалось, что плечи вот-вот сомкнутся над ее макушкой.

Вот тогда (учтите, я был болен) мне и пришла в голову странная мысль, что Виолетта, несомненно, колдунья. Слишком сильно было ее влияние на меня, слишком силен мой страх перед нею — нет, она не была обыкновенным человеком.

Почему любая, написанная или произнесенная ею когда-либо фраза имела надо мною такую необъяснимую власть? Откуда эта сила в ее довольно случайных, зачастую стилистически неверных формулировках — мне и не снилось ничего подобного... Единственность высказывания... Что-то из древности, из тех доавиловских времен, когда язык не утратил еще своей магической сущности — когда слово было тем, что оно означает, и названия могли отождествляться с предметами... Только... Если мысли твои неясны, если тебе не надо предугадать, как отзовется слово, то молчи, не мучай меня, будь скромнее...

И она замолчала. Но сгустившееся в воздухе безумие действовало уже само по себе, без ее приказа. Оно было живое, и сама Виолетта уже не знала, как с ним справиться.

А я тем более не видел выхода, я был готов ее убить.

А произошло все так. Несколько дней я никуда не выходил и не ел ничего, и вставал со своей раскладушки только для того, чтобы справить нужду. Виолетта целыми днями сидела на кровати и курила, а я и не курил даже. Квартира была устрашающе грязной, мухи давно подружились с тараканами, которые в любое время суток не стесняясь бродили по полу, покрытому равномерным слоем пыли, как по снежной целине. Я, лежа на раскладушке, видел тарелку, стоявшую рядом на полу — в ней, не знаю сколько времени назад, был суп. Я сварил себе суп из пакетика — когда-то, я не помнил, когда это было, но помнил: это последнее, что я съел. Виолетта перестала есть еще раньше и выглядела, как щепка с глазами... нет... как веревка с ресницами... нет...

Нет, я здоров сейчас, просто я должен вспомнить, как это было.

Однажды я встал, оделся и, пошатываясь, вышел вон. На улице я сделал всего несколько шагов — от подъезда до табачного киоска. Купил сигареты, спички. Потом попросил еще десять коробок, помедлил — и еще двадцать. Тридцать коробок спичек — может быть, этого хватит, чтобы отравить человека. Далее — все пошло непонятно как, словно это было не на самом деле, а в душе, самом непродуманном из Виолеттиных произведений.

Дома я заглянул в кухонный шкаф и нашел там немного гречневой крупы, высыпал ее в кастрюльку и поставил пока на стол. Потом взял стеклянную банку и, вытряхнув в нее спички из каждой коробочки, залил теплой водой, сел и стал мешать все это ложкой, держа банку на коленях. Постепенно вода окрасилась в коричневый цвет, и я вылил в кастрюльку с крупой коричневый раствор красного фосфора, стараясь, чтобы ни одна из вымытых спичек туда не попала. У меня оставалась еще коробочка — тридцать первая. Я зажег газ. Пока варилась эта каша, я все смотрел сквозь баночное стекло на мокрые палочки. Странно, неаппетитно пахло мое варево, но я не чувствовал тошноты, я отметил только, что едой это не пахнет. Я был туп, но я хорошо помнил, что Виолетту надо убить.

Через полчаса я вывалил темную массу в тарелку. По цвету она мало походила на гречневую кашу, но меня это не волновало. Получилось много, с горкой. Я зачем-то разыскал в холодильнике старый, провонявший кусочек масла и бросил его сверху на эту горку. Я оглянулся — Виолетта стояла за моей спиной, ноги и руки ее дрожали, вероятно, от истощения.

Молча указав ей на стул, я поставил перед ней тарелку каши. Она, не глядя на меня, вынула ложку из банки со спичками и, медленно погрузив ее в кашу, принялась размешивать масло. Я сидел напротив и ждал. Она, по-прежнему не поднимая глаз, открыла рот и поднесла к губам полную ложку...

И... Я понял, что Виолетта давно готова к этому и не собирается сопротивляться убийце. Ленъ — лучшее качество для жертвенного животного... Я вскочил, закричал, выбил ложку из ее руки, смахнул тарелку на пол и затем, схватив Виолетту за волосы, запрокинул ее голову назад, заставил открыть рот и пальцем выковырял несколько гречневых крупинок, которые успели туда попасть. Потом я снова сел.

Еще день мы просто слонялись по квартире.

Когда мы снова оказались вдвоем на кухне, мы увидели, что каша на полу уже высохла, а вокруг, прижав лапки к животикам, валяются дохлые тараканы.

«Сейчас мы устроим фейерверк», — сказал я, вынул из кармана спички, зажег одну и бросил в пропитанную фосфором кашу. Пламя взметнулось почти на полметра вверх. Виолетта вскрикнула, потом расхохоталась, я тоже не сдержал смеха, и мы, повизгивая и постанывая от хохота, принялись затаптывать огонь...

...Мы долго и истерично целовались, потом я поднял ее на руки...

Утром Виолетта вымыла пол, причем я помогал ей двигать мебель, вытерла пыль везде, замочила белье. Я впервые за долгое время вымылся, переоделся и пошел за покупками.

Она встретила меня, свеженькая, веселая, мы вместе приготовили обед и долго ели, сидя друг против друга.

Вечером случилась маленькая смешная неприятность: Виолетта бросилась меня целовать, так страстно, что сломала мне зуб — почти совсем выбила. Я почему-то настолько умилился этому, что решил скрыть от нее досадное происшествие, наглотался анальгина и заснул, поставив будильник на шесть часов, чтобы с утра занять очередь в платную стоматологическую поликлинику, где выдавать талоны к врачу начинают в половине восьмого, но если не прийти заранее, то можно и не попасть.

Проснувшись, я первым делом придавил кнопку на будильнике, чтобы резкий звонок не испугал Виолетту, и осторожно выбрался из-под одеяла. Виолетта дрыгнула ногой и перевернулась на другой бок. Я нежно — только нежно и никак больше — погладил ее по голове и почувствовал в своем теле какое-то тепло, которое медленно растекалось от позвоночника по плечам, рукам, ногам — до самых кончиков пальцев...

Погода была невыносимой. Дождь, ветер — все самое неприятное, что только бывает, когда надо час стоять в очереди под открытым небом.

Я оказался десятым. Ничего, можно не волноваться, талон мне обязательно достанется. Но меня пугает, меня просто бесит, что эти люди пришли занять очередь в пять утра, причем одна старушка — в шубе и резиновых сапогах, а другая завернулась в специально принесенное из дому одеяло... Странно... Но и это ничего.

...Было уже 7.20, через десять минут откроется дверь. Там, внутри, можно согреться... Напрасно я не принял сейчас анальгин — зуб опять начал ныть. Я закурил... Нет, я не идиот, чтобы когда-нибудь бросить курить — это помогает от всего, даже от больного зуба: боль сама по себе, а сигарета сама по себе.

Однако уже время. Очередь начинает беспокоиться — то одна, то другая бабка звонит или стучит в дверь.

Открывает обычно уборщица, она приходит совсем рано и зачем-то моет полы с порошком, будто не знает, какие у нас грязные башмаки.

Вскоре пришла медсестра (по виду — Виолеттина землячка, родом из тех же электричек) и тоже стала звонить и стучать. Восемь часов — скоро начнут собираться и врачи. Они сделают что-нибудь, чтобы оставшаяся половинка зуба не болела, и прилепят к ней нечто пластмассовое — будет красиво. Но где? — Здесь, за порогом, нет зубоврачебного кресла, а внутрь не пускают...

Появилась вторая медсестра, постарше, и сказала, что нужно вызвать слесаря, чтобы он открыл дверь — вероятно, с уборщицей что-то случилось. Очередь, конечно, на разные голоса закричала, что, мол, как же, случилось, — просто старуха нарочно держит всех на холоде и вообще выжила из ума — на что медсестра ответила, мол, нечего было так рано приходить, она бы таких нахалок вообще не стала лечить, будь она врачом, — вот как сейчас не пустит



никого!.. Тем не менее здесь же, в толпе у входа, нашелся слесарь, который вызвался открыть дверь за право получить талон первым. Бабульки ему тут же сказали, что никакой он не слесарь, а ворюга, потому что хорошие люди к зубному с отмычкой не ходят, но все-таки пропустили его вперед. Повозившись с минуту, он распахнул дверь, и мы, совершенно уже озверевшие, ворвались внутрь и почти сразу натолкнулись на мертвую уборщицу, распростертую на чисто вымытом полу. Большинство из нас никак на это не отреагировали, потому что замерзли мы настолько, что не в состоянии были испытывать какие-либо чувства, кроме наслаждения очутиться наконец в тепле...

Ощупывая языком целехонький зуб, я шел домой, к Виолетте, и радовался, что все закончилось так хорошо и быстро. Отколовшийся от зуба кусочек не был таким большим, чтобы мне идти к протезисту — все уладил обычный терапевт.

Подходя к дому, я посмотрел на часы — было около десяти, и я решил, раз уж оказался с утра на улице, зайти заодно в редакцию и попытаться объяснить там свое долгое отсутствие.

Нудный разговор кончился тем, что меня простили, поручили в качестве наказания какое-то дело, за которое никто добровольно не брался, и выразили надежду, что подобные инциденты не повторятся.

Едва я переступил порог квартиры, Виолетта с плачем бросилась мне на шею, бессвязно причитая и твердя, что вот она тут так боялась, что я насовсем ушел, оставил ее, а она без меня никак — и т.д.

Пытаясь понять, отчего я в те дни чувствовал себя таким по-идиотски счастливым, я пришел к выводу, что мое тогдашнее состояние сродни тому, какое бывает у ребенка, который долго ревел, выплакал до слезинки всю обиду и теперь вспомнить не может, что его так расстроило. Мы просто устали. Виолетта слишком много сил положила на то, чтобы дразня и кривляясь, довести меня до убийства — должно быть, только так она могла убедиться, что я не плод ее фантазии — а я защищался, как мог — и вот мы оба все прекратили, потому что силы иссякли и мы сами иссякли, и вообще все иссякло.

Отныне мы понимали друг друга без слов, между нами установилась таинственная связь, как между людьми, вместе пережившими смертельную опасность — и вовсе не важно, что это мы сами друг друга мучили, и опасность заключалась как раз в нашей близости. Мы знать этого не желали, мы только хотели всегда быть рядом, потому что никто, кроме нас, в той страшной драме не участвовал — она стала нашим общим хозяйством, и мы не могли сообщить, что совместная жизнь — это не пьеса для двух актеров. Пьеса... Нет, не так — новелла с двумя героями. Наша квартира превратилась в литературно ограниченное пространство, мы снова оказались в начале текста — без прошлого (потому что не знали его, только смутно помнили, что оно было, потому что и у литературных героев бывает прошлое, но, если автор не включает его в повествование, что ж — на то воля автора...), а думать о будущем мы не обязаны...

Милая Виолетта... Ты большое, не помнящее родства существо, ты выросла в маленьком городе, где у каждого есть дом и сад, где люди живут захваты-

вающей жизнью, где девочкам надо только вырасти — больше от них ничего не требуется, потому что их тут же выбирают себе в невесты закалившиеся в безобидном хулиганстве (или — в небезобидном, но тем паче) парни, которые устраивают из-за них драки на танцплощадке и грозятся поджечь дом, если им откажут; потом парни уходят в армию — и можно ждать жениха, а можно влюбиться в другого... Вольно же тебе было оставить все это, задавить в себе прекрасную провинциалку, для которой все всерьез и которой, в отличие от москвичек, есть что выбрать в столичных универмагах, даже духи. Какой насмешливый черт понес тебя с «Коринной» рынок, в Москву, в литературу, чтобы найти там меня, стесняющегося своей сентиментальности и выдумавшего себе для жизни закон, очень близкий к тому, по которому живут мужья твоих подружек, но сформулированный, раз навсегда написанный — закон как художественный жанр. Моя милая маленькая Виолетта!

...И снова приступ нежности — и снова ничего не помню...

Работу я бросил, я был занят лишь Виолеттой. Ни один из нас больше не приближался к письменному столу. А дальше... Я не собираюсь этого подробно описывать — это роман не про любовь, а про любовный напиток. Ни меня, не ее, ни одиночества больше не было, да и неоткуда нам со своим одиночеством взяться. Как долго это продолжалось — не знаю, должно быть, несколько месяцев. Деньги давно кончились — кончились и книжки в шкафу — продать больше было нечего. У нас отключили телефон, потому что мы за него не платили. Я не удивился бы, если б оказалось, что за пределами нашего дома вообще ничего нет — будь там все по-прежнему, за мной давно пришел бы участковый — хоть посмотреть, жив ли я, хоть провести беседу о тунеядстве (правда, я считаю, что тунеядства не было, мы просто проживали накопленный мною для будущего благополучия маленький капитал, но вряд ли он спросил бы мое мнение).

Виолетте теперь вообще не нужно было одеваться. За продуктами и сигаретами бегал я, а она, если не лежала в постели, то всё равно далеко от неё не отходила. Простыни пожелтели — стирать их было нечем, мы сэкономили деньги, да и грязь это была своя, родная, она не пугала нас. С каждым днём наши ласки становились всё более бурными, наслаждение всё более острым, мы глубже и глубже проникали друг в друга, предел звериного счастья отодвигался всё дальше, в бесконечность, в уничтожение, в ничто. Говорить нам было не о чем, беседу заменили лепет, мурлыканье и вздохи разных интонационных оттенков. Думать тоже было нельзя, — а зачем думать, если нет проблем, если сказка про двух любовников без прошлого так скоро закончилась, и наступило то время, которое запросто умещается в короткой фразе: они жили долго и счастливо и умерли в один день...

Они умерли, а я выжил. Клянусь, мне и сейчас страшно думать, а тем более писать о Виолетте, но я выжил, выздоровел. Вот так случился-таки спасительный пустячок — клякса, повернувшая строку вспять, на этот раз наперекор цыганке. Однажды меня постигла неудача в постели. Это было так неожиданно... Виолетта испугалась не меньше моего, мы кричали, кусали друг друга, даже

били, потом успокаивались и начинали снова, но результат был тот же... Мне показалось, что весь мир проваливается в тартарары...

И тут я очнулся. Внезапно, как на картинке, сразу, я увидел всё: безобразно загаженную комнату с прилипшими к стенам насекомыми, пишущую машинку, на которой валялся Виолеттин лифчик, брошенный ею туда, быть может, месяц назад, когда она в последний раз его надевала, чашки с остатками кипятка (чай был для нас слишком дорог) – и всё это было завалено окурками и покрыто сероватым налётом пыли и сигаретного пепла.

Не приведи Господи испытать такое! Я встал, трясущимися руками натянул брюки прямо на голое тело, вытащил – почему-то из книжного шкафа – несвежую сорочку и, одевшись, вышел.

Было темно – вечер. Я поглубже засунул руки в карманы, чтобы не очень замёрзнуть. Попросив у прохожего двушку, я позвонил матери. Что говорил? – что-то говорил – а она обещала сейчас же приехать.

Я долго ещё бродил по городу, а когда утром пришёл домой, Виолетты там не было. Всё, как по волшебству, стало чисто и красиво – ни пылинки. Занавески на окнах – и те были новые, видимо, мама привезла их с собой. Под потолком на кухне на верёвках сушилось бельё. На белоснежной постели – угол одеяла был отогнут – лежала всего одна подушка, чистая одежда висела на спинке стула, чтобы я сразу заметил. На столе, под льняной салфеткой, был мой завтрак. И нигде никаких следов Виолетты.

Я так и не узнал тогда, сделала ли мама это все одна, или Виолетта, перед тем, как исчезнуть, помогла ей...

В ванной я нашел чистое полотенце, превосходное ароматное мыло и новый бритвенный станок, и лезвия, взамен старых, заржавевших.

С наслаждением вымывшись, я оделся, позавтракал и лег спать. Это был последний случай в моей жизни, когда я спал днем.

Постепенно все восстановилось, я опять начал работать, заново познакомился со своими друзьями, только мать почему-то избегала встреч со мной.

Прошло еще три года – все чаще поступали заманчивые предложения от разных издательств (теперь я работал не только как журналист и переводчик, но и как самостоятельный автор).

Я женился. Мать приезжала в ЗАГС, но на венчании присутствовать не могла – была нездорова.

Через год у меня родилась дочь – Саша.

А недавно мне рассказали о Виолетте. Оказывается, моя мать поселила ее у себя, оформив как домработницу. Вот так. Все.

Но Виолетта...

(1989?)

*Публикация Олега Зоберна*

## • IN MEMORIAM •

### АРКАДИЙ ДРАГОМОЩЕНКО

#### ТЕНЬ ЧЕРЕПАХИ

Некоторые реалии, содержащиеся в тексте, свидетельствуют о том, что «Тень черепахи» написана Аркадием Драгомощенко (1946–2012) в начале 1970-х годов. Видимо, незадолго до смерти Аркадий думал о том, чтобы вернуться к этому тексту: он извлек его из старых папок, однако никаких правок или замечок на машинописи не оставил. Надо сказать, что он, в принципе, достаточно осторожно относился к своим старым вещам; с большой долей вероятности можно предположить, что сам он не стал бы публиковать «Тень черепахи», во всяком случае, в том виде, в каком текст зафиксирован в старой машинописи. Но никаких четких распоряжений насчет возможности публикации тех или иных своих произведений он не оставил.

Публикация ранних текстов всегда проблематична. Не станем перечислять известные случаи, от Фета до Бродского, когда публикаторы оказывались перед трудно разрешимыми текстологическими или этическими коллизиями. Но даже если и отвлечься от этого, неизбежно, казалось бы, возникает дилемма: имеет ли «старый текст» некое автономное значение, или же он интересен только «исторически» как некий этап, некая ступень в развитии автора? Иначе говоря, имеет ли шанс эта публикация стать «актуальным» событием, или перед нами всего лишь дань филологической дотошности или дружеской преданности?

Представляется, что по отношению к публикуемым здесь отрывкам данная альтернатива не вполне релевантна. На первый взгляд, это совсем не тот Драгомощенко, к которому мы привыкли (хотя, конечно, последнее слово употреблять не следует: «привыкнуть» к его поэзии трудно, если вообще возможно, она изнутри одушевлена интенцией «непривыкаемости», нередуцируемой «непривычности»). Постструктурализм, Language School, лингвистическая философия — без оглядки на которые трудно адекватно прочесть позднего Драгомощенко, — еще не впитаны, не «переменили помыслы» и отношение к слову. Фрагментарный дискурс апеллирует не к Барту, Витгенштейну или Бланшо, а разве что к Сент-Экзюпери («Цитадель» — хотя и не с прописной буквы — прямо упомянута в тексте) и Розанову. «Умозрительный» пейзаж («...ландшафт нигде не существует реально; являясь по существу фигурой речи» — В. Поляковский) замещается внешне традиционными «описаниями» осени, снега и т. п. Вместо «разру-

шения непосредственно очевидных логических звеньев между предложениями» (М. Молнар) — более или менее плавно разворачивающийся «рассказ». И даже едва ли не самая характерная примета стиля Драгомощенко, навязчивое изменение порядка слов («поэт настойчиво избегает располагать слова в наиболее “естественном” для них порядке» — М. Ямпольский) редуцировано до нечастых, вполне «читабельных» и не привлекающих особого внимания инверсий. И перечень этот легко продолжить. (Оговоримся: перед нами именно поэтический текст; большая часть так называемой прозы Драгомощенко, строго говоря, прозой не является — что еще острее ставит вопрос о поэтическом как таковом).

И тем не менее, неким чудесным образом, по ту сторону всего сказанного и продуманного ранее об этой поэзии — вдруг, толчками сердцебиения, рождается «узнавание»: это и «Фрейд <...> в мятой хасидской шляпе», и «корба лиры», которая вновь появится в «Ксениях», и «я будто прилег напряженной тонкой линией между двумя точками», и зрение, «созерцающее самого себя», и «чтобы мною не был целостен мир», и даже «широкая щель в стене товарного вагона» или «идея провинции»... И прежде всего — тем более яркое на общем вполне «нормальном» фоне — непонимание: «Почему эти слова не идут из головы! Что за ними кроется?»; «Что, если их <книг> смысл, наконец, переродился в какой-то своеобразный орнамент?»; «Что-то мне стало казаться понятным. Но что?»; «Не понять снега, воды, песка»; «и этого мне знать не дано» и т. д. Невербализуемость (и даже почти непереживаемость) — не как дефект языка или восприятия, а как мерцание «иногое», не сводимого ни к языку, ни к миру — мерцание поэтического: «Все, что проплывало, мерцая, не нуждалось в названии, в определении, но тем не менее, мне казалось, что я говорил». Кажимость речи — перед тем, иным, нигде, кроме этой кажимости бытия не имеющем.

Все это заставляет подозревать, что ставшие общими местами в разговоре о поэзии Драгомощенко положения (и в первую очередь те, что на все лады эксплуатируют тему «разрушения субъекта») не то, чтобы неверны, но не ухватывают некое потаенное (и, как оказывается, постоянное) ядро. И именно это «подозрение», возможно, и составляет истинную «событийность» предлагаемого текста.

Понять этот текст (вернее, как раз не понять, а по Аркадию — «понять-но-что»), соединить его неким прерывистым штрих-пунктиром с тем, что уже сложилось в устоявшееся представление об этой поэзии, увидеть этот текст как сам этот то ли соединяющий, то ли разрезающий («линия отреза») пунктир — значит, быть может, приблизиться к поэтическому, очищенному почти до предела, почти до банальности, — ведь поэтическое и является главным «содержанием», точнее, главной проблемой (задачей) всех ветвящихся текстов Аркадия. В том числе и этого, несмотря на всю его кажущуюся безыскусность и даже, порой, тривиальность (если — чего делать не следует никогда, а в случае текстов Аркадия, тем более — верить

автору на слово, принимать его «рассуждения» за чистую монету, именно как рассуждения, а не как манифестацию поэтического, попытку проникновения в него). Кроме того, как сказал по поводу самой этой поверхностной наивности (где-то на середине пути от «Тени черепахи» к «Тавтологи») сам автор: «Банальность юношеских откровений отнюдь не претит и сегодня, вызывая разве что привычное в своей терпкости чувство отрешенной грусти» («Китайское солнце»).

\*\*\*

В публикации сохраняется авторская разбивка текста: перед каждым фрагментом печатается номер соответствующей страницы машинописи как неотъемлемая часть самого текста, перед «большими» фрагментами, внутреннее деление которых произвольно, приводятся через тире номера первой и последней (для данного фрагмента) страницы. Необходимость именно такой формы представления текста (вместо простого отделения фрагментов друг от друга пробелами) диктуется содержательным включением в текст пустых страниц. Как пишет сам автор: «Решил вот сейчас, когда переписываю набело свои замечания, что между страницами со словами буду вставлять чистые листы. Два-три листа ничего не изменят, но все же как-то раздробят ощущение мнимой последовательности, которое может возникнуть». Выпущенные при публикации фрагменты или куски текста отмечаются, как обычно, многоточием (<...>).

А. Б.



Я предпочитаю блеск мельчайшего,  
но действительного события.

*Поль Валери*

0–0а

Кончается лето. Словно переплыли озеро, а когда отплыли, — юной зеленью серебрилась глубина, расчерченная потаенным блеском рыб.

И когда темнели подводные сады, посветела неприкаянная поросль песка — дольше надо было вглядываться в беглую дрожь воздуха, чтобы угадать собственное лицо.

Просто, на первый взгляд. И в самом деле так — было Лето Господне благоприятно.

С наступлением ночей теперь исчезают последние его приметы: сгнули комары, на свету пусто, пар или туман льнет к лицу, редкие бабочки тяжело кружат у двери, но чаще припадают к стеклу и цепенеют, опоенные дремотным вином ночного ветра.

И чаще в утренние часы, будто возвращаешься к забытым мыслям. Трудно назвать это размышлениями... — так, свежесть, сосредоточенность; вернее, готовность.

Подолгу взгляд останавливается на чем-то: капля росы, мокрый обрывок веревки, желтизна, в которой стоит зрачок твой, точка, на глазах превращающаяся в бегущую собаку, тени, следующие за псами, многое другое.

А каждое событие, поступок, мельчайшее действие застывает в прошлом, подобно жесту, лишенному продолжения, — в кристалле прошлого недвижны мы, наклонившие — то ли в недоумении — голову; подносящие стаканы и сигареты к губам, раскрывшие рты, точно слово должно пробежать по устам... но тихо. Очень тихо.

И вообще, все, что было, будет рассказано, неведомо зачем и неизвестно кому.

## 1

Никогда мне не избавиться от какой-то надуманности, никогда не избыть до конца вымысел моей жизни.

## 2–3

Что мы думаем о смерти, как размышляем о ней — не имеет никакого значения. Сколько бы мы ни видели мертвых, сколько бы ни скончалось на наших глазах, ничего, кроме ужаса и чувства необратимой разлуки, нам не понять, не узнать.

Сродни плоду зреет в человеке смутное бессловесное осознание собственной бренности. Воистину, это постижение величия мироздания.

Медленно, в разные сроки, приходит истинное понимание того, что именуется смертью, — крохотным зародышем дремлет в человеке смерть, ожидая часа, когда вслед за первым пробуждением — любовью — пробудит она человека во второй раз и навсегда.

Теперь уже для жизни.

И как иные, прожив жизнь, не слышали о любви, так многие исчезли безвозвратно (словно не жили, не рождались, не видели и не слышали), ни разу не произнося слово «смерть».

И что любопытно: сколько бы ни готовила нас религия, философия, искусство к этим страшным и одновременно прекрасным мгновениям — и смерть порой исполнена неизъяснимой красоты, и любовь подчас несет в себе гибель и разложение — всегда сам человек и всегда в п е р в ы е открывает их для себя.

Опыт, накопленный тысячелетиями, все попытки понять, проникнуть, запечатлеть эти мгновения — ничто, прах, пустой звук, покуда не наступает положенный срок и человек с а м, в п е р в ы е...

4–7

«Восплещем и в Москве феатр сотворим!..»

Поздним вечером, сидя в сторожке, остановился на этих словах. В стеклах билась в размеренном отчаянии серебристо-зеленая мошкара. Я отложил разодранный журнал, где в трех словах пересказывалась для любопытных история русского театра, и едва не повторил вслух:

«Кто к пению способен и представлять, тем надлежит обратиться в канцелярию». Кажется, Московского университета.

— Да что же это такое? — думаю. — Почему эти слова не идут из головы! Что за ними кроется? А если ничего, то почему я уже в сотый раз повторяю их? Будто дверь какую нашел, а войти не могу...

Был некогда на Руси живописатель Васильев. С детства памяты его пейзажи в линючих номерах «Огонька», но особенно памятна картина, названная «Оттепель». Вероятно, помнит ее каждый. И как не помнить? Набрякший, сродни мокрой соли, серый снег. Колеи, налитые водой, низкое небо, избы, крытые почернелой соломой, истлевшей дрянью. Ветлы по обочине, страшные той мертвенностью, какая бывает лишь в марте, — и все исходит сыростью. Воронье граит, скособоченный низкий крест, с незапамятных времен, ставший приютом этому воронью и т. д.

Тотчас на ум приходят акварели и гравюры, запечатлевшие пору, когда и сказаны были слова о «сотворении феатра», и вижу я: город — не город, какие-то толстые спины и опять это низкое небо, сочащееся изморосью, дикостью и одиночеством. Опять какая-то смута, какой-то необъяснимо липкий страх, — Боже мой! Причинна, удавленники, приказы, дьяки — крапивное семя, юрды, блаженные...

Так где же восплещем? Где ф е а т р сотворим?

Ах, Боря, да и какой театр? Тот ли, что века назад, когда-то (поймет ли человек время за пределами своего срока?) был необузданной безжалостной игрой? Прекрасной, безумной, подобной драгоценному камню, оправленному кипящей лазурью пустого и высокого неба, раскаленных песчаников, гранита, базальта, темного, густого, как ночь; игрой, оплетенной лукавой лозой винограда.

Скудны, беспомощны мои знания, запутаны они, но и их хватает, чтобы увидеть во всей ясности и грозной прелести (и уже печали! такой, что даже дыхание пресекается) —

Элевсин, ветер, траурные изваяния козлов на обрывах, скудную загоревшую поросль, шорох скользнувшего из-под копыта камня, эхо и свет, какого нам и во сне не видеть.

А еще дальше Крит, трава подводная, обожженная глина, сосуды, Кносс... Отсюда отправляется Атрид к устью Симоэнта?

Но все путается, не стоит на месте, дрожит, как воздух, — там, над раскаленным побережьем, где гнал кобылиц бык Посейдона, Ипполит-закрывающийся, Ипполит-увенчанный...



И что удивительно: я-то рожден здесь, и положено потому мне другое: «по мнозех же временах сели суть славяне по Дунаеви и от тех словен розидошиси по земли и прозававшиси имены своими, где седше на котором месте».

Суждена далее мне та же оттепель, приказы, смуты да юроды. Однако, тускло оно, положенное мне прошлое, тускло и невразумительно.

Да и не один я такой. Как неприкаянные дети, разбрелись мы по истории в поисках отчизны, не зная, что делать нам со своей окончательно-бесполезной любовью.

## 9–9а

Вспоминаю, как радостно было то, что называю сейчас творчеством, лет восемь назад. Сколько мне было тогда? Двадцать? Двадцать два?

С таким удивлением вспоминаю, что жил тогда, именно жил, пребывая постоянно в «поэтической стихии», в непрерывном в ы г о в а р и в а н и и мира, где каждое движение только предпосылка нового движения — словно в реке находился: где ни зачерпни — всюду вода.

Легкость и безнаказанность! Спрашиваю, чувствовал ли я тогда жажду? Ту жажду, за утоление которой готов отдать все блага, чтобы пить и пить, изумляясь где-то в уголке сознания, что вроде бы потеряны все ощущения, пропал вкус воды и остался один глоток, после которого ты извергнешь всю воду и начнешь пить снова.

...Странно, потом я начал думать, откуда приходит к человеку мысль о награде. Потом я подумал, что как только мы выделяем добро и стремимся следовать ему, то открываем путь злу и т. д.

Все это праздные размышления, досужие вымыслы, но тогда я спрашиваю себя: где она, моя радость, которая так незаметно обратилась в ад?

Если я и поэт, то уж очень печальный, скучный поэт, бесполезный поэт.

Раньше, когда мой опыт был узок и неглубок, я, тем не менее, мог чем-то помочь человеку или найти, на худой конец, слова утешения; а теперь, когда опыт мой обширен и перерос в определенное знание, я ничем никому не могу помочь. Но разве это жестокость?

Каждый год я ощущаю, как за стеной вырастает новая стена, и ничего мне не остается, как бесстрастно взирать на безликий облик своего одиночества.

Не отсюда ли начал свой путь Калигула у Камю?

## 10

Решил вот сейчас, когда переписываю набело свои замечания, что между страницами со словами буду вставлять чистые листы. Два-три листа ничего не изменят, но все же как-то раздробят ощущение мнимой последовательности, которое может возникнуть. Притом, проходили, иной раз, недели, месяцы, когда я думать не думал ни о чем. Таскался невесть по каким местам, говорил неведомо о чем с разными людьми и забывал тотчас о них, как, впрочем, и они забывали обо мне. Чистил картофель, пришивал пуговицы, брился, писал

стихи, пил пиво, и прочее. Вот пусть и будут, периодически, встречаться белые листы. Они и сами по себе красивы, и дни, которые они будут обозначать, безусловно, были такими же, без изъяна, без единой мысли, слова.

11

12–13

Как жаль порой того, что принадлежало (о наивность!) только тебе, а потом стало всеобщим достоянием. И не жадность, не желание обладать одному тому причина, а именно жалость — потому как на «камни падают зерна».

Не секуляризация, а утилитаризация. Разумеется, все — благие намерения, все — извечно глупое стремление устроить кому-то праздник, елку с подарками. Но строфа Тютчева — не кулек с леденцами...

И как жаль, что она становится собственностью, как и все остальное, хама предместья. Одежда, музыка, книги, даже эротика. Подумать только! В книжных магазинах ни одной приличной книги. Километровые очереди за «подписками» уму непостижимых авторов. Что это: вспыхнувшая эпидемия той самой пресловутой «духовной жажды»? Вряд ли.

Скорее, еще один ритуал, проигрывая который, можно без особого труда (о легкость!) перейти в другую, что ли, жизнь, ощутить себя причастным не только к стенам жилища. При чем здесь книги!

Вчера подошел к шкафу, провел рукой по корешкам, открыл одну книгу, другую, и поставил на место. Позвонил приятелю, но того не оказалось дома.

К вечеру пустился дождь. У окна было свежо. Где-то внизу разбивались капли, коротко и глухо стучали по листьям тополя.

И ночью шел дождь. До утра.

14

Если художнику в полной мере доступна красота этого мира, то в такой же мере доступны ему безобразия и зло.

Но, несомненно, есть какая-то иная возможность, та иная и единственная возможность, постигнув которую, знаешь, что отныне нет у тебя ни безобразия, ни зла, ни смерти; как нет и красоты, нет рождения, а есть только ты сам — несуществующий, и все это ты, а тебя нет, не было и не будет.

15

И приходится выбирать — создавать ли «культуру, духовность», нести свой камень, чтобы растворился он в единстве «цитадели», или же, скажем, писать стихи...

Я выбрал последнее, потому что, как это ни горько, верить могу только самому себе. А стихи?.. Они тоже скользят неуловимо где-то по краю.

И никому ничего не проповедую, не навязываю, не прихожу к «единствен-

но верным выводам» и вообще, как недавно понял, совершенно безразлично ко всем проповедям, проблемам и решениям. Для меня нет проблем, да и никогда не было.

Я знаю только иногда высокое счастье тех мгновений, когда время, словно акробат, парит между землей и небом, а я исчезаю — одновременно являясь.

16

Рассматривал лист бумаги, на котором записал вчера десятка два слов. Лист безупречен в своей красоте, но почерк разобрать невозможно. Конечно, был пьян. Удивительно, что когда напиваешься, то не только думаешь по-другому, а и пишешь иначе. Какой-то особенный, страшный почерк. И не прочесть, не разобраться...

И, вообще, надо ли? Вот и мой знакомый как-то под утро сонно сказал — «почему этот плохой художник уезжает в Париж, объяснить можно, но не нужно».

17

Несносной скукой недопитого, остывшего чая, табачного перегара, несуразных упований повеяло на меня однажды вечером, когда, роясь в книгах, перелистал дневник А. Блока; и попадались мне все места о стихии театра, комедии площадей, народности, простоте, страсти. А письма Дельмас, воспоминания Любы Менделеевой, словесная и умственная неумность Белого, постановки Мейерхольда, религиозно-философские собрания, фальшивые откровения?..

Да всю эту скуку готов променять на четверть затертого диска Д. Джоплин. Вот она, моя «вечная женственность».

18 <...>

19–20 <...>

21

Страшное сомнение закралось вдруг в душу. Попробую объяснить, в чем дело.

Читаем, скажем, мы книги. Написаны они давно. Вот — Толстой, Апулей, Еврипид, Бунин, Чехов и пр. пр.

А что, если и половины мы не понимаем из того, что было написано? Что, если смысл книг настолько искажен временем и нами, что читаем совершенно иные книги? Что, если их смысл, наконец, переродился в какой-то своеобразный орнамент? Дивный, чарующий орнамент... И больше, все больше оказывается вокруг тебя прелестных дивных орнаментов. Чем же это кончится?

22

23–24

А ведь получается так: покуда мы любим, мы еще кое-чего стоим. Но если любовь исчезла, а это с каждым может случиться: сил не хватило, верить себе перестал, еще что-то... — считай, пропало.

И вот еще что: о любви много говорят, но забывают, что никто не знает, где она начинается и где кончается. Скажем, я люблю кого-то, и это оберегает меня, ну и того, кого я люблю. А потом вдруг оказывается, что не только нас двоих. Из нашей любви, я уверен, где-то в Китае или Швеции возникает новая любовь, допустим, к земляным орехам или еще к чему-нибудь.

Выйдешь утром из дома, глянешь через плечо на дверь, увидишь царапину, которую видел миллионы раз, и даже не поймешь, что случилось. День будешь ходить и думать об этой царапине.

И это означает, что где-то в Голландии что-то произошло с твоей любовью.  
<...>

25

Что может быть лучше тугих, леденящих простыней в постели после жаркого утомительного дня: когда тело распростерто и находится в таком покое, что каждая его клетка, каждый волосок словно бы оттаивает, легко ноет, а простыни источают прохладу; и вот сон, под стать ветерку, касается глаз, и они наполняются сухой пустотой.

Лучше не закрывать окно. В нем будут видны или небо, или дерево, листва которого шумит по-ночному, напоминая волны, набегающие одна за другой.

Разве я не прав, Боря?

Хорошо быть живым.

26–27

Как ни покажется странным, всегда мы находим в сумятице своих полуразмышлений-отражений место для неизменной мысли о страдании.

Возможно, это место было всегда. Нет, пожалуй, ни одной религии, в которой отсутствовало бы понятие возмездия. Леденящие кровь и душу частности не дают нам возможности остановиться на этом понятии, и редко кто воспринимает возмездие-страдание так же, как совершенно отвлеченную и бесплотную форму Воздаяния.

Немало художников и поэтов, создав впечатляющие полотна ада, не смогли вместе с тем более или менее сносно, не прибегая к помощи общих мест, очертить территорию рая. Признаться, заманчивым было бы в данном случае двинуться в выяснении к природе и воплощениям воздаяния, но влекло другое: то, что можно назвать искушением страдания, зачастую таким же опасным и легким, как и прочие, хрестоматийные искушения — властью, богатством, славой.

Утомленные временем, что наслаивается в памяти, словно соль — пласт за пластом, сознание человека настолько близко приняло и взрастило непреложность последовательности: боль — избавление — награда, что подошло к самому краю своих надежд. Не с энтузиазмом ли и радостью, не с жадностью ли стяжаем мы жетоны страдания с тем, чтобы потом сразу и целиком обменять их на внушительную сумму блаженства.

В итоге это приводит к тому, что взгляд перемещается от вещей и явлений как бы далеких к событиям, касающимся человека непосредственно. Кажется бы, обращение к личному опыту сейчас более, чем когда-либо, насущно и необходимо, но тут-то и появляется искуситель-легкость, предлагая наиболее «беспрюирышный способ» бытия — боль.

28

Искушаемые простотой, мы выбираем ее (боль) как самое подлинное состояние, однако сам по себе этот процесс выбора и принятия страдания обращается в нечто, обладающее своей ценой, дьявольским наваждением, самостоятельной духовной ценностью, после чего мы и остаемся со своей болью, вопреки тысячелетним стремлениям избавиться от нее.

«Всюду в мире смерть, и нет убежища ни в одном из миров», — говорит Будда. Но что смерть! Избавление или возведение страдания в абсолюте? Конечная и совершенная форма ее?

Вспоминаю разговор за чаем между мной и другом:

— Ты боишься смерти?

— Нет.

— Чего же ты боишься?

— Быть мертвым.

29

Беседовать с самим собой тоже забавно. Но не привычка ли наша говорить тому причиной? В последнее время обратил внимание, что очень много людей, идя по улицам, не молчат, хотя идут одни. Говорят, говорят, размахивая руками. О чем?

Жалкими считают тех, кто пьет в одиночку, отпетыми. А как же те, кто, как я, пишу, «беседуют» сами с собой?

30

Александр Грин — явление совершенно особенное. Говорить о нем как о романтике или психологе, или тем более мистике — дело совершенно неблагоприятное, потому что, в сущности, он <не> был ни тем, ни другим, ни третьим. Грин — беспрецедентное явление «примитивизма» в словесности.

И в самом деле, стоит вспомнить полотна Руссо: тигры, джунгли, дамы, усытые артиллеристы, странные собаки, аэропланы и Африка, обретенная художником в пыльной кипе журналов. Но, видно, кроме достоверности, единствен-

ности есть в том и другом нечто неуловимое — неспроста ведь назвал Гарсиа Лорка художника «ангелическим». Может быть, и впрямь, дело здесь в сомнамбулической покорности. А может быть, совершенно в другом...

31 <...>

33–34 <...>

35–36

Приснилось ночью, что посреди комнаты нас много и жжем книги. Они горят голубоватым пламенем, окутаны сиянием лазурным, легким, в котором сквозит странное постоянство. Наши лица, снизу тоже голубоватые, к глазам темнеют. Лица неподвижны. Но это обычное дело — когда смотришь на огонь, всегда застываешь, не оторваться... Жжем книги. Видно сияние на лицах, а остальное — стены, тени, окна, двери — только угадывается.

Стопы писем, тетрадок, книг..

Неведомая жизнь, которой так и не суждено открыться нам. Но ведь мы решили. Не так ли? Потому и спокойны.

Нагим пришел и нагим уйду.

Уйти в неведение.

Сидишь поздним вечером у лампы. На стеклах иней, тепло лампы щекой чувствуешь, а дым, слетающий с потрескивающей папиросы, спутанными нитями падает в свет. Как долго тает он у самой лампы, дрожит, растекается в тень, становясь тускло-серым, вялым, спутанным.

Слушаешь часы, следишь за однообразно-ломаной линией звука, бегущей сродни дыму — так трогательно тупо представило себе человечество время: хотя и нет начала, все же вера в начало сущего и времени живет... и течет время как бы откуда-то, куда-то.

Дым, словно жаркий песок, — подрагивает, а глаза давно закрыты, и в стене что-то шуршит. И впрямь песок, но не время, а все остальное.

И тек этот песок полу-воспоминаний, полу-размышлений — всегда. Всегда, и не только мои пальцы пропускали его, а тогда еще было... а когда — тогда? Выдернуть бы руки, да так тепло у лампы, так кружит голову дым, так прозрачно-холодно незрячи глаза, что и не вспомнить — что за песок... что за время... мороз? зима?

37

С каждым годом все скучнее и скучнее жизнь, а сны все страшней и страшней. Никогда еще не видел так много бессмысленно-страшных снов.

38

Вчера выпал первый снег. Я проснулся и пошел на кухню выпить молока. Окно было приоткрыто, влажный холод окутал меня, и я, протянув руку к бу-

тылке с молоком, увидел, как непрерывно падает снег. Пахло подмерзшими тополиными листьями и тем особенным утренним воздухом, который бывает только в первые дни зимы. Я вспомнил маму, будившую меня рано утром, если ночью выпадал снег, словами: «Просыпайся, лентяй, уже все белым-бело...».

Воспоминания были легки, не долги и не принесли ни тревоги, ни покоя...  
В молоке, когда отхлебнул, уже похрустывали льдинки.

39–40 <...>

41

Чаще всего к истории относятся сейчас, как к преступлению, которое во что бы то ни стало нужно расследовать. При этом, само собой, подразумевается объективность следствия, которой не устают кичиться, забывая, что объективность эта состоятельна лишь в рамках определенного закона, в данном случае — закона нашего времени.

42–43 <...>

44–45 <...>

46 <...>

47–52

К замечаниям о Б<орисе> С<мелове> (П<ти> Б<орисе>).

...и этого нам не дано знать. Почему? И я подумал, что не отыскать мне начало во всем, — во всяком случае, начала моей жизни, этого невесомого комка паутины, пуха или чего-то еще, что так тихо проплывает в те дни, когда надежда на теплые солнечные дни, оставившая тебя накануне, вновь приходит, и в светлом воздухе проплывает паутина, касаясь неуловимым серебром своим стекающие назад, за спину, ненужные листья. С шорохом текут они, шершавы они, и привкус их лежит на губах. <...>

А весной, когда я занимался тем, что вспоминал зиму, встретились мы случайно возле Кузнечного рынка.

В музее Достоевского собрались любители словесности. Кто-то должен был читать доклад, и кто-то ждал с нетерпением доклада, а на улице стоял солнечный полдень.

И что мне до словесности, думал я, что мне до этого всего, когда низкое солнце выморочило улицы до белизны! какая странная болезнь — новая весна, еще весна, еще... Скучное тепло в закулках лишь напоминало о том, что наступит лето... Непреложны законы движения планет: распускаются деревья, возвращается к нам тепло, и земля ясней под ногами. Но столь пустынна была белизна, столь пронзителен апрельский свет — Господним копьем мнился он мне.

Не будет лета. Ни осени, а мы, бесспорно, обречены на чистилище северной весны. Да и весна разве? Скажем, просто некая пора года...

Сияли и таяли птицы в небе. Текли воды в каналах, но опять же: только знали, что течет она, а видели, как стоит она, испепеляя ослабевшие за зиму зрачки.

Вспомним, что говорится о фотографии: что где-то нарушилось равновесие тьмы и света, исчезновение света во тьме, что свет и не с в е т. Сравним два солнца: солнце севера и юга. Где различие, спрашиваю я себя. В чем тут дело? (Сияют и тают птицы в небе, течет вода в каналах, и ни шепота, ни шороха).

Время, говорю я себе, и, оборачиваясь к нему, фотографу, цепко схватившему стакан вина, а мы сидим у теплой стены, повторяю:

— Ну, ответь на милость, скажи мне — сколько еще стремиться Ахиллу за черепахой? Я, признаться, устал от этой погони. Сколько веков!..

Он кивает головой и ласково улыбается вину. В конце улицы чья-то фигурка. В глазах рябит от нее.

Конечно, дело во времени! В нем и ни в чем ином. Солнце юга,— продолжаю, — создает цвет, плоть, объем и цвет, лазурь, тьму отчетливую и перво-зданную. Но здесь... Текли воды в каналах... Но опять же — знали только, что текут, слышали, а видели воочию, как стоят они, испепеляя ослабевшие за зиму зрачки.

И лица, и дворы, и лица, как дворы, и стены, и лестницы, и воды многие, и небеса, и трава — все есть и будет. И есть еще иное, когда слова не нужны...

«Возлюбленные в речах»... — тогда вспоминаю я.

Но мы сидим уже в другом месте, в комнате, где два больших окна гудят от солнца. Парит пыль. Июль, и в руке у него неизменный стакан вина.

— Ты слышал, — спрашиваю, — про Ицика Меира.

— Ха! — говорит он. — Конечно нет. А ты знаешь Сорокина?

— Нет, — отвечаю я.— Но послушай. Говорят, когда Ицика в детстве повели учиться к рабби, кто-то спросил его на улице: «Я дам тебе талер, только скажи мне, где живет Бог?» Мальчик ответил: «Я дам тебе два, только скажи, где его нет»

— Нормально, — говорит он. — Но вот послушай, какая история случилась...

И опять кажется мне, что не будет конца полдню, теплу, вину и нашей жизни. И опять неуверенно и тихо, глядя в окно, думая о своей жизни и о жизни многих, таинственным образом связанных с моей, шевелю губами: «... и этого мне знать не дано».

## 53–54

Недавно один из знакомых, преступив неожиданно границу ни к чему не обязывающих бесед, совершенно спокойно, будто передавая что-то услышанное и не представляющее особого интереса, сказал:

— Иногда я не знаю, как мне быть, как жить. Другие как-то худо-ладно это делают: трудятся, живут. Дни их исполнены заботами, любовью, детьми, раздражением, какими-то необходимыми вещами, радостями, печалью, а я не знаю, как мне быть. Нет, какая уж тут грусть! Куда уж там... Скорее всего, ничто. Нежелание. Ни труда, ни любви, ни детей, ни разных прелестных забот, искусства. Отвращение и только.



Потом, знаю, все безусловно станет на свои места. Как будто зуб перестанет ныть, и заметишь, в который раз, что вон та женщина в светлом плаще посмотрела тебе в глаза, и не просто посмотрела... Будто очнешься и поспешишь увидеть, что длится удивительно мягкий серый сентябрь, а воздух содержит в себе тысячи тончайших запахов-воспоминаний, и эту прекрасную сеть колеблет влажный воздух разом с дубовыми листьями, подернутыми темным багрянцем. Застывшие псы у мерцающих стволов, туман, глубокие приглушенные голоса. Внезапно алым пятном скользнет автомобиль, опустится на плечо лист, и ты скосишь глаз, не останавливаясь. Проникнешься к этому листу не то чтобы любовью, но взглянешь на него как на спутника. А потом заметишь, что проходит немота, день облекается речью.

55

Но, поверь, за всем этим, я все равно чувствую и, мало того, знаю привычно, — простирается отвращение. Сосет, точит непрерывно. Год за годом, час за часом. И подчас, доведенный отчаянием до глупости, говоришь себе, как вот я сейчас тебе: как же быть? Что делать? И, сцепив зубы, не произносишь имя Божье — горд. А потом, конечно, еще стыд, стыд.

56–57

Почти все утренние часы я провожу у окна. Холода наступили раньше обычного, так что и гулять не хочется.

Смотришь в окно и долго рассматриваешь пятнышки, царапинки на стекле.

Можно смотреть на крыши. На крыше соседнего дома часто виден голубятник. Он пронзительно свистит и машет шестом. У него настоящие голуби и, когда они плавают белыми кругами в бледном голубоватом небе, очень красивы.

А можно разглядывать свое отражение. Сегодня, к слову, заметил, что морщины, которые тянутся от носа к углам рта, уже стали глубокими складками.

А бывает, что одновременно видишь и то, и другое, и третье. Эти минуты просто волшебные! Понемногу как бы растворяется и «то», и «другое», и «третье». Зрение непонятным образом крепнет, обретает разительную остроту, ясность. Оно будто созерцает себя. Сравнить это можно при желании с хорошим стихотворением. Думаю, что именно такие стихи писал Басе и «господин Бо». Жаль, что не знаю языка ни того, ни другого.

58–59

Когда я слышу что-нибудь о своих стихотворениях, мне становится неловко. Часто говорят, что я пишу свободным стихом, а это, хотя несвойственно русской поэзии, но, впрочем, довольно интересно... Спрашивают, писал ли когда-нибудь я в «рифму». Качают головами, когда узнают, что никогда не писал да и не умею, не знаю; а мне уже смешно становится: не умею... Умею, не умею. Какой вздор! Да если бы даже я писал в канонах так называемой регулярной поэзии, она точно так же настораживала <бы>, как настораживает нынешняя.

И понятно, что именно настораживает — совершенно иные точки отсчета и ценности. Точнее сказать — мир, в котором обретаюсь я, отличается от их мира с самого начала, с абсолютного нуля — страха.

Не страха перед чем-то, скажем, перед смертью; к смерти можно приугодить себя, изжить страх, вернее боязнь, но страха того, что пребывает как бы на той тонкой черте, где кончается человек, его власть, его вера (как бы универсальна она ни была), но где еще не началась область смерти. Это страх перед «ничто». Непостижимость такого состояния является несомненным, абсолютным нулем поэзии. Это зона той пустоты, где даже язык беспомощен и лишен своей магической силы и предстает в грозной стихии своего изначального косноязычия.

Если бы в городе существовал сейчас фольклор, то сумасшедший дом занял бы в нем одно из главных мест — как реализация «страха-перед-ничто».

Еще — исчезновение, как физическое, так и духовное в условиях абсолютной анонимности...

Ни то, ни другое не было важно там, где я находился долгое время юности, молодости.

60

Мы мало, слишком мало, до смешного мало, неправдоподобно мало думаем о смерти. Мы перестали говорить о ней в романах, мы не размышляем о ней в философских трудах, мы, кажется, вообще забыли ее, словно полоумную нищенку, не заслуживающую нашего внимания, — на пороге «прекрасного и яростного мира». Как это плохо... И в первую очередь, нам не прощает этого живое.

Сколько бы ни повторяли мы слово «любовь», оно останется мертвым, если мы забыли о смерти.

61 &lt;...&gt;

62–63

Какое счастье встретить зимним вечером в доме, куда ты приглашен, хорошего собеседника! И, сидя недалеко от настольной лампы, не слишком яркой и не слишком тусклой, слушать, как говорит он, смотреть, как меняется его лицо, как движутся его руки, и, как будто издали, течет его речь, перемежающаяся молчанием.

Совершенно неуловим тот момент, когда понимаешь, что нужно говорить тебе, и подхватываешь почти уже истонченную нить: несколько интонаций, свет, упавший на какой-нибудь предмет; — легко и незаметно, просто и ненавязчиво облекаются словами и, словно в страшной игре, отталкиваясь от того, что видим, выращиваем дерево разговора со множеством ветвей, старых сучьев, молодых побегов, увядших и только лишь распустившихся листьев... Разрастается дерево, и тень его — молчание — тоже растет, суля, как и водится, прохладу и тишину.

Никогда «проповедник» не будет собеседником. Слишком рьяно относится он к тому, что говорит, слишком подозрителен к слушающему, да и не вера того, кто слушает, нужна ему, а покорность внимающего.

Смешон и тот, кто яростно проповедует любовь. Вызывает, тем паче, презрение тот, кто без умолку твердит о молчании и тишине Господней...

Когда такие люди встречаются в доме, куда пришли вы выпить чаю или вина, а за порогом зима, мороз, то навряд ли у кого найдется мужество вернуться и уйти. Да и стоит ли уходить, если хозяева радушны, чай горяч, а вина вдоволь.

Докучливый говорун в таком случае так же призрачен, как ход часов, звук воды, капающей с крыш.

64

Воистину, Благодать создателя осенила того, о ком после смерти, из рода в род, из времени во время, помнят, что питал особенную любовь он к камням, к деревьям, к цветам... «но больше любил солнце и огонь»...

Что скажут о нас? Да, видно, сказать можно все, что угодно!

И все же поверим тому, что говорят о нем, маленьком брате из Ассизи:

«Своими глазами мы видели, как он подымал с земли кусок дерева и, держа его в левой руке наподобие виолы, правой водил тоненькой палочкой, точно смычком, и, делая соответствующие движения, пел по-галльски о Боге...».

65–66

Уже давно и осень позади, а только ноябрь. Второй день валит снег. Влажный грустный снегопад к ночи усиливается. Небо темно, низко, предметы едва различимы в сплошном белом потоке. Какая-то равнодушная бездумность во всем...

Встречаешь на улице знакомого:

— Вот и вы, — говоришь. — А мог бы пройти и не узнать — снег какой!

— Да, снег. Второй день уже, — соглашается знакомый и коротко глядит на небо. — И завтра будет, — говорит он. — Ну, вы как? Что нового?

— Все по-старому, — говоришь. — Все как было.

— Да, — кивает головой знакомый. — Это так. Может быть, переживем зиму, — слабо улыбаясь, произносит он. — А там весна.

И видно по нему, что не совсем он уверен, что там, дальше, весна, лето и что-то еще или вообще что-то.

— Ну, что ж... — говоришь. — Звоните. Вы, правда, звоните! — в голосе слышно фальшивое одушевление. — А то как-то так получается...

— Да что вы! конечно, конечно... Вы когда бываете?

— Утром.

— Вот... — говорит знакомый.

И он, и вы знаете, что никто никому не позвонит — ни утром, ни вечером. А если и случится такое, то и забудется.

А снег валит и валит.

67–68

Чем занимают нас сумасшедшие? Откуда тот пристальный, обостренный интерес, который мы питаем к ним? Почему неотвязно следим за ними на улицах, замолкаем, притихаем и смотрим, смотрим, а после рассказываем друг другу, какие они, что говорили? Чуть ли не с любовным пылом описываем их внешность, передаем слова, поступки...

Не та ли это исконно русская страсть к юродам, придуркам, блаженным? Или же общечеловеческая тяга к тайне, притом к темной тайне (а бывает ли светлая?), к свободе, к той свободе, истоки которой нам не доступны, к свободе страшной и желанной?

Знаем приблизительно, для чего предназначена наша жизнь: утолять голод, избегать по мере возможности боли, тяготиться или наслаждаться телом, спать и видеть во сне что-то удивительно напоминающее жизнь земную, знать о любви небесной, но иной раз не изведать любви земной... Но для чего они? Те, за которыми столь пристально наблюдаем, неотступно следим, тщетно стараясь узнать — что побудило их «отказаться» от жизни, которой живем мы. Зачем они так?

Ведь неспроста все это. Должен же быть им дан, взамен разума, некий высший и бесценный дар, перед которым все остальное тускнеет, — потеряны человеком привычный облик, качества, которые ставятся столь высоко: красота, легкость, сообразность, обыкновенность.

Выходит, что не нуждаются они в защите, в прибежище о б щ е г о. Выпали раз и навсегда из рода... Так можно думать, взирая вслед сумасшедшим, придуркам, идиотам, слушая их мычание, рев, боль. Но можно и не думать, а только ощущать, как теснит сердце, как спазм сводит горло, ибо чувствуем скорбь, словно встречаем наяву то, что было так прекрасно во снах.

69

70

71

В доме кончился чай, кончились папиросы, кончилась бумага, сахар... Час очень поздний, около трех часов. Это ли не одиночество? Да, одиночество, но оно было и до того, как кончился чай, папиросы, бумага, сахар. Но тогда имелся целый ряд отвлечений: курить, пить чай, записывать, что на ум взбредет, а теперь одиночество обнажено и позволяет рассмотреть себя тщательно и беспристрастно. Ну, что ж, — одиночество так одиночество. Не хуже и не лучше. Но иногда думаешь, как милосерден Создатель, сотворивший человека после того, как был сотворен мир, а не наоборот.

72–73

Сиджу вечером в сторожке и слушаю «буддиста». Впрочем, никакой он не буддист, а пьяница, добрый малый, поднаторевший в «текстах» и исполненный чистого желания достичь покоя. Сторож, как и я.

— Для достижения Сатори, — говорит он громко, — существует единственный путь... Однако у каждой школы есть своя практика, и недавно я пришел к тому, что практика секты Сото — самая традиционная. С самого начала, помните? — положите левую ступню на правое бедро, правую на левое и...

— А как же, — говорю я, — как быть моему знакомому? У него ног нет. А? Хорошо еще, что он занят разными увлекательными делами, а если вздумалось бы ему вдруг вступить на Стезю?

Буддист обижается и замолкает. Молчит, курит и смотрит в окно. Окно темное, глухое. Спустя время пытаемся опять завести беседу, но настроение пропало. Конечно, виноват я.

В час ночи буддист уходит на свой пост, а вместо него появляется его напарник, едва ворочающий от выпитого языком. Он сообщает, что в прошлое дежурство буддист напился до одури и упал с лодки, но собаки (а у него их целых пять и самых немислимых пород) вытащили его из воды. «Теперь простудится», — убежденно говорит напарник и засыпает, сидя за столом. Я выхожу на воздух.

И правда, простудиться в эту пору легко. Вода еще не остыла, но угадывается в ней осенний прожигающий холод. В старину сезон купания всегда завершался праздником Яблочного Спаса, а теперь купаются круглый год. Многие находят удовольствие купаться и в морозы.

74–75 &lt;...&gt;

76

А Розанов, в сущности, был довольно сентиментален, как, впрочем, и Гоголь, которого он явно не любил. И тот, и другой — провинциалы в столице. Отсюда и озлобление. Эмигранты, одним словом, не больше; но тот, давний, и в самом деле боялся в е р н у т ь с я, была у него своя тайна, свой страх перед теми местами, где жил, наделившими его лишними и ненужными знаниями. А этот, недавний, все рядился в одежды шута, веря наивно в силу двусмысленного и в свободу (тоже достаточно двусмысленную), которой испокон веков дарили шутов при дворах монархов... Воистину, бесстрашный юнец на трапедии.

Интересно: к концу жизни почти все шуты становятся сентиментальны.

Набивший оскомину штамп: визжащий размалеванный шут, а в глазах непременно затаилась печаль.

77–78

Молитва, скорее всего, не действие, а состояние. Я думал об этом потому, что когда-то мой знакомый заметил: «Одиночество? Мы говорим об одиноче-

стве, сетуем на одиночество, боимся одиночества, не представляя себе, что оно — это наше неумение или нежелание слушать».

Вот и молитва, думаю, не заявление себя и собственной любви, а, напротив, готовность принять любовь другого.

Никогда творчество не было и не будет молитвой.

И не следует думать, что твоя молитва лучше молитвы другого, даже если другой не произнес ни единого слова, даже если другой о Боге не помышляет, даже если другого нет вовсе.

### 79–80

С недоумением взираешь окрест весной... И правда, зачем все это? Больно уж навязчиво, скоротечно, даже жутко. А что хранит наша память о прошлых годах? Тоже была зима, и, пожалуй, нет никого, кто бы не думал втайне, что такой трудной зимы он еще не знал; и потом снова весна...

Что помним мы о весне? Что появились надежды, появились ведомо откуда и укрепились в сердце верой в то, что сбудутся они непременно, и каждая из них кружила голову, томила... но кто ответит теперь, что за надежды полнили его в ту весеннюю пору?

Впрочем, какая уж тут весна! Лето началось. По утрам смотришь на небо, лежа на полу. Оно неизмеримо далеко.

Вероятно, чувство, которое испытываешь в те несколько минут, что предшествуют полному пробуждению, можно назвать радостью. Она почти неосятима, под стать небу. Прикосновение ее — словно предвестие еще более полного чувства, которое неизбежно, мнится, вот-вот, не сегодня-завтра овладеет тобой. Не захлестнет, а войдет в тебя, чтобы больше не покидать. Радость, восторг полноты, когда во всем без исключения промысел любви, согласия, Бога... Восторг? Да. Несколько минут перехода ото сна к яви. Синий, огненно-бледный Эдем небес, месяц Май, нежная гарь тополей у крыльца, холодный душистый воздух — все предвещает тебе и мне, все пророчит счастье.

Тогда вскакиваешь с полу (сколько же мне лет?), завариваешь чай. Первая чашка, вторая... Холод, озноб от открытого окна, влажный дух зелени, в глазах отчетливость, ясность.

### 81–83

Только знаток может распознать, с каких цветов собран тот или иной мед. Со временем меньше цветов, меньше меда, меньше знатоков — как-то пропадает надобность отличать один мед от другого.

Но в голову приходит иное: отсутствие цветов с лихвой возмещается пластмассовыми цветами, а настоящего меда — искусственным. Затем все разбивается как во сне: исчезают цветы, исчезает подлинный мед, исчезают люди, понимавшие в этом толк, а вместо этого возникает убежденность в необходимости «различать» сорта искусственного меда, т. е. возникает потребность отыскивать и выявлять подлинное в уже заведомо фальшивом.

Наваждение, не так ли?

Но куда ни глянь — повсюду так.

Для того, чтобы существовала семья, необходимо многое и, в первую очередь, осознание ее настоящего-прошлого-будущего.

Этому осознанию помогает д о м, принадлежавший ранее родителям, дедам и т. д. Он является одновременно и прошлым, и будущим (для детей), и настоящим для их родителей.

Сейчас семья — явление наполовину искусственное, результат инерции. В историческом плане люди утрачивают прошлое, заменяя его грудой исторических романов, и потому «прошлое, будущее, настоящее» стали просто отвлеченными понятиями.

Может быть, в этом следует искать причины таких явлений, как сексуальная революция — исполненной скорбным отчаянием попытки возвести в ранг духовной ценности биологическую необходимость, прельщаясь ее извечностью. Мы всегда верили в «перпетуум мобиле», в странную убогую идею — во что претворилась великая языческая мечта бессмертия. Однако человек настолько испорчен, что даже стать животным ему не под силу, и остается ему ходить, никуда не приходя, ни с чем не расставаясь. Скука...

84–85

Есть такие дни и ночи, о которых говоришь себе: надо запомнить их, надо во что бы то ни стало их запомнить. Может быть, потом я что-нибудь пойму из того, что случилось в этот день или ночь, но пока надо просто их запомнить, Запомнить те часы, которые тебе выпадают — все вдруг обретает покой, ничто ничему не мешает, все неизъяснимо чисто и понятно.

С другой стороны — и понимать вроде нечего... Тепло, пустынно, восходит солнце, дома — внизу, у тротуара темнее, нежели вверху.

И знаешь, что скоро наступит день, и покой, окружающий тебя, в мановение ока рассеется, пропадет очарование собственного тела, которое ты ведешь в пространстве (именно пространстве).

Урок свободы получаем мы в эти часы, умный, ненавязчивый урок. И снова, как когда-то, чувство уединения и чистоты. Юношеское, гордое... Нет тягости.

86–87 <...>

88–90 <...>

91–92 <...>

93–94 <...>

95–96

— Самоубийство? Зачем об этом! — воскликнул человек с усами, переключая из руки в руку сетку, откуда торчала пачка с пельменями.

— Да ведь это так просто! Во-первых, лень. Во-вторых, согласитесь, бессмысленно. Затем, подумайте о тех хлопотах, которые вы преподнесете своим близким. Кто-то должен ходить по присутственным местам, торговаться с могильщиками, заказывать плиту, ограду и т. д. А чего стоит первый день! Освидетельствование, расспросы и прочие процедуры. Согласились бы преподнести такой букет своей маме или жене? А? Я лично нет. Слишком подробно я знаю первую неделю своей загробной жизни.

Но и это не самое главное, — хочется добавить мне. — И лень, и заботы, и дрязги. Но вот стать трупом... По своей воле стать беззащитным, всецело зависящим какое-то время от людей, стать совершенно нагим, безмолвным, когда не поднять руки и не отвести от лица своего оскорбления, когда остается лежать, увенчанным кольцом абсолютного безразличия — кто, спрашиваю, не в памяти своей, а наяву признает во мне брата или возлюбленного!

97–98

Я сидел долго. Я не то чтобы не шевелился, но как-то оцепенел, бездумно наблюдая, как проплывают, меняют формы: слова, запахи, лица, увиденные за час до этого на улице и здесь...

Но я не произносил ни слова. Все, что проплывало, мерцая, не нуждалось в названии, в определении, но, тем не менее, мне казалось, что я говорил, и что было сказано немало. Я будто прилег напряженной тонкой линией между двумя точками и при этом молчал. Молчал? Но я не сказал ни слова, потому что не хотел, чтобы было что-то названо, определено, поработшено. Мне нравилось так. Мне нравилось, что меня не замечают и живут так, как должно им жить.

Иногда я вспоминаю себя. Иногда нет. В общем-то, все написанное сейчас не заслуживает внимания, если бы ни одно: это происходило, было. А если было, то повторится. Пускай, скажу, пускай повторяется.

99 <...>

100–101 <...>

Известно, как трудно человеку в начале жизни обойтись без наставника, пусть наполовину придуманного, наполовину существующего, чья личность как бы вбирает и формирует твои расплывчатые, смутные, зачастую невразумительные чаяния, мечты, замыслы.

Конечно, со временем придуманное в наставнике исчезает, кажется наивным, ложным, а та половина, что остается существовать, независимо от тебя, обрекается на равнодушное недоумение. Означает это, по-видимому, одно — окончание ученичества.

Однако сколько первой и, как знать, возможно, самой искренней любви отдано в ту пору этим полу-фантомам!

Так начинал и я. И если что и помогло избежать обязательных в таких случаях смятения, гордыни, чувства исключительности, порождающих то ложное стра-



дание, в котором, как в мертвом море, блуждает и поныне большинство — так это моя вторая жизнь, существовавшая сама по себе, протекавшая вначале в доме, среди родных, жизнь, неведомым и по сю пору образом, сопряженная со многим вещами, а лучше, не жизнь, а с в я з ь.

А тогда нет конца ученичеству, и нет и не будет разлуки. Так и суждено ходить в вечных учениках этого мира...

102–105 <...>

106

И точно так же, как П. Валери пытался развить в себе «чувство или интуитивную идею Европы», точно так же я пытаюсь развить в себе «идею провинции».

107

Непосильным даром наделил Господь нашу душу — памятью. Сколь часто изнемогаем мы под бременем ее, впадаем в отчаяние от невозможности забыть то, что не дает нам покоя. Может быть, это и есть ад — когда не забыть?..

Однако не только боль, но и печаль, не только страдания, но и радость несет мне способность помнить. Раздвигает неуклонно она мир, в котором длится наша жизнь, до пределов, за которыми уже не быть ни прошлому, ни будущему.

Не памяти ли обязан я тем, что вижу воочию то, что бесполезно для разума, то, что не нужно нынешним моим дням?

Клочок двора, заросший выгоревшим подорожником, окно, запотевшее от утренней прохлады. Солнечные красноватые тени под веками, бегущие куда-то вниз, а дальше вовсе что-то, никогда будто мною и не виденное, — голубоватая от солнцепека степь, поезд, стоящий на станции, вернее, на подъезде к ней, снующие люди, а у самой щеки — широкая щель в стене товарного вагона, откуда смотрю и на степь, и на людей, и <на> дрожащий в солнечном туманном мареве далекий виадук.

Разве нельзя сказать, что это происходит сейчас? Разве нельзя сказать, что теперь, когда вижу то или иное, я непременно соотношу увиденное с тем, что так прочно занимает место в памяти? Не занят ли я, живя воспоминанием своей жизни?

Это и то... И между тем и этим нахожусь я. Зачем нахожусь? Чтобы мною не был целостен мир, чтобы мной был бессмертен?

Бессмертия мне не надобно. О нем и думать лень...

109–110

Как-то вечером стоял на углу, раздумывая, куда бы пойти, и пошел бы, наверное, если бы вдруг мимо меня не прошла женщина. Она всхлипывала, размахивала горячей сигаретой, из глаз ее текли слезы, по щекам легли извилистые черные ручейки туши.

Только собрался подумать о женщине, которая прошла мимо, рыдая, как прошел мужчина средних лет. Мужчина бормотал: «Зачем... зачем так, ну зачем! подумать только... какая ерунда...».

Прошло немногим более тридцати секунд, как мимо меня прошел еще один человек, яростно цедивший сквозь зубы: «Пьяная дрянь... кретин... шлюха...»

И это не было концом. С блаженной улыбкой, с восторженно открытым ртом, слюной исходящим; в шапке, завязанной под подбородком, прошел мимо меня идиот. Лет ему было около двадцати с лишним. Но кто ведает их возрастом?

Пуская пузыри, переставляя с силой свои глухие ноги, он тонко смеялся, почти волоча на согнутой руке худенькую старушку.

«Хорошенькая компания», — подумал я и заплакал.

### 111-112

Читаю: «Перестанем сетовать на безобразие и бесформенность. Только от нас зависит преобразование ее в стройный и чудесный миг наивысшей полноты, о которой мучительно мечтаем, листая страницы книг, следя за голосом, бегущим в привычных значках, следа которого и не сыскать; вчитываясь в жизнеописания тех, прах которых не только растворился в земле, но и деяния чьи, речения невразумительны для нас, непонятны».

Легко, гораздо легче, — в который раз думаю я, — найти свой удел, обрести имя в истории человечества, соотнося свою жизнь с тем, что кажется непреложным последовательным движением... Тогда и возникают слова: наследие, преемственность.

Но труднее во сто крат искать себя в своей собственной истории. Не только смерть, но и рождение темно, и лишь самим собою можно осветить эти времена.

Темно и дико все, что лежит между рождением и смертью. И каждый признак, каждое лицо, каждая частность являются впервые, чтобы сгинуть и вновь явиться.

Действительно, не полагаясь уже полностью на предшествующий опыт, не прибегая к нему, но избавляясь из года в год от него, опыта; обретаясь в мире явлений — оборотней — невозможно увидеть истоки одной единственной «истории» (назовем ее старым и удобным словом — судьба), не отступает угроза самому стать оборотнем, утонуть в бесформенности бесконечного множества превращений, оценок, точек зрения. Так кажется...

Но, если отыщется в этой крошечной путанице подлинность хоть одной единственной мелочи, будь то осколок стекла, хрустнувший под ногой, глоток чая, подавание, если постигнешь неизменность и избранность этой мелочи — легко и просто сделать шаг в сторону и увидеть, как постоянна и прекрасна история самого себя.

113

Пристало разве нам говорить об усталости? Просто и вдохновенно живем мы, называя это тем, а то — этим, не имея ни того, ни другого.

114–117 &lt;...&gt;

118–119

Снег и не красив, и не безобразен. Он — снег и больше ничего. В некоторых отношениях он напоминает воду и песок.

Все зависит от соотношения с различными предметами и вещами, окружающими нас.

Привлекает снег, упавший на еще зеленые, подернутые прозрачной пленкой воска листья. Когда не торопишься, услышишь тончайшие шорохи. Это, в безветрие под тяжестью снега, обламывается лист и долго падает, задевая другие листья, ветки, скользя по стволу, а падение его вызывает ощущение сухой грусти и почему-то гордости.

В сумерках снег совершенно другой, а ночью, когда летит в окно, томишься — свет фонарей, неслышные потоки белизны, ниспадающие из густой темени, не дают ни на чем сосредоточиться. Не слышно шагов под окнами, разговоры, обрывки слов, словно издалека: исподволь, незаметно снег уводит из привычного, заливая все новым первозданным светом.

Не понять снега, воды, песка. Эти явления суть «Знаки Господни», которые «ставит Он на нашем пути».

Есть другие дни. Пылающим льдом висит прозрачное солнце, стелются дымы над крышами, мороз и день, но не чудесный, а страшный, а в горле тупая боль.

120–121

Сфинкс — не что иное, как демон неразрешимости. Важно не содержание всем известного вопроса, а само вопрошение, провокация. Как бы ни был конкретен и прост любой вопрос, исходящий от смертного, он — вопрос, звучащий из уст божества, — может быть понятен только как напоминание, как угроза не частная, а исходящая из порядка вещей.

Ответ Эдипа вызвал улыбку у демона, а миг спустя демона не стало. Не будем останавливаться на иронии Сфинкса. Обратимся к Эдипу. Его ответ важен не как частное решение проблемы, но с точки зрения более общей. Отвечая, Эдип дерзнул противопоставить «Неразрешимости» свой человеческий разум. Последствия известны.

И потому считаю сегодня, что самым верным ответом Сфинксу было бы отсутствие какого бы то ни было ответа.

122–125

К замечаниям о В&lt;икторе&gt; К&lt;ривулине&gt;.

&lt;...&gt;

Не барокко, в котором металл притворялся деревом, стеблем, и его плоды, не знающие тлена и пепла, текут лавой на глаза, затягивая их пеленой монотонности, а Босх.

Вот откуда взялось слово м и с т е р и и. Теперь я слышу по всем углам говорить те, кому не лень говорить, что Сад Земных Наслаждений дает единственное представление о поэзии В. К.

Ну, что ж... Они одели куклу. Теперь ее можно укладывать спать, кормить с ложечки и петь колыбельные песни. Но мы пойдем далее, не останавливаясь на тщательно укрываемой иронии в полотнах И. Б., равно как в стихах В. К.

Мы пройдем через сад изощреннейшей чувственности, пойдем по кругам уничтожения плоти, чтобы... еще с большей изощренностью и холодностью начинать сызнова. Это чем-то напоминает мне часы, на которых всегда «сейчас».

Сознательно или неосознанно в структуре с-й В. К. выпущено звено целесообразности, полного завершения. И почему бы мне не спросить: не связано ли это некоторым образом с иронией, сквозящей в текстах?

В разговорах все по-иному... В разговорах поэты и художники лгут больше, чем когда бы то ни было, особенно в разговорах о себе.

Мы тоже разговаривали. Удивительно, как легко мы соглашались друг с другом. Конечно, тут надо принимать во внимание отсутствие привычного круга людей, захолустье ленинградского лета...

И вот мы говорили, радуясь, что нам все понятно, — я назвал создание его стихов развоплощением (каким? зачем?) явленности, которая в миг окончания возникает в совершенно ином порядке. Он назвал это спиритуализацией... Я говорил о молчании как о конечной цели любого творческого акта, потом, года два спустя, я услышал о молчании как о божественной цели поэта, на поэтическом собрании в честь Л<еонида> А<ронзона>.

Впрочем, а что тут такого? Так или иначе, слышали мы, что детей растить, дома строить, сады насаждать и пр. — дела человеческие. Но корабль в пустыне, да и любое дело, лишненное, на первый взгляд, смысла, — промысел Божий. Вот и наши разговоры тоже...

126–127 &lt;...&gt;

128–129 &lt;...&gt;

130 &lt;...&gt;

131 &lt;...&gt;

132–133 <...>

134–135 <...>

136–137

Большого внимания заслуживает тот факт, что поэт Басе, разгуливая по дорогам страны, с большим удовольствием играл в «рэнку» не только с поэтами, но и с простыми людьми: пастухами, крестьянами, солдатами, разорителями гнезд и могил.

Достоин похвалы обычай, закон, отделивший поэтический язык от обиходного, сделавший поэтический язык предметом изучения и обучения. <...>

138

Иногда смотреть на беременных женщин неприятно. Вероятно, потому что беременная женщина настолько удаляется от мужчины, что уже неподвластна ни эстетическому, ни нравственному, ни религиозному. Предстаешь как бы перед совершенно иной формой жизни.

Вчера видел, как шла беременная среди деревьев. Был ветер, и ветер облегал ее живот... Что-то мне стало казаться понятным. Но что?

139–140

Ну, скажи, что ты меня любишь, скажи. Ну, что тебе стоит! Скажи, это так просто. Я научу.

Сначала надо говорить о себе. Это начало. Говори смело и ясным голосом, как будто по телефону. Надо упомянуть все, что полагается в таких случаях: и звезды, и небо, и ветер, и птиц, и воду, и огонь, и камень, и дерево, и снег, и уголь, и слизь, и лист, и хлам, и рассвет, и ожидание, и терпение, и боль, и низость, и величие, и предательство, и ложь, и смерть, и рождение, и брата, и сестру, и одиночество, и глупость, и пот, и соль на губах, и хохот, и разбитый стакан, и тошноту, и поэзию, и знамена ненависти, и стол, и окурки, и грудь, и руку, и вино, которое расплзается по столу, и солнце, и разваленную лодку, и углы, и пространство, и всяческую дребедень, и день лета, и скуку и так далее.

Такое и во сне не приснится.

141 <...>

142–143 <...>

144–145

Иногда мне это снится: прямая выбитая дорога, обсаженная гигантскими дуплистыми липами, клубы пыли, плывущие над головой, — я сижу в автобусе. Духота невыносима. Пыль сизой коркой запеклась в уголках рта, а тени деревьев тербят, тербят лицо.

Столетние дуплистые липы поблекли от солнца, за их корявыми стволами стелется и все не отстает поле подсолнухов. И там, в поле, я знаю, лежит такая тишина, что от одной мысли о ней губы сводит горечью. И неожиданно приходит на ум дикое для этих мест имя — Фрейд. Зигмунд Фрейд. Кто это?

Я придумываю, что вот этот Фрейд бредет навстречу по обочине в порывшем от солнца сюртуке, в мятой хасидской шляпе — я только дергаю головой. Как нелепо.

Где-то в этих местах сгинул Сковорода... Старухи в полотняных рубахах с медными тусклыми серьгами в ушах качались у окон. Головы старух крыла желтоватая пыльца.

И тут мой сон прерывается воспоминанием того, что было въяе — воочию вижу стену из крохкого песчаника, под стеной старика с желтоватыми углублениями вместо глаз, молочную, не по-земному легкую бороду. Над тополями бежит горячий свет.

Расставив ноги в коротких холщовых штанах, <...> он вертит корбу лиры, косо поставленной на колени. Иногда, когда лира визжит тише, старик вставляет дребезжащей скороговоркой с распевом на конце какие-то слова.

Просыпаюсь с мокрым лицом.

146–147 <...>

148 <...>

149–150

<...> А теперь работаю сторожем. Душа моя пребывает в веселье. Имею возможность подолгу смотреть, не отвлекаясь, на одно и то же. И вот я смотрю на осоку, растущую у самого порога. Сквозит в ней залив, а месяц тому она была настолько густой, что за десять шагов человека нельзя было увидеть. Видел, как меньше становилось комаров, как кипели мухи в солнечном омуте сентябрьского воздуха. Затем и их не стало.

Шелестит осока, камыш. Трепещут на ветру слабые водянистые деревца.

Иногда вдали, а с крыши видно далеко, кто-то появится. Радуетесь, что к тебе. Досадно становится, если свернет человек в сторону. Но когда к тебе — снова творится непонятное: радовался, хотел, чтобы пришли, а отворачиваешься, смотришь — осока шумит, ветер; и не знаешь, что сказать гостю. Сушит ветер ваши глаза и сидите вы, покуривая с гостем, на крыльце.

151 <...>

152–153 <...>

154 <...>

155 <...>

156–157

Конец шестидесятых и начало семидесятых характеризуется, в большей или в меньшей степени, массовым обращением к религии. С одной стороны, явление довольно просто объясняется наблюдателями — в первую очередь подчеркивается стремление к ценностям, производимым не в сфере политико-экономической, а к ценностям извечным, нетленным, духовным, вневременным, с последующим «исходом» из контролируемых государством областей.

Все это так. С молниеносной быстротой за несколько десятков лет, отмеченные печатью доступности, сменили себя, подчас уживаясь вместе, разные верования — православие, буддизм, дзэн, католицизм, хасидизм — различные точки постижения.

Напоминает это черный рынок, на котором торгуют книгами: та же пестрота, одна и та же всему цена — очень подорожало.

И во всей головокружительной сумятице религиозных доктрин, течений, школ, среди вновь оживающих энтузиазма и нетерпимости, трудно отыскать пресловутое горчичное зерно веры. Она подменена обиходным доверием. Доверием к тому, что после затраты какого-то времени и усилий, после освоения ритуала, даруются нам «ключи власти», которые и помогут нам совладать со смятением и страхом уже не силой осведомленности, но через другое начало. Обращение к религии как к магии подобно тому, <как> если бы, к слову, мы обращались к поэзии за советами: как одеваться, как проводить отпуск, сервировать стол, играть в спорт-лото...

158 <...>

159–160 <...>

161 <...>

162–163 <...>

164–169 <...>

170–172

Из «Сезонов».

Говорить об осени можно до бесконечности. Осенью и вода прозрачней, и огонь чище, и голоса слышней. Известно нам, как по вечерам пламя свечи отделяется от былинки, фитиля, чтобы повиснув во тьме, плыть затем золотистой звездой, переключаясь с нашими глазами, ворожить, вызывать образ воды, которая течет день и ночь, пронося листву сухую, щепу, солому и разный сор.

Видели, как час от часу стройней становятся стволы ясеней и сосен.

Предвосхищение великого порядка коснулось природы, и только по ночам еще яростный хаос запахов кипит над землей, но утром — недвижимым образом ложится роса, со стуком валяются листья. Тяжелей полет редкой пчелы, да и птицы дольше молчат по утрам.

Отрываются и слетают на землю листья. Никто никогда не видел, как отрывается лист, как из вечности возникает время, и никто не видел и не увидит того, как душа покидает тело. Кто скажет, что это смерть? Неужели мы говорим о смерти!

Осень — это свобода. Пар у рта. Тихо и просторно. Осень уподобим пространству, где длится ловля эха, выстуженная губами, а в тумане зреет новый свет. Ближится сентябрь — зрение не лжет.

Скажем теперь, что осенью рождается мир. Как просто! Ты говоришь, рождается, а сам-то думаешь разве в этот миг о мире?

Да, — скажешь ты, — и я поверю тебе, потому что мне безразлично, так это или не так.

Время отсчитывается водой, а пространство измерено светом. Тяжелее земля. Вдалеке птица <...>. Не ощущает ли птица осень раньше тебя? <...>

173

175–177

Помнится, мы говорили об осени. Теперь подойдем к окну. Долго мы были увлечены беседой, друг другом, но я возьму тебя за руку, и не торопясь, минуя стол, постель, стулья, подойдем к окну, словно не любовники уже, а собеседники — возлюбленные в речах.

И подойдем к окну. Оно достаточно широко, чтобы увидеть нас самих и остальное...

Великий корабль, о котором с усмешкой и неверием мы вспоминали долгое время, подошел к берегам. Широкие паруса застлали небо, опустились откуда-то сверху, полотном легли на витийство ветвей, на камень, землю. Легли и сокрыли то, что минуту назад было живо. Оцепенела звезда, лишенная второго бытия в реке.

Снег, белизна и безмерные спирали ветра, бесполезного, бесплотного, ибо не переносит он пыльцу с одних цветов на другие, не разбирает зеркала вод, не вьет листву, а лишь движется да и только в совершенной симметрии снега, льда, тишины. <...>

Если в сентябре наш зрачок сужен дымом и пространством, а ноздри ловят нежную гарь умирания, а слух плывет и серебрится в извивах птичьих голосов, которые покидают нас, — размышляем ли мы о зиме и времени? Нет. Можно представить, допустить возможность, но и только! <...>

Извилист и нелегок путь зимы. Однако кто избежит его хоть один раз за жизнь? Идем по нему иной раз безразлично, порой печально, не отводя глаз от белизны, что распростерлась, укрыв смилившийся стебель, труп разбитой птицы.



178 &lt;...&gt;

179

«никогда, никогда, никогда» или «тогда, тогда, тогда»...

Хорошие слова, неясные слова, темные слова. Произнося их, будто видишь чище и дальше. Видишь то, что никогда не видел, слышишь то, что никогда не звучало — и все одновременно.

Тысячи, мириады слов в коротком вздохе. И те, кто оставил тебя на севере, чтобы ночами обнимать тебя на юге. И те, кто покинул тебя на юге, чтобы никогда, никогда, никогда не возвращаться уже ни на севере, ни на западе, ни на востоке — все возносят свой голос в слове «никогда, никогда»...

или тогда...

Вспомним сказку о живой воде!

180

Стены, окна, свет в окнах, рассвет. И не понять — что это такое, мой новый день, мой старый день, мои дни, ночи...

По лестнице спускаюсь, дверью хлопаю, по улице иду, двором, переулком. И день, и ночь, и день, и ночь, голову закинув, — бегло читаешь в топоиной листве: блеск и тень, блеск и тень. В глазах рябью ветренное небо...

И когда спросят меня — что делал? понятны ли тебе твои ночи и дни, годы, десятилетия? — как всегда, лишь плечами пожму.

По лестнице, ступеням, вдоль стен, нагретых солнцем, а наверху еще крыши, где праздновали некогда свое веселье. Дверь хлопнула, пыль оседает на губы, сушит их.

В ушах гремит чистая и грозная ложь моей жизни.

<без номера>

и т. д.

181

## **ШЕЛКОВИЧНЫМ ЧЕРВЕМ ПО ВОЗДУХУ**

*Из переписки А. Драгомощенко с А. Глазовой*

*У меня, к сожалению, не сохранилось переписки с Аркадием за 2003–2006 год, она пропала в одном из переездов с компьютера на компьютер. Вот несколько отрывков из переписки за последние годы.*

*Анна Глазова*

апрель 2006:

Здесь холод, отсутствие всего, включая самое отсутствие. Сегодня в школу, но, скорее всего, я отпущу детей в честь пасхальной субботы :) а сам пройду пешком с Васильевского до Литейного. Работы никакой нет. По нитке дергаю из разных мест. А 1 мая лечу в Сан-Паулу. Вероятно настала пора выпить пару чашек приличного кофе, кашасы, перетереть в пальцах щепоть красной земли, постирать носки в океане. Думаю этих занятий хватит вполне, чтобы занять десять дней. Ну... да еще чтения и всяческие диспуты :-)

июнь 2006:

привет, спасибо, иных из этих стихов я не видел прежде. Там есть одна строка, сначала "затяни меня в зелень!" – и вот, что хорошо, что само дописывается: "как если бы в узел", это и есть то, что есть "помимо".

март 2007:

Что-то мне там... не знаю... но что-то мне там [в моих стихах – А.Г.] кажется очень эдаким шелковичным червем прописанное по воздуху, а что – не знаю. :-) Но к чему постоянно обращается глаз и ухо.

март 2007:

сiju как идиот и пишу какое-то непонятное мне стихотворение. от чего мне не легко и не тяжело, но вполне глупо. Не буду я больше писать никаких стихотворений. У меня от них болит шея, ноет мозг и вообще хочется бесконечно есть.

Не говоря, конечно, о некоем количестве вина, которое единственно играет роль порой необходимого "второго лица" на плаву :-)

Теперь о жемчугах. Мне не дарили жемчуга, от мамы остались лишь пара рубинов, аквамарин в оправе art nouveau, два вполне приличных сапфира в алмазной мелочи, что-то еще и еще, и пустой, иссохший до дна черного "каменная" флакон "лориган котик" и... и все по ветру.

апрель 2007:

Я медленно осваиваюсь во времени, где все умирают, – падают с грохотом, разваливаясь на куски в воздухе. Я бы хотел умереть с шипением либо пены, либо змеи, которая бы меня порвала на части. Но! Главное – я бы ни за какие коврижки не хотел после смерти лежать в земле. Я вообще скептически отношусь к глине, земле, грязи. К счастью, обладая воображением, представляю себе вполне, что есть дикий крыжовник, подорожник и щавель на косягах.

июнь 2007:

У нас солнце, какие-то люди величиной с кофейную кружку бродят по крыше соседнего дома и жгут ее паяльной лампой. Мир по-прежнему по-хайдеггеровски таинствен... или таинственен.

июнь 2007:

Речь идет о том, что, когда удостоверяешься, что твоя книга принята в рассмотрение издательством *[имеется в виду книга АД "Безразличия", вышедшая в Борей-Арт – А.Г.]*, ты панически начинаешь ее перечитывать, – ты швыряешь трусы в стену, пьешь вино на сломанную голову, потом ты принимаешься приводить ее, книжечку, в "порядок" (не говорю о том, что она неминуемо в этом деле изменяется, как в составляющих, так и в самой себе как целом).

Не знаю, удалось ли мне сохранить в этом случае notorious delicate balance, но я уверен, что все, что имело какое-то незаметное отношение к иным поэтам

помимо моего желания; то, что могло невольно вырасти на карнизе под стать случайной траве, пропущенной по энтузиазму, возможно даже желанной "повторяемости" (о себе в первую очередь) – это, насколько я понимаю, сведено к минимуму. Я уверен – в той мере, в которой она дается мне каким-то опытом и памятью.

Бесспорно, кое-чем пришлось поступиться, etc. :-) Вместе с тем, прекрасно понимаешь, что в итоге останешься в дураках... :-)

март 2009:

увы, за окном ворона, слева полбокала вина, позже в школу. Пребываю в ошеломлении, между тем...

Не смейся. В 1995 некто поэт Troopre (он написал биографию Miles'a Davis'a и был начинателем устной заново поэзии, профессор университета) пригласил нас с Зиной домой в La Jolla, – это из Encinitas, не соврать, где-то часа два на дружеской машине. Он довез за час, Зина поседела, шел fog, дорога была как от дождя. Зина должна была две недели как побрить голову :-) Меня, как он сказал в машине, он заприметил из офиса – bebor походка. Его жена, имя забыл, работала главным (sic!!!) редактором reklamного otdela NY Times. Оставила, уехала, Трооп так и не вставил зубов, но золотые перчатки за slam висят повсюду, смотрит — смотрел – порно в чулане, где стоит такой же тв сет как и всюду (как давно это было), а потом наехали гости. Признаться, их представляли, но я запомнил, что даже в Петербурге я не попал бы в такую компанию, а здесь – Зина sister, но я не brother... несмотря на походку :-) Это была элита типа Сорбонны, описать невозможно, я не куинджи... И там... была Мишель Обама, более того, мы с ней ехали в Amtrack спустя неделю в ЛА!

март 2009:

любимый друг, я дома, школа кончилась и т.д. почему наехал про оливу *[спиленную, про которую я написала в письме и сравнила с пнём оливы, на котором было устроено ложе в доме Одиссея у Гомера – А.Г.]* – это типа местная история, захочешь расскажу, но прости, бога ради – совершенно не склеилось с одиссеей, тогда "пил" как таковых не было, пилы придумал мандельштам :-) ::-) нежно-нежно обнимаю.

июль 2009:

Проспал весь вчерашний день: ливень / солнце.

Это действительно странно... слова Паунда про Одиссея и, оказывается, ты возвращаешься не куда-нибудь, но в Итаку... :-) [*Итака в штате Нью-Йорк, где я тогда жила*]

июнь 2010:

Совершенно случайно наткнулся. Если будет под рукой, глянь – это William Carlos Williams.

Последняя глава из A Novelette... IX. In Sum

What can I say? Who shall describe the light? It is like epidemic; it is like your love... :-)))

июнь 2011:

Все очень быстро меняется... :-) Пространство и время – шагренева кожа.

декабрь 2011:

о да... была тыква... помнишь монаха, который и имел-то только сухую тыкву, но ночью, повешенная на сук дерева она выла ветром, так вот он встал и растоптал ее со словами – как же ты докучлива!

декабрь 2011:

АГ: а у нас тут совсем нету зимы. плохо. человеку надо снег.

АТD: у нас выпал, но подозрительный, не верю я ему

АГ: не холодный и не мокрый? надо проверить

АТD: я проверял тает, но все как-то не так :) все уже не так, аня, все ушло, а что осталось, притворяется, будто и не уходило... а здесь уже эта монета – там/здесь – становится рекой об одной стороне

АГ: становится морской солью вверх по течению

АТD: летучей солью

АГ: вот. а ты говоришь подозрительный

АТD: все встало на места, пойду я за продуктами... зовут

февраль 2012:

Я в Поднебесной, что еще нужно человеку, утратившему связь с землей? :-)  
[у АТД тогда как раз вышли стихи в китайском переводе — А.Г.]

--

With all my best — *Arkadii Dragomoshchenko*

阿爾卡季·德拉戈莫申科

март 2012:

я тебе перегоню то, что я написал на предложение "собрать" чего-то для Знамени, а я вот так... там в нескольких частях твое имя, поскольку я просто к небесам не мог обращаться пишучи :) не знаю, я ставил твое имя и даже фамилию, поскольку это уже сущности и это было приятно вовлекать в отношения. более того, это были обращения к тебе.

апрель 2012:

привет, Христос воскрес, ты как-то в находишься в тумане :) никак не приближаясь:) у нас солнце, прохладно и в голове ничего, кроме легкой ссадины красного вина, остальное не заслуживает внимания :)

июль 2012:

т.е. я вроде как одинокого путника, который отдаляется от "города" все дальше и дальше... ничего не пишу, начал было вести записи, но это настолько опустошает, что прекратил и их... может быть, немного приду в себя и что-то придет ко мне, ведь главное в поэзии меняться физически.

## АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

**Алексей Воинов** (1977). Книги «Курмирабо» (2002), «Простыня с облаками» (2012), «Возвращение к отъезду» (2012), «Разум сна» (2013). В его переводах изданы романы «Голубые глаза, черные волосы» М. Дюрас, «Эта любовь» Я. Андреа, «Путешествие с двумя детьми» (Kolonna Publications, 2011) «Одинокие приключения» (Kolonna Publications, 2011), «Призрачный снимок» (Kolonna Publications, 2012), «Без ума от Венсана» (Kolonna Publications, 2012), «Гангстеры» (Kolonna Publications, 2012) Э. Гибера и др. Живет в Москве.

**Аркадий Драгомощенко** (1946-2012). Публикации в МЖ №№ 1, 6, 18, 36, 65 и др. В 1993 году в издательстве «Митин журнал» вышла книга стихов «Ксеии», в 1999 – роман «Китайское солнце».

**Юлия Кисина** (1966). Стихи и проза публиковались в МЖ №№ 19, 24, 27, 30, 31, 33, 35, 51, 60, 62. Сборники рассказов «Простые желания» (2001), «Улыбка топора» (Kolonna Publications, 2007), роман «Весна на луне» (2012). Живет в Берлине.

**Маруся Климова** (1961). Книги «Голубая кровь» («Митин Журнал», 1998), «Домик в Буа-Коломб» («Митин журнал», 1998), «Морские рассказы» («Митин журнал», 1999), «Белокурые бестии» (2001), «Моя история русской литературы» (2004), «Моя теория литературы» (2009) и др. В ее переводах изданы романы «Смерть в кредит», «Из замка в замок», «Ригодон» и «Север» Л.-Ф. Селина, «Проституция», «Эдем. Эдем. Эдем» и «Книга» П. Гийота, «Керель» Ж. Жене, «Не все так безоблачно» Ф. Жибо, «Лесбийское тело» М. Виттиг, «Пизда Ирены» Л. Арагона (МЖ-57), П. Луиса «Дамский остров» (МЖ-57), Ж. Батая «История глаза» (МЖ-58) и др. Живет в Петербурге.

**Василий Ломакин** (1958). Книги стихов «Русские гимны» (2004), «Последующие тексты» (2012). Публикации в МЖ №№ 61 и 64. Лауреат Премии Андрея Белого (2012). Живет в Вашингтоне.

**Александр Маркин** (1974). Два тома дневников 2002-2011 годов вышли в издательстве «Kolonna Publications». Живет в Цюрихе.

**Павел Соболев** (1973). В МЖ-64 опубликована статья «Введение в поэтику Габриэль Витткоп». Живет в Таллинне.





## СОДЕРЖАНИЕ

### НОВОЕ

<b>Александр Маркин.</b> Из дневника 2011-2012 .....	5
<b>Василий Ломакин.</b> Первый снег .....	20
<b>Юлия Кисина.</b> Тасманский волк .....	30
<b>Маруся Климова.</b> Из книги «Безумная мгла» .....	92

### ДОСЬЕ ГЕРАРДА РЕВЕ

<b>Макс Пам.</b> На смерть Герарда Реве, <i>перевод О. Гришиной</i> .....	136
<b>Герард Реве.</b> Отрывок из романа «Вечера», <i>перевод О. Гришиной</i> .....	139
<b>Том Родуейн.</b> Быть алкоголиком более не благопристойно, <i>перевод О. Гришиной</i> .....	153
<b>Хьюб Моус.</b> Герард Реве в Vinea Domini, <i>перевод О. Гришиной</i> .....	158
<b>Герард Реве.</b> Четыре защитительные речи, <i>перевод О. Гришиной</i> .....	165
<b>Хенк ван ден Босх.</b> Господь Герарда Реве, <i>перев. О. Гришиной</i> .....	204
<b>Андреас Синаковски.</b> Он был узником мира, который создал в своем воображении. ....	212
<b>Герард Реве.</b> Сказки о коричневой колбаске, <i>перевод О. Гришиной</i> .....	216
<b>Фриц Абрахамс.</b> Кошки писателей, <i>перевод О. Гришиной</i> .....	220
<b>Герард Реве.</b> Из собрания стихотворений, <i>перевод С. Захаровой</i> .....	222

### ДОСЬЕ ЭРВЕ ГИБЕРА

<b>Алексей Воинов.</b> Эрве Гибер. Биоматериал .....	233
<b>Эрве Гибер.</b> Одно-единственное лицо. Письма из Египта. Псы, <i>перевод А. Воинова</i> .....	239
<b>Кристиан Солей.</b> Разговор с двумя детьми, <i>перевод А. Воинова</i> .....	268
<b>Павел Соболев.</b> Наслаждаясь и страдая, торгуясь и безумствуя, изменяя мимолетности с глубиной .....	272

## КОЛЛЕКЦИЯ

<b>Оскар Баум.</b> Из книги «Жизнь на берегу», перевод и предисловие А. Глазовой .....	301
<b>Алистер Кроули.</b> Абсент: зеленая фея, перевод В. Нугатова .....	319
<b>Ярослав Старцев.</b> Рифмованная изнанка средневекового разума .....	331
<b>Джеймс Джойс.</b> Из «Финнеганова Уэйка», переложение А. Волохонского .....	344

## АРХИВ

<b>Павел Улитин.</b> Капричос, публикация И. Ахметьева .....	348
<b>Ольга Комарова.</b> Виолетта, публикация О. Зоберна .....	371

## IN MEMORIAM:

Аркадий Драгомощенко  
(1946–2012)

Тень черепахи, публикация З. Драгомощенко .....	388
Шелковичным червем по воздуху (из писем Анне Глазовой) .....	418



## Книги издательств «Митин Журнал» и «Kolonna Publications» можно приобрести

### *в Москве:*

- «Фаланстер» Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27
- «Москва» ул. Тверская, д. 8
- «Циолковский» Новая площадь д.3/4
- «Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, д. 8
- «Библиоглобус» Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 5
- «Индиго» ул. Петровка, д. 17, стр. 2
- «Dodo» Таганская ул., 31/22

### *в Петербурге:*

- «Порядок слов» наб. Фонтанки, д. 15
- «Борхес» наб. Обводного канала, 60
- «Все свободны» наб. Мойки, 28, второй двор
- «Петербургская книжная лавка» Невский пр., д. 66

### *через Интернет:*

- «Ozon» [ozon.ru](http://ozon.ru)
- «Книга» [kniga.ru](http://kniga.ru)
- «Esterum» [esterum.ru](http://esterum.ru)
- «Petropol» [petropol.com](http://petropol.com)
- «Болеро» [bolero.ru](http://bolero.ru)
- «Чакона» [chaconne.ru](http://chaconne.ru)
- «Международная книга» [mkniga.ru](http://mkniga.ru)
- «Лавка Я + Я» [shop.gay.ru/books](http://shop.gay.ru/books)

### *на Украине:*

- «Либра» [librabook.com.ua](http://librabook.com.ua)

По вопросу оптовых продаж  
обращаться в ооо «Берроунз», тел. (495) 971-47-92

Национальный книжный дистрибьютор  
«Книжный Клуб 36.6», тел. (495) 926-45-44

Все книги нашего издательства можно заказать  
наложенным платежом в редакции на сайте [kolonna.org](http://kolonna.org)